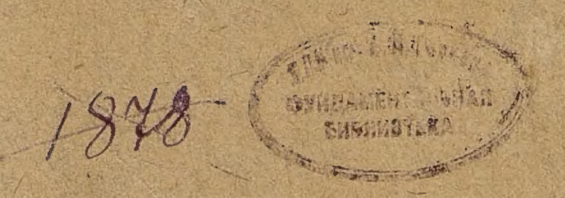
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ



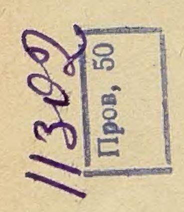


ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ





ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
АКАД. Б. Д. ГРЕКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1940

Технические редакторы В. М. Юрова и П. А. Савельев Корректор О. В. Герцман

Сдано в набор 11/X 1939 г. Подписано к печати 9/III 1940 г. Формат $70 \times 108^1/_{16}$. Объем $17^1/_2$ п. л.
В 1 п. л. 58000 печ. зн. Уч.-изд. л. 24,39. Тираж 6.000 экз. Уполн. Главлита № А-22870. АНИ № 1399.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига". Москва, Валовая, 28. Зак. № 4327.

Е. С. ЗЕВАКИН и Н. А. ПЕНЧКО

ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГЕНУЭЗСКИХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В XV ВЕКЕ

Со второй половины XIII в. и почти до конца XV в. северное побережье Черного моря и южный берег Крыма находились главным образом в руках генуэзцев, завоевавших в результате длительной конкурентной борьбы с другими городами Италии (Венецией, Амальфи, Пизой) право монопольной торговли с Востоком на Черном море.

История генуэзских причерноморских колоний еще не написана. Немногие работы по этому периоду касаются почти исключительно внешне-политической истории колоний или отдельных вопросов их административного устройства и торговли. Мы имеем в виду работы Хейда, Братиану, Примодэ, Канале, Бруна, Ковалевского и др. [1]

Между тем генуэзские архивы, опубликованные в различных изданиях,[2] дают возможность — если не вполне, то все же достаточно ясно — восстановить и историю социальных отношений в генуэзских колониях Северного Причерноморья на протяжении всего периода их существования. Что же касается XV в., то здесь мы располагаем материалом, позволяющим наметить и основные этапы классовой борьбы, которая в эту именно эпоху чрезвычайно обостряется.

Несмотря на то, что указанный материал во многих отношениях оставляет желать лучшего (и прежде всего в смысле полноты и разнообразия документов, представляющих из себя большею частью консульские донесения в Геную о положении дел в колониях), он дает возможность осветить события по-иному и всецело опровергнуть легенду о том, что «генуэзский период» для населения черноморских колоний являлся периодом чуть ли не «золотого века».

Специальный характер источников лишает нас возможности дать более или менее цельную и широкую картину классовой борьбы, несомненно имевшей место во всех черноморских колониях: мы были принуждены оперировать ограниченным количеством документов, относящихся лишь к отдельным колониям и местностям Северного Причерноморья во второй половине XV в. Особенно сказалось это обстоятельство при изучении документов, касающихся феодальных поместий

---

[1] Здесь уместно упомянуть о статьях А. Колли (в „Изв. Таврич. учен. архивн. комиссии“, вып. 45, 47, 50, 54 и др.), от пользования которыми мы предостерегаем читателей, тем более что на этого автора продолжают ссылаться, по незнакомству с источниками, и теперь (В. Сыроечковский. Гости-Сурожане и др.). Статьи Колли, не отличаясь оригинальностью (большею частью это пересказы исторических обзоров Виньи, издателя „Codice Tauro-Liguro“), изобилуют грубейшими ошибками, и это, в сочетании с неточным и неверным изложением исторических документов, лишает их ценности.

[2] Atti della Società Ligure di Storia Patria, vv. VI—VII, XIV, XV, XVII etc.; Historiae Patriae Monumenta, Leges municipales, II; Actes des notaires génois de Péra et de Caffa de la fin du XIII siècle. Académie Roumaine, Boucarest, 1927 etc.

в районе генуэзских колоний Крыма. Если условия быта и формы эксплоатации населения в колониях этого типа дают полную возможность предполагать наличие борьбы внутри этих колоний, то в документах эта борьба отразилась лишь постольку, поскольку она задевала интересы генуэзской республики.

В настоящем очерке мы ограничимся анализом исторических документов, показывающих, как протекала классовая борьба в отдельных городах и местностях Северного Причерноморья во второй половине XV в. Но поскольку эта борьба принимала различные формы в зависимости от общих и местных условий (тип колонии, ее национальная и социальная структура и т. п.), нам придется остановиться на всех этих моментах в отдельности.

I

Прежде всего следует сказать вкратце о том, что представляли собой генуэзские колонии второй половины XV в. в смысле своей национальной структуры. Дело в том, что все генуэзские колонии Северного Причерноморья являлись по своему составу разноплеменными с значительным преобладанием в них восточных элементов. Даже в Каффе[1], важнейшей колонии Крыма, генуэзцы, постоянно в ней проживавшие, составляли только ничтожное меньшинство. «Как вы увидите, — говорится в одной из инструкций консулам Каффы, — в этом городе (т. е. в Каффе), а также в Самастро, Солдайе, Чембало,[2] население состоит из армян, греков, скифов (scythy — в данном случае подразумеваются татары. — *Авт.*) и других народностей».[3] Испанский путешественник XV в. Тафур обратил внимание на исключительную пестроту национального состава жителей Каффы. «Столько и так необычны племена, которые там собрались, — говорит он, — что поистине, не будь там генуэзцев, то, вероятно, жители тамошние ничем не походили бы на нас, [настолько] разнятся они от [европейцев] в [манере] одеваться, есть, в обычаях женщин»[4]. Многонациональный состав населения Каффы подчеркивает и Альфиерн, автор начала XV в., долго проживший здесь в качестве учителя. «Каффу населяют, — пишет он, — греки, армяне, евреи, караимы; люди всех национальностей встречаются в этом городе»[5].

Судя по другому документу, в Каффе во второй половине XV в. армяне составляли $^2/_3$ населения[6]. В Солдайе, Чембало, Матреге и Копе преобладало греческое и местное (черкесское) население[7]. В 1475 г. при взятии Каффы турками в ней оказалось только около тысячи генуэзцев при общем числе жителей в 70 тыс.[8] Под влиянием ряда причин, о которых мы будем говорить ниже, генуэзское население колоний во второй половине XV в. быстро уменьшалось: приезжие купцы, не желая рисковать своими капиталами и товарами, уезжали массами обратно на родину. Это весьма беспокоило правительство колоний, в частности протекторов банка св. Георгия

[1] Каффа была основана генуэзцами в 70-х годах XIII в. на том месте, где находилась древняя греческая колония Феодосия.

[2] Samastro — древний греческий город Amastris, турецкое Amasserah; Солдайя или Судак (Сурож), греческая — Сугдея; Чембало — Балаклава.

[3] Atti, VI, p. 810.

[4] Ibid., XV, p. 339.

[5] Ibid., XVII, p. 314.

[6] Ibid., VII, f. 2, p. 727.

[7] Statuto di Caffa (Atti, VII, f. 2, pp. 575—680).

[8] По словам хрониста Бенедетто Деи (Atti, VII, f. 2, p. 248).

в Генуе[1], получившего в свое владение колонии от республики в 1453 г. В 1466 г. в Генуе было решено «послать в Каффу ради пользы города тех генуэзцев, которые дали слово, что там возьмут себе жен»[2]. В документе от 7 января 1465 г. говорится: «мы считаем полезным иметь [в Каффе] много таких генуэзцев, из которых большинство останется в ней на жительство» (aborgheseranno)[3]. Наконец, в 1466 г. было вынесено постановление, «чтобы каждому генуэзцу..., который возьмет жену в Каффе (иными словами, осядет в ней. — *Авт.*), давалось снабжение [в размере] одного соммо в месяц[4]. К этому же времени относится объявление «salvocondotto» — чрезвычайная мера для привлечения в Каффу жителей, бежавших из нее в связи с турецкой угрозой (преимущественно купеческого населения)[5].

Такое очевидное стремление во что бы то ни стало увеличить количество генуэзского населения колоний во второй половине XV в. объясняется тревожной обстановкой, в которой находились генуэзцы как хозяева колоний. Волнения, то и дело возникавшие среди жителей генуэзских колоний и поселений Причерноморья, заставляли генуэзцев опасаться за свою власть. Только с туземными верхами (местными феодалами, татарскими откупщиками таможенных пошлин и т. д.) генуэзское правительство находило общий язык. Вообще же оно относилось к местному населению с явным недоверием. Устав 1449 г. воспрещает держать в доме оружие всем «сарацинам»[6], т. е. мусульманам, и вменяет в тяжкое преступление горожанам Каффы «братские и дружеские отношения» с татарами[7]. Греки, составлявшие большинство населения Солдайи и Чембало, не имели права служить в гарнизонах этих крепостей. В 1465 г. протекторы пишут строгий наказ правительству Каффы: «примите меры к тому, чтобы генуэзские граждане были вооружены и имели свои баллисты»[8]. Этот наказ неоднократно повторяется.

Генуэзцы имели важные преимущества для удержания власти в своих руках: они составляли в правовом отношении привилегированную группу полноправных граждан (cives), в отличие от местных граждан, которые назывались просто горожанами (burgenses). Представители этих двух групп имели равное число мест в органах городского самоуправления, хотя первая группа представляла по сравнению со второй ничтожное меньшинство. Но поскольку уставом предписывалось избирать кандидатов из наиболее зажиточных и именитых, «лучших» людей (ex melioribus), то фактически власть оказывалась всегда в руках наиболее богатых представителей обеих групп, своего рода «интернациональной» верхушки. Эта группа правила колониями исключительно в своих интересах. В колониях Причерноморья, как и в Генуэзской республике, существовало деление на два сословия — знати (nobili) и простонародья (popolari)[9], которые по уставу 1449 г.

[1] Uffizio di San Giorgio. Во главе правления этого влиятельного финансового учреждения кредиторов республики стояло 8 „протекторов", избиравшихся из крупнейших пайщиков.

[2] Atti, VII, f. I, p. 437.

[3] I b i d., p. 337.

[4] I b d., p. 437. Summus — кусок серебра ценностью около 200 аспри (мелкая серебряная монета).

[5] I b i d., VI, p. 139.

[6] I b i d., VII, f. 2, p. 679.

[7] I b i d., p. 636.

[8] I b i d., p. 340.

[9] Под этим термином подразумевалось собственно не одно, а два сословия — купцы (mercanti) и ремесленники (artefici). Впрочем в изучаемую нами эпоху разбогатевшие представители нового купечества входили в сословие знати наравне с представителями феодальных родов.

должны были равно участвовать в управлении колониями. В действительности же все увеличивающееся имущественное неравенство создало резкое деление на «popolo grasso»[1] и «popolo minuto[2]», т. е. на богатых и бедных. В генуэзских колониях Черноморья, так же как и в метрополии, власть оказывалась неизменно в руках первой категории, независимо от сословной принадлежности; minuti же фактически были совершенно лишены политических прав.

Необходимо отметить, что генуэзские колонии, возникшие в XIII в. преимущественно для ведения посреднической торговли с Левантом, в дальнейшем значительно дифференцируются. В XV в. мы встречаем, кроме городов ярко выраженного торгового типа, как Каффа, еще и колонии, уже не имеющие почти никакого торгового значения[3], но важные в других отношениях: так, Солдайя и Чембало были не только сильными крепостями, но и играли немаловажную роль в экономике как центры сельскохозяйственных округов[4]. Наконец, отдельную группу составляли в XV в. колонии, подвластные местным князьям, но имевшие генуэзского консула или коменданта — Мапа[5], Барир[6], Матрега[7] и Копа[8]. Это скорее феодальные владения отдельных генуэзских фамилий, захвативших в XV в. не только важнейшие пункты на черкесском побережье (Матрега), но и огромные пространства земли на южном берегу Крыма (владения крупных феодалов братьев Гуаско, простиравшиеся от деревни Ускут — Scuti — недалеко от нынешней Алушты — Lusta — до урочища Карагач у Солдайи). В связи с такой дифференциацией можно говорить о двух основных типах классовой борьбы в колониях Черноморья в XV в. — в городе и в деревне.

Но в применении к генуэзским колониям Северного Причерноморья нельзя говорить о деревне вообще. В районе генуэзских феодальных владений на территории Западного Кавказа классовая борьба должна была проявляться иначе, чем в феодальных поместьях генуэзцев на Крымском побережье, где экономические и местные условия, а следовательно и формы эксплоатации населения, были иными.

II

Как мы уже указывали, колонии Западного Кавказа составляли отдельную группу.

Источники дают очень мало сведений об отдаленных от центра (Каффы) колониях. Их внутренняя жизнь и быт не отражены в до-

---

[1] Буквально — „жирный народ".

[2] „Тощий народ" или „худые люди".

[3] Это произошло в результате особой политики Генуи, стремившейся прежде всего сделать Каффу главнейшим центром черноморской торговли. См. постан. „officium Gazariae" конца XIII и нач. XIV вв. (в „Monumenta Historiae Patriae", Leges municipales", II).

[4] Из устава 1449 г. ясно видно, что население Солдайи тесно связано с землей. Основные занятия жителей Солдайи в эту эпоху — виноградарство, виноделие, садоводство (в окрестностях Солдайи было расположено 18 деревень, подлежавших ее юрисдикции). В районе Чембало распространены были также скотоводство и рыбный промысел.

[5] Нынешняя Анапа.

[6] Иначе Бата, находившаяся у Ахтарского залива. Владетелем этого поселения во второй половине XV в. был генуэзец Илларио де Марини.

[7] На Таманском полуострове. Матрега досталась в XV в. генуэзской фамилии Гизольфи благодаря браку одного из членов этой семьи с дочерью и наследницей местного князя.

[8] В устье Кубани. В XV в. Копой владели черкесские князья, но генуэзцы имели в ней своего консула.

кументах именно потому, что они не являлись колониями Генуэзской республики в таком смысле, как например Каффа или Солдайя. Но будучи все же в экономическом отношении подчинены Каффе, иными словами — той же Генуэзской республике, они имели для нее также весьма важное значение, как опорные пункты для эксплоатации купцами местного населения. Колонии этого типа служили предметом официального внимания со стороны Генуи почти исключительно с точки зрения конфликтов, возникавших между их населением и Каффой. О классовой борьбе внутри таких колоний документы умалчивают совершенно, но зато они говорят достаточно красноречиво о борьбе угнетенного и эксплоатируемого народа против поработителей, которая проявлялась, судя по документам, в восстаниях антиколониального характера. Туземное население этих колоний стремилось прежде всего освободиться от чужестранного ига. Причиной этого являлась не только беспощадная эксплоатация местного населения[1], непосредственно связанная, по словам Маркса, «с насильническим грабежом, морским разбоем, похищением рабов, порабощением колоний»[2], но и генуэзская колониальная политика XV в., клонившаяся, главным образом, к тому, чтобы с наименьшим риском извлечь из колоний как можно больше выгоды. Более или менее считаясь с такими грозными соседями, как татары, с менее страшными зихскими[3] племенами — коренным населением в районе Западного Кавказа — генуэзцы церемонились очень мало. Так, черкесов, живших в Копе, принуждали к заключению выгодных для генуэзских купцов договоров под угрозой лишения соли, необходимой им для засолки рыбы[4] (основным занятием жителей этой колонии являлось рыболовство).

Колониальный гнет ощущался, несомненно, чрезвычайно тяжело в генуэзских владениях этого типа. Они находились как бы в двойной зависимости: с одной стороны — от своего владетеля (dominus), с другой — от Каффы, являвшейся как бы верховным сюзереном всех колоний[5]. Из статута Каффы 1449 г. можно заключить, что население этих колоний и в первой половине XV в. пыталось освободиться от налоговой повинности в пользу Генуи; иначе не было бы никакой нужды помещать в Уставе параграф, гласящий, что «жители Матреги, Мапарио и Батиарио не освобождаются от налогов»[6].

Что же касается колонии Копа, находившейся под властью местного (черкесского) князя, то еще постановлением 1427 г. она была причислена к тем, которые метрополия обложила податью под названием «stallia»[7].

Вторая половина XV в. — эпоха непрекращающихся смут, волнений

---

[1] Эта усиленная эксплоатация колоний Западного Кавказа начинается с самого основания генуэзских колоний, т. е. с XIII в. Документы этой эпохи говорят о товарообмене с черкесами в районе устья Кубани и о ярмарках в Копе (Actes des notaires génois de Péra et de Caffa). В обмен на рыбу и икру туземцы получали грубые ткани, и эта операция давала купцам неслыханную прибыль, о которой упоминают даже источники XVI в. (Ascoli. Descrittione del Mar Negro). XIII и XIV вв. — расцвет торговли рабами-туземцами в генуэзских колониях Причерноморья. Черкесы, как объекты этой торговли, играют едва ли не самую видную роль.

[2] К. Маркс. Капитал, III, гл. 20. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XIX, ч. I, стр. 359.

[3] Черкесскими.

[4] См. Statuto di Caffa, pp. 671—675.

[5] Atti, VII, f. 1, p. 345 (cum sit caput partium illorum).

[6] Ibid., f. 2, p. 637.

[7] M. Canale. Della Crimea, II, p. 313.

и прямых восстаний местного населения колоний под лозунгом «contra Caffam» (против Каффы); здесь подразумевалось господство Генуи вообще. Несмотря на скудость и неполноту источников, касающихся именно этих колоний (Западного Кавказа), факты такого рода бросаются в глаза. Едва ли не в каждом донесении консулов об этих колониях упоминается о столкновениях, недоразумениях, раздорах с местными племенами и об их враждебном отношении к генуэзской Каффе. «Мирные» же, «дружеские» соглашения и договоры, к которым их насильно принуждали, почти тотчас же нарушались[1].

Положение генуэзцев, обосновавшихся на территории, окруженной черкесскими племенами, было в XV в. далеко не безопасным. Об этом прямо говорится во многих документах. Например, в одном документе 1471 г. консул Каффы пишет: «Что же касается больших убытков и опасностей, которыми зихи ежегодно угрожают нашим купцам и гражданам в Копарио, то постановлено было нами в этом году воспретить туда доступ кому бы то ни было до тех пор, пока удастся вступить с теми зихами в какое-либо соглашение[2]...»

В графе расходов по колониям банка Сан-Джорджио постоянно фигурируют суммы, отпущенные на защиту генуэзских купцов, всегда подвергавшихся опасности нападения со стороны местных жителей, и субвенции для обороны генуэзских замков на территории самих колоний. Беспрестанно снаряжаются в поход генуэзские фусты (военные суда) то в одну, то в другую колонию для подавления там «беспорядков» и усмирения непокорного населения. «Одобряем снаряжение вами фусты, — пишут протекторы в одном письме 1471 г., — для защиты наших мореплавателей в Копарио[3]». В отрывках документов, касающихся Мапы эпохи генуэзского владычества (1423—1471 гг.), говорится о субвенции, ежегодно выплачиваемой массарией (казначейством) Каффы для защиты замка «de lo Mapa», и об издержках по отправке туда фусты (в 1471 г.)[4]. В этих же документах упоминаются расходы по выкупу пленных, взятых «вассалами Берзебоха»[5].

Совершенно ясно, что речь идет о серьезном столкновении с окрестными туземцами и что генуэзская Мапа в продолжение всего XV в. была под угрозой вследствие враждебного настроения туземцев.

В донесении консула Таны от 1471 г. говорится о «непокорных жителях» окрестных деревень, с которыми якобы сговаривается о нападении на генуэзский замок венецианский консул Таны[6].

Чрезвычайно дорого обходилось Генуе во второй половине XV в. содержание колонии Матреги, хотя эта колония и находилась под властью местного князя из генуэзской фамилии Гизольфи. Документы, в которых речь идет об этой колонии, многочисленнее других. Это понятно, если учесть важность Матреги не только как торгового порта, но и как стратегического пункта[7]. Тем более выступают на первый

---

[1] „Не менее досадно было нам — писали протекторы банка Сан-Джорджио консулу Каффы — узнать о раздорах ваших с зихами (черкесами) и что они взяли в плен наших граждан и ограбили“. (Atti, VII, f. 1, p. 836). „На Зихию, так же как и на Турцию, нечего нам и надеяться“ — пишут в свою очередь из Каффы в Геную во время голода, постигшего Каффу в связи с неурожаем в Крыму. (Atti, VI, p. 836).

[2] Atti., VII, f. 1, p. 784.

[3] Ibid., p. 731.

[4] Ф. Брун. Черноморье, I, стр. 293.

[5] Имя черкесского князя, очень часто фигурирующего в генуэзских документах XV в.

[6] Atti, VII, f. 1, p. 780.

[7] Матрега находилась рядом с проливом, отделяющим Крымский полуостров от Таманского.

план в упомянутых документах все те факты, о которых мы говорили выше: непрочность положения генуэзской колонии в Матреге, окруженной враждебно настроенными туземными племенами[1], политические неурядицы в самой колонии, происходившие на почве вмешательства живших в ней влиятельных генуэзцев во внутренние дела других народов[2], и, наконец, восстания местных жителей против господства генуэзцев. В 1457 г. черкесский князь Кадибельди (Cadibeldi), который имел старинные счеты с владетелем Матреги Заккарией Гизольфи[3], занял его замок. «Воспользовавшись этим, — говорится в документе, — народ той местности восстал против Каффы и завладел означенным замком вместе с князьями Зихии»[4].

Разумеется, это восстание, как и прочие, было подавлено, и Каффа с тех пор вменила в обязанность владетелю возвращенного замка Заккарии Гизольфи содержать в замке за свой счет часть наемных солдат из гарнизона Каффы; это весьма не нравилось Заккарии, и без того обремененному долгами. Солдаты, как сказано в том же документе, были посланы в 1457 г. в замок Матреги (castrum Matrice) «для его защиты и поддержки»[5]. Туда же было отправлено оружие, стоимость которого впоследствии каффское правительство тщетно пыталось взыскать с Заккарии Гизольфи[6].

Мы уже приводили выше документы, свидетельствующие о враждебном отношении черкесского населения Копы к генуэзским купцам. В донесениях консулов о положении в этой колонии беспрестанно упоминаются стычки и столкновения с местными владетелями Копы. Вместо того, чтобы выполнять свои обещания (например, «привести людей» — так называемых «оргузиев» для несения службы в Каффе в конных отрядах), сами владетели принимали участие в нападении оргузиев на богатых генуэзских купцов, едущих в Копу[7].

О том, что в колонии Копа готовилось также восстание «против Каффы», свидетельствует весьма интересный документ[8], относящийся к 1475 г. Это — пространная инструкция протекторов банка Сан-Джорджио консулам Каффы, допустившим тайное возведение князем Копы крепости в своих владениях. По мнению Генуи, эту крепость необходимо было как можно скорее уничтожить, и строжайший наказ об этом, даваемый перепуганными протекторами, не оставляет никаких сомнений в том, какое именно значение было придано этому факту.

Западный Кавказ XV в. предстает пред нами как феодальное общество на ранних ступенях его развития[9], где ясно видно деление на привилегированное меньшинство (князей) и угнетенную народную массу. Районы Западного Кавказа находились в то время на более низком уровне развития, чем районы Крыма. Совместное выступление

[1] См. „Заявления Гизольфи“ в Atti, VII, f. I, pp. 842—848.

[2] Эпизод с Джакомо де Гримальди, пытавшимся завязать тайные сношения со свергнутым татарским ханом Наурдаулетом и предлагавшим ему отправиться в Матрегу, где он может собрать своих приверженцев (Atti, VII, f. 1, p. 561).

[3] Этот князь, в силу преемственности, являлся в сущности сюзереном по отношению к Гизольфи, о чем совершенно ясно говорит и сам Гизольфи, называя себя его „данником и вассалом“, от которого он получил Матрегу (Atti, VII, f. 1, p. 815).

[4] Atti, VII, f. 1, p. 846.

[5] Ibid.

[6] По мнению Гизольфи, Каффа действовала здесь исключительно в своих интересах: «...город Каффа помогала поселению Матрега (loco Matrice) и прочим замкам, имеющим какое-либо значение для выгоды упомянутого города, так как Каффа является главою этих мест“ (ibid., p. 845).

[7] Atti, VII, f. 1, pp. 812, 490 etc.

[8] Ibid., f. 2, p. 212.

[9] Interiano. Della vita do Zychi.

черкесских народных масс и князей против генуэзского торгово-ростовщического капитала объясняется временным совпадением их интересов в данный момент. Это, разумеется, не снимает вопроса о существовании антагонизма в черкесском обществе. В восстании 1457 г. народ преследовал свои цели: избавление от торгово-ростовщического гнета Генуи, а князья — свои: увеличение прибылей от торговли путем устранения генуэзской конкуренции[1]. Из сохранившегося (к сожалению, не полностью) документа о восстании в замке Батиар (у Ахтарского залива) можно заключить о тяжести генуэзского гнета: после подавления восстания Каффа потребовала возмещения убытков, причиненных казне[2], и, как говорится в документе, «они уже отдали и прислали икру, рыбу... (пробел в документе. — *Авт.*) и прочее, имеющееся в той местности... вследствие чего мы предполагаем, что будут возмещены все расходы, произведенные до и после [этого] из-за того замка...»[3].

III

Восстания местного населения колоний против господства Генуи не ограничиваются описанными нами событиями, происходившими на Западном Кавказе. Еще в первой половине XV в. от Каффы пытаются отложиться целые города на южном берегу Крыма. Мы имеем в виду мятеж в колонии Чембало (Балаклава), вспыхнувший в 1433 г. В этой колонии, наполовину греческой, как можно заключить из устава 1449 г., проживало также много татар[4]. В восстании греческого населения против генуэзского владычества историк Канале считает повинными татар, утверждая, что восстание произошло не без ведома и участия татарского хана Хаджи-Девлет-Гирея[5]. Этот мятеж был настолько серьезен, что подавить его силами одной Каффы оказалось невозможным (напоминанием, что Чембало была хорошо защищенной крепостью). Из Генуи была снаряжена в помощь Каффе флотилия, состоявшая из десяти больших кораблей и десяти галер; шеститысячное войско под предводительством Карло Ломеллино отправилось в поход против мятежного города. Осада увенчалась успехом, и «мятежники возвратились к повиновению»[6]. Но местное греческое население с тех пор было взято под подозрение генуэзским правительством[7].

Генуэзские документы XV в. свидетельствуют о том, что взаимоотношения Генуи с татарским населением колонии в этот период становятся исключительно сложными. Политика татарских ханов, которые начинают с этого времени проявлять определенную тенденцию к заключению союза с турками против Генуи (Хаджи-Гирей), способствовала этому. Со своей стороны, генуэзская колониальная политика, как мы знаем, не отличалась особой разборчивостью в средствах. Поскольку попытка применить силу не удалась (поход Ломеллино

---

[1] В письме протекторов по поводу соглашения, заключенного с князем Копы, говорится, что им „весьма не понравился один из пунктов этого соглашения, а именно, наложение им одного аспра пошлины на всякую рыбу...“ (Atti, VII, f. 2, p. 55).

[2] На помощь владетелю замка Батиар, генуэзцу Илларио де Марини, было послано из Каффы два судна с отрядами вольнонаемных дружинников (Atti, VI, p. 356—357).

[3] Atti, VI, pp. 356—357.

[4] Устав требует от консула Чембало обязательного содержания в штате городских служащих переводчика, знающего латинский, греческий и татарский языки.

[5] M. Canale. Op. cit., II, p. 53.

[6] Ibid.

[7] Во второй половине XV в. протекторы банка издали ряд постановлений, в которых ясно выражено недоверие к греческому населению городов Солдайи и Чембало (Atti, VI, p. 917; VII, f. 1, p. 373 etc).

против Солхата[1] в 1434 г., после которого Каффа сделалась данницей татар), эта политика становится во второй половине XV в. «мирной», но еще в уставе 1449 г. ярко отражаются глубокое недоверие и страх Генуи перед татарским населением колоний. В самом деле, устав строжайшим образом воспрещает жителям Каффы не только вступать в тесные дружеские отношения с татарским ханом и его подданными и вассалами, но и принимать от всех этих лиц подарки и милости: он воспрещает также всем жителям Каффы, проживающим в замке, т. е. внутри крепостной стены,[2] принимать в своем доме татарина как постояльца и даже как гостя. При этом устав считает безразличным, является ли этот татарин подданным хана или нет, так как из того же статута следует, что татары, прожившие в Каффе год со своими семьями, считаются генуэзскими гражданами и не подлежат юрисдикции татарского наместника — «тудуна».[3] Мало того, всем горожанам Каффы воспрещалось разговаривать с ханскими послами, прибывшими в Каффу, прежде чем консул переговорит с ними сам[4].

Если политические соображения диктовали генуэзскому правительству сугубую осторожность по отношению к татарскому хану, то из того же устава мы можем заключить, что сами жители Каффы, по крайней мере значительная часть их, вовсе не разделяла этих опасений и относилась к татарам более чем доверчиво. В статуте говорится о «братских связях» части горожан с татарами: «вследствие братских отношений и связей, которые горожане Каффы или часть их имеют и заключают с ханом татарским и его подданными и вассалами... постановляем и предписываем...» (далее следуют многочисленные запреты)[5].

Статут с негодованием отмечает, что некоторые горожане даже передают татарам тайны, якобы ради милостей хана и подарков от него[6]. Какого рода эти тайны, догадаться не трудно. Генуя крайне внимательно следила за внутренним положением в Крымском ханстве, и в частности в Кампанье, сельском округе, примыкавшем непосредственно к Каффе. Все, касающееся Кампаньи, подробнейшим образом доносилось консулом в Геную, а из Генуи в Каффу шли тщательно разработанные и продуманные инструкции, как себя держать по отношению к хану и кандидатам на ханский престол.

Разоблачение этой политики было в высшей степени нежелательным для генуэзцев, и недаром при выдвижении кандидатов на городские должности главным достоинством считались «осведомленность о делах Кампаньи и уменье молчать о том, о чем следует молчать» (apti ad tacendum ea que sunt tacenda)[7].

Молчать, действительно, следовало о многом. Политика Генуи по отношению к татарской «деревне», Кампанье, была не такого рода, чтобы ее можно было афишировать. Происки, интриги, подкупы, взятки, даже покушение на убийство—здесь не гнушались ничем. Во второй половине XV в. в Кампанье было чрезвычайно неспокойно. Смуты и раздоры между татарскими феодалами волновали татарское население окрестностей Каффы и самой Каффы. По уставу 1449 г. Кампаньей правил татарский наместник хана, но генуэзцы усиленно вмешива-

---

[1] Татарская столица крымских ханов.
[2] Atti, VII, f. 2, Statuto di Caffa.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid., f. 1, p. 752.

лись в дела Кампаньи, стараясь провести тех кандидатов, которые обещали им «делать все то, что будет угодно консулу и старейшинам Каффы»[1].

По словам консула Кабелла, татарский правитель Кампаньи Эминек-бей был утвержден после смерти бывшего правителя Мамака, так как обещал служить Каффе как верный сын и не выходить из ее воли и совета (prometando che ello screiva bon figiolo de Caffa e che no so partireiva do la lor volontae e consegio)[2].

Когда же Эминек нарушил обещание и поссорился с Каффой, запретив вывоз продовольствия в город через свою территорию, генуэзское правительство путем сложной интриги добилось его смещения. Эминеку пришлось бежать из Кампаньи.

Но генуэзцы дорого за это поплатились: свергнутый ими Эминек вошел в соглашение с турецким султаном, и татарское население крымских колоний, считавшее несправедливым изгнание Эминек-бея, приняло участие в осаде Каффы, которая принуждена была сдаться.

В нашу задачу не входит подробное изложение взаимоотношений генуэзцев с татарами. Отметим лишь, что следствием вмешательства Генуи в дела Кампаньи были волнения в среде татарского населения, граничившие с восстанием.

«Когда, — говорит Канале, — после смерти Хаджи-Девлет-Гирея между его сыновьями возникла междоусобица из-за трона, генуэзцы разжигали пламя этой вражды... и вмешивались в их распри»[3].

Генуэзцы держали в подчинении даже крымского хана Менгли-Гирея, который вынужден был соглашаться на их требования под угрозой, что они выпустят на свободу его мятежных братьев, содержавшихся в заключении в крепости Солдайя. По словам Эминек-бея, «если консул и старейшины Каффы захотят, то хан сделает все, что они потребуют»[4].

IV

К сожалению, в документах не сохранилось никаких сведений об условиях жизни населения в феодальных владениях генуезцев на территории Западного Кавказа. Зато в архивах Сан-Джорджио имеется обширный материал, характеризующий условия жизни феодальной деревни в районе генуэзских крымских колоний. Социальный облик этой деревни во второй половине XV в. значительно изменился в связи с образованием и быстрым ростом крупных феодальных поместий. Каким путем совершался этот феодализирующий процесс, ясно показывает следующий отрывок из документа: «... этот Андреоло[5] имеет деревню, называющуюся Караган (Caragaihi)[6], в окрестностях Солдайи, которая, как говорят, была ханской; а сам Андреоло утверждает, что она принадлежит ему и его братьям...[7], и так же намеревается сделать с деревней Скути (de casale Scuti)»[8].

Что названная деревня была ранее действительно татарской, об этом свидетельствуют слова консула: «и лучше уж он (генуэзский феодал), чем князья Готии, завладеют этой деревней»[9]. Консул Джу-

[1] Atti. VII, f. 2, p. 120.
[2] Ibid.
[3] M. Canale. Op. cit., II, p. 139.
[4] Atti, VII, f. 2, p. 121.
[5] Имя одного из феодалов, братьев Гуаско.
[6] Карагач.
[7] Atti, VII, f. 2, p. 387.
[8] Ibid., p. 318.
[9] Ibid.

стиниани находит даже с известной точки зрения выгодным для Генуи захват деревень местными генуэзскими феодалами. «В последнее время, — говорит он, — мы убедились, насколько полезен этот захват (речь идет о захвате братьями Гуаско деревни Скути. — *Авт.*), и даже [хорошо было бы], если бы они завладели и другими деревнями, смежными с этой, поскольку десять из этих деревень недавно захвачены Дербиберди (Derbiberdi(?)), владетелем Лусты, что причиняет ущерб нашей республике..., и этот Биберди уже покушается захватить деревню Скути у сыновей Антонио (Гуаско)»[1].

Захват земли генуэзскими феодалами на южном берегу Крыма во второй половине XV в. становится массовым явлением. В письме протекторов от 1456 г. говорится, что, по полученным в Генуе сведениям, некоторые лица в Солдайе захватили в свое личное владение земли общего пользования, «которые в народе называются общинными»[2].

Захватив в свои руки деревни, генуэзские феодалы ввели в них такую беспощадную эксплоатацию коренного населения, что жители предпочитали покидать родные места и уходить в город[3]. Мало того, не довольствуясь своими владениями, феодалы совершенно закрепостили население окрестных деревень и даже самой Солдайи[4]. По словам генуэзского консула, жители Солдайи доведены до того, что «не могут ни сеять, ни обрабатывать виноград, ни рубить дрова иначе как на землях, ими захваченных, таким образом, будто эти люди их подданные, а на свою работу ходят лишь с их разрешения»[5].

Из документов видно, что феодальная эксплоатация в генуэзских поместьях на Крымском побережье не ограничивалась отработочной рентой. По свидетельству генуэзского консула, те же феодалы Гуаско собирали с жителей своих владений денежный оброк «сверх обычной дани татарам»[6] и взимали прямые налоги четырех видов[7]. Именно на этой почве разгорается в 1474 г. борьба между этими всесильными феодалами и консулом Солдайи, не желавшим уступить без боя свое право эксплоатации населения. Борьба эта ярко отражена во всех документах, относящихся к этому периоду и собранных в архиве Сан-Джорджио под названием «процесса братьев Гуаско»[8]. Последние обвиняются консулом Солдайи, выступающим от имени Генуэзской республики и городского самоуправления Солдайи, не только в непризнании власти республики, но и в присвоении власти над населением, подлежащим юрисдикции Солдайи. Установив в качестве атрибутов этой власти в различных местах своих обширных владений виселицы и позорные столбы[9], братья Гуаско сами совершают суд и расправу над своими несчастными «подданными» «к величайшему ущербу и оскорблению великого учреждения Сан-Джорджио», «вопреки законам Каффы»[10].

Насколько велика была власть таких крупных феодалов во второй половине XV в., видно из того, что братья Гуаско сумели отразить все попытки консула Солдайи уничтожить силой атрибуты их власти.

---

[1] Atti, VII, f. 2, p. 318.
[2] Ibid., VI, p. 662.
[3] Ibid., VII, f. 2. p. 311.
[4] Мы уже упоминали о том, что во второй половине XV в. Солдайя, потерявшая свое торговое значение, приняла аграрный облик.
[5] Atti, VII, f. 2, p. 318.
[6] Ibid.
[7] Ibid., p. 319.
[8] Ibid., pp. 292—324.
[9] Furchas in supradicto casale Scuti et berlinas in lo casili (Atti, VII, f. 2, p. 318)
[10] Atti, VII, f. 2, p. 319.

Против отряда оргузиев, посланных консулом в замок Тассили для уничтожения виселиц и позорных столбов, они выставили со своей стороны вооруженную силу и даже «осмелились говорить, что если консул самолично явится их (виселицы и пр.) ломать, все равно не допустят этого сделать»[1].

Захватывая окрестные деревни в районе южного берега Крыма, генуэзские феодалы вступали при этом в борьбу с местными феодалами, тоже стремившимися к захвату деревень. В числе обвинений, предъявленных братьям Гуаско, фигурирует обвинение консула Солдайи в том, что они «осмелились сжечь загоны для скота у владетеля Лусты к величайшему убытку для последнего и к оскорблению князей Готии.., вследствие чего следует опасаться, как бы не возникли столкновения, могущие нас вовлечь в войну с названными князьями Готии»[2].

На основании сохранившихся документов можно сделать заключение, что в районе генуэзских крупных поместий на южном берегу Крыма во второй половине XV в. происходило не только разорение и обнищание крестьян, но полное обезлюдение и запустение деревень. Так деревня Карагайи, по свидетельству очевидцев, имела всего пять строений, да и в тех никто уже не жил, если не считать двух женщин, обнаруженных при обследовании покинутых жилищ. Вопиющая бедность этих жилищ (по словам тех же очевидцев, в доме находилось «немного пожитков», а из съестных продуктов лишь «немного муки»)[3] красноречиво свидетельствует о причинах этого запустения. Запуганное до последней степени (вспомним виселицы и позорные столбы, воздвигнутые братьями Гуаско на границе своих владений), население деревень на жестокую эксплоатацию феодалов отвечало массовым бегством. Документы говорят нам о том, что угнетенное население не только не осмеливалось протестовать против действий феодалов, но даже боялось жаловаться на все эти беззакония консулу Каффы: «жители той местности настолько запуганы и робки.., что не осмеливаются ни жаловаться, ни в Каффу явиться...»[4]. Таким образом во второй половине XV в. в районе генуэзских колоний Крыма уже был налицо значительный слой оторванного от земли сельского населения, которое в поисках работы и пропитания уходило в город.

V

Социальная структура города во второй половине XV в. также сильно изменилась. Под влиянием ряда причин, о которых мы еще будем говорить, процесс дифференциации городского населения крымских колоний в социальном и имущественном отношении принял исключительные размеры. Эта эпоха характеризуется расслоением всех категорий городского населения таких крупных торговых центров, как Каффа, концентрацией богатств в руках меньшинства за счет среднего сословия и полным исчезновением этого сословия на фоне быстро растущей пауперизации населения. В связи с углублением имущественной розни социальные противоречия между отдельными слоями населения города еще более углубляются, и на фоне усиления эксплоатации населения колоний во второй половине XV в. разгорается классовая борьба в городах.

---

[1] Atti, VII, f. 2, p. 319.
[2] Ibid.
[3] Ibid., p. 311.
[4] Ibid., p. 324.

Ярче всего проявляется она в городах такого типа, как Каффа, и поскольку именно об этой колонии документы сохранили больше всего свидетельств, мы останавливаем свое внимание в дальнейшем исключительно на этой колонии. Но прежде чем перейти к описанию всех сложных перипетий классовой борьбы в Каффе в изучаемую эпоху, необходимо остановиться на экономическом положении этого города.

Середина XV в. явилась переломным моментом в жизни Черноморских колоний. Основная причина этого была внешне-политическая — падение Константинополя и разрыв линии коммуникации между метрополией и колониями. «Даже нам самим неведомо, — писал дож генуэзский в 1453 г., — каким образом, не имея ни войска, ни денег, защитить от турецких полчищ города Каффу, Самастро, Чембало»...[1] Для сохранения за собой Черноморских колоний, этого «золотого дна», Генуя передала их в 1453 г. в неотъемлемую собственность банку Сан-Джорджио[2]. Этот акт лишь оформил то, что уже фактически происходило до XV в., так как денежная аристократия, стоявшая во главе банка, захватила в свои руки львиную долю доходов от колоний. Оставляя в стороне внешнюю историю этого периода, остановимся вкратце на выяснении внутреннего положения колоний во второй половине XV в.

Это положение являлось исключительно тяжелым, особенно в таких городах, как Каффа, где с ослаблением торговли, этого главного жизненного нерва города, экономическое положение большинства населения ухудшилось. В этот же период на первый план в жизни городского населения выдвигается вопрос о продовольственном снабжении. Каффа, расположенная в бесплодной местности и всецело зависевшая в части снабжения от окружающих ее сельских районов (бывших в руках татар), находилась в очень тяжелом положении. Полоса неурожаев, постигших Крым в начале этого периода, и политические осложнения с турками и татарами[3] были причинами жестокого голода, которого, по словам каффских чиновников, «следовало опасаться более, чем ига турецкого и хана татарского»[4]. Многочисленные документы свидетельствуют о тяжелом положении населения. Насколько велико было бедствие, видно из того, что в 1456 г. папа Каликст III разрешил употребить на оказание помощи голодающим жителям Каффы доходы от десятины и индульгенций, собранные во всех владениях Генуи[5].

Голоду неизбежно сопутствовали эпидемии и в первую очередь бич средних веков — чума, которая не раз уже посещала колонии. Документы свидетельствуют о том, что в 1456 г. от чумы вымерли целые гарнизоны солдат[6].

Началось массовое бегство жителей из Каффы, принявшее в 1454 г. исключительные размеры. «Город Каффу нашли мы опустевшим», — доносит прибывший из Генуи в 1454 г. консул Домокульта[7]. Документ от 5 декабря 1454 г. констатирует: «вследствие плохого управления и условий жизни уменьшилось число жителей»[8]. Бежали из

[1] Atti, VI, p. 32.
[2] Ibid.
[3] Татарский правитель Кампаньи Эминек-бей воспретил провоз продовольствия в Каффу через свои владения (Atti, VII, f. 2, p. 201).
[4] Atti, VI, p. 380.
[5] Ibid., p. 522.
[6] Ibid., p. 661.
[7] Ibid., p. 334.
[8] Ibid., p. 661.

города все, кто мог, начиная с богатых купцов, боявшихся за свои капиталы и товары[1], и кончая мелким рабочим людом.

Такое же массовое бегство происходило и из других городов. В 1455 г. консул Солдайи Карло Чикала доносит протекторам банка Сан-Джорджио, что из-за голода «некоторые рабочие уже уходят в другие места за заработком... Опасаемся, что и другие последуют их примеру, о чем весьма печалимся»[2].

Оставшиеся в Каффе купцы постарались использовать свое выгодное положение и развили безудержную спекуляцию. В результате непомерно повысились цены на главный предмет питания — просо[3]. В 1474 г. в Каффе ощущался большой недостаток в просе, так как, по свидетельству консула Кабелла, «большинство горожан продало свои запасы жителям Трапезунда, потому что закупили просо у татар по восьми аспри за меру, а затем перепродали его трапезундцам по 10 и 12 аспри... И вследствие такой алчности Каффа осталась почти без проса, так как даже бедные женщины, у которых его было всего три или четыре меры, продали все, думая, что после уборки нового урожая закупят просо по дешевой цене...»[4].

Конечно, на подобных операциях наживались только крупные акулы — ростовщики, масса же населения продавала свои последние запасы из-за крайней нужды.

Прожиточный минимум в Каффе неуклонно возрастал. Это видно из того, что вскоре после передачи колоний банку Сан-Джорджио последний был вынужден повысить жалованье своим служащим в виду их массового отказа ехать в колонии на старых условиях. Впрочем, это повышение коснулось только некоторых групп и преимущественно высшей администрации.

Часть служащих, которых прибавка не коснулась, постаралась сама улучшить свое материальное положение, как могла, прибегая для этого ко всякого рода дозволенным и недозволенным средствам — вымогательствам, поборам и взяткам. То же делали купцы, откупщики и крупные ростовщики-спекулянты, для которых экономический упадок послужил новым поводом к усиленной эксплоатации масс. В виду того, что вопрос о формах эксплоатации в городах-колониях типа Каффы играет весьма важную роль, остановимся на этом вопросе несколько подробнее.

С развитием и экономическим ростом генуэзских колоний эксплоатация со стороны купеческо-ростовщического капитала принимает все более организованный характер. В конце XIV в. она сосредоточилась в руках небольшой группы правящей денежной аристократии — крупнейших акционеров банка св. Георгия (officium comperarum Sancti Georgii.).

Как колониальный город, Каффа являлась предметом усиленной эксплоатации со стороны метрополии. Последняя рассматривала этот богатый торговый город, как крупнейший источник доходов для рас-

---

[1] В донесении от 1455 г. говорится: „Из Каффы отбыли генуэзские граждане купцы и латиницы“ (Atti, VI, p. 115).

[2] Atti, VI, p. 305.

[3] О дороговизне жизни в Каффе упоминает еще Тафур, испанский путешественник, посетивший Каффу в период ее расцвета в 1435 г. „Купцы, — говорит Тафур, — привозят в Каффу всевозможные товары, так что там можно достать все, но очень дорого“; вследствие этого местные бедняки „даже девушек предлагают иностранцу и приводят к нему на дом за меру вина, так как в вине там ощущается недостаток, и во всех продуктах, даже в хлебе...“ „По этой же причине,— говорит он,— там часто случаются грабежи“. (Desimoni. Pero Tafur e suoi viaggi — Atti, XV, p. 339).

[4] Atti, VII, f. 2, p. 121.

строенных финансов республики. Поэтому в период наивысшего расцвета Каффы как торгового города (XIV—XV вв.) мы должны считать основной формой эксплоатации городского населения налоговую политику Генуи в черноморских колониях.

Чтобы уяснить себе, какое огромное значение приобрела со второй половины XIV в. и в XV в. налоговая система в эксплоатации черноморских колоний вообще и Каффы в особенности, необходимо коснуться хотя бы в общих чертах организации финансового дела в Генуэзской республике в связи с историей банка Сан-Джорджио.

По словам Канале, торговые компании, существовавшие в Генуе еще в XIII в., охотнее всего «вкладывали свои капиталы в торговые операции на Леванте, откуда извлекалась самая большая прибыль»[1].

В 1252 г. они объединились в одно общество с основным капиталом в 28 тысяч luoghi (акций). Городская казна, постоянно нуждавшаяся в деньгах для ведения войн, прибегала к ссудам у этой компании. Так в Генуе возникли государственные долги, в обеспечение которых кредиторам были предоставлены права на часть государственных доходов, а именно отчисление 7—10% доходов от косвенных налогов на хлеб, соль, вино и т. д. Таким же путем возник так называемый Крымский банк (Compere di Gazzeria). В 1407 г. произошло слияние обоих банков[2]. Благодаря консолидации всех долгов Генуи капитал, помещенный в Compere di S.-Giorgio, постоянно возрастал: в 1417 г. он равнялся 2 734 223 лир, в 1454 г. — 7 350 320 лир. Но поскольку в руках пайщиков банка Сан-Джорджио сосредоточивались теперь почти все доходы государства, «извлечение этих доходов должно было сосредоточиться в их же руках»[3]. Захватив в свои руки почти все источники государственных доходов, банк Сан-Джорджио был «непосредственно заинтересован в том, чтобы доходы эти были как можно более велики»[4].

В акте передачи колоний банку Сан-Джорджио (в 1453 г.) подробно перечисляются передаваемые ему отныне права на доходы со всевозможных налогов и сборов, которыми облагается и будет впредь обложено население колоний: права на пошлины, солеварни, дорожные сборы и повинности, а также на подушную подать, подоходный налог[5] и т. д.

Извещая консульство и казначейство (massaria) Каффы о посылке в колонии законтрактованных цеховых ремесленников, протекторы не забывают упомянуть о том, что «с них следует взимать налоги и сборы по примеру всех прочих»[6].

Эти налоги и сборы были крайне многочисленны и разнообразны. Устав 1449 г. перечисляет далеко не все виды обложения. Из него мы узнаем прежде всего, что земля, занятая под строения в Каффе, облагалась особым налогом — «terraticus». Размеры этого налога с каждого жителя, будучи раз определены, не подлежали уменьшению иначе, как после особого тщательного расследования[7].

Никто, кроме консула, не мог быть также освобожден от налога на съестные продукты — «victualia», даже бедные квартиранты, живу-

[1] M. Canale. Op. cit., II, p. 350.
[2] Ibid., p. 351.
[3] А. Каминка. Акционерные компании, I, стр. 152, 1902.
[4] Там же, стр. 153.
[5] „Jura cabellarum salinarum pedagiorum... et etiam focagiorum avariarum angariarum et perangariarum“ (Atti, VI, p. 38).
[6] Atti, VII, f. 1, p. 300.
[7] Ibid., f. 2, „Statuto di Caffa“.

щие в чужом доме и оплачивающие вскладчину общий стол (qui stet in domo alicujus ad scotum)[1]. Речь идет, очевидно, о рабочих артелях или о бедняках. «Как и в городах Италии, — говорит Ковалевский, — налоговая система в Черноморских колониях Генуи обнимала собою, наряду с прямыми податями, еще сборы с предметов потребления и таможенные пошлины»[2].

Налоговая система в Черноморских колониях была тесно связана с системой откупов, представлявшей собою не менее жестокую форму эксплоатации городского населения. Почти все налоги и сборы должны были по уставу 1449 г. сдаваться на откуп с публичного торга тому, «кто больше даст». Равным образом с публичного торга продавались и некоторые «выгодные» должности в колониях (впоследствии число таких должностей было значительно увеличено). Даже такие ответственные места, как пост консула в Копе и Тане, продавались с разрешения протекторов консульством Каффы. От подобной системы страдали прежде всего неимущие слои населения, так как откупщики налогов и «хлебных» должностей, естественно, стремились за свои деньги выжать из населения сколько могли.

Со второй половины XV в. налоговый гнет заметно усилился. В одном только 1456 г. были введены три новых косвенных налога, судя по документу, где упомянуты «tres novas cabellas novissime impositas», и четвертый (в Солдайе), заключавшийся в надбавке одного аспри на митрий вина (pro mitrio vino). В 1459 г. удвоили пошлину на зерно (balzello de grani)[3]. Эти новые налоги должны были тяжело отразиться на положении низов городского населения и пополнить ряды тех, кто и до этого вынужден был «приводить девушек на дом к чужестранцам за меру вина».

Ко второй половине XV в. население было окончательно разорено в результате такого энергичного выкачивания налогов. Об этом можно судить по тому, что жители Каффы не реагировали даже на такую угрозу, как опасность турецкой осады в случае неуплаты контрибуции. Размеры этой контрибуции были очень велики: в 1455 г. была наложена ежегодная дань в 3 тыс. венецианских червонцев[4], в 1456 г. она была увеличена на 600 червонцев[5], в 1470 г. сумма ежегодной контрибуции поднялась до 8 тыс. червонцев[6].

Собирать деньги для уплаты дани татарам приходилось, по признанию чиновников Каффы, с большим трудом и не без столкновений. «Мы хотели, — пишут они, — чтоб горожане уплатили дань татарам, но сделать это считаем невозможным... по причине большого обеднения жителей»[7].

Даже сами консулы Каффы, заинтересованные в росте налоговых сборов, принуждены были отметить нерациональное усиление налогового пресса. Так, в письме от 21 октября 1454 г. консул Каффы Вивальди сообщает: «в настоящее время не было бы полезно облагать этот город большими налогами», так как население «вследствие вышеуказанных нужд... достаточно отягощено»[8].

На фоне этого оскудения «богатейшего» города, каким считал

[1] Atti, VII, f. 2, „Statuto di Caffa“.

[2] М. Ковалевский. Юридический быт генуэзских колоний (Сборник по истории права, посвящ. М. Ф. Владимирскому-Буданову, стр. 225, Киев, 1904).

[3] M. Canale. Op. cit., II, p. 131.

[4] Atti, VI, p. 299.

[5] Ibid., VII, f. 1, p. 370.

[6] Ibid., pp. 743, 747.

[7] Ibid.

[8] Ibid., VI, p. 114.

Каффу Тафур, социальные противоречия выступают поразительно ярко.

Если для социального облика Каффы XIV и первой половины XV вв. характерно преобладание торгового сословия, то в имущественной структуре города второй половины XV в. наблюдаются самые резкие контрасты. Документы говорят, что все экономические нити города находились в руках десятка богачей. Что же касается среднего имущего сословия в Каффе, то во второй половине XV в. оно, если судить по документам, почти совершенно исчезает.

«У горожан немыслимо сейчас извлечь ни гроша (extraere denarium), — писали по поводу сбора налогов из консульства Каффы в Геную в 1455 г., — так как их мало и они почти ничего не имеют...» [1] Несколькими строками ниже снова читаем: «Не знаем, где сможем найти таких, кто бы дал [денег], так как в городе отсутствуют купцы и все другие имеющие деньги люди...» [2]

«Собрать деньги для уплаты дани татарам с жителей, — пишет консул Каффы, — возможно будет разве только с величайшим трудом и не без столкновений (cum certo scandalo).., принимая во внимание большое обеднение населения (attenta maxima paupertate in eis vigente)» [3]. Наконец, вот еще одно краткое, но вполне определенное заявление генуэзской администрации по адресу горожан: «[среди них] не найдется и пяти человек состоятельных...» [4]

Итак, если верить документам, то Каффа, считавшаяся еще в конце XIV в. «богатейшим» городом, имела во второй половине XV в. только ничтожную прослойку средне-зажиточных горожан.

Но если роль и значение средней прослойки в социальной структуре населения Каффы во второй половине XV в. сильно снижаются, то тем более увеличиваются вместе с количественным ростом роль и значение социальных низов. Документы ясно говорят о грозном явлении пауперизации большей части населения Каффы в этот период. Устав 1449 г. упоминает о существовании в городе «officii misericordiae» [5], т. е. благотворительного городского учреждения помощи бедным. Но после передачи колоний банку Сан-Джорджио количество неимущих, требующих настоятельной помощи, настолько увеличивается, что город уже не в состоянии оказать эту помощь своими средствами, даже при поддержке Генуи, несколько раз отправлявшей в Каффу корабли с хлебом. До какой степени была сильна нужда в Каффе среди низов и как возросло общее количество неимущих в эту эпоху, видно из того, что папа Каликст III устраивал в Италии особые сборы «в пользу бедных Каффы» [6].

Документы говорят нам достаточно ясно, из каких элементов составился слой городской бедноты в Каффе. Мы знаем, что Каффа являлась не промышленным, а торговым центром и важнейшим портовым городом Северного Причерноморья. Многочисленных агентов крупного и мелкого торгового капитала, орудовавших в Каффе,

---

[1] Atti, VI, p. 367; см. также письмо от 22/III 1456 г., где отмечается „малочисленность и обеднение жителей Каффы“ (ibid., p. 589).

[2] Atti, VI, p. 367. Это написано в 1455 г., почти тотчас же после падения Генуэзской Перы (предместье Константинополя, принадлежавшее генуэзцам и отнятое турками в 1453 г. в связи с завоеванием Константинополя). Это событие вызвало массовое бегство жителей Каффы, и в первую очередь — состоятельного купеческого сословия, боявшегося за целость своих капиталов.

[3] Ibid., p. 359.

[4] Ibid., p. 367.

[5] Ibid., VII, f. 2, p. 617.

[6] Ibid., VI, p. 717.

обслуживала целая армия представителей подсобных профессий: портовые рабочие, грузчики и прочие чернорабочие. Они-то и составляли низший слой населения города.

О многочисленности этого слоя можно судить хотя бы по словам путешественника XIV в. Шильтбергера, который говорит, что одни только хаммалы (грузчики) занимали тогда в Каффе целый квартал [1].

Вследствие особых условий рыночной торговли в XV в. хаммалы были необходимы не только в порту. В одном документе [2] говорится, что из боязни воров и злоумышленников лавочники предместий принуждены были ежедневно уносить свои товары и пожитки вечером из лавки к себе домой, а утром — приносить их из дома в лавку, кто на своих плечах, а кто с помощью носильщиков (cum camali). В уставе 1449 г. в связи с перечислением праздничных расходов на транспорт тоже упоминаются «хаммалы или рабочие» [3].

Основную массу низшего сословия составляли местные жители, в среду которых вклинивался пришлый элемент из представителей западных и восточных народов.

Хотя ремесло и не играло первенствующей роли в экономике этого торгового города, здесь все же имелись представители «всех цехов», по выражению документов, — начиная от ремесленников, обслуживавших местные нужды населения (пекари, мясники, портные и т. п.) и кончая ремесленниками, работавшими для нужд торговли (кожевники, меховщики) [4]. Во второй половине XV в. неимущее население Каффы пополнялось также разорившимися ремесленниками, подмастерьями и т. п.

Наконец, в связи с разложением деревни, наблюдавшимся в эту эпоху в районе генуэзских колоний Крыма, ряды социальных низов города пополнялись и выходцами из деревни, ищущими работы по найму. О том, что категория наемных рабочих в середине XV в. уже существовала в генуэзских колониях Крыма, мы можем заключить хотя бы из письма консула Солдайи (от 1455 г.), в котором он доносит протекторам, что в результате голода и других бедствий часть «бедных рабочих, не находя работы, ушла по направлению к Монкастро (Аккерман), где лучше могут обеспечить себе жизнь в течение нескольких месяцев» [5].

В таких условиях социальные противоречия в Каффе должны были значительно обостриться [6]. Непрекращающиеся волнения, недовольство и открытые восстания социальных низов — вот чем характеризуется этот период в жизни Каффы. К описанию этих моментов классовой борьбы мы и переходим.

Главную массу недовольных составляли социальные низы или упомянутое выше populo minuto. В Каффе это были грузчики и другие портовые рабочие, стоявшие, повидимому, вне цехов, затем подмастерья, мелкие ремесленники и прочие непривилегированные слои населения, а также солдаты и матросы.

---

[1] Путешествие Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 год. Пер. с нем. Ф. Бруна („Зап. Новоросс. ун-та“, отд. 1, год 1, ч. I, в. 1—2, стр. 57).

[2] Atti, VI, p. 319.

[3] „Pro camali sive laboratoribus“ (ibid., VII, f. 2, p. 617).

[4] Последних было особенно много. Еще в документах XIII в. говорится, что меховщики в Каффе занимали особую улицу — carubius pelliparioruin. (Actes des notaires génois de Péra et de Caffa, p. 298).

[5] Atti, VI, p. 305.

[6] Характеристика общественных отношений, приведенная нами выше, относится лишь к районам южного берега Крыма, принадлежавшим к генуэзским колониям.

Все возрастающее брожение в массах вылилось в вооруженное восстание, о котором чиновники (четверо выборных из горожан) доводят до сведения протекторов в следующих выражениях: «15 числа предыдущего месяца[1] возникли в Каффе большие беспорядки. Разгорелось в городе сражение (sublevata fuit terra ad arma)... и более пятидесяти вооружившихся восклицали: «да здравствует народ, смерть нобилям!» (Vivat populus! Interficiantur nobiles!)»[2].

Сопоставляя этот документ с другими, более поздними, являющимися откликом на это событие, мы можем утверждать, что здесь произошло подлинное народное восстание. Лица из генуэзской администрации, заподозренные первоначально как зачинщики[3], оказались совершенно не виновными в возведенном на них впопыхах обвинении. Это выяснилось во время строжайшего следствия, возбужденного по требованию протекторов. И тогда оказалось, что в восстании участвовали действительно только «некоторые из генуэзских солдат», прочие же были «homines minuti sine nomine», по образному выражению документа.[4]

Несомненно, существовала связь между каффской городской массой, восставшей против господства «нобилей», и ее единомышленниками из Генуи, недавно прибывшими оттуда на корабле. Как сообщают документы, народ бросился на пристань, где стоял корабль Ачеллино Леркари из Генуи. Эту связь и вообще «вредное» влияние генуэзцев на умы граждан Каффы отмечают и упомянутые выше четверо «боргези», донесившие о событиях в Каффе: «Отплыл отсюда корабль Ачеллино Леркари, на котором отправилось назад много латинцев (т. е. генуэзцев), чей отъезд нам, разумеется, приятен, так как многие из них были зачинщиками раздоров, и по их вине постоянно возникали столкновения»[5].

На этом важном документе нам следует остановиться подробнее, так как в дальнейшем по поводу описанного мятежа завязалась большая переписка между метрополией и колониальной администрацией. Из этой переписки видно, какое важное значение было придано в Генуе событиям в Каффе. На основании тревожных известий о мятеже и об «опасных» настроениях, овладевших умами, в Генуе состоялось экстренное переизбрание консула и других должностных лиц, только что перед этим назначенных в Каффу, так как прежде избранные «нобили» все до одного отказались ехать в мятежную столицу Крыма. Таким путем на должность первого консула Каффы попал ремесленник (artefice) Томмазо Домокульта вместо избранного ранее «нобиля» нотариуса Якопо Брачелли, что, кстати, нисколько не отразилось на общем положении дел.

О дальнейшем ходе событий узнаем из документов. «Боргези» просили прислать строгого начальника, чтобы он «остановил разбегающихся жителей и не побоялся бы восстановить порядок»[6]. Кроме того, они желали получить инструкции относительно преступников: «Наше дело — вам донести о преступлении, а ваше — подвергнуть каре сообразно с тяжестью этого преступления». Протекторы распорядились тотчас же детально расследовать дело о мятеже. Но поскольку в восстании участвовали, как говорилось выше, «homines

---

[1] Сентября 1454 г.
[2] Atti, VI, p. 117.
[3] Генуэзцы — братья Джудичи, чиновник консульства Симоне де Вальдеттаро и брат консула Каффы Джулиано да Леоне (ibid).
[4] Atti, VI, p. 117.
[5] Ibid., p. 116.
[6] Ibid., p. 117.

minuti sine nomine», то оказалось возможным подвергнуть допросу только трех чиновников консульства, заподозренных как главарей. Все трое оказались абсолютно не причастными к делу.

Расследование показало, что один из них, писец Симоне де Вальдеттаро, «услыхав шум и не зная о его причине, схватился за оружие, но не с тем, чтоб кого-либо тронуть, а, так сказать, защиты своей ради»[1]. Впрочем, в дальнейшем выяснилось, что бравый чиновник обнажил оружие не только в свою защиту, но и в защиту некоторых нобилей, с которыми народ хотел расправиться по-своему. Документы называют в числе этих нобилей некоего Джакомо де Гримальди, богатого и влиятельного генуэзца, известного своими связями с владетелем замка Матреги.

Рассмотрев дело другого «преступника» — Джулиано де Леоне, который оказался братом консула Каффы, судьи пришли к следующему заключению: «Джулиано, побуждаемый страхом, что Ачеллино Леркари захватит корабль Андреа Сенестрари, на котором товару его было на значительную сумму, судя по его состоянию», побежал удостовериться в его целости — «salvandi raubam suam», как показали свидетели, но он никоим образом не подстрекал народ к восстанию и не поносил правительство: «nunquam cramavit nec verbum malum dixit»[2].

Следствие обелило всех троих. За благонадежность оклеветанных даже поручились «почтенные граждане Каффы» в особом послании протекторам.

Не добившись улучшения своего положения путем неорганизованного выступления, не имевшего ни вождя, ни определенной программы (если не считать явно выраженного намерения свергнуть господство нобилей), «minuti» продолжали глухо волноваться. В последующих донесениях консульства беспрестанно упоминаются народный ропот, почти всеобщее недовольство правящими и волнения, которые в документах фигурируют под общим неясным названием «tumulti».

В письме от 8 февраля 1458 г. протекторы предписывают консулам крымских колоний, «поскольку известно, что некоторые из граждан генуэзских или же из жителей подчиненных нам местностей осмелились относиться с пренебрежением к нашим должностным лицам и неподобающие произносили речи, а многие не только речи, но и, вооружившись, подняли великую смуту (tumultus), то желаем, чтобы против такого рода дерзких преступников, так же как против воров, мошенников и прочих таких лиц, вы применяли самые суровые меры, дабы расправа ваша с ними для всех могла служить памятным примером»[3].

3 февраля 1464 г. протекторы в письме упрекают горожан Каффы в неповиновении и высокомерии и увещевают их позаботиться о благе города: «И это послужит причиной того, что отовсюду в ваш город станут стекаться жители, а вы будете от того богатеть.» Далее рекомендуется: «Изымайте из своей среды крикунов и сеятелей раздоров, которые, чем вы будете богаче, тем более станут вредить вам»[4].

В другом письме протекторов общественным ревизором (sindicatori), тоже от 3 февраля 1464 г. предписывается применять суровые меры против «смутьянов и бездельников». «Дерзость, непочтительность и наглость некоторых негодяев по отношению к нашим правящим и другим [должностным] лицам, — говорят протекторы, — побудили нас поручить уважаемому доктору права господину Леонардо да Пьетро-

[1] Из оправдательного письма Вальдеттаро в Геную (Atti, VI, p. 316).
[2] Atti, VI, p. 363.
[3] Ibid., p. 810.
[4] Ibid., VII, f. 1, p. 290.

санта, назначенному викарием консула Каффы, судить этих бездельников со всей строгостью, какой заслуживает их поведение»[1].

Инструкция консулу Кабелла от 1472 г. напоминает, что «в городе Каффе имеются зложелатели, опасные люди и сеятели раздоров (seminatores litium), столкновений и других зол, каковых людей многие сведущие в каффских делах считают полезным изгнать из города». Консулу поручается тщательно собрать правдивые сведения об этих «дурного поведения людях» (de hujusmodi hominibus malae conditionis), а затем сообщить в Геную «их имена и в каких проступках каждый из них обвиняется». Виновных следовало, по мнению протекторов, «изгнать или иначе наказать для примера прочим»[2].

VI

За отсутствием данных мы не можем говорить о роли и значении ремесленных цехов и о степени их участия в описанных нами народных движениях. Документы об этом умалчивают. Зато они четко выдвигают активную роль солдат и матросов — самого беспокойного элемента в Причерноморских колониях. Это вполне понятно, если принять во внимание их бесправное и тяжелое материальное положение. Большая сплоченность матросов и солдат, вызванная самым характером их работы, имела в данном случае также немаловажное значение, и, вероятно, именно этим следует объяснить то обстоятельство, что их единичные выступления, в противоположность аналогичным выступлениям «minuti», не всегда кончались поражением.

В 1459 г. консулу и массариям Каффы было велено «из всего числа солдат (soci), находящихся в Каффе... избрать сотню наиболее подходящих (utili) и способных, которые, после роспуска остальных, должны остаться на жалованье в размере одного соммо или 200 аспри в месяц каждый». Далее предписывалось «уволить из прежних всех тех, которые стояли во главе восстания»[3].

Где и когда произошло это восстание, как оно протекало и чем окончилось, к сожалению, нам не известно. Во всяком случае в документах сохранился ряд откликов на него. Так, в том же 1459 г. протекторы банка Сан-Джорджио издали приказ следующего содержания: «Ввиду того, что солдаты гарнизонов Самастро, Солдайи и Чембало большей частью оказываются бесполезными, и что это до некоторой степени происходит от того, что консулы и коменданты тамошних городов в случае смерти или бегства[4] которого-либо из солдат место отсутствующего замещают местными жителями греками.., постановляем и приказываем, чтоб ни консулам ни комендантам крепостей тех городов не дозволялось замещать таковых отсутствующих ни греками, ни другими местными уроженцами под угрозой, что жалованье, выплаченное таковым солдатам, будет отнесено на их собственный счет»[5].

В письме от 30 декабря 1465 г., т. е. через шесть лет после этого, мы опять читаем: «Консулам Солдайи и Чембало... поручаем, чтобы все время тщательно пересматривались [списки] солдат и следилось за тем, чтоб в числе их не было людей бесполезных или же людей подозрительной национальности»[6].

[1] Atti, VII, f. 1, p. 290.
[2] Ibid., p. 871.
[3] Ibid., VI, p. 915.
[4] Дезертирство солдат было постоянным явлением.
[5] Atti, VI, p. 917.
[6] Ibid., VII, f. 1, p. 373.

Опасения и предосторожности протекторов без сомнения вызваны как упомянутым восстанием, так и вообще частыми «бунтами» среди солдат и матросов, вспыхивавшими беспрестанно то тут, то там в Черноморских колониях Крыма. Укажем на волнение среди солдат гарнизона крепости Чембало на почве повышения цен на продукты консулом, который держал там таверну.

Приведем несколько случаев таких выступлений солдат и матросов. Вот, например, описание одного из критических моментов на корабле, везшем консула Домокульта из Генуи в Каффу: «Бунтовщики явились к консулу и грубо потребовали, чтоб он разделил между ними захваченную добычу. Они дали понять, что в случае отказа захватят власть на корабле в свои руки и направят его, куда им заблагорассудится»[1].

На этот раз консулу удалось успокоить «бунтовщиков» обещанием разделить между ними по прибытии в Каффу добычу, состоявшую из захваченных по дороге товаров с турецкого судна[2].

Известен другой случай, происшедший в 1456 г., когда команда судна, отправленного из Каффы для подавления беспорядков в замке Батиар[3], захваченном в отсутствие владельца его же собственным комендантом (вероятно, не без поддержки местных жителей), восстала и, высадив на берег судохозяев и капитана, захватила власть на судне в свои руки. Восставшим удалось благополучно добраться до Трапезунда, несмотря на отправленную за ними из Каффы погоню[4].

Следует заметить, что на обоих судах, как и вообще во всех известных нам случаях восстания, состав команды был разноплеменный, и дисциплину среди солдат и матросов приходилось поддерживать при помощи самых суровых мер наказания. Вот, например, инструкция Томмазо Сенарега начальнику флотилии, отправляемой в Каффу (от 23 марта 1456 г.): «И если на том или ином судне... возникнет какое-либо недовольство и ропот, и тайное или явное намерение сеять раздор между другими, то в этом случае мы желаем, чтоб вы по секрету сообщили хозяевам [судов], что имеете приказ наказать таких людей на страх прочим (ad terrorem aliorum) и после того потребуйте у них поддержки для выполнения этого»[5].

VII

Одной из форм классовой борьбы в Каффе того времени были также религиозные волнения среди многочисленного армянского и греческого населения города. Под флагом религиозной борьбы «вопрос шел прежде всего о весьма положительных материальных классовых интересах», и «если интересы, потребности и требования отдельных классов скрывались под религиозной оболочкой, то это нисколько не меняет дела и легко объясняется условиями времени»[6].

Говоря о национальной структуре Каффы, мы отмечали, что армяне составляли две трети ее населения. Во второй половине XV в. все армянское население, жившее в Каффе, делилось на две антагонистические группы: на одном полюсе стоял богатый банкир Кайарес с небольшой группой эксплоататоров, на другой — вся остальная

[1] Atti, VI, p. 183.

[2] Впрочем, консул нарушил свое обещание. Тотчас же по прибытии судна в Каффу, по приказанию консула, зачинщики были заключены в тюрьму (in calcere), а над всеми участниками „бунта“ возбуждено строгое следствие (из донесения консула Домокульта — Atti, VI, p. 334).

[3] На Кавказском побережье.

[4] Atti, VI, pp. 356—357.

[5] Atti, VI, p. 162.

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., VIII, стр. 128 (Крестьянск. война в Германии).

масса армянского населения, впрочем также не составлявшая единого целого.

В истории смещения армянского епископа и борьбы, завязавшейся вокруг епископской кафедры, борьбы, в которой приняли участие самые широкие слои армянского населения, видную роль играл Кайарес. В письме протекторам банка от 12 февраля 1475 г. консул Кабелла подробно доносил о борьбе двух кандидатов на пост армянского епископа Каффы — Тер-Каранета и Тер-Ованеса (Dercoranet e Dercovanes): «И да будет известно вам, синьоры, что... от того начались среди армянского народа большие раздоры, которые все возрастали, и сделались величайшие беспорядки, и возник мятеж, так что в одной из церквей собралось более трехсот человек. Я послал туда верхового с приказанием усмирить их и велел привести ко мне четверых или шестерых из их главарей, которых заставил поручиться в том, что не будут устраивать беспорядков и заговоров под угрозой штрафа в две тысячи соммо от каждой партии, после чего беспорядки прекратились»... [1]

«Дело это остается с тех пор в том же положении, — продолжает консул, — потому что Кайарес, сын Котульбея..., который стоит во главе партии, — весьма богатый человек и близкий родственник Тер-Каранета, претендующего на сан епископа...» [2]

Как видно из другого донесения того же консула, Кайарес присылал ему «в подарок» двести золотых дукатов, чтобы он «дозволил низложить епископа, который сейчас находится на престоле, и поставил другого, приходящегося ему близким родственником» [3]. Консул отмечает, что «этот Кайарес очень богат и ссужает деньгами многих из жителей нашего города», почему и возомнил, что «может делать по-своему благодаря деньгам и поддержке тех, кто ему должен» [4].

Не будем останавливаться на подробностях этого дела, как-то: происки Кайареса перед армянским патриархом, лавирование генуэзского консула пред лицом нависшей турецко-татарской угрозы и т. п. По словам консула Кабелла, «большинство армян и хороших людей (bona gente) желало иметь епископом того, кто находился тогда на кафедре», а вторая партия (Кайарес) «состоит только из восьми или десяти богачей» [5].

Выступление трехсот армян в связи с борьбой вокруг епископской кафедры показывает, насколько накалена была атмосфера и как сильно было недовольство низов и средних слоев армянского населения Каффы действиями ничтожной кучки эксплоататоров.

Совершенно очевидно также, что в лице Кайареса и его сообщников, богатых армянских купцов, мы имеем дело с ростовщическим и купеческим капиталом, т. е. с теми двумя формами капитала, которые, по словам Маркса, завещаны нам средними веками, «достигают зрелости в самых различных общественно-экономических формациях и до наступления эры капиталистического способа производства считаются капиталом как таковым...» [6]

---

[1] Atti, VII, f. 2, pp. 197—198.
[2] Ibid., p. 120.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid., p. 199.
[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVII, стр. 820 (Капитал, I). По поводу того, что армянский капитал действительно играл большую роль в торговле южного берега Крыма с татарами, интересные сведения приводит В. Кондараки (Универсальное описание Крыма, VIII, стр. 61—66, 1875). По его словам, армяне лучше

Говоря о классовом антагонизме среди армянского населения Каффы, необходимо остановиться на вопросе о том, как реагировало на эту борьбу генуэзское правительство. В сложных условиях и весьма ненадежной обстановке генуэзских колоний во второй половине XV в. волей-неволей приходилось считаться как с представителями армянского капитала, так и вообще с массой армянского населения[1]. Армяне представляли серьезную угрозу для генуэзского владычества в крымских колониях. В письме от 12 мая 1475 г. (дата получения) «officiales monetae», т. е. чиновники финансового ведомства Каффы, просили протекторов принять меры к прекращению волнений среди армян по поводу переизбрания их епископа. Они опасались возникновения беспорядков, которые не так легко будет успокоить, так как армяне составляют две трети жителей Каффы. До сих пор армяне были преданы Генуе и повиновались ее правительству, но из-за злоупотребления консулов властью в народе начали поговаривать: «До каких же пор эти латинские консулы и нас будут развращать и благополучию нашему вредить?»[2] В своих комментариях к этому документу Винья добавляет от себя фразу, которую, по его мнению, чиновники не договаривают: «В их власти захватить Каффу в свои руки и сделаться самим хозяевами»[3].

Таким образом, «раздоры», возникавшие среди армян на почве религии, имели гораздо более глубокое основание. О классовой подоплеке религиозных группировок среди крымских армян можно также вывести заключение из свидетельства Кондараки об успехе среди них католической пропаганды: по его словам, переходили в католичество самые богатые и честолюбивые из армян. Армянская аристократия, жаждавшая преимуществ и равноправия, охотно переходила в католичество. Армяне разделялись на две партии: те, которые «передались папе» (католическая партия), постепенно сливались с генуэзцами — это была господствующая верхушка. Часть армян, несогласная с переходом «в латинство» (грегорианская партия), ушла в окрестности Каффы и основала там поселения; об этом свидетельствуют развалины армянских храмов и обширного монастыря в Старом Крыме.

Такое же усиленное внимание привлекали к себе со стороны Генуи междоусобицы, беспрестанно возникавшие на почве религии между католическими епископами Каффы и другими иноверцами, преимущественно греками. Но документы не сохранили нам отображения борьбы отдельных классов и группировок среди греческого населения Каффы, и лишь из отдельных инструкций и писем протекторов о бережном обращении с иноверцами можно заключить, что среди греческого населения Каффы дело обстояло также очень неблагополучно.

В письме от 6 июля 1473 г. протекторы увещевают «преподобного во христе отца епископа Каффы... воздерживаться по мере возможности от вмешательства... в дела, касающиеся еретиков и неверных, поскольку более всего от такого рода вмешательств возникают между

европейцев умели обходиться с татарами, так как знали их нравы и язык. Они содействовали увеличению торговли Каффы, и генуэзцы, вероятно, обделывали свои дела в ханстве через тех же армян.

[1] Atti, VII, f. 2, p. 727.

[2] Ibid., p. 531.

[3] Протекторы писали в Каффу, что следует стараться, „чтобы ни тот ни другой из названных соперников не мог быть возведен в епископы или же восстановлен в этом сане“; предполагалось остановиться на нейтральной кандидатуре, способной „прекратить раздоры“ (ibid., p. 31).

ными волнения, которыми пренебрегать не следует»[1]. Мы знаем, к чему сводилось такое вмешательство. «Преподобный отец» то и дело посягал на и без того немногочисленные старинные привилегии греческого населения Каффы в части его самоуправления. Насколько сильно реагировало греческое население на такого рода посягательства, можно заключить из некоторых выражений документов. Например, протекторы заявляют, что народ доведен «до отчаяния», и это грозит опасностью существованию генуэзских колоний: «если бы мы не поручили нашим должностным лицам из мирян (officiales nostros laicos) принять соответствующие меры, то должно было бы опасаться гибели и Каффы и других наших владений, чего избави боже![2]» Речь шла, очевидно, об открытом возмущении греческого населения Каффы действиями католического епископа, слишком далеко зашедшего в своем рвении: вопреки прямому приказу протекторов, он осмеливался вмешиваться повседневно в дела армян, греков, евреев и «прочих еретиков и неверных».

Вмешательство генуэзцев во внутренние дела татарского населения вызвало в 1471 г. волнение в самой Каффе. По словам документа, «такой ужас и смятение были в городе, с каких никогда доселе не слыхивали».[3] Причиной этого было покушение на убийство свергнутого Менгли-Гиреем Наурдаулета, проживавшего в Каффе в качестве пленника: покушение не удалось, и заговорщик (генуэзец) был убит татарами. Стычка между отдельными партиями татарского населения разрослась в серьезное побоище в стенах города. По свидетельству документа, не только «было убито много латинцев и татар», но и «многие армяне и греки были вовлечены в сражение»[4].

Дальновидные протекторы банка недаром опасались за будущее своих колоний, так как между жителями их не было единения. По словам очевидцев, Каффа сдалась туркам почти без боя потому, что армяне и греки, составлявшие большинство населения, отказались поддержать «латинцев» в критическую минуту из-за недовольства генуэзским правительством. Два чрезвычайно интересных документа той эпохи свидетельствуют об этом. В письме некоего Джакомо Джустиниани, писанном на острове Хиосе 10 июля 1475 г., говорится, что на пятый день осады «греки и армяне восстали и заявили латинцам, что не желают далее защищаться от турок, а желают сдаться»...[5] В другом документе от 8 июля 1475 г. (письмо неизвестного, также с острова Хиос) сообщается с еще бо́льшими подробностями: «На пятый день Каффа сдалась, потому что греки и армяне, жители этого города, восстали против латинцев, которых было очень мало по сравнению с ними, и сказали, что они хотят сдаться... в противном случае перережут на куски (tagliarano a pezi) всех латинцев, которые находятся в городе Каффе, вследствие чего латинцы, не будучи в состоянии противиться такому множеству местных жителей, сдались»...[6]

[1] Atti, VII, f. 2, p. 48.
[2] Ibid., f. 1, pp. 468—469.
[3] Ibid., p. 806.
[4] Ibid., p. 806.
[5] Ibid., f. 2, p. 481.
[6] Ibid., p. 480. После захвата южного берега Крыма турками и татарами экономическая роль армян не уменьшилась. После взятия Каффы в 1475 г. армяне были очень дружелюбно приняты турками и татарами. Им позволили селиться в стране, они разъезжали по всем ханским владениям и завладели торговлей Крыма. Давно знакомые с языком, образом жизни и обычаями мусульман, они так хорошо вели свои дела, что почти не имели серьезных конфликтов. Армяне были в Крыму ловкими купцами, доставлявшими татарам все необходимое, ростовщиками, ремесленниками и т. д. (В. Кондараки. Указ. соч., VIII, стр. 66—67).

Не станем пытаться разрешить на этих страницах споры, идущие о правдивости этого сообщения. По мнению некоторых авторов, это клевета, возведенная на местных жителей, чтобы оправдать бесславную сдачу генуэзцами Каффы, вооруженной по последнему слову тогдашней военной техники. Но, как бы то ни было, нам кажется, что если бы безыменной бесправной массе (homines minuti) было что защищать в генуэзской Каффе, то, быть может, турецкая осада кончилась бы иначе, и падение колоний и на этот раз могло бы быть отсрочено.

VIII

Мы рассмотрели основное классовое противоречие в Каффе второй половины XV в. — борьбу социальных низов и средних прослоек против эксплоататорской торгово-ростовщической верхушки. Мы видели, что эта борьба принимала самые разнообразные формы — от открытых восстаний городских низов до волнений под религиозным флагом. Теперь нам остается рассмотреть борьбу среди самих эксплоататорских слоев, борьбу политическую.

Начавшись с выступления minuti, недовольство населения существующими порядками все более разросталось и охватило наконец самые широкие круги. Так, 10 февраля 1475 г. финансовый чиновник (massaro) Скарчиафико с грустью доносит в Геную: «Ставлю в известность вас, синьоры, что все более возрастает число горожан, плохо настроенных и поносящих правительство наше оскорбительными словами»[1].

Чтобы понять, чем были так недовольны горожане Каффы, это более или менее имущее сословие, не лишенное к тому же юридически гражданских прав, как «homines minuti», мы должны будем показать политическую борьбу, развернувшуюся в Каффе между двумя категориями населения — генуэзскими гражданами и горожанами Каффы, т. е., по терминологии документов, — между «cives» и «burgenses». В этой политической борьбе мы имеем дело в сущности с противоречием между двумя различными прослойками одной и той же эксплоататорской верхушки.

История борьбы генуэзских граждан и горожан Каффы в лице «лучших», т. е. наиболее известных и зажиточных фамилий (во все городские правящие органы выбирались горожане «ex melioribus»), — борьбы между генуэзским и местным патрициатом за право управления городом — с трудом поддается изучению.

В XV в., судя по уставу 1449 г. и другим архивным документам, правовое положение горожан Каффы улучшилось по сравнению с предыдущим столетием. Горожанам Каффы дано было даже право самоуправления — в 1454 г. это право было подтверждено. Из факта донесения «четырех боргези» в Геную о беспорядках, происходивших в Каффе до этого постановления протекторов, Винья делает правильное заключение, что такая организация горожан существовала и прежде, но когда именно и каким образом она возникла, к сожалению, нам не удалось выяснить.

Приказ протекторов от 17 декабря 1454 г. гласит: «Постановляем также, что горожане Каффы (burgenses) имеют право ежегодно собираться в соответствующем месте и избирать из своей среды четырех благоразумных и радеющих о благе города» лиц. При этом делаются оговорки и ограничения: горожане Каффы должны присяг-

---

[1] Atti, VII, f. 2, p. 96.

нуть, что «будут заботиться о том, чтобы служить процветанию города и Сан-Джорджио (банка), и если что заметят плохое и неподобающее, должны донести о том консулу и даже правлению банка в Генуе»; и самое главное — «они не должны дозволять либо допускать устраивать какие-либо заговоры или беспорядки в Каффе»[1].

В 1467 г. городской муниципалитет был преобразован. Протекторы нашли, что «для общего блага» будет лучше, если горожане «уступят» половину мест генуэзским гражданам, и соответственным приказом установили новый порядок вещей[2]. Отсюда ясны колониальный характер Каффы, ее зависимость от метрополии и ущемление прав в пользу Генуи.

Укрепление прав горожан Каффы в XV в. было достигнуто, вероятно, не без упорной борьбы. Об этом довольно прозрачно говорят архивные документы. Так, в одном из первых постановлений, касающемся переустройства города, в 1316 г. «officium gazariae» предписывает консулу Каффы избрать для этой цели в качестве советчиков (consiliarii) шесть купцов «qui non habeant domas in Caffa», т. е. исключительно генуэзских граждан[3]. О представительстве в этом совете хотя бы одного горожанина Каффы еще нет и речи. Из дальнейших постановлений того же «officium gazariae» видно, что «burgenses» приобретают некоторые, пока еще очень незначительные права: так, в Большом совете, состоявшем из 24 членов, им было уже предоставлено четыре места, а в Малом, состоявшем из 6 членов, — одно[4].

Устав 1449 г. представляет уже во всех городских органах половину мест горожанам. Но при количественном преобладании их это все же никак нельзя назвать полным уравнением в правах. Кроме того, самые ответственные должности имели право занимать исключительно «cives». На этой или иной почве, во второй половине XV в. при внимательном чтении документов можно обнаружить явные следы глухой, но упорной борьбы между этими двумя категориями, борьбы, в которой то одна, то другая сторона одерживает верх. В этом отношении очень показательны инструкции протекторов, обращавшихся к горожанам с такого рода «мирными» увещаниями: «Желая прежде всего, чтобы между вами и всеми гражданами (подразумевается «генуэзскими»), проживающими здесь, всегда существовало братское согласие, мы... не одобряем того, что вы, горожане, устраиваете собрания отдельно от упомянутых граждан»[5].

Консулу и массариям было вменено в обязанность строго наблюдать, чтобы впредь собрания горожан происходили во дворце консула и чтобы на них обязательно присутствовали и генуэзские граждане[6].

Особенно ярко проявлялся антагонизм между этими двумя категориями населения во время выборов должностных лиц в местные органы власти. В письмах протекторов по поводу этих выборов фигурируют такие термины, как «dissentiones et emulationes, suspitionesque ac discordia» (несогласие и соперничество, подозрения и раздоры)[7]. При этом банк, конечно, становится на сторону cives и в качестве средства примирения враждующих сторон предлагает изменить порядок выборов с тем, чтобы впредь избирали не четырех горожан, как раньше,

---

[1] Atti, VI, p. 144.
[2] Ibid., VII, f. 1, p. 193.
[3] Historiae patriae Monumenta, Leges municipales, II, p. 381.
[4] Ibid., p. 389.
[5] Atti, VII, f. 1, p. 457.
[6] Ibid., p. 457.
[7] Ibid., p. 493.

а двух горожан и двух граждан[1]. В документе от 4 декабря 1466 г. упоминаются те же «dissentione e dixordia inter officiali citadine e borghesi»[2].

Вопрос о взаимоотношениях горожан Каффы и проживавших в ней генуэзских граждан очень сложен. Не следует считать, что последняя категория в целом являлась только в силу своего привилегированного положения правящей верхушкой, так как и cives не представляли из себя в конце концов социально однородной сплоченной массы. Будучи по большей части временными жителями колоний, как купцы, приезжавшие сюда с целью наживы, или же служащие банка, посылаемые из Генуи по выбору (административный персонал) и по контракту (квалифицированная рабочая сила, цеховые мастера, юристы, инженеры, медики и т. п.), эта категория, повторяем, не являлась однородной массой, и, следовательно, интересы ее членов отнюдь не всегда совпадали.

В свою очередь «боргези», не говоря уже об их разноплеменном составе, делились, даже в пределах одной национальности, на отдельные партии, жестоко враждовавшие между собой. Возьмем, например, армянское общество в Каффе, о котором мы уже говорили. Ведь несомненно существовала дистанция огромного размера между всесильным Кайаресом, который, по выражению консула Кабелла, желал «делать все по-своему»[3], и бедняками-армянами, подававшими в 1455 г. петицию на имя банка Сан-Джорджио. В этой петиции они просили протекторов о продлении срока службы «доброму начальнику базара и предместий» капитану Бонавентура, который не берет с них непосильных поборов, как это делали остальные, и не допускает «ни насилий, ни несправедливости, ни взяток (mangareza), ни обкрадываний, ни надругательств над добрыми людьми»[4].

Борьба «боргези» за свои политические права, за право участия в выборах и в управлении городом не прекращалась в Каффе. В основе этой политической борьбы лежали самые реальные интересы: генуэзские граждане стремились переложить всю тяжесть расходов по содержанию колоний на плечи богатых каффских «боргези», на что последние не были склонны соглашаться добровольно. Отсюда те бесконечные «несогласия и раздоры», о которых говорится в документах. Так, в 1459 г. при обсуждении вопроса об уплате Каффой контрибуции туркам банк Сан-Джорджио высказался в том смысле, что «это бремя должны нести прежде всего держатели акций Каффы (i participi delle compere di Caffa), а также жители Каффы, ради их собственного благополучия и сохранения состояния и капитала, но отнюдь не участники генуэзского банка (i participi delle genovesi compere)[5].

В результате ожесточенных прений на банк Сан-Джорджио также была возложена часть расходов, правда очень небольшая. Но этим дело не кончилось. Необходимо было разверстать на месте всю сумму между жителями Каффы, т. е. основными группами населения — «латинцами»,[6] армянами, греками и евреями. Эта раскладка должна была быть произведена, по словам документа, «так, как обычно делается, т. е. латинцами между собою, так же армянами и прочими»[7]. Здесь

---

1 Atti, VII, f. 1, p. 488.
2 Ibid., p. 431.
3 Ibid., f. 2, p. 120.
4 Ibid., VI, p. 139.
5 M. Canale. Op. cit., II, p. 126.
6 „Civibus nostris excepti“ („За исключением генуэзских граждан“ — говорится в документе — Atti, VI, p. 919).
7 M. Canale. Op. cit., II, p. 126.

снова возникали поводы для «несогласий и раздоров», так как раскладка обсуждалась и утверждалась особой комиссией, в которую входили консул, массарии (как известно, «cives») и по одному выборному от каждых четырех групп. Консул имел два голоса, все прочие — по одному. Шести голосов «за» было достаточно для утверждения раскладки.

Из этого примера мы видим, что, добиваясь права самоуправления или участия в управлении городом, горожане Каффы защищали свои кровные интересы. Больше всего они заботились о том, чтоб их как-нибудь не оттеснили и не узурпировали их прав в пользу генуэзских граждан. Интересно отметить очевидное равнодушие местных «боргези» к такому острому вопросу, каким являлся для генуэзских граждан вопрос о политических партиях. Мы имеем в виду те две партии, на которые разделялись в ту эпоху генуэзцы — bianchi и neri (белые и черные, т. е. прежние гвельфы и гибеллины)[1]. По словам Донавера[2], эта борьба, проходившая в Генуе весьма ожесточенно, распространила ужасы (sic!) гражданской войны на всю территорию республики и даже на колонии Леванта. Например, в 1323 г. между сторонниками обеих враждующих партий произошло сражение в Константинополе — бились в самом городе и на море[3].

Не касаясь перипетий этой борьбы и не давая критики установок Донавера, отметим лишь кратко, что Черноморье также, повидимому, служило ареной этой борьбы. В Каффе генуэзской эпохи несомненно происходила ожесточенная политическая борьба, в результате которой побежденные осуждались на изгнание из города, как это обычно практиковалось в итальянских республиках того времени. Об этом красноречиво свидетельствует один интересный документ — декрет протекторов под названием «salvocondotto». В конце его имеется многозначительная приписка: «Не касается настоящее разрешение известных преступников, равно как и изменников родины, которые были осуждены [ранее] и изгнаны»[4].

В сложных условиях колониальной обстановки эта политическая борьба все же потеряла свою остроту. В уставе Каффы 1449 г. неоднократно повторяется, что при избрании ответственных лиц — ревизоров (sindicatori), консула, старейшин (anziani) города — следует «соблюдать партии», т. е. избирать попеременно от той и другой (coloribus servatis)[5]. Но если генуэзские граждане Каффы были кровно заинтересованы в этом пункте устава, то «burgenses» были к нему глубоко равнодушны. Им было безразлично, к какой партии — «белых» или «черных» — принадлежит кандидат на ту или иную должность; в конце концов ведь это были счеты генуэзских фамилий между собою, которые их не касались. Но зато они ревниво следили за тем, чтобы

---

[1] Описываемый период — XV век — был в Италии, как и в предыдущий XIV век, периодом яростной борьбы между этими двумя политическими партиями. Партия гибеллинов или белых состояла главным образом из popolari, а сторону гвельфов держали nobili. Как известно, первоначальное значение борьбы между гвельфами и гибеллинами, как борьбы между сторонниками имперской и папской власти, с течением времени совершенно изменилось. В изучаемую эпоху эти обозначения сделались чисто условными терминами. Под флагом „черных“ и „белых“, как они тогда стали называться, шли самые различные партии враждовавших между собой родовитых и купеческих генуэзских фамилий. Вся история Генуи XIV—XV вв. полна описаниями эпизодов этой ожесточенной борьбы за власть.

[2] F. Donaver. La storia della republica di Genova, I, p. 217, Genova, 1913.

[3] Ibid., p. 222.

[4] Atti, VI, p. 140.

[5] Ibid., VII, f. 2, pp. 587, 593, 597, 600 etc.

соблюдалось другое условие — избрание 50% из сословия горожан. Это можно видеть хотя бы из откровенного заявления консула Каффы, который писал протекторам банка в мае 1471 г.: «Эти горожане не слишком заботятся о партиях (coloribus), а лишь о том, чтобы горожане получили свое место, т. е. чтоб была [избрана] половина из горожан и половина из граждан»...[1] По мнению консула, во всех учреждениях Каффы необходимо соблюдать партийное равновесие (colores servare) больше по отношению к генуэзским гражданам, по отношению же к горожанам можно руководиться лишь степенью способности кандидата выполнять ту или иную должность[2].

На почве выборов между генуэзскими гражданами и горожанами Каффы постоянно возникали несогласия. В конце концов сами протекторы отказались от требования соблюдать те пункты устава, где говорилось об избрании «coloribus servatis», и предложили руководствоваться только одним правилом — выбирать одинаковое число нобилей и плебеев. Побудительной причиной к этому важному изменению устава послужило еще одно печальное для генуэзцев обстоятельство: число генуэзских граждан в Каффе (да и в других колониях) с течением времени настолько уменьшилось,[3] что соблюдение в точности этого пункта устава сделалось невозможным по очень простой причине — выбирать было не из кого.

Об этом свидетельствует ряд документов. Так, например, по поводу смуты и раскола при выборе заместителя внезапно умершего консула Каффы Бальдасаре д'Ория[4], протекторы написали следующую инструкцию для сведения и руководства на будущее время: «Постановляем и предписываем: если случится, упаси боже, что какой-либо консул на своем посту умрет, то пусть ни один из двух массариев или товарищей его не заступает его места. В этом случае должно избрать ему преемника согласно существующим правилам, но никоим образом не обращать внимания на партии (colores), сообразуясь с ними лишь до известной степени, т. е. если покойный консул был «нобиле», то следует избрать ему преемника из «нобилей», и наоборот. В остальном же нет необходимости при такого рода выборах соблюдать партии»[5].

В другой инструкции по поводу избрания ревизоров консула сказано еще точнее: «Поскольку в городе в настоящее время мало генуэзцев.., чтоб отныне при избрании ревизоров, консула и назначении всех прочих должностных лиц... никакого не обращать внимания на число между ними граждан «белых» или «черных», но избирать половину из знати и половину из плебса... без какого бы то ни было различия «белых» или «черных»[6].

Итак, в сложной обстановке разноплеменной Каффы принципы конституции генуэзской республики, механически перенесенные на чуждую почву, оказались совсем не подходящими. Во всяком случае, генуэзцам пришлось пойти в данном случае на уступки[7].

---

[1] Atti, VII, f. 2, p. 782.

[2] Ibid., p. 783.

[3] В Солдайе был такой момент, когда после смерти единственного проживавшего в ней генуэзского гражданина, некоего Порпорино, консул остался в совершенном одиночестве, о чем доносили в письме протекторам из консульства Каффы (Atti, VII, f. 1, p. 518).

[4] Бальдасаре д'Ория (из „нобилей") был консулом Каффы в 1463 г.

[5] Atti, VII, f. 1, p. 366.

[6] Ibid., f. 2, p. 52.

[7] Из сохранившихся в архивах банка публикаций о вакансиях на различные должности в колониях видно, как сложны были требования, предъявлявшиеся к кандидатам. Помимо знания дела, от них требовалась принадлежность, во-первых, к опре-

Вот то немногое, что нам известно о взаимоотношениях между «cives» и «burgenses» в Каффе XV в. и о политической борьбе, ознаменовавшей этот период.

В основном это была борьба зажиточных эксплоататорских слоев населения за право участия в управлении городом, за право выжимать соки из трудового населения.

К сожалению, документы только косвенным образом отразили эту борьбу. Из упоминания консула Кабелла о «главарях» двух армянских партий, с которых он взял залог, чтоб прекратить волнение, вызванное избранием епископа, можно заключить, что в этой политической борьбе были и вожди. Но ни их имен, ни каких-либо деталей относительно оформления этой борьбы источники нам не сохранили.

деленному сословию, во-вторых, к определенной партии (при условии соблюдения очередности). В документе от 16/II 1459 г. предлагалось всем желающим, отвечающим данным условиям, зарегистрировать свои имена до предстоящих выборов в канцелярии Сан-Джорджио. При этом прилагался список вакансий: консула Самастро — для нобиля из „белых“, коменданта башни св. Константина в Каффе — для нобиля из „белых“, капитана оргузиев — для нобиля из „белых“, писца в канцелярию массария Каффы (сословие безразлично) — из партии „черных“, начальника бургов Каффы — для купца-плебея из партии „белых“, консула Трапезунда — для купца-плебея из партии „белых“.

Н. П. ПОПОВ

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ СТРИГОЛЬНИКОВ [1]

СТАРШИЙ РУССКИЙ ИЗМАРАГД

Древнерусская письменность, насколько можно судить по дошедшей до нас литературе, как будто совсем не знает памятников, которые назначались бы в первую голову для чтения мирянам. Вся древняя литературная продукция почитается вышедшей из монастырских келий и обслуживающей или монахов или людей, готовящихся к монашескому житию. По этому представлению миряне, конечно, могли просвещаться литературными произведениями, но не иначе как через посредство монастырей. А между тем есть основания думать, что с самого начала русской письменности возникали произведения, которые предназначались прямо и непосредственно для массы мирян. Уже от XI в. сохранился памятник, по всем признакам созданный для чтения рядовых мирян. Это — знаменитый Изборник Святослава Ярославича от 1076 г. [2]

Во второй половине XIV в. был составлен труд, которому Востоков в своем знаменитом описании Румянцевских рукописей (под № 186) дал название Измарагда на основании следующей приписи конца XVII в. (на лл. 37—42): „сия книга глаголемая измаракьт села Гагина попа Ивана, Владимире (ва?), потписал сию книгу деревни Тяпина земской дьячек Мишка Никонов“ [3]. Начальных листов рукописи не сохранилось, и был ли там кодекс назван Измарагдом, остается неизвестным; равным образом нельзя сказать, какими статьями заканчивался этот Старший пергаменный Измарагд, ибо конец рукописи до нас не дошел. Единственная рукопись, которая по статьям до л. 125 вполне совпадает с уцелевшими частями Румянцевской № 186, принадлежит библиотеке бывшей Троицкой Лавры и значится по печатному описанию иеромонаха Арсения под № 204 (1626) в лист, XVI века. Но и эта бумажная руко-

---

[1] Статья покойного Н. П. Попова посвящена исследованию Старшего Русского Измарагда и Троицкой Златой Чепи — замечательных памятников древнерусской литературы, предназначенных для чтения мирянам и белому духовенству. Автор доказывает, что памятники эти, насыщенные идеологией стригольников, являются остатком их литературы, которая до настоящего времени считалась утерянной.

Ред.

[2] Напечатан В. Шимановским под заглавием „Сборник Святослава 1076 г.“, изд. 2, Варшава, 1894. В наших ссылках листы указываются по этому изданию. Приняты во внимание поправки Боброва из „Русского Филологического Вестника“ за 1912 г.

[3] Припись по недосмотру в печатном издании описания пропущена. И. Срезневский относит Румянцевский Измарагд ко времени до 1350 г., но неизвестно, на каком основании. См. Древние памятники русского письма и языка, СПб., 1882, стр. 198.

пись не сохранила надписания, и название Измарагда за ней утверждено по аналогии с Румянцевской пергаменной.

Старший Измарагд (СИ) как сборник составлялся, видимо, по образцу Святославова Изборника 1076 г. и тематически теснейшим образом с ним соприкасается. В Измарагде на первый план выдвинут Стословец, и ему поэтому отведено место в самом начале труда. Естественно, что наставления о чтении книг заняли в Измарагде второе место сравнительно с Изборником 1076 г., но зато им уделено не в пример больше внимания, чем в Святославовом Изборнике. Вопрос о чтении книг занимал составителей Измарагда в такой сильной степени, что ему, вслед за Стословцем, отведены слова Иоанна Златоуста (две статьи) и Ефрема Сирина (одна); рядом с ними находим и статью о чтении книг Геннадия Иерусалимского. Надо думать, что этот же Геннадий с именем патриарха выступает по вопросу о чтении книг и в середине Измарагда (Троицкая, л. 109). Этот же вопрос затрагивается и в целом ряде других статей Измарагда. Третья статья Изборника 1076 г. — „Наказание богатым“, благодаря выдвижению на первое место „Почитания книжного“, неминуемо должна была в Измарагде переместиться, и она не только передвинулась, но и заменилась притчей о богатых, истолкованной от болгарских книг. Как и чтение книг, богатство тоже останавливало на себе внимание творцов Измарагда: в дальнейшем мы встретим специальное Слово о богатых и немилостивых (Троицкая, л. 107) и о желании богатства (л. 184). Вторая статья Изборника 1076 г. — „Наказание отца к сыну“ — оказалась в Измарагде также несколько отодвинутой, но все же находится в начале книги. Пятой статьи Святославова Изборника — „Наставлений жития“ — в целом виде не оказывается в Старшем Измарагде, но ее мысли и правила, кроме необычайно смелого учения о церкви, растворены в длинном ряде других составных частей памятника, как это произошло частично и с вопросом о чтении книг. Наставления Ксенофонта и Феодоры, своеобразные духовные завещания, также не вошли в Измарагд полностью, а заменены иными наставлениями завещательного характера, отличными по форме и содержанию. Это произошло, очевидно, под влиянием подвинувшихся вперед требований жизни. В измененном же виде встречаем в Измарагде и остальную тематику Изборника 1076 г.: наставления о молитве, посте, исповедании грехов, почитании попов и т. п. Между прочим, не раз встречающееся в Измарагде выражение „да не о нас речено будет“ идет из того же Изборника.

Для нас в данном случае важно одно, что Старший Измарагд создан по образу и подобию Изборника 1076 г., предназначенного для людей, которые живут вне монастырской ограды, в мире. Подобно Изборнику 1076 г., Старший Измарагд в первую очередь учитывал потребности мирян, к которым относились простые поселяне и близкие к ним по образу жизни и занятиям представители низшего белого духовенства. Поэтому-то наш памятник уделяет немалую долю внимания „женскому вопросу“, помещая на своих страницах „Слово о женах добрых и злых“ и др. Ряд статей о долгах и клятвах, о поруке и займах еще больше убеждает в том, что Старший Измарагд предназначался именно для мирян, поскольку клятвы монахам запрещены и из монастырского обихода изъяты.

Раз Измарагд был рассчитан на мирян, естественно полагать, что составляли его люди, лучше монахов знавшие этот мир и его

нужды, т. е. представители белого духовенства. Этот теоретический довод подтверждается и показаниями самого памятника. В „Слове к попом и простым людем“ (Троицкая, л 238), приписываемом Златоусту, но несомненно принадлежащем русскому автору, читаем: „Аще бо простьцю как любо грѣх сътвориться, до себе емоу вина, а одне мы, то не нам единым пагоуба, но всѣм людем; хотят бо ны рещи: а попове чемоу не творят того“.

В Слове Златоуста „Како подобает христианом жити“ находим: „Не спасут нас черныя ризы ни белыя осудят, аще сохраним заповеди божия“ (Троицкая, л. 57 об.). О черных ризах еще мог сказать монах, но упоминание о белых ризах определенно указывает на принадлежность автора к белому духовенству, а потому всю эту тираду надо приписать ему же.

В пользу данного положения говорит и ряд подробностей, внесенных в наш учительный сборник, но касающихся практики церковной; например, требование, чтобы младенца приносили к дверям церковным и нарекали имя в восьмой день после рождения, а крестили в сороковой. Известно, что монахи крестили детей только в самых исключительных случаях, обычно же этим занималось белое духовенство. Включение в Измарагд Слова Козмы, направленного против стремлений к монашескому постригу, при общем характере памятника естественнее всего ожидать также от представителя белого духовенства.

В СИ (Троицкая, л. 6) чтение книг трактуется как святое дело, и в виде подготовки к нему положена особая молитва. Первая часть этой молитвы составлена из изречений Псалтири, хорошо известной в древней Руси многим. Вторая содержит выражения: „да не в грѣх себѣ жития святых и словеса прочитаю, но... во обновление и в просвѣщенье и в святыню и в спасение души моей и в привожение жизни вѣчныя“ (Троицкая, л. 6). Такова терминология молитв причащения, которые в русской церкви исстари читались дьяконами. Так как эта молитва является лейтмотивом всего памятника и одной из самых основных его тем, легко притти к выводу, что дьякон, ее составлявший, занимал выдающееся положение среди собирателей СИ: иначе не на него пало бы составление наиболее ответственной статьи памятника.

Где же во второй половине XIV в., к которой относится пергаменный список Старшего Измарагда, могла найтись группа лиц белого духовенства, способная составить такой внушительный сборник как Старший Измарагд?

Свое описание № 186 Востоков закончил словами: „правописание русское, меняющее ч на ц“, т. е. отметил принадлежность пергаменного Измарагда к Новгородской области. Но это замечание знаменитого филолога, толкуемое ограничительно, может быть отнесено лишь к писцу, а не к составителю Сборника. В пользу новгородского происхождения собирателей памятника говорят и следующие данные. В памятнике живо ощущается классовая рознь между богатыми и бедными, и во многих статьях собиратели Измарагда стремятся замазать социальную трещину, внушая богатым заимодавцам и вообще сильным мира более человечное отношение к бедным, к домашней челяди и т. п. Классовая рознь должна была острее всего чувствоваться в богатом торговом Новгороде, и, естественно, духовенство стремилось „примирить“ богатых и бедных.

Есть и более веские указания на возникновение Старшего Изма-

рагда в Новгороде Великом. Говоря о крещении детей, составители памятника с особенной теплотой рекомендуют держать „устав блаженного Нифонта“. Очевидно, Нифонт Новгородский, известный по своим ответам Кирику, был для собирателей Измарагда личностью близкой и дорогой, о чем говорит эпитет „блаженный“. Такое уважение к Нифонту и его уставным требованиям могло быть лишь на месте его служения, т. е. в Новгороде Великом, и прежде всего в среде софийских клирошан, к которым мог принадлежать и дьякон — составитель упомянутой молитвы перед чтением книг. Сюда же, ко двору св. Софьи в Новгороде, ведет и еще одно место нашего памятника. В „Слове о первом законе и о втором“ (Троицкая, л. 230 об.) читаем: „аще кто без крестьца ходит, проклинаем есть в святѣи Софѣи в синадици“. Это указание может быть сильным и авторитетным только в глазах новгородца и по отношению к новгородцу же, потому что здесь значение софийского анафемствования выступает во всей своей непререкаемости и святости. Для других же областей софийские обряды не имели и не могли иметь такого значения, так как в XIV в. местные церковные миры жили довольно самостоятельно и хранили твердо и нерушимо прежде всего собственные обычаи. Имеет значение и то обстоятельство, что составители Старшего Измарагда обнаруживают довольно обширную начитанность, которая в XIV в. едва ли могла быть почерпнута где-либо кроме библиотеки Софийской; тогда еще не существовало другой знаменитой библиотеки Северной Руси — Кирилло-Белоозерской.

Но если признать, что Старший Измарагд возник среди белого духовенства, то как же объяснить, что в состав его входят чрезвычайно резкие статьи против духовенства, в том числе, очевидно, и белого, так как о монашестве или черном духовенстве в Измарагде нарочито не говорится нигде, хотя и имеется ряд высказываний мимоходом. Для примера довольно хотя бы одного „Слова о лжеучителях“, сохраненного для нас Троицким списком Старшего Измарагда (в Румянцевском оно утрачено). Здесь (л. 233) читаем: „мнози пастоуси наимают наимиты паствити скот и сами пиют или да спят невидѣнием или грубостью, или оупиваються неправедным събранием и потакови дѣюще властелем не хотят оучити, ловящи оу них чяши или нѣкоево взятья; того ради простийшим оучением оучят, а дивное таят, им же ся (л. 233 об.) и в разум привести и живот вѣчный обрѣсти... О горе! пастуси вольци быша, овець истерьзаша рекше: изучиша попове люди и не на добро, но на зло. И рече господь: о горе вам вожевѣ слѣпии, яко затворяете царствие божие от человѣк; ни сами хотите внити в онь и хотящим внити не дасте, рекше: ни сами оучите и оучящих ненавидите“.

Проф. Архангельский рассматривает это „Слово“ как „сокращение подобного же еще более обширного Слова, находящегося в Златоусте“[1]. Надо было не читать Слова ни в Златоусте ни в Измарагде и не вдумываться хотя бы в надписание того и другого, чтобы произнести такое суждение. Справедливо в данном случае лишь то, что Измарагд берет ряд купюр из Златоустовского Слова, как он делает это и в других случаях по отношению к иным источникам, но строит все свое Слово заново и с иными целями; ни приведен-

[1] „Творения отцов церкви в древнерусской письменности“, IV, стр. 228, Казань, 1896.

ного места ни ряда других в Златоусте нет и в помине. Златоустовское Слово все устремлено к будущему (явятся лжепророки и лжехристы), Измарагд же трактует о настоящем. Обличительные строки процитированного отрывка непосредственно относятся к белому духовенству, окружавшему собирателей Измарагда. Оказывается, что попы, против которых направлены обличения нашего памятника, не были пастырями, а нанимали вместо себя других, сами же предавались попойкам, сну, неправедным стяжаниям, ловили чаши и подарки у людей сильных, скрывали тайны веры, учили не добру, а злу: пастухи стали волками; слепые вожди не вразумляли своих овец и ненавидели тех, кто пытался это делать.

В „Слове о божественном покаянии и исповедании грехов", опять-таки отсутствующем в Румянцевском списке, читаем (л. 244 об.) повторно: „да не о нас речет: о горе вам въжеве слѣпии, яко взяли есте ключя разума святыя церкви бяша и затворяете царство божие пред человѣкы, сами не входисте, входящим възбранисте".

Так одна часть белого духовенства не щадила красок для того, чтобы чернить и бичевать другую. Измарагд и был собран одной из этих воинствующих групп, явно враждебной существовавшему церковному укладу и его специфическим особенностям.

Такая ситуация в общественном строе XIV в. на Руси нам знакома. Ее создали люди, известные в русской истории под именем еретиков-стригольников.

Попытаемся несколько глубже вникнуть в содержание Старшего Измарагда и сопоставить с имеющимися в нем данными те свидетельства о существе и характере стригольничества, которые дошли до нас. Больше и обстоятельней других сообщает о стригольничестве Стефан — по одним данным, епископ пермский, по другим, перемышльский, — в своем послании к новгородскому владыке Алексею[1]. Обращаясь к стригольникам, Стефан пишет: „изучисте словеса книжная, яже суть сладка слышати христьяном и поставистеся оучители народом". Следовательно, он признает начитанность стригольников в „сладких словесах" и их самозванное учительство, очевидно без надлежащего со стороны официальной иерархии благословения. Собиратели Старшего Измарагда обнаруживают несомненную начитанность.

Рядом с виднейшими церковными писателями собиратели Измарагда ставят Геннадия, видимо в их глазах церковную звезду первой величины. Кто же этот Геннадий? Собиратели в одной статье называют его Геннадием Иерусалимским (Троицкая, л. 8), в другой — патриархом (л. 109), в третьей — просто Геннадием (л. 185). Патриархат иерусалимский никакого Геннадия не знает, а константинопольский к концу XIV в., когда собирался Измарагд, насчитывал всего одного Геннадия, умершего в 471 г. Это был человек красноречивый, составивший немало бесед, но до нас дошло лишь одно его послание, чрезвычайно резкое и сильное, направленное против симонии и известное уже нашей Ефремовской Кормчей, т. е. в списке конца XI в. Сущность этого послания в словах: „и ныне, при совершении производств[2] за деньги и при действии руки нечистыя, не знаю, нисходит ли на производимого по провозглашению и не воспящается ли паче (т. е. сокращается скорее — *Н. П.*)

[1] Рукоп. Синод. б-ки № 700 (ГИ 263); напеч. в „Русск. Ист. Б-ке", VI/2, стр. 211—228.

[2] Разумеется: на разные церковные должности.

благодать"[1]. В послании Геннадия в числе мотивов, по которым при поставлении на священные степени не должно быть вообще даров и взносов, упоминается завет апостолам: „не стяжите меди, ни сребра, ни злата при поясех ваших". По словам Стефана, стригольники именно этим заветом „уловляли христиан" в свою общину и „смущали" их, не боясь „святителя и церковь божию прнобидити". Всю иерархию греко-русской церкви они объявили духопродавческой („духопродавци суть" — Стефан) и совпадающей с характеристикой лжеучителей, которая нами уже была приведена и содержится в других статьях Измарагда.

Геннадий, выковавший для стригольников столь острое и надежное оружие как послание о симонии, внесенное в официальный сборник церковных правил — Кормчую книгу, естественно должен был в их глазах занять место рядом с виднейшими церковными писателями. И возможно, что из глубокого уважения к авторитету Геннадия собиратели Измарагда нигде не назвали его патриархом Константинополя — города, откуда разливался поток симонии по лицу земли русской. Это предположение невольно влечет за собой другое — не стригольники ли, поставившие во главе Измарагда крайне удобный для них Стословец, закрепили за этим памятником имя Геннадия, неизвестное в качестве надписания над Стословцем в пергаменный период русской письменности, а затем ставшее обычным? „Глаголют бо стригольници о нынѣшних святителѣх и о попех — пишет Стефан (л. 288б) — недостойны де их службы". Значит, дело не ограничивалось порицанием агентов греко-русской церкви за покупку церковных должностей и сопровождалось отрицанием силы и действенности таинств, ими совершаемых. Другими словами, стригольники стремились перестроить традиционное христианское вероисповедание и выражающий его культ на новых основаниях. На каких же?

„Стригольници ни святителя имущи, ни оучительского сана, сами ся поставляют оучители народу от тщеславия и высокоумия" — пишет Стефан. В Слове нашего Измарагда читаем о лжеучителях такую колоритную фразу: „Егда пастуси возвольчятъся, тогда подобает овци овца паствити" (Троицкая, л. 234) или: „не сущоу епископу и оучителю, да аще добр наоучит простый и то добро" (там же).

Епископ Стефан в полемическом задоре объявляет тщеславием и высокоумием догму стригольников о праве на пастырство самого простого человека, если только он учит добру. На самом же деле для учения о праве на священство простых людей имеются основания в проповедях апостола Павла.

По заключению собирателей Измарагда, епископ, т. е. руководитель общины верующих, должен получить право на учение (послушание учению) от чтецов и певцов, не имеющих даже священнического сана. Это не что иное, как повертывание вверх основанием всей иерархической пирамиды. Не удивительно, что во главе стригольнической общины стали два дьякона — Карп и Никита (по одним известиям) или дьякон и мирянин (по другим). По свидетельству же Стефана, община практиковала отлучение от причастия — функция, всегда и везде в христианских церквах принадлежавшая священникам, как совершителям таинства.

Признание права учительства и духовного руководства за вся-

[1] „Правила св. отец с толкованиями", стр. 583, Москва, 1834.

ким человеком, нравственно выдающимся и опытным в вопросах веры, нашло свое выражение в Старшем Измарагде даже в надписаниях статей. Так, среди виднейших писателей церкви — Златоуст, Афанасий Великий и др. — встречаем некоего отца (Троицкая, л. 41), несомненно мирянина, написавшего Слово к своему сыну. Еще резче этот принцип выступает в соединении Златоуста и Менандра Мудрого как учителей и наставников жен добрых и злых. В „Пчеле“ соединение языческих писателей с христианскими богословами — дело обычное, но в таком строго учительном сборнике, как Измарагд, соединение Златоуста с Менандром, приятелем Эпикура, весьма показательно.

Для всякой общины, как бы мала она ни была и какие бы цели ни преследовала, характерны известные обряды, совокупность которых образует ритуал в начальной стадии и культ — в более развитой. И стригольники, объявив существовавший до них культ „злосмрадным“, занялись построением своего культа, нового и особого. Недаром Стефан, давая стригольникам прозвание „книжницы“, сообщает, что они „молебницы и постницы“, и, явно противореча своим нападкам на еретиков, наивно замечает: «аще бо бы не чисто житье их видѣли люди, то кто бы вѣровал ереси их“. Стригольники были молебники, и главное их моление по всей вероятности сводилось к тому, что называется в Старшем Измарагде почитанием книжным.

К чтению книг Старший Измарагд возвращается в своих статьях не однажды и по самым различным поводам, а порой даже без всякого повода, лишь бы внушить читателю свою излюбленную мысль о необычайном значении книжного чтения. „Слово о мятеже жизни человеческой“, приписываемое Златоусту, например, начинается так: „велика польза есть от почитания книжного и великое приобрѣтенье“ (л. 119 об.), и сейчас же, без всякой связи с начальной тирадой, рисуется жизненный мятеж. Слова Псалтири „ходяй по пути непорочну“ объяснены совершенно неожиданно: „рекше по книжному учению“ (Троицкая, л. 6), тогда как „путь непорочный“ означает: прямой, ровный, без ухабов и провалов, а в аллегорическом толковании — безукоризненное поведение и ни в каком случае не чтение книг.

В соответствии с отзывом Стефана о стригольниках как постниках находим в Старшем Измарагде ряд статей, посвященных посту. При этом понятие о посте в нашем памятнике не сводится лишь к воздержанию от известного рода пищи, как это было чаще всего принято и в практике и в уставах церковных, а поднимается до настоящего подвига.

В сознании творцов Измарагда пост был настолько великим душеспасительным подвигом, что постные будничные дни — среда и пяток — поручаются особым небесным патронам, из коих один помещается на третьем небе, другой — на пятом. Без аттестации со стороны этих патронов душа человека не может лицезреть бога и надеяться на райское блаженство. Чтение писаний и пост в Старшем Измарагде рассматриваются как „предсловие покаянию“ — технический термин, которому придается до известной степени священное значение; самое же покаяние с исповедью является предметом целого ряда особых статей в нашем памятнике и призывов внутри статей. Старший Измарагд старается поднять покаяние, как и пост, на должную высоту и требует самой тесной связи его с исправлением грешника под формой эпитимии.

Такой аскетизм должен был наложить свою печать на всю жизнь общины. Действительно, в нашем памятнике мы находим много статей с указаниями на различные недостатки общественного и семейного быта. Чаще всего бичуются пьянство и связанные с ним пляски (пляшущая жена — невеста сатанина), обьядение на пирах, притеснения богатыми бедняков и т. п. Эти статьи следует рассматривать как материал для почитания книжного, откуда мог извлечь урок и мирянин — для предохранения себя от порока — и духовник — для бичевания людей „кривой веры“.

Община, построенная на таких основаниях, по мнению Старшего Измарагда, гораздо выше и лучше монастыря, даже пустынного, этого выразителя христианских идеалов: „аще кто ходит в заповѣди святых апостол и святых отець и отца своего духовного, то имать мьзду от бога болша живущаго вь поустыни“ (Троицкая, л. 231 об.) Эта идея, дерзновенная для церковного средневековья, повергает в прах ряд явлений, которые обычно расценивались как величайшие достижения исторического христианства.

По свидетельству Стефана, стригольники „велят земли каятися человѣку“. В нашем памятнике читаем: „вшед оубо (в церковь) припади к вышнему и лицемь землю покрый и принуди его (бога) помиловати тя“. В молитвах, которые заполняют статьи Старшего Измарагда, также говорится о „долу лежащих“ в целях покаяния. Если бы подобного рода советы и предписания встретились в памятнике XVII в., мы могли бы „долу лежание“ и „покрытие земли лицем“ рассматривать как простой обряд. Но чем ближе памятник к началу нашей письменности, тем естественней понимать его не иносказательно или символически, а буквально и реалистически. Выражение „принуди“ в применении к богу, отзывающееся магией и чуждое церковным уставам, заставляет видеть в цитированном отрывке описание какого-то специфического обряда, сопровождающего у стригольников покаяние. Наличие аналогичной фразы в Святославовом Изборнике 1076 г. отнюдь не опровергает того, что в данном случае перед нами специфический обряд стригольничества, движения XIV в. Собиратели Старшего Измарагда не взяли бы указанного места из Изборника 1076 г., если бы оно не отвечало их идеологии; а затем поклонение земле и исповедь перед ней могли быть явлением давним и существовать не только с XI в., но и с более древней эпохи. В похоронных причитаниях, упирающихся в глубокую языческую древность, как известно, поклонение земле и исповедь перед ней выражены очень осязательно.

Стефан, говоря о стригольнике, замечает, что он показывает „писание книжное, еже исписа на помощь ереси своей, дабы чим воставити на род на священнический“. Это свидетельство, если толковать его ограничительно, можно отнести к „Слову о лжеучителях“. Но поскольку это Слово органически связано со многими другими статьями Старшего Измарагда, особенно с находящимися в начале — о почитании книжном, нет оснований не видеть в свидетельстве современника указания и на весь памятник, и под „писанием книжным“, которое нашими историками считалось утраченным [1], разуметь Румянцевский список Старшего Измарагда.

Под этим углом зрения мы должны признать Румянцевский № 186 кодексом, из которого изъяты части, наиболее одиозные для представителей господствующей церкви. Пергамен кодекса хо-

---

[1] Е. Голубинский. История русской церкви, II, стр. 393, М., 1900.

рошей выработки, очень прочный. Отсутствие начала (до 21 главы Стословца), как и недостачу последних листов, можно объяснить тем, что кодексы обычно теряют листы, а иногда и целые тетради в начале и конце своего состава, хотя и не в большом количестве. Изъятие же статей из середины книги (как в Румянцевской № 186) приходится признать насильственным, особенно если принять во внимание характер нападок на существующий церковный уклад в „Слове о лжеучителях“.

Троицкий список XVI в. несет в себе все признаки происхождения из какого-то захолустного угла юго-запада Руси [1]. Бумага книги очень плохая. Письмо ее не указывает на принадлежность к одному из мест, где работали товарищества писцов с их традиционными приемами: под взмет берутся по две и по три буквы; встречаются ошибки, не свойственные книжнику, более или менее привычному к делу, вроде: „оумрети“ вместо „умрети“ (л. 14), „вьстек“ вместо „вьскрес“ (л. 230), „начя ры дати“ вместо „нача рыдати“ (л. 14б); попадаются пятисложные слова с ударением на трех слогах, как „затворяете“ (л. 233 об), или четырехсложные с ударениями на трех слогах: „заповеди“. Может быть, знаменитые противники официальной иерархии XVI в. Максим Грек, Артемий и Иоасаф Скрипицын, жившие в Сергиевой Лавре, извлекли единственный полный список Старшего Измарагда из медвежьего угла юго-западной Руси, где он спасался от погрома до XVI в. По крайней мере в монастырских библиотеках и книгохранилищах древних соборов, откуда мы черпаем все запасы нашей старой письменности, нет ни одного списка Старшего Измарагда [2]. Так тщательно боролись с его распространением!

Господствующая церковь со времен Константина Великого старалась опираться на сильных мира сего: царей, князей, боярство, а позднее купечество. Общины, стоявшие в оппозиции к церкви, всегда стремились найти себе поддержку в народных низах. И наши стригольники, как отчасти видно из цитированных отрывков, являлись реформаторами, стремившимися демократизировать церковь, и всегда были готовы к обличению общественной верхушки и защите социальных низов. В статьях Старшего Измарагда встречается много ярких мест, проникнутых именно этими демократическими принципами. Может быть, за эту заботу о людях бедных „безумнии пецин“, по выражению Стефана, говорили о стригольниках: „сии не грабят имений ни обирают“ (л. 295 б.), и склонны были признавать официальных еретиков „праведниками“.

Стригольническое движение, выразителем которого является Старший Русский Измарагд, идейно примыкает к религиозным толкам Запада, бичевавшим господствующую церковь и призывавшим к по-

---

[1] За то, что родиной Троицкой № 204 была южная Русь, говорят: а) появление „и“ вместо „ы“, как „помисли“ (л. 4), „помирающе“ (л. 7) и обратно: „помынает“ (лл. 14, 16), „мнозы“ (л. 195), „отвываю це“ (л. 17), „корыньфом“ (л. 22); б) мена „е“ на „ѣ“: „тебѣ“, вин. пад. (л. 21), „чѣсти“ (л. 16), „бесы“ (л. 8) и др.

[2] Румянцевская № 186 оказалась в конце XVII в. в с. Гагине Нижегородской губ. Свое название село получило от бояр Гагиных, вотчины которых были в XIV—XV вв. в Важской и Шелонской пятинах Великого Новгорода. Если сами Гагины и не являлись приверженцами стригольничества и не были заинтересованы в том, чтобы укрыть в одной из своих низовых вотчин кодекс, ненавистный господствующей церкви, это могли сделать другие новгородцы. Походов, предпринятых новгородской вольницей в пределы Нижнего Новгорода, наши летописи (см., например, Суздальскую и Воскресенскую под 1375 г.) знают немало. Во время одного из них спасены от окончательной гибели и остатки стригольничьего писания (Румянцевская № 186), сохранившиеся до наших дней.

жалению и обновлению жизни. Знаменитый Абеляр говорит о представителях правящей церкви его времени: „Проводят они целые дни за пирушками и попойками вместе с невежественным и развращенным народом, говорят с ним вздор и делают мерзости, которых даже нельзя назвать. Они одеваются шерстью стада господня и его молоком кормятся, а овцы умирают от духовного голода, не слыша божественного слова“ [1].

В таком же духе и стиле, а иногда и в таких же выражениях, поучали средневековые реформаторы и продолжатели Абеляра — Арнольд из Брешии, Вальдо и Петро Рейхерсбергский. И Старший Измарагд, с его резкими нападками на пьянство, излишества, высокомерие и гордость, невежество, непочитание книжное, с его призывами к любви и милосердию, по своей тематике примыкает к реформационному течению, нередко пользуясь и самой его терминологией. Торговые связи Новгорода и Пскова с городами Верхней Италии и Германии, где протекала деятельность Арнольда, Вальдо и Петро, могли содействовать перенесению идей средневекового церковного реформаторства с Запада на русскую почву. Северная Русь, восприняв реформационные идеи, по-своему их оформила.

На ряду с необычайно серьезными воззрениями на пост, молитву, покаяние, мы видим в Старшем Измарагде длинный ряд наивнейших обрядов, предписаний и объяснений, в которых трудно найти не только религиозное, но и какое бы то ни было значение (конечно, кроме бытового). Тихонравов опубликовал „Худые номоканунцы“ [2] с их чрезвычайно странными требованиями именно по Троицкому списку Старшего Измарагда, хотя и не назвал этого памятника [3].

В истории церкви и религиозных движений известны два основания, по которым утверждается название той или иной секты, толка, ереси. Первое — имя основателя: от николаитов Апокалипсиса и до русских федосеевцев на протяжении около двух тысяч лет секты называются по этому принципу. Второе — главный пункт учения или обряда, его выражающего: от евангельских хилиастов до русских скопцов значительная группа толков и ересей получает свое название именно этим путем. Казалось бы, нет основания и нашим стригольникам получить свою кличку вне только что указанных граней. А между тем наши историки окрестили их в память ремесла, которым будто бы занимались еретики.

На л. 231 об. Троицкой есть такое предписание: „в втором же законе острици власы своея и треи перьстов под оухом поустити в имя отца и сына и святаго духа“. Этот обряд связан с острижением „роженна“, т. е. новорожденного, что, как известно, является одним из важнейших действий в ритуале крещения. Но так как обряд приурочен ко „второму закону“ с его предписаниями, в господствующей церкви неизвестными, и так как младенцу нельзя остричь волос (которых часто и не бывает) согласно указанному требованию, то, очевидно, в приведенном месте разумеется второе рождение или возрождение в смысле принятия в общину „второго закона“. Специфическая стрижка на три перста под ухом во имя главнейшего догмата христианской веры — вот обряд, по всем при-

---

[1] Гаусрат. Средневековые реформаторы, II, стр. 261, СПб., 1910.
[2] Памятники отреченной литературы, II, стр. 2?9 и сл., СПб., 1863.
[3] Думаем, что публикатор не указал на Троицкую рукопись из боязни перед Филаретом, митрополитом московским, который мог бы за такое обозначение воспретить посещение Троицкой библиотеки не только самому Тихонравову, но и всем его ученикам.

знакам центральный в ритуале стригольников, откуда всего естественней вести прозвание еретиков. Что стрижка волос вообще имела в глазах собирателей Старшего Измарагда какую-то связь с культовым обрядом, видно из одного предписания Худого номоканунца, напечатанного Тихонравовым: „главоу стригоунце, помилуй мя боже плоти“ (т. II, стр. 296).

В Святославовом Изборнике 1076 г. (л. 121 об.) читаем: „Змарагд... сила его есть лице видѣти в немь“. Это изречение приводит нас к заключению о литературной форме, какую стремились придать Старшему Измарагду его собиратели и творцы. Они, очевидно, хотели создать одно из тех Зерцал, какими столь богата западная средневековая письменность. В это зеркало могли глядеться представители господствующей церкви. Миряне же, как своего рода третейские судьи, в первую очередь пользовались нашим зерцалом, чтобы сравнивать одну партию с другой и оказывать предпочтение той, которая его заслуживает. Но для представителей господствующей церкви наше зерцало должно было казаться слишком кривым и, стремясь сохранить свое главенствующее положение, они обязательно должны были позаботиться о его переделке. И действительно, Старший Измарагд сравнительно скоро подвергся весьма основательной перестройке, которая удалила из него статьи, одиозные для правящих церковных кругов, и внесла исправления, для них надобные и полезные.

Резюмируем все вышесказанное.

1. Древним представителем Старшего Измарагда является пергаменный кодекс Румянцевского собрания, по описанию Востокова № 186, XIV в., а единственным, почти полным его списком — Троицкий, № 2047, XVI в.

2. Созданный по типу Святославова Изборника 1076 г. и под его прямым влиянием, памятник предназначен для чтения мирянам и белому духовенству, близкому к ним по своему образу жизни и духовному укладу.

3. Старший Измарагд составлен лицами из белого духовенства и, судя по некоторым указаниям, среди софийских соборян в Великом Новгороде.

4. Памятник возник в стригольничих кругах и полон резких нападок на представителей господствующей церкви.

5. Свою идеологию Старший Измарагд пытается строить на отрицании действенности традиционного церковного культа и создании собственного.

6. Памятник проникнут духом весьма сильного демократизма.

7. Румянцевский № 186 является тем „писанием книжным“ в защиту стригольников, которое доселе считалось утраченным, но сохранялось в пределах б. Нижнего Новгорода.

8. Из этого писания насильственно удалены статьи, наиболее ненавистные господствующей церкви, почему Румянцевский № 186 следует признать за Codex mutilatus.

9. Стремления Старшего Русского Измарагда переделать традиционный церковный уклад примыкают к преобразовательным течениям дореформационного периода в истории Западной Европы.

10. По своей форме Старший Измарагд может быть отнесен к типу зерцал, столь распространенных в средние века в европейской истории.

В заключение укажем на то, что упустил из виду в своем описании Румянцевских рукописей Востоков. Большинство статей № 186

подчеркнуты обыкновенными новгородско-псковскими киноварными инициалами малых размеров. Но статьи, наиболее интересные в глазах слагателей памятника, подчеркнуты инициалами более крупными (от 2 сантиметров и выше) и фигурными. Таким путем обращено внимание на слова об испытании божественных писаний (л. 13 об.), о любви и зависти (л. 26 об.), о мытаре и фарисее (л. 30), о блудном сыне (л. 32 — особенно фигурный инициал), о богатстве (л. 97б). Самый крупный инициал при статье о посте (л. 78б) — единственная в кодексе человеческая фигура, напоминающая поучающего Будду; один из крупнейших — при Нифонтовом сказании о русалиях (л. 46 об.), направленном против плясок и языческих игрищ.

Думаем, что указанный орнаментальный прием вызван стремлением приблизить памятник к массовому читателю, который, экономя время и силы, по характеру украшений мог выбрать для себя наиболее важную статью и заняться ею. Этой же тенденцией — сделать памятник более доступным — можно объяснить и наличие в нем местной речи и рифм, аналогичных созвучиям и складу русских пословиц.

ТРОИЦКАЯ ЗЛАТАЯ ЧЕПЬ

I

Пергаменный сборник из коллекции рукописей бывшей Троицкой Лавры[1], известный под именем Златой Чепи[2], был открыт, по подсказке А. В. Горского, историком русской церкви Филаретом (Гумилевским), который в 1843 г. издал из него четыре поучения с именем Серапиона Владимирского[3] и анонимное поучение к попам.

С обычной для него поспешностью Филарет признал в памятнике собрание разных наставлений и слов, большею частью переведенных с греческого, тогда как на самом деле в Троицкой Златой Чепи (ТЗЧ) нет ни одной статьи, переведенной с греческого или другого языка. Только о Слове, подписанном именем Евсевия Александрийского, можно сказать, что оно скомпановано из довольно крупных мест, которые находим в двух беседах Евсевия Емесского о сошествии в ад Предтечи, проповеди его там и о предательстве Иуды. Композиция оставляет впечатление не перевода, хотя бы и с купюрами, а своеобразного пересказа того, что человек вычитал у греческого автора.

Начальные мелкие статьи ТЗЧ и Слово некоего отца к сыну[4] напечатал историк Погодин в своем журнале „Москвитянин"[5], назвав взятые им для журнала части „драгоценными словами". По нашей же рукописи ряд статей издал (частью полностью, частью с легкими сокращениями) Буслаев в своей известной „Исторической хрестоматии"[6], охарактеризовав наш памятник как „драгоценный памятник русской литературы XIV в.". Наконец, Петухов, издавая древнерусские поучения на Четыредесятницу, которые составляют первооснову русского сборника „Златоуст", напечатал из ТЗЧ листы 102—119 в виде вариантов к основной рукописи[7]. Листы 119—

---

[1] Теперь он находится в рукописном отделении Б-ки им. Ленина в Москве.
[2] Описание славянских рукописей Сергиевой Лавры, М. 1878, № 11 (2025).
[3] Прибавления к творениям святых отец, I, стр. 97—111.
[4] Там же, XVII, стр. 31—64.
[5] 1851 г., № 6, стр. 119—138.
[6] стр. 477, 519—525 (М., 1861).
[7] СОРЯ и С, XI, № 3 (СПб., 1886).

122 изданы Сухомлиновым в сборнике „Рукописи графа Уварова“ [1].

Как видим, в разное время из ТЗЧ целиком и в отрывках издано порядочное количество материала. Но вопроса о том, что представляет собой „драгоценный памятник русской литературы XIV в.“ в целом, ученые не ставили, успокаивая себя тем, что ТЗЧ — это сборник, составившийся, подобно многим другим русским сборникам, чисто механически, путем присоединения одной части к другой.

Попытаемся же восполнить этот пробел и посмотреть, не было ли у составителей Златой Чепи какой-либо идеологии, повлиявшей на подбор статей в определенную систему.

II

В рукописи из собрания Царского (Ист. Музей) начала XVI в. № 691 (по описанию Леонида, № 309) читаем: „Сиа книга нарицается чепь златая. Якоже бо кто носит на вы (=выи) чепь златую красит вы: тако и в сию книгу приникаяй красит Измарагд сиречь ум“.

Как ни мало вразумительна эта заметка сама по себе, она несомненно показывает, что писавший ее литератор XVI в. связывал в своем представлении Златую Чепь с Измарагдом [2]. Не может же быть делом слепого случая, что и Старший Измарагд и ТЗЧ имеют на своих листах не только Слово некоего Дениcья о желающих, но и такие характерные памятники как Стословец, неправильно приписываемый патриарху Геннадию, и Слово некоего отца к своему сыну. Стословец начал перестраиваться в русской письменности довольно рано, хотя не по существу, а лишь с формальной стороны — в смысле передвижения отдельных наставлений из одного места в другое. Но в Старшем Измарагде и ТЗЧ стословцы тождественны и по существу и по форме. Слово некоего отца к сыну своему, имеющее в Изборнике Святослава от 1076 г. немало особенностей чисто личного характера, в ТЗЧ очищено от крупных личных примесей и во второй своей части сильно сокращено и оформлено совершенно по-иному. Эту вторую редакцию Слова отца к сыну, которую дает нам ТЗЧ, мы находим и в Старшем Измарагде (хотя и с некоторыми мелкими подправками, обычными в новых списках, копирующих старые). Сходство с ТЗЧ простирается и на самую форму обоих сборников. Старший Измарагд открывается Стословцем, памятником, так сказать, домостроительного характера, а внутри содержит ряд обличительно-нравоучительных статей (крупнее других Слово о лжеучителях) и заканчивается поучениями на великий пост. Такова по своей фактуре и ТЗЧ: открываясь статьями „домостроительного“ содержания, изданными Погодиным и Буслаевым [3], сборник содержит далее обличительно-нравоучительные статьи (среди них наиболее важная и крупная — Слово „христолюбца“) и, наконец, поучения на Четыредесятницу или великий пост — то же, что и в Старшем Измарагде.

---

[1] Том XI, стр. 3—10 (справа).

[2] Пометка интересна и в том отношении, что побуждает выводить название Златой Чепи не из латинской или греческой литературы с ее catena (цепями), как это делает Петухов в диссертации о Серапионе Владимирском, а из русской бытовой обстановки.

[3] Некрасов, исследуя вопрос о происхождении требований Домостроя, не без основания опирался на некоторые из статей ТЗЧ; см. „Чтения в Общ. Ист. и Древн. Росс.“, кн. 3, 1872.

Сходство между обоими сборниками приводит к заключению, что оба они должны были возникнуть под влиянием одинаковой до известной степени идеологии.

Мы нашли, что Старший Измарагд предназначался его составителями для мирян и лишь через их голову — для связанного с миром белого духовенства. Эту установку мы видим и в ТЗЧ. Ее слова не только лишены строго монашеского направления, которое заставляло бы думать, что они составлены за монастырской оградой, но и содержат наставления, неприятные для беглецов из мира, вроде следующего: „видим бо многыи оугодникы божии в миру живут, а заповѣди божия творяща“ (л. 45б). Более того, можно вычитать в нашем памятнике и прямые выпады против иночествующих: „мнози бо в пустынях и в горах мысляще мирьская погибоша, и мнози в градѣх с женами и дѣтими живуще спасошася“ (л. 55б). В одной из руководящих статей сборника читаем: „попы же бѣщи чтите“ (л. 3), т. е. попы черные или монашествующие молчаливо признаются недостойными почета. Обращения составителей ТЗЧ направлены ко всем христианам (л. 47), к братьям и сестрам (л. 97б), к братьям, сынам и дщерям (л. 101б), которых в монастыре быть не могло. Проповедник, рисуя себя раздирающим сердце перед слушателями, говорит: „видѣмся бысте вси вы въ нутрь сѣдяще в мнѣ с женами и с дѣтьми“ (л. 48 б).

Перед умственным взором слагателя подобных статей рисовалась не монашеская среда, а всецело и исключительно внемонастырская или мирская. Об этом же говорят и неоднократные обращения к попам и учителям (л. 38), к дьяконам и причетникам (л. 35) без специальных упоминаний о монахах и их уставах. Обличительные места, где бичуются разбой, чародейство, волхвованье, кощюны, бесовские песни, плясанья, бубны, сопели, гусли, игранья неподобные, русалья (л. 101б), несомненно говорят, что составители ТЗЧ брали под удар соблазны мирской жизни, ибо в других источниках мы не встречаем обличений монахов в таких прегрешениях как пляски, разбой и т. д. О том, что здесь имеется в виду мирская среда, говорит также обращение двух из начальных Слов ТЗЧ, которые (как и все краткие статьи в начале сборника) являются как бы лейтмотивом всего нашего памятника: „о женьнѣй смерти (л. 5) и храборьствѣ“ (л. 7). Первое предупреждает на тот случай, если второженец под влиянием речей второй жены станет ненавидеть детей умершей, и уподобляет такого мужа коню, которого подобрала под себя и погоняет кобыла. Второе Слово наставляет воина, едущего на рать с князем, занять место среди храбрых, чтобы он добыл честь своему роду, а себе — доброе имя. Само собой понятно, что ни та, ни другая статья не могла быть обращена к члену монастырской общины, который не мог иметь жены и не участвовал в походах.

Вникая в особенности правоучений и наставлений, разбросанных по разным Словам ТЗЧ, снова находим сходство между этим памятником и Старшим Измарагдом. В последнем, как указывалось выше, берется под удар кривая вера, беспощадно бичуются ее защитники и глашатаи; против них направлено самое резкое обличение от лица Златоуста в виде Слова о лжеучителях. В ТЗЧ такого ядовитого произведения, как названное Слово, мы не находим, но выпадов в более умеренных (а изредка и жестких) тонах против недоброй (л. 44) и кривой веры в ней достаточно.

Рассмотрим особую статью с надписанием Поучение правыя вѣры

(л. 37б). Вникнув в ее содержание, мы должны признать, что это не просто собрание выдержек и мыслей, входящих в систему официальной правой веры или православия. Здесь в окружении важнейших условий христианской дисциплины — поста и милостыни — выдвигается какой-то поклон (л. 38). Он предписывается и в других статьях ТЗЧ как священнейшая обязанность христианина (см. лл. 97 об., 101 и др.). Но здесь мы находим специальное учение о нем: „попом и простьцем держати пост и поклон, и милостини и пѣнье нелицемѣрное втаинѣ идѣже не видитьниктоже, не слышить но токмо един бог; в малѣй церкви, еже есть кѣлья своя ти ту есть лѣпо; а в велицѣй церкви пѣти и кланятися до земи то есть не все за ся, но господня часть за ся, ано все за кристьяны и за князя: вѣрнии бо человѣцы в своей клѣти бога моляще кланяються за кристьяны и за князя“ (л. 40).

Заслуживает внимания, во-первых, разделение церкви на большую и малую (причем последняя именуется и кельей и клетью), несомненно являющееся отголоском (хотя бы и глухим) первых времен христианства, когда апостольские послания адресовались к церквам и к частным общинам. Упоминание на первом месте о малой церкви возможно указывает на то, что составитель ТЗЧ ритуал в келье или в клети непрочь был предпочесть службе в великой церкви и пенье тайное, нелицемерное связывал с малой церковью, косвенно предоставляя большой услаждать слух пением лицемерным. Обращение с учением о поклоне не только к простецам, но и к попам, говорит, что мы встречаемся здесь с поклоном особого рода, не похожим на метания, положенные по студийскому или иерусалимскому уставам и хорошо известные попам официальной церкви.

Та же мысль подтверждается и тем, что поклон сопровождается не только пением, но и постом и милостыней. Необычность разбираемого здесь обряда вынуждала к экстренной перестройке учения о нем, выразившейся в перечистке пяти строк пергамена (от „лѣпо“ до „в своей“) с расширением столбца вправо, следовательно, со внесением известного рода порчи в строение кодекса[1]. Являясь частью поучения о правой вере и наиболее яркой по своей необычности, поклон очевидно мыслился как нечто очень важное и существенное в правой вере, отличающее ее от веры кривой.

Отметим еще одно место в разбираемом поучении, которое составляет его специфическую особенность: „подобаеть собѣ пѣти не оумѣющим грамоты сице им пѣти: святый боже“ и т. д. (л. 40б). Здесь налицо не только разрешение, но и прямой призыв к неграмотным людям, чтобы они, очевидно в своих малых церквах или клетях, упростили моление. Очевидно эта снисходительная богослужебная дисциплина являлась неотъемлемой частью правой веры в отличие от веры кривой, т. е. исповедания церкви официальной, которая предписывала стояние за долгими службами и тогда, когда человек по неграмотности был не в силах их осмыслить[2].

[1] Перечистка пергамена была явлением весьма редким в русской письменности. Соболевский утверждал даже, что пергамен никогда не чистился, а только в исключительных случаях смывался.

[2] Это снисходительное требование очень ярко говорит в пользу предположения, что ТЗЧ составлялась для мирян. В русских монастырях было много неграмотных людей, но для них богослужебный ритуал не сокращался ни на йоту. Даже крестьяне, жившие около монастыря и на него работавшие, почти всегда подчинялись его уставу.

Снисходительность в области культовых требований, вытекающая из назначения ТЗЧ не для отшельников, а для людей, отягощенных всякими житейскими заботами, проявляется и в ряде других мест памятника. Так на л. 111 об. читаем: „и не нужно бы вы паче силы поститися и бдѣти, но (како) кто мога по силѣ“. Тот же призыв повторяется и на л. 113б. Эти слова приводят к заключению о стремлении составителей ТЗЧ облечь свою веру в формы наиболее доступные, мало обременительные и практически удобные. Другими словами — поучения ТЗЧ умно и осторожно подрывали корни официального или уставного учения о постах.

Под кривой верой ТЗЧ больше всего разумела языческие обычаи, против которых и направлено знаменитое Слово „христолюбца“ и ревнителя по правой вере[1]. Думаем, что не слишком хорошо прилаженное упоминание в начале Слова об Иове пророке, заколовшем триста жрецов языческих, было стрелой, пущенной в жрецов, современных автору Слова, — попов официальной церкви. Что мы не преувеличиваем в данном случае, видно из Слова о блудном сыне, где читаем: „блудници лихоимьци си суть свинии пастуси иже нѣх злоучають“ (л. 104).

Очевидно пастыри, широко пользовавшиеся приношениями, трактовались как блудодеи и свинопасы.

Влиянием дурных попов „христолюбец“, очевидно, объясняет существование „двоверно живущих“ (л. 22б), против которых ТЗЧ направляет немало метких обличений, считая их яркими выразителями кривой веры.

Отличительной чертой правой веры, по воззрениям составителей ТЗЧ, был пост, прославлению которого посвящены первое поучение, следующее непосредственно за вводной статьей (л. 2), Слова с именами Златоуста (л. 60), Василия, разумеется Великого (л. 90), анонима (л. 96 об.) и специально великопостные Слова в конце всего сборника. Пост понимается в ТЗЧ не шаблонно — в смысле воздержания от известных видов пищи, как это трактуется в монастырских уставах, студийском и иерусалимском. „Аще постишися, — учит ТЗЧ, — то не от хлѣба токмо постися, но от питья и от гнѣва и ярости и от величания и от осужения, и от зависти и от всякоя неправды, и от всих плотьскых похотий и от всякиа вражды“ (л. 38).

Видимо, ТЗЧ и СИ, как это чувствовалось уже в XVI в., вышли из одной идеологической среды. Помимо сходства в содержании и направлении статей к такому выводу нас приводит и одна, довольно редкая вообще, деталь в самой архитектонике нашего памятника. Мы уже отмечали в первом этюде, что СИ старался размерами и своеобразием в строении инициалов подчеркнуть относительную важность статей для достижения своих целей. Эту любопытную деталь мы находим и в ТЗЧ.

В третьем столбце знаменитого Слова „христолюбца“ (л. 23) сильно влево выдвинута буква *п*, которая своим объемом превосходит букву *я*, начинающую Слово: средняя буква статьи (фигурная) более чем вдвое превосходит начальную, не говоря о том, что *п* состоит из плетений, напоминающих инициалы других статей ТЗЧ, а *я* лишена всяких украшений. Следует заключить самым

[1] Печаталось И. Срезневским в „Известиях АН“, Буслаевым — в „Хрестоматии“, Тихонравовым — в IV т. Летописей, Владимировым — в Памятниках Пономарева и Гальковским. Борьба христианства с остатками язычества (II, стр. 41–48, М. 1913).

решительным образом, что „христолюбец“ имел бесспорное намерение наглядно выделить из всего своего Слова и подчеркнуть как самую важную именно ту часть, которая открывается буквой *п*, и на нее обратить усиленное внимание своих читателей. Буквой же *п* начинается толкование (это Слово снабжено киноварным *т* и промежутком в полстолбца) следующего места: „и самь рече господь: мнози пастуси просмрадиша виноград мой... пастуси суть попове и книжиици, а виноград вѣра, а сущии в винoградѣ человѣци в вѣрѣ, и погибають лихии пастухы и оучители безумными“. „Мнози пастуси просмрадиша виноград мой“ — читаем и в СИ в Слове о божественном покаянии, но не по пергаменному Румянцевскому списку, откуда статья изъята, очевидно вследствие ее одиозности, а по Троицкому (л. 245).

В свете более ранних выпадов „христолюбца“ против попов понятно будет и обличение их как недобрых учителей, вносящих соблазн в церковную среду. Ясно, что место, где выражена эта коллизия „христолюбца“ и ревнителя правой веры с попами, подчищено при внесении в кодекс.

III

Общий план ТЗЧ, направление проповеди к мирянам и через их голову к духовенству, стремление обосновать разные культовые требования традициями первохристианства, поднятие на высоту поста, нападки на попов кривой веры, т. е. церкви официальной, обвинение их в том, что они, как свиньи, загадили виноград христов, — все это ясно и решительно свидетельствует, что ТЗЧ и СИ не только родственны, но, можно сказать, родные сестра и брат. Другими словами: оба памятника созданы стригольничьим движением, и обличитель стригольников Стефан мог бы найти в ТЗЧ достаточно оснований для нападок на своих противников.

Здесь налицо и стремление „приобидѣти“ церковь, и самозванное (с точки зрения Стефана) провозглашение себя учителями народа, и признание, что в официальной церкви „службы недостаточны“, и требование „земле каятися“. Мы отметили в худых номоканунцах СИ требование пострига за ухом во имя св. троицы; в сказании ТЗЧ о церкви, по своей фантастичности и бессвязности очень напоминающем худые номоканунцы, мы также находим: „а еже острizаеть кусту — Петра началника оустав“ (л. 31). Вся разница в данном случае сводится к тому, что в СИ ритуальный постриг определен несколько более ясными чертами. Но родство — и даже самое близкое — не есть тождество, и при всем сходстве ТЗЧ с СИ по фактуре и идеологии мы не можем не видеть между ними и разницы, которая, вне сомнения, имеет свое значение. В ТЗЧ не находим больших статей, как в СИ, о богатстве, о богатых и немилостивых, о злых женах, о клятвах, о поруках и займах; вопрос об учительстве поставлен не так остро и сокрушительно.

Отметим еще две особенности, которые отличают ТЗЧ от СИ. В разных статьях ТЗЧ (лл. 35, 36 об. и др.) заметно стремление поднять значение среди иерархии диаконов, которые в ранних общинах играли весьма крупную роль. В нашем памятнике временами встречаются такого рода обращения: „придите попове и оучители правыя вѣры“ (л. 38, ср. 31, 39); они дают понять, что его составители на одну доску со служителями алтаря — попами — ставили особых учителей правой веры. Литургия мыслится не достигающей

своей основной цели — спасения человека — без известного завершения и утверждения ее благословением старейшины (пресвитера). Конечно, такого рода объяснения ни в коем случае не могли исходить от православного человека византийского толка.

Так мы приходим относительно ТЗЧ к тому же заключению, которое мы сделали о СИ, а именно, что она возникла под влиянием одного из западных реформаторских течений средневековья, что русское стригольничество как вероучительная система — в основном того же западного происхождения.

Наш памятник станет еще более ясным, если мы разгадаем, что это за Петр, по уставу которого, — очевидно очень важному и достаточно известному религиозному объединению, защищаемому ТЗЧ, — нужно было постригать кусту или покров из волос (несомненно на голове). Бесспорно, тому же Петру приписывается и статья ТЗЧ, имеющая надписание: „Слово святого Петра о временнѣмь семь житьи“ (л. 88).

Историк русской церкви Филарет (Гумилевский) полагал [1], что под именем Петра в данном случае скрывается аскет середины XII в. Петр Дамаскин. Но, во-первых, этот аскет обычно не именуется святым, хотя при легкости, какая допускалась вообще в надписаниях древних русских памятников (особенно северно-русских), нельзя было бы удивиться такому прозванию. Во-вторых, никакого устава с именем Петра Дамаскина мы не знаем, а между тем Петр ТЗЧ, очевидно, организатор общины, и весьма известный в своей среде, введший в практику особое пострижение кусты. В-третьих, Петр Дамаскин был аскет самой чистой воды, далекий от живой действительности; Петр же ТЗЧ бичует суету мира сего и наслаждение греховными делами. Он обращается со своим Словом к властителям земли, к вельможам, боярам, людям сильным и, укоряя их за гордость, чванливость и притеснения людей бедных и неимущих, зовет к покаянию. Между прочим, мы читаем у Петра ТЗЧ: „богатии мира сего бьються и бодуться и сѣкуться и воюють, хотя одолѣти друг другу“ (л. 90). Битвы, сечи, войны — явления, понятные не только для средневековья, но что скрывается под образным выражением „богатые бодуться“?

В виду установленной нами связи ТЗЧ и СИ с общественными течениями Запада нетрудно понять этот образ, как указание на поединки или турниры, столь распространенные в средние века между сильными мира сего. А это ведет к заключению: Петр ТЗЧ не аскет византийского или сирийского толка, а проповедник-боец, вышедший из недр западной церкви. ТЗЧ составлена не для аскетов, а для мирян, и уже поэтому в ней не могло быть места для творений Петра Дамаскина. Уточняя то, что сказано нами в этюде о СИ, можем признать в нашем проповеднике и учителе нравов Петра Вальдо, основателя весьма распространенной секты вальденсов, умершего незадолго перед 1218 г. Заметим мимоходом, что Слово ТЗЧ о временном житии по своему содержанию и тону гораздо интимнее входит в легенду об Алексее, человеке божьем, сыгравшую весьма крупную роль в обращении Петра Вальдо из лионского купца в странствующего проповедника, чем в аскетические излияния Петра Дамаскина.

Вальденство уже в течение XIII в. довольно заметно распалось на две ветви: французскую (лионскую) и итальянскую (ломбардскую).

[1] См. Краткое описание ТЗЧ в „Чтениях в Общ. Ист. и Древн. Росс.“, 1846, кн. 2, стр. 47, не подписанное Филаретом, но бесспорно принадлежащее ему.

Больше всего эти две ветви различаются отношением к личности Петра Вальдо и к господствующей римской церкви. Французская ветвь считала Петра Вальдо блаженным или святым, а итальянская отвергала это; кроме того, последняя нападала на недостатки римской церкви гораздо решительнее и резче, чем французская ветвь, вплоть до того, что называла официальную церковь вавилонской блудницей. Что касается других пунктов, в которых проявлялось различие во взглядах французских и итальянских вальденсов, то они, конечно, существовали, но в полемических трактатах против ереси, откуда почти всецело черпаются сведения о ней, не выступают с достаточной ясностью и определенностью. Да и вообще под гнетом инквизиционных преследований благонамеренные вальденсы мало-помалу превратились в членов тайных обществ, трудно доступных для наблюдения, по словам полемизирующего с ними Бернардо Гвидона.

На основании только что сказанного мы полагаем, что ТЗЧ, считающая Петра Вальдо святым и не так свирепо бичующая официальную (в нашем случае — русскую) церковь, возникла в среде, которая создалась под влиянием французской группы вальденсов, а СИ, нигде не упоминающий Петра Вальдо и весьма сильно поражающий официальную церковь, составлен под воздействием группы итальянской. И та и другая весьма легко могли появиться в пределах Руси, благодаря ее торговым сношениям с ганзейскими городами, тем более, что не только о Петре Вальдо, основателе вальденства, но и о целом ряде других проповедников известно как о людях, занимавшихся торговлей и разного рода ремеслами вроде цирюльничества, ткачества, сапожничества, актерства на рынках и в других местах народных собраний и т. п. А ближайшей причиной, погнавшей бродячих проповедников-вальденсов в русские пределы, могли быть гонения на вальденство после 1251 г. со стороны властей всей средней и южной Германии, как об этом узнаем из Альбертовой хроники.

IV

Самым выдающимся пунктом вальденской проповеди, на ряду с обличением пороков официальной церкви, был призыв к переустройству христианской жизни на началах обычаев первых времен христианства. ТЗЧ и СИ, как мы уже знаем, во многих своих статьях и тайно и явно проповедуют эти принципы. Стремление обходиться без официального попа и самим заниматься учением веры, конечно, включает догму о всеобщем священстве, которая нашла себе выражение в стереотипной формуле вальденсов: „всякий праведный есть пастырь".

И СИ и ТЗЧ стремятся обращаться со своими призывами к людям бедным и неимущим и прежде всего их организовать на истинно христианских основаниях. Эта тенденция проявляется не только в специальных статьях обоих памятников о челяди и рабах, но пробивается и там, где ее совсем нельзя ожидать. Возьмем для примера вторую из руководящих статей ТЗЧ с надписанием: „Слово о посте". Указав на пост как на призыв к „светлости", проповедник тут же заявляет: „такоже и вы постящеся нищим раздробляйте хлѣб свой, оубогия милуйте и нищих и немощных и на оулицах лежащих и сѣдящих присѣщайте, сущия же в темници и бѣдѣ милуйте, гладом не морите, ни наготою" (л. 2). Из обширной пове-

сти о Варлааме и Иоасафе, необычайно богатой разного рода притчами назидательного характера, в ТЗЧ использована всего одна встреча царя с нищим оборванцем (л. 53 об.). Эта тенденция проявляется даже в самых мелких вставках и пояснениях к обычным текстам. Вальденсы, как мы знаем из их истории, всегда и везде опирались на бедных, почему полемисты сплошь и рядом именуют их pauperes christi, pauperes spiritu, pauperes de Luaduno (бедняки христовы, нищие духом, нищие из Лиона).

Чтобы сильнее и лучше организовать вальденские общины из людей низших классов, мало образованных и слабо начитанных в богословской письменности, Вальдо со своими помощниками предпринял перевод Библии (в отрывках) на романское наречие и извлек нужные для пропаганды своих взглядов места из сочинений Августина, Иеронима, Амвросия и Григория Великого. Работавшие на Руси вальденсы при всей любви к тому, что близко и понятно простому люду, не могли опираться на славяно-русскую библию, ибо до 1499 г., т. е. до выработки знаменитого Геннадиевского свода библейских книг, она была рассеяна в различных сочинениях. Романскую библию для вальденсов на Руси вполне заменяли в силу своей поразительной простоты, пластичности и близости к разумению народных масс Стословец псевдо-Геннадия и Наставление отца к сыну. СИ и ТЗЧ широко использовали эти замечательные русские памятники. По таким же примерно побуждениям, можно полагать, включены в ТЗЧ и поучения Серапиона Владимирского. Что касается изречений из отцов и учителей церкви, то, с целью более сильного воздействия на адептов греко-восточной церкви, нужно было при составлении сборника поучений пользоваться именами восточных церковных писателей, а не западных.

В ТЗЧ, как уже было указано, подчеркивается авторитет дьяконов, и это понятно, если вспомнить, что вальденсы обычно отправляли проповедников своего учения попарно — пресвитера с дьяконом — и что в их среде всякий обращенный и заявивший себя приверженцем секты прежде всего удостаивался сана дьякона. По русским известиям, два дьякона были также основателями и руководителями стригольнической общины в Новгороде. На положении диаконисс первенствующей христианской церкви у вальденсов были новообращенные сестры. Вот почему в наставлениях ТЗЧ мы видим призывы не только к братьям и друзьям, но и к сестрам. Это — fratres amici, sorores, известные нам из истории западных вальденсов. Припомним в данной связи, что проповедники греко-восточной церкви ограничиваются призывами к одним мужчинам [1].

В ТЗЧ как главная и будто единственная индивидуальная молитва выступает „Отче наш“, а известно, что вальденсы только эту молитву и признавали, как евангельскую: они читали и пели ее (иногда по семи раз) при ритуальных трапезах. Любопытно, что ни в СИ, ни в ТЗЧ — при обилии статей, посвященных правой или доброй вере, — нигде не только не рекомендован никеоцареградский символ, эта общепризнанная в западной и восточной церквах норма веры, но даже ни разу не упомянут. Мы поймем эту странность, если вспомним, что вальденсы решительно отвергали никейский символ веры как произвольное измышление господствующей церкви, не имеющее под собой опоры в евангелии.

---

[1] Здесь мы имеем в виду обычные типы проповеди и не касаемся посланий, которые часто направлялись и к женщинам.

СН, кроме многочисленных мелких наставлений о воздержании от клятвы, имеет два специальных Слова, направленных против клятвы (Троицкий, № 201, лл. 104, 161). Объяснение этой подробности находим в том, что Новгород, для которого был составлен СН, своими торговыми приемами, где божба — своеобразное применение клятвы — играла крупную роль, давал повод к обличению этого порока; кроме того, вальденсы решительно восставали против всякого рода клятв и присяг. Длинный ряд статей СН, направленных против богатства и богачей, также становится понятным не из одной обстановки крупного торгового центра, каким был Новгород, но и из стремления поднять на высоту „нищую“ братию, из которой Вальдо организовал первую свою общину, послужившую образцом для дальнейших вальденских объединений.

Обилие отдельных предписаний и поучений о посте в СН и ТЗЧ объясняется тем, что вальденсы прежде всего считали себя призванными работать в качестве духовных отцов и исповедников, а исповедь и духовничество в христианской среде всегда были органически связаны с постами.

Резко бичуя официальных попов и провозглашая всеобщее священство, СН должен был придавать очень большое значение чтению писаний, так как малограмотный и неразвитый руководитель общины мог повредить „винограду христову“ не меньше казенного попа. В ТЗЧ такого резкого отношения к представителям господствующей церкви не наблюдается, а потому в ней нет и статей, говорящих о подготовке ко всеобщему священству путем чтения писаний.

V

Где и когда составлена ТЗЧ?

В русской письменности название Златой Чепи впервые появляется в житии Аврамия Смоленского, написанном в Смоленске около середины XIII в. Мы не должны оставлять без учета и этого указания, так как названия книг, не содержащихся в Библии и не предусмотренных церковными уставами, были в древнерусской письменности явлением редким: они не могли возникать стремительно и быстро исчезать. Иначе говоря, самое название Златая Чепь заставляет нас искать ее первоначальных корней в пределах древней Смоленской области. Для написания такого крупного сборника как ТЗЧ нужны были и вкус к литературным занятиям и хорошая подсобная библиотека. А о Смоленске мы знаем, что „в развитии книжного образования“ он с XII в. „шел в ряду первых русских городов“[1]. В его подгородном Селищевском монастыре было книгохранилище, откуда Аврамий, как утверждает житие, брал творения Златоуста, Ефрема Сирина и Феодосия Печерского. В ТЗЧ как раз больше всего использованы тематически и в виде выдержек писания двух первых отцов церкви, а вместо киевлянина Феодосия, обращавшегося с поучениями (в духе Феодора Студита) к монахам, взят киевлянин же Серапион (позднее Владимирский), который направлял свои Слова к людям мира и потому более годился для ТЗЧ, сборника мирского.

К Смоленску же, как месту пропаганды вальденства, ведут нас и некоторые факты из истории этого религиозного движения. Около 1260 г. инквизиция разыскала школы вальденсов в 42 приходах

[1] В. Ключевский. Древнерусские жития святых, стр. 54, М., 1871.

верхней и нижней Австрии. В 1315 г. в герцогстве австрийском насчитывалось около 80 тысяч последователей этой секты; они составляли целые деревенские поселения. Известно о проникновении вальденства в Богемию, Моравию, Силезию, Бранденбург, Померанию и Польшу. В Богемии и Моравии[1] при сожжении в 1315 г. вальденского епископа число его товарищей по вере признается неизмеримым.

Названные страны, если взглянуть на карту Европы XIV в., окажутся соседями наших старых областей Псковской, Новгородской и Смоленской. При отсутствии китайской стены между восточными рубежами средней Европы и западными Русской земли, при основной движущей идее вальденсов — пронести с помощью странствующих проповедников свои идеи во все части света, при известной страсти средневекового человека к перемене мест, было бы странно и совершенно непостижимо, если бы взбаламученные инквизицией волны вальденства не ударили о русские берега, т. е. Псков, Новгород и Смоленск. Что эти волны захлестнули и Новгород со Псковом (его культурным близнецом), мы знаем из статей СП, а что ТЗЧ не могла возникнуть в виде второй символической книги вальденства в Псково-Новгородской области, за это говорит полнейшее отсутствие в языке нашего памятника псковизмов (*жг* вместо старославянского *жд*, а также взаимной мены *ж* и *з*, *ш* и *с*) и новгородизмов (мены *ц* и *ч*); не видим также в ТЗЧ ни одного случая белорусского дзеканья.

Вместо северно-великорусских диалектизмов мы наталкиваемся в ТЗЧ на факты, говорящие о появлении ее в сфере северно-украинского наречия. Очень часто появление *и* на месте древнего *ѣ* под ударением и вне его: скорбиши (л. 14б), смотрити (л. 55), вишнини на небесих, в миру (л. 45) и т. д. Один раз даже видим *ѣ* вместо *ы*: рѣкали яко львове (л. 99). Часто находим *и* вместо *ы*: отригаю (л. 46б), помислити (л. 93, хотя здесь же — мысли). Иногда *ъ* является на месте *л*, как ьзва (лл. 31, 93 об.). Много раз встречается *ье* вместо древнего *ие*: питье (л. 6), зоружье (лл. 15, 92, 93), житье (часто) и т. д. Много же раз встречаем в 3-м лице множественного числа мягкое окончание: пьють, льють (л. 41б), согрѣшають (л. 46), клячать (л. 74). Видим иногда *и* вместо *ъ* перед *и*: сѣдити нерѣи в олтари (л. 31б) и *е* вместо *ъ* в окончании 3-го лица единственного числа: не имете (-ть, л. 96б), не приемлете (-ть, л. 99б). Часто встречаемся с отвердением *л*: велми (л. 16), во лготѣ (л. 15б), лвом (лл. 7, 61б) и т. д.; со смягчением *р* и *м*: берьние (л. 15), сверьстныя (л. 69), мирьская (л. 90) и т. д., и других звуков: адьская врата, блюдиця (л. 121) и т. д.; с заменой *с* на *з*: здѣваем (л. 94bis), зблазнилися (л. 117б), зглядѣл (л. 92), даже зуть вместо суть (л. 2) и наоборот: весде (л. 89), сдѣ (л. 26б), сдравому (л. 26б); часты формы: копеви (л. 5б), валови (ваалу — л. 5б), дарове, попове (л. 95б), пискове (л. 101б), властелеви земнии (л. 89).

Так как стихия языка в ТЗЧ ведет в область северно-украинского наречия, а самое прозвище Златая Чепь и историческая обстановка направляют мысль к Смоленску, то мы и обратились к ценному памятнику областной культуры — Псалтири, написанной в 1395 г.

[1] Döllinger в своей „Geschichte der agnostisch manicheiscchen Secten in früheren Mittelalter", S. 25[illegible], München. 1[illegible]9[illegible], считает вальденсами всех еретиков, которых Иречек в истории болгар относит к богомилам, кафарам и другим сектам.

Лукою Смольянином[1]. Псалтирь эта великолепного уставного крупного письма с двояким орнаментом — тератологическим и византийским, прошедшим западную обработку, причем инициалы обычно чередуются (тератологический на одной стороне листа, византийский — на другой и наоборот). Как известно, псалтирные тексты были наиболее стереотипными и канонизованными, и потому в них всего труднее проникали диалектические особенности, способные характеризовать говор писца. Наша Псалтирь намеренно стремилась к аккуратной выписке букв, а это не могло не способствовать сохранению оригинала, которым она пользовалась, и сокращению диалектизмов писца. Тем не менее мы встречаем в Смоленской Псалтири ряд написаний, сближающих ее с ТЗЧ: появление *и* вместо *ы* — з у б и (л. 53), н и н ѣ (л. 11б, 14) и др.; окончание *ье* вместо *ие*; о у ч а с т ь е (л. 47б), о б ѣ т о в а н ь и (л. 52б), *ть* в 3-м лице множественного числа: и з н е м о г а ю т ь (л. 8б); смягчение *р* — м о р ь с к ы я и других звуков: д ь щ е р е (л. 69), ш ю м (часто); отвердение *л*: л в а (л. 90б); появление *о* вместо *е*: т о б ѣ, с о б ѣ (часто); в Псалтири видим появление *у* вместо *ы* в записи писца: п р е п и с у в а т и (л. 156б) и в ТЗЧ: о у с л у ш а в ш е (л. 118б), в п у с т у н и (л. 21).

Нельзя обойти молчанием одинаковые графические приемы в ТЗЧ и Смоленской Псалтири, объясняемые стремлением экономить пергамен. Так, в обоих памятниках очень часто пишется *і* вместо *и*, так как оно требовало вдвое меньше места и труда. Экономией объясняется и появление лигатур не только в надписаниях статей, как это было в других рукописях XIV в., но и в самом тексте. По этой же причине в обоих памятниках довольно значительное количество букв помещается сверху строки, причем в Псалтири, во избежание дисгармонии и для вящей красоты кодекса, ряд букв выписывается в миниатюрном виде. В ТЗЧ и Смоленской Псалтири одинаковым правом гражданства пользуются буква *р* — прямой столбик с кружком поверх линий строки — и *р*, идущее под строку, обычное для славянорусских рукописей с древнейшего времени. Проникновение первой формы буквы *р* из надписаний, где она встречается и в других пергаменных рукописях, в состав текста может объясняться удобством ее для лигатур.

В Псалтири 1395 г. опять-таки для большей убористости встречаем в тексте вязь[2], порой настолько замысловатую, что ее можно прочитать лишь при хорошем знании текста. В ТЗЧ стремление экономить пергамен и уложить на нем побольше текста привело к созданию целой системы символических написаний, чего не находим в других русских рукописях пергаменного периода. Слова а з, д о б р о, е с т ь, з ѣ л о, з е м л я, и ж е, к а к о, н а ш, п о к о й, р ц ы, с л о в о и пр. обозначаются буквами *а*, *д*, *е*, *з*, *и*, *к*, *н*, *п*, *р*, *с* и производится, если можно так сказать, склонение слов-букв: с м ь (л. 100) = словомь, з ю (л. 100) = землю; в с е д и (л. 97б) = в с е д о б р о е.

Для установления того, что ТЗЧ и Псалтирь 1395 г. вышли из одной писчей школы, особенно важно наличие в обоих памятниках

[1] Ее называют Смоленской, Лукиной — по имени писца и Онежской — по месту прежнего хранения. Теперь памятник в фонде Гос. Ист. музея в Москве. Описание его дано в статьях Б у г о с л а в с к о г о и Д о л г о в а. Древности, Труды ИАО, XXI, вып. 1, стр. 77 и сл.

[2] Различая лигатуры от вязи, я считаю лигатурой соединение букв на линии строки, а вязью такое сплетение букв, когда они идут и вверх и вниз строки; в лигатуре корпус буквы всегда более или менее неизменен, в вязи же он бывает иногда едва уловим.

идиограммы, чего мы не встретим ни в одной из русских пергаменных рукописей. Мы имеем в виду употребляемый вместо буквы *м* прямой столбик на строке с тонким росчерком влево под строку (в отдельных случаях и вправо), как на л. 60 — в а л = в а м; см. в Псалтири лл. 6, 7, 10б, 12б, 17, 19, 27 и др., в ТЗЧ 87б, 88б, 92 (5 раз) и т. п. Эта необычная форма буквы — половина уставного *м*, заменяющая целую букву, — является следствием старания быть экономным[1].

Если бы не было никаких других показаний, одного этого вполне достаточно для признания ТЗЧ и Смоленской Псалтири вышедшими из одной писчей среды, т. е. изготовленными в Смоленской области.

Что касается времени возникновения ТЗЧ, то по этому поводу можно сказать следующее. Все, кому знаком наш памятник, единодушно относят его к XIV в., не уточняя, появилась ли ТЗЧ в начале или в конце столетия. Сравнение со Смоленской Псалтирью и здесь помогает нам. Вторая половина XIV в. характеризуется в русских рукописях господством так называемого тератологического или чудовищного орнамента. Мы встречаем этот орнамент в Смоленской Псалтири, очень тонкий, изящный и тщательно разработанный. В ТЗЧ, тоже возникшей в Смоленской области, мы не находим никаких признаков тератологии ни в длинном ряде инициалов, ни в начальной заставке. Это говорит, что наш памятник явился на свет значительно раньше Смоленской Псалтири, т. е. тогда, когда византийский орнамент еще не был вытеснен чудовищным. Иными словами, мы должны отнести возникновение ТЗЧ или к самому концу XIII в. или к самому началу XIV в.

Подведем итоги.

* *
*

1. ТЗЧ и СИ сходны между собой и по содержанию и по форме, что заставляет видеть в них памятники, вышедшие из одних (или по крайней мере близких) идеологических кругов.

2. Подобно СИ, ТЗЧ возникла в стригольничьей среде.

3. Как и СИ, ТЗЧ — памятник, назначенный для чтения мирянам и через их голову — белым попам и дьяконам; совершенно исключена возможность возникновения ТЗЧ за монастырской оградой.

4. ТЗЧ, гораздо более чем СИ, стремится к насаждению среди своих читателей наиболее важных идей и установлений, отличавших первохристианские общины.

5. Оба памятника, с целью утверждения своих излюбленных тенденций, стремятся к обличению недостатков и пороков в среде, их окружавшей. При этом обличения СИ гораздо сильнее, ядовитее, разнообразнее и обширнее.

6. Наличие на листах ТЗЧ Слова с именем Петра (Вальдо) о временном житии, доказывает, что религиозное движение, породившее СИ и ТЗЧ, т. е. русское стригольничество, создалось под прямым влиянием реформаторских идей вальденства.

7. Ряд подробностей в наставлениях и обличениях СИ и ТЗЧ как нельзя лучше и полнее объясняется вероучительными прин-

---

[1] Не той ли писчей среде, заботившейся об экономии пергамена, принадлежит и рукопись Григория Богослова (Чудовская, № 11), вся писанная вязью? Если да, то надо думать, что ею могли свободно пользоваться только вальденские братья, так как рядовому читателю ее чтение было не по силам. Может быть, и части ТЗЧ писаны с оригинала, похожего на Чудовскую № 11, писцом, который многого не разбирал, неразобранное пропускал, а потом под диктовку пополнил сверху строк? Так естественно объяснять необычайную „описливость“ ТЗЧ, допускающую пропуски букв и слогов.

чинами, отличающими вальденсов, насколько мы их знаем по разным источникам из истории средневековых реформаторских движений.

8. Как СИ является созданием новгородской культуры, так ТЗЧ может быть названа памятником областной смоленской культуры.

9. Временем возникновения ТЗЧ следует считать самый конец XIII или самое начало XIV столетия.

10. Судя по тому, что влиянию вальденсов русская письменность обязана двумя такими крупными памятниками как СИ и ТЗЧ, следует полагать, что влияние это было весьма сильно и что его отражение надо искать и в ряде других русских произведений древности.

В виде дополнения к предыдущему можем сказать, что житие Аврамия Смоленского под пеплом агиографического плетения словес скрывает огонь острой вражды между двумя слоями духовенства. На одной стороне стоит Аврамий с его проповедью, угодной мирянам— его защитникам на Смоленском вече, на другой — попы и чернецы, клевещущие на подвижника, обвиняющие его в ереси и готовые даже на убийство. Находятся и люди, которые вооружаются против невежества пастырей.

В такой социальной обстановке вырос Старший Русский Измарагд, и мы связываем его возникновение с движением стригольников, создавшимся под влиянием западного вальденства. Любопытно, что невинность Аврамия выясняется благодаря откровению свыше Луке Прусину, т. е. выходцу из Пруссии, человеку Запада. Значит, Аврамий был солидарен в своей проповеди с носителем западной мысли (по нашему пониманию — вальденской), а не с официальными русскими церковниками, которые искали его смерти, злобясь на то, что он отбил у них духовных детей (духовничество было одной из главных функций странствующих проповедников вальденства).

Обе партии, видимо, были настолько равны по силе своего влияния, что местный епископ в своем суде над ними колебался: сначала принял сторону врагов Аврамия и лишь впоследствии восстановил подвижника в его правах. При нашем понимании дела глубинные книги, в чтении которых обвиняли Аврамия враги, могли быть вначале тайнописными, вроде упомянутой выше рукописи Григория Богослова (Чудовская, № 11) на 164 листах, сплошь писаной неразборчивой вязью XIV в. и потому доступной только людям искусным.

В. И. ПИЧЕТА

ПОЛЬША НА ПУТЯХ К КОЛОНИЗАЦИИ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

I

Шляхетская Польша во второй половине XVI в. вступила в сравнительно долгий период подъема своего экономического и политического значения. Развивавшаяся в ту пору городская цеховая промышленность западноевропейских стран нуждалась в производственном сырье, которое могли дать только страны с развитым сельским хозяйством. Рост городского населения, феодальные войны во Франции в XVI в., упадок сельского хозяйства в Англии в связи с обезземелением крестьянства, промышленное развитие Голландии, упадок сельского хозяйства в Италии и Германии после расправы с восставшими крестьянами — все это увеличивало спрос на польское сельскохозяйственное сырье. Одновременно развитие торговли и военного флота приатлантических держав вызывало спрос и на лесные продукты. Польша становилась основным поставщиком сельскохозяйственных продуктов и леса на европейский рынок. Все эти условия содействовали подъему сельского хозяйства Польши и его реорганизации на базе развития фольварочного хозяйства и усиления эксплоатации крепостных крестьян, хозяйство которых значительно упало.

Благоприятная для сельского хозяйства внешнеторговая конъюнктура вовлекала в сферу влияния европейской торговли и среднепоместное землевладение, пресс которого становился особенно тяжелым для крепостного крестьянства.

Эта же конъюнктура заставляла польскую шляхту добиваться заключения унии с Литвой не столько в целях политического слияния обоих государств, сколько ради территориального расширения и захвата новых земель, удобных как для развития сельского хозяйства, так и для шляхетской колонизации. В этом отношении Волынь, Киевщина, Литовское Подолье открывали перед шляхтой широкие перспективы и возможности.

При всем враждебном отношении к Польше со стороны литовских феодальных князей и панов, польские паны с Литвой считались мало, учитывая, что война с Московским государством заставит Литву все же ориентироваться на Польшу. Увлеченная погоней за землей и расхищением украинских общинных земель, шляхта забыла только об одном — о силе сопротивляемости кровно заинтересованного в этом деле, наиболее страдающего от земельного грабежа, крепостного крестьянства. Экономическое угнетение повлекло за собой вступление крестьянства на путь классовой противофеодальной борьбы. Борьба началась с пассивной оппозиции — с бегства в пустыни Правобережья, в Запорожье, в степные просторы Левобережья. Эта пассивная оппо-

зиция переросла в активную противфеодальную борьбу, потрясшую до основания социально-экономическую базу Польского королевства и Речи Посполитой вообще и тем самым положившую начало закату Речи Посполитой и низведению ее в ранг второстепенной державы. Этого нельзя забывать при изучении общих причин упадка Речи Посполитой и ее окончательной политической гибели[1].

Балтийская торговля для Польши начала приобретать особое значение, когда, в силу заключенного с Орденом Торунского мира 1466 г., город Гданск с устьем Вислы отошел к Польше. Особенно поднялось значение Гданска после упадка Ганзейского союза в конце XV в. и закрытия для польской торговли черноморских портов в середине XV в. Через Гданск Польша связывалась с Португалией, Испанией; Италией, Голландией, Англией. К привислянской водной артерии тянулись все остальные сухопутные и речные дороги. Краков, Варшава, Торунь, Гданск были важнейшими торговыми пунктами. Другие дороги от Варшавы на Гродно, Митаву, Вильно и Полоцк имели второстепенное значение. Дорога на восток от Кракова на Львов и Каменец-Подольский вовсе утратила свое первостепенное значение[2].

Центральным пунктом вывозной польской торговли был Гданск. Через него вывозились лес, смола, поташ, воск, составлявшие до половины XV в. основную статью вывоза. С половины XV в. картина постепенно менялась: увеличивался вывоз сельскохозяйственных продуктов, хотя вывоз леса в разных видах, смолы, поташа и воска сохранял свое значение и продолжает занимать выдающееся место в общем польском вывозе. Вывоз лесных материалов все время увеличивался с конца XV в. до половины XVI в.

Было бы неправильно представлять себе, будто польский вывоз постоянно прогрессировал. Размеры сельскохозяйственного вывоза, экспорт леса, смолы, воска, поташа колебались по отдельным годам в зависимости от различных условий, но общая тенденция все же была повышательная.

Данные об экспорте Гданска могут служить превосходной иллюстрацией большого напряжения крепостного хозяйства в XVI в. и в первой половине XVII в., поскольку Польша была основным поставщиком зерновых продуктов на рынок Гданска. После захвата Украины последняя становится видным поставщиком экспортного хлеба, в связи с чем дорога по р. Западный Буг приобретает важное значение. Увеличение сельскохозяйственной продукции на базе усиления эксплоатации крестьян и внеэкономического принуждения в связи с ростом привислянской внешней торговли превращало Польшу в достаточно мощную аграрную феодальную державу, располагавшую значительными материальными и денежными ресурсами. Это позволяло польской шляхте держать себя вызывающе по отношению к литовской магнатерии, доля которой в сельскохозяйственном заграничном вывозе была много скромнее. Но эта же аграризация Польши имела и свою обратную сторону. Польские феодалы в полном сознании своих классовых интересов проводили узко-классовую экономическую политику, не считаясь с развитием других отраслей народного хозяйства. Польская, как и литовская, шляхта добилась полной свободы от всяких пошлин при вывозе за границу продуктов собственного хозяйства, причем одновременно шляхте был разрешен и беспош-

[1] A. Jabłonowska. Zródła dziejowe, XXI, XXII, 1894—1897.

[2] J. Rutkowski. Zarys gospodarczych dziejów polskich w czasach przedrozbiorowych, str. 199. 1923.

личный ввоз иностранных товаров для нужд собственного потребления. Эта классовая шляхетская экономическая политика имела последствия чрезвычайной экономической важности. Она придала экономическому развитию Польши однобокий характер и задержала промышленное развитие королевства. Эта же политика послужила основной причиной экономического упадка польских и литовских городов. Она поставила Польшу в полную зависимость от Западной Европы в промышленном отношении, в полную зависимость от западноевропейского рынка. Она способствовала уменьшению и обеднению городского населения, особенно городской плебейской массы.

В годы длительного сельскохозяйственного кризиса накопленные денежные средства уходили за границу. Польша постоянно испытывала крайнюю нужду в деньгах. Отсутствие средств обрекало на полный провал все попытки правительства содействовать промышленному развитию Польши и тем самым изменить односторонний характер экономической структуры королевства. Да и самые попытки предпринимались слишком поздно, осуществлялись по-барски и, в условиях крепостного права, при недостаточной емкости внутреннего рынка, не имели никаких данных развиться в эффективные мероприятия.

Аграрная структура Польши на базе крепостного труда и величайшего произвола в отношении крепостного крестьянства была одной из причин прекращения существования Польши как политически самостоятельного государства[1].

Экономическое развитие Польши определяло ее внешнюю политику. Польский сельскохозяйственный экспорт направлялся за границу через Гданск. Польша находилась в полной зависимости от экономической политики Гданска и от голландцев-посредников в торговле, поскольку она не имела своего торгового флота, а разговоры о постройке собственного флота не дали никаких конкретных результатов. Имея громадные экономические интересы на Балтике, Польша находилась в полной зависимости от Дании и Швеции, которые были господами положения на Балтике. Польше приходилось зорко наблюдать за соотношением сил на Балтике, которые влияли на польский экспорт и экономическое положение польских феодалов.

Гданск входил в состав Польского королевства на правах вольного города. С Польшей его связывали только тесные экономические отношения. В политическом же отношении Гданск был фактически независим от Польши, рассматривая себя как самостоятельное государство-город[2]. Свою экономическую политику Гданск, естественно, проводил исключительно в собственных интересах, не считаясь с интересами Польши. Гданск мог оказывать на Польшу любое экономическое давление, и Польша была вынуждена с этим мириться, хотя бы экономическая политика Гданска и вызывала возмущение в шляхетских кругах. Особое географическое положение Гданска усиливало политическое значение его как узла Балтийского вопроса. На Гданск смотрели жадными глазами все близкие и далекие государства, которые протягивали свои щупальцы к Балтийскому морю и стремились утвердиться на нем. Польша, Дания, Московское государство, Швеция — все считали этот город важным для своей торговой экспансии и для своего политического усиления. Поэтому

[1] J. Rutkowski. Op. cit., str. 72—73, 186—197.

[2] R. Zutman. Historja Gdańska do roku 1793 Gdańsk. Praca zbiorowa, str. 35—126; Simson. Geschichte der Stadt Danzig, Bd. I—IV, 1928.

для Польши Гданск имел не только экономическое, но и политическое значение как опорный пункт для проведения ее балтийской политики.

Экономическая политика Гданска была сугубо меркантилистична. Гданск превосходно учитывал свое торгово-экономическое значение как посредника в балтийской торговле Польши. Гданск не считался с политикой последней и, проводя собственную политику, часто поддерживал дружеские экономические связи с теми государствами, с которыми Польша, а впоследствии Речь Посполитая, находилась во враждебных отношениях [1]. Польша же была бессильна оказывать на правительство государства-города воздействие в желательном для себя направлении.

Но у Гданска были и слабые стороны, которые ставили его торговлю под угрозу. Гданск не имел собственного значительного флота. Свои посреднические торговые операции Гданск выполнял при помощи голландского флота, который занимал первое место. В конце XVI в. голландские суда составляли от 60 до 80% общего количества судов, отчаливавших от Гданска; в XVII в. — от 70 до 80%. Затем голландская торговля начала сокращаться, хотя она некоторое время еще и занимала господствующее положение [2].

Вся внешняя политика Речи Посполитой во второй половине XVI и начале XVII вв. была связана с Балтикой. Балтийский вопрос имел немалое значение при разрешении вопроса о польско-литовских унитарных отношениях. Польша стремилась иметь в резерве великое княжество Литовское на случай, если придется вмешаться в военное столкновение за обладание Балтикой. Положение на Балтике создалось очень острое. Московский феодал и купец стремились утвердиться на берегах Балтики. Для торговли с англичанами Белое море представляло столько природных препятствий и неудобств, что обладание портами на Балтике было необходимо для феодального землевладения и связанного с ним купечества. Польша не могла допустить утверждения Московского государства на берегах Балтики, поскольку вывоз продуктов из Московского государства в Западную Европу мог явиться серьезной конкуренцией для польского экспорта.

В этом отношении Польша примыкала к противомосковскому фронту и, если сначала не принимала участия в борьбе с Московским государством, то это можно было объяснить не только нежеланием шляхты возложить на свои плечи новые повинности, но и тем, что при создавшейся международной обстановке правительству Речи Посполитой приходилось сосредоточить все свое внимание на западном побережье Балтийского моря, так как Дания, начав семилетнюю войну со Швецией (1563—1570 гг.), естественно, должна была искать если не помощи, то союза с Москвой. Дания могла запереть Зунд и Бельты для гданского флота и, отрезав Польшу от рынка сбыта ее сельскохозяйственных продуктов, тем самым поставить земельных собственников и экспортеров хлеба в тяжелое положение. Да и шведский король мог принять враждебные в отношении Польши решения, которые в той или другой степени имели бы вредные последствия для польской вывозной торговли.

Впрочем, шведско-датская война не принесла особого ущерба этой торговле, хотя все-таки вывоз несколько сократился, особенно

[1] Ad. Szelagowski. Pieniadz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce, str. 110. 1902.

[2] St. Kutrzeba. Handel Gdańsk. Praca Zbiórowa pod red. Kutrzeby, str. 161—162. Kraków, 1928.

под конец войны. В 1563 г. из Гданска вышло 1617 судов, а в следующем году — только 999. В последующие годы количество ушедших из Гданска судов немного увеличилось (1173, 1275, 1028, 1046), но в 1569 г. их количество вновь уменьшилось до 965[1]. Дания до тех пор могла враждовать со Швецией, пока положение последней в Эстляндии было благоприятно. Но как только Москва стала угрожать Ревелю, Дания поспешила заключить мир со Швецией, предоставив тем самым последней возможность концентрированной борьбы с Москвой[2]. Польша же осталась владеть отвоеванной от Ордена территорией.

II

Таково было положение Польши накануне Люблинской унии 1569 г., явившейся поворотным моментом в отношениях шляхетской Польши и магнатской Литвы. На сейме в Люблине польским шляхетским дипломатам не удалось полностью осуществить свои давнишние политические планы — слить воедино великое княжество Литовское с Польским королевством. Политика польских шляхетских дипломатов встретила активный отпор со стороны крупных феодалов великого княжества Литовского. Правда, внешнее положение великого княжества было очень тяжелое. Военные действия с Московским государством развертывались не в пользу Литвы, и без польской помощи нельзя было надеяться на благополучный исход войны. Политическую позицию литовской магнатерии ухудшала еще обостренность отношений внутри класса литовских феодалов. Украинская и литовско-белорусская шляхта склонялась к унии в надежде на облегчение своего экономического положения, чрезвычайно ухудшившегося в связи с военными действиями. Магнатам-сепаратистам было очень трудно бороться с унионистскими планами литовско-белорусской и украинской шляхты.

Волынь и Подляшье, будучи тесно связаны с привислянским речным бассейном, принимали деятельное участие в вывозе сельскохозяйственных продуктов за границу через Гданск и попадали тем самым в орбиту польской экономической политики. С другой стороны, волынские и прочие украинские феодалы были очень озабочены охраной своей территории от набегов крымских татар. Украинские замки требовали ремонта, и вообще все средства обороны восточной границы нуждались в полной реорганизации. Собственными силами и средствами украинские шляхтичи не могли поставить оборону края на должную высоту. К тому же набеги крымских татар не позволяли украинским феодалам надлежащим образом использовать свои земельные богатства и путем реорганизации помещичьего хозяйства и увеличения эксплуатации непосредственных производителей увеличить свой сельскохозяйственный вывоз. Не надеясь на помощь со стороны правительства великого княжества Литовского, которое было занято войной с Иваном Грозным, украинская и литовско-белорусская шляхта рассчитывала, что уния усилит обороноспособность Литвы.

Накануне Люблинской унии произошли существенные перемены в организации власти в самой Литве. Литовские магнаты должны были пойти на значительные уступки шляхте и в известной мере шляхетизировать свой государственный строй. Но эта шляхетизация была далеко неполной. Великое княжество Литовское, будучи шляхетским по форме, оставалось по своему содержанию аристократиче-

[1] St. Kutrzeba. Hand. I, str. 158.
[2] И. Полосин. Вступительная статья к „Запискам Генриха Штадена о Москве Ивана Грозного“, стр. 15, М., 1925.

жим. Управление государством находилось в ведении панов: таким образом они сохранили руководящее значение как во внутренней, так и во внешней политике [1].

Широкие шляхетские круги стремились к полной шляхетизации государственного и общественного строя Литвы. Реформы 60-х годов, закрепленные в литовском Статуте второй редакции, только частично разрешили эту важную для шляхты проблему. В этом отношении польский шляхетский государственно-общественный строй являлся для шляхты Литвы политическим идеалом.

Белорусская шляхта во время войны за Ливонию несла громадные материальные потери. Она была вынуждена оставить свои родовые вотчины и переселиться на отведенные ей земли в Приднепровской Белоруссии, где уже начался расхват земель ненавистной ей магнатерией, которую она считала виновником всех своих невзгод [2]. Эти противоречия внутри класса феодалов заставляли белорусскую шляхту также поддерживать идею унии, хотя экономически Белоруссия была мало связана с Польшей.

Магнатерия великого княжества никак не могла согласиться на потерю Литвой своего отдельного государственного существования. Слиться с Польшей—значило допустить польских шляхтичей в великое княжество и предоставить им право занимать государственные должности и владеть землей, вопреки статьям Статутов первых двух редакций, запрещавшим иностранцам владение землей и занятие государственных должностей [3]. Согласиться на унию — означало для магнатов потерять в Литовском княжестве свое исключительное положение. И магнаты, как могли, боролись за свои интересы, выступая против унии.

Но все пущенные в ход магнатами дипломатические уловки и хитрости не достигли цели. Польские шляхетские дипломаты, опираясь на украинскую и литовско-белорусскую шляхту, не были тронуты «слезами и просьбами» магнатов. Они прекрасно сознавали, что Польше не представится другой, более благоприятный момент для заключения унии, и поэтому твердо держались унитарных позиций.

На Люблинском сейме создалась очень напряженная, требовавшая разрядки атмосфера. Нельзя было совсем игнорировать политические настроения магнатов в тот момент, когда Литве угрожала потеря придвинской Белоруссии и Ливонии. Продолжение войны для обоих государств было необходимо. В противном случае военные неудачи великого княжества тяжело отразились бы и на Польше. Чтобы не отталкивать литовских магнатов от Польши и не заставить их броситься в объятия царя Ивана Васильевича, польские дипломаты решили отступить от своих первоначальных планов.

Этот тактический маневр они использовали после того, как Польша добилась осуществления своих давно взлелеянных планов. Подляшье, Волынь, Киевщина, Подолье отходили к Польше. Великому княжеству Литовскому отдали только Мозырский повет Киевского воеводства, который был присоединен к Минскому воеводству. Теперь перед польской шляхтой открывались широкие перспективы захвата украинских старостинских земель и возможности разрешения шляхетского аграрного кризиса. При наличии таких блестящих перспектив можно было пойти на известные уступки литовской магнатерии. Уступки эти

[1] М. Любавский. Литовско-русский сейм, стр. 509—734, 1901. Статут 1566 г., разд. III и IV.

[2] Документы Московского архива мин. юстиции, стр. 140—141, 1897.

[3] Статут 1566 г., разд. III, 9.

в общем были весьма значительны. Правда, уния была заключена, правда, Литва потеряла свои украинские земли, но все же она сохранила свое самостоятельное существование. Теперь население великого княжества Литовского состояло главным образом из литовцев и белоруссов и из национальных меньшинств: татар и евреев.

Польские дипломаты согласились на образование нового федеративного феодального государства, известного под именем «Речи Посполитой», в котором обе составные его части — Корона (Польша) и Княжество (Литва) — занимали одинаковое государственно-правовое положение. Акт Люблинской унии был окончательно утвержден Сигизмундом-Августом 11 августа 1569 г.[1]

Правовое положение великого княжества Литовского определил принятый сеймом 1 июля 1569 г. привилей, подчеркивавший политическое единство польской Короны и великого княжества Литовского[2].

Исходя из этого предполагаемого политического единства, Люблинский сейм принял ряд решений принципиальной важности, которые должны были еще более резко подчеркнуть политическое единство обоих государств. Титул великого князя Литовского сохранялся как составная часть титула общего государя, но, с другой стороны, было уничтожено всякое наследственное право литовских господарей на Литву. Все эти права передавались на вечные времена Короне[3].

Объединение обоих государств в одно логически влекло за собой прекращение деятельности отдельных сеймов как в Короне, так и в Литве. Отныне должны были функционировать лишь общие сеймы обоих народов; они будут происходить в Польше — в пункте, который найдут наиболее удобным литовские и польские паны[4].

Поскольку Литва и Польша объединились в одно государство, обе они теряли права самостоятельного ведения дипломатических сношений и заключения международных договоров. Все договоры должны были заключаться лишь с согласия обоих народов. Таким образом, внешняя политика Речи Посполитой должна была отныне стать единой. Заключенные раньше договоры теряли свою юридическую силу, если они оказывались невыгодными хотя бы для одной из составных частей Речи Посполитой[5]. Вводилась единая монета[6]. Оба народа должны были иметь одного государя, избираемого объединенными голосами поляков и литовцев; избрание короля происходило в Польше, коронация — в Кракове[7]; тем самым отпадало вступление избранного государя на престол великого княжества Литовского[8]. Прежняя присяга панов-рады, дигнитарей, врядников и старост сохранялась в силе, с той разницей, что она должна была приноситься коронованному королю и польской Короне[9]. После коронации вновь избранный король должен был подтвердить все общие права как для Короны, так и для великого княжества[10].

Все права и привилеи, выданные раньше «письмом» великому княжеству Литовскому, подтверждались, независимо от того, каким способом они были дарованы и когда были опубликованы. Оставались

[1] Volumina legum, II, str. 87—92.
[2] Ibid., str. 89, § 2.
[3] Ibid., str. 90, § 6.
[4] Ibid., str. 91, § 16.
[5] Ibid., str. 90, § 11.
[6] Ibid., § 12.
[7] Ibid., str. 89—90, § 1.
[8] Ibid., str. 90, § 5.
[9] Ibid., § 10.
[10] Ibid., § 7.

в неприкосновенности и все вольности, достоинства, прерогативы и уряды обоих народов. Сохраняли также свою силу все права и преимущества, принадлежавшие каждому «стану» обоих народов, и все «судовые» постановления с древнейших времен[1].

Все статуты и уставы, которые запрещали полякам приобретать и владеть землями, независимо от способа приобретения, теряли свою силу как противоречащие «праву, справедливости, общей братской любви, унии и объединению обоих народов». На поляков распространялось право приобретать законным способом имения в Литве. Со своей стороны, литовцы получали такие же права в Польше[2].

При наличии свободных должностей король мог раздавать их только тем лицам, которые принесут присягу ему, его коронованным преемникам и Польской короне[3]. Духовная и светская шляхта в Польше и Литве освобождалась от уплаты всех видов таможенных внутренних пошлин. Предполагалось, что шляхта не будет злоупотреблять своей свободой от уплаты таможенных пошлин, не будет «прикрывать» таможенных сборов с купцов и сговариваться с ними во вред государству, как это издавна водилось и в Польше и в Литве[1].

Большое значение для литовской магнатерии и шляхты имел вопрос о землевладении и его неприкосновенности. Литовские магнаты успели захватить в свое владение немало имений. Для них было крайне важно, чтобы все виды земельных владений, находившихся в их руках, были в неприкосновенности сохранены за ними. В борьбе за неприкосновенность земельных владений внутри класса землевладельцев не могло быть никаких противоречий. В этом отношении класс феодалов выступал единым фронтом. Условия Люблинской унии шли навстречу интересам всего класса литовско-белорусских землевладельцев. Польские шляхетские дипломаты, добившись в основном унитарного соединения Литвы с Польшей, не возражали против сохранения неприкосновенности земельных владений всех видов и родов. Занятая польской шляхтой позиция в земельном вопросе логически вытекала из признания за великим княжеством Литовским права на самостоятельное политическое бытие, а также из факта сохранения литовского законодательства и признания действительными всех прежних судебных решений, среди которых земельные вопросы занимали центральное место.

Положив в основу своих решений по земельному вопросу старое литовское феодальное право, Люблинский сейм признал юридическую силу всех земельных пожалований, произведенных великим князем литовским. Сейм признал, что экзекуция столовых имений, производившаяся в Польше согласно Статуту короля Александра и его потомков, не распространялась на держателей столовых имений в Литве. Все права и привилегии, дарованные предками короля и им самим «народам литовским, русским, жмудским, а также и иным народам и обывателям великого княжества Литовского, а также и его землям, поветам, фамилиям и отдельным лицам», сохраняли свою силу и нерушимость. Также оставались «в вечном владении феоды или лены, фримарки, доживотные владения, всякие заставы, совершенные на сейме и без сейма, согласно каждого привилея, не подвергая их сомнению каким-либо способом и обычаем». Равным образом «все пожалования на дигнитарства и уряды, которые с давних времен

[1] Volumina legum, II, str. 90, §§ 9 и 15.
[2] Ibid., § 14.
[3] Ibid., str. 91, § 17.
[4] Ibid., str. 90, § 13.

кому-либо принадлежали, а также все заставы и всякие суммы в полном праве должны были быть сохранены, и держатели их не должны были обращать ни на что никакой части своих обычных доходов, кроме как на свой личный прожиток, согласно их настоящего держания привилеев или листов». Если кто-либо владел полученными от своих предков землями или посессиями без соответственных документов, то такие земельные держания оставались за их держателем на вечные времена.

В случае, если в разряд столовых имений перейдут владения княжеские, шляхетские или панские, король может по собственному усмотрению раздавать их «людям шляхетского народа», как полякам, так и литовцам, только под условием, чтобы такие раздачи не отразились на отправлении военной и земской службы. При возвращении земель, захваченных Москвой, замки, имения и посессии подлежат возврату прежним владельцам; если же взамен этих владений уже было дано во награждение, они причислялись к разряду столовых королевских имений [1].

На таких условиях великое княжество Литовское соединилось, но не объединилось, с Польшей, хотя акт Люблинской унии стремился изобразить состоявшийся договор как полное политическое объединение обоих народов «в одно тело». Польским дипломатам не удалось полностью осуществить намеченную ими политическую программу. В этом отношении сопротивление литовских магнатов сыграло значительную роль, хотя все же магнаты против своей воли и желания должны были сделать полякам значительные политические уступки. Великое княжество Литовское, как отдельное государственное образование, продолжало существовать, хотя территориально оно было значительно урезано. Титул великого князя, как символ государственности, был сохранен в титуле короля «Речи Посполитой». Великое княжество Литовское сохранило свое внутреннее отдельное управление, свои законы, войско, свою судебную организацию, чеканку монеты. Литовские землевладельцы сумели сохранить за собою все захваченные ими земли, в том числе и столовые королевские имения, что для шляхты, конечно, имело экономическое значение первостепенной важности. В государственно-правовом отношении великое княжество Литовское занимало в составе Речи Посполитой одинаковое положение с Польшей.

Исходя из принципа равноправия обоих народов, литовским магнатам пришлось отказаться от запрещения полякам владеть в великом княжестве Литовском землями и занимать государственные должности. С другой стороны, поляки отказались от требования экзекуции столовых имений великого княжества Литовского, что являлось по существу отступлением от принципа единства и признанием за литовскими землевладельцами особых земельных прав.

Речь Посполитая не была государством унитарного типа. При единстве власти королевской и законодательной великое княжество Литовское и Польское королевство сохраняли полную внутреннюю самостоятельность и продолжали жить своей особой внутренней политической жизнью, относясь с известным подозрением одно к другому. Речь Посполитая — это новое государственное образование феодального характера — являлась феодально государственным объединением федеративного типа, но в глазах соседних государств она представляла собой единый политический организм, от имени которого проводи-

[1] Ibid., str. 91, § 18.

лась единая внешняя политика. Издание общих конституций на сеймах Речи Посполитой в известной степени свидетельствовало о состоявшемся политическом объединении, но издание в то же время законов отдельно для великого княжества Литовского было политическим актом, признававшим за ним самостоятельное государственное существование. Самое издание отдельных конституций для великого княжества Литовского и для Польши политически вытекало из признания за Литвой права на сохранение своего отдельного законодательства, которое, естественно, требовало дополнений и изменений.

Унитарный характер польско-литовского государства уже давно подвергался пересмотру в буржуазно-исторической литературе. М. К. Любавский первый отметил поражение польской шляхты в вопросе о характере унии. Новая попытка «втеления» Литвы в Польшу, намеченная еще при заключении первой унии с Польшей, потерпела неудачу. Любавский определял унию 1569 г. как парламентарную, но такое формально-юридическое определение представляется нам неверным. М. К. Любавский делал упор на образование «спольного» польско-литовского сейма, видя в последнем существенный результат заключенной унии. Любавский отметил, конечно, сохранение великим княжеством Литовским всей своей внутренней структуры, но не придал этому должного значения как показателю того, что великое княжество Литовское продолжало существовать как самостоятельный государственный организм[1]. Методологическая ошибка государственно-правовой концепции Любавского заключалась в том, что все свое внимание исследователя он направил на изучение истории литовского парламентаризма, в конечном итоге приведшего к парламентарной унии с Польшей. В то же время особенности внутренней структуры великого княжества Литовского, хотя и были детально им исследованы, но при анализе характера Люблинской унии заняли лишь второстепенное место. Любавский знал и отметил наличие расслоения внутри класса литовских землевладельцев, признавая антагонизм между крупными землевладельцами, князьями и панами, с одной стороны, и прочими средними мелкопоместными землевладельцами — с другой. Любавский причины унии видел не во внутренней борьбе магнатов с прочими землевладельцами, политически тяготевшими к Польше, а во внешней опасности, угрожавшей великому княжеству Литовскому со стороны Московского государства, тогда как эта опасность была лишь толчком к более обостренному раскрытию внутренних противоречий класса землевладельцев в вопросе об отношении к Польше и к унитарной проблеме. Любавский совершенно верно отметил феодальный характер «спольного» сейма, поскольку таковыми были сейм польский и сейм великого княжества Литовского, и поскольку в каждом из них был представлен только класс феодалов. Феодальный характер вновь образованного государства был, по мнению Любавского, источником внутренней слабости Речи Посполитой, ибо «тот самый феодализм, который насквозь проникал общественный политический строй Польши и Литвы и расслаблял их государственный организм, остался нетронутым и в унии, а, наоборот, был подтвержден и закреплен». Не нужно, конечно, забывать, что Любавский, видя в феодализме политическое явление, политическую раздробленность государства, принимал то понимание феодализма, которое было распространено в буржуазной — западноевропейской и русской — историографии.

[1] М. Любавский, указ. соч., стр. 735—850.

Другой крупный буржуазный исследователь И. И. Лаппо[1] подошел к оценке Люблинской унии несколько по-иному. Вся его концепция была сосредоточена на подчеркивании сохранения великим княжеством Литовским своей политической автономии, которая в дальнейшем — при Стефане Батории, — в силу благоприятных обстоятельств приобрела еще более отчетливый характер. Соображения Лаппо в известной доле справедливы, но в то же время крайне односторонни. Магнатам великого княжества Литовского, за исключением отдельных литовских магнатов, не удалось вырваться из пут Люблинской унии, к чему они, в сущности, и не стремились, прекрасно понимая невозможность этого. Концепция Лаппо — буржуазно-юридическая. Юридические формулы закрыли от исследователя реальное содержание жизни с ее классовой борьбой и классовыми противоречиями. Сосредоточив свое внимание на анализе политических позиций князей и панов, Лаппо ни единым словом не упомянул о классовых противоречиях в феодальном поместье, что в случае развертывания классовой борьбы между помещиками и крестьянами неизбежно привело бы к образованию единого противокрестьянского феодального фронта и к укреплению польско-литовских унитарных отношений. Условия Люблинской унии были невыгодны для литовских магнатов, и в этом заключалась основная причина литовского сепаратизма. Лаппо прошел мимо того важного факта, что предоставление польской шляхте права землевладения и занятия должностей в Литве задевало экономические и политические интересы широких литовско-белорусских шляхетских масс, а это в известной степени благоприятствовало сепаратистским стремлениям магнатов, и поэтому все землевладельцы должны были образовать единый противопольский землевладельческий блок. Буржуазному исследователю Лаппо еще в меньшей степени, чем Любавскому, было доступно понимание классовой сущности политики, проводимой магнатами. Лаппо не отметил, что городское население и крепостное крестьянство равнодушно отнеслись к борьбе магнатов-сепаратистов за политическое усиление великого княжества Литовского. Она их не касалась и не трогала, поскольку классовая шляхетская социально-экономическая политика была целиком направлена против интересов городов, обреченных на экономический упадок, и против эксплоатируемого землевладельцами крестьянства. Лаппо, изучая организацию государственного строя великого княжества Литовского, не отметил феодального характера последнего. В методологическом отношении Лаппо, по сравнению с Любавским, сделал большой шаг назад в изучении государственно-правовой структуры великого княжества Литовского, хотя он и пустил в оборот немало новых ценных фактов, до тех пор остававшихся вне поля зрения исследователей.

О юридическом положении великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой высказывался и крупный буржуазный польский исследователь Ст. Кутшеба[2]. Изучая условия Люблинской унии и подвергая их формальному юридическому анализу, Кутшеба отверг личный характер литовско-польской унии. По мнению Кутшебы, невая уния была унией реальной, а не личной. Литовско-польские отношения определялись не только единством верховной власти и внешней политики, но и общностью учреждений. Впрочем, Кутшеба

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория, I, стр. 13—85, Юрьев, 1901.

[2] St. Kutrzeba. Unia Polski z Litwa (Polska i Litwa w dziejowgm stosunku), str. 599—652, 1914.

должен был значительно ограничить свое утверждение и признать, что реальная уния имела очень узкие границы и не шла дальше организации общего сейма. Литва оставалась при своих правах, определявших положение отдельных «общественных слоев». Литва сохраняла все свои привилеи и статуты, касавшиеся шляхты и городов, крестьянства и евреев. Оставалась и самостоятельная администрация края во главе с высшей администрацией, с отдельным «скарбом» и войском. В конечном итоге Кутшеба должен был признать, что уния не уничтожила великое княжество Литовское как самостоятельный государственный организм. А поскольку Литва занимала такое же государственно-правовое положение как и Польское королевство, то не представляется возможным определить акт Люблинской унии как «реальную унию». Здесь Кутшеба противоречит самому себе. Исследователь не вложил конкретного социального содержания в свои юридические абстрагированные формулы. Тем не менее, по сравнению с другими польскими исследователями, его оценка акта унии 1569 г. является значительным шагом вперед.

Опубликованное в 1920 г. проф. О. Галецким исследование о польско-литовских отношениях[1] является шагом назад в трактовке унии 1569 г. Исследование О. Галецкого вышло в свет после образования польской буржуазной республики, в момент, когда польское правительство проводило свою захватническую политику в отношении литовской и белорусской территории, некогда входившей в состав Речи Посполитой. Исследование О. Галецкого должно было исторически оправдать проводимую буржуазией захватническую внешнюю политику. Естественно, что Галецкий не мог присоединиться к концепции унии Кутшебы и должен был вернуться к традициям польской буржуазной историографии, даже если бы такая концепция унии находилась в полном противоречии с конкретными историческими фактами. Галецкий не привлек никакого нового конкретного исторического материала, а использовал лишь громадный актовый материал, которым так богато насыщена работа Любавского о великом вальном сейме великого княжества Литовского. Для Галецкого Люблинская уния 1569 г. — это полное завершение тех идей, которые были выдвинуты как основа польской политики в отношении великого княжества Литовского при Ягайле и его преемниках. По Галецкому, Люблинская уния—акт добровольного, а не принудительного воссоединения с Польшей. Люблинская уния якобы окончательно разрешила в пользу Польши спорный вопрос об украинских землях, связанных с Польшей географическими, хозяйственными и политическими отношениями. Польша, присоединив Киевщину, тем самым становилась пограничным соседом Московского государства и «защитником» Белоруссии от московской агрессии. Галецкий не мог, конечно, пройти мимо оппозиции магнатов на Люблинском сейме, но, по его оценке, «эта оппозиция Радзивиллов против унии была, к счастью, одинокой» и якобы не повлияла на заключение унии. Если бы читатель знакомился с польско-литовскими унитарными отношениями только по данным Галецкого, он вынес бы совершенно неверное представление об акте Люблинской унии. Читая Галецкого, можно подумать, будто литовские магнаты с радостью бросились в объятия шляхетской Польши и будто, кроме Радзивиллов, никто против унии не протестовал, что идет вразрез с известными драматическими сценами, разыгравшимися на Люблинском сейме.

[1] O. Halecki. Dzieje Unii Jagiellońskiej, II, cap. V, 1920.

В оценке Галецкого Люблинская уния — окончательное завершение «Ягеллонской идеи». Но ведь политика Ягеллонов ставила себе целью окончательное «втеление» великого княжества Литовского в состав Польши и полное уничтожение Литвы как отдельного государственного организма, на деле же этого не случилось, и политика Ягеллонов еще раз потерпела полное крушение, поскольку она не отвечала ни экономическим, ни классовым интересам крупных феодалов Литвы. Галецкий игнорировал «отдельность» великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой. Объясняя исторические факты в угоду захватническим планам современной польской буржуазии, он оказался больше буржуазным политиком, чем конкретным историческим исследователем. Он спокойно отбрасывал от себя тот конкретный материал, который противоречил его исторической концепции. Исследование Галецкого не дало ничего нового для изучения литовско-польских уний вообще и Люблинской унии в частности. По сравнению с объяснением акта унии 1569 г. в исследованиях Любавского, Лаппо, Кутшебы, работа Галецкого — большой шаг назад.

III

Польская шляхта, хотя и сделала ряд уступок, все же имела известное основание радоваться своей победе на Люблинском сейме. Она получила богатейшие украинские земли, открывавшие большие перспективы для ее захватнической земельной политики. Несмотря на сохранение политических прав, великое княжество Литовское, территориально урезанное, экономически ослабленное, все же попадало в орбиту польской внешней и внутренней политики. Великое княжество Литовское в лице магнатерии могло оказывать на эту политику слишком незначительное влияние. Экономически более сильная шляхетская Польша давила экономически слабую Литву. Руководящая политическая роль в новом государственном образовании принадлежала не литовским магнатам, а польским феодалам. При всей противоречивости позиции литовских магнатов и литовской шляхты в отношении польско-литовской унии в одном вопросе шляхта «обоих народов» выступала единым фронтом — в эксплоатации сельского населения, составлявшей основной источник доходов и литовских и польских землевладельцев. Этот единый феодальный фронт в свое время окажет известное влияние на укрепление литовско-польских отношений.

Итоги Люблинской унии были нерадостны и для литовско-белорусского шляхетского сословия. «Добровольное» соединение повлекло за собой потерю для Литвы наиболее богатой природными ресурсами украинской территории. Литовско-белорусская шляхта была лишена возможности получить на Украине хотя бы клочок земли, несмотря на свое право свободно владеть и приобретать земли в Польском королевстве. Отказ литовско-белорусской шляхты от всяких ограничений поляков в праве владеть землями и занимать «достоинства и уряды» создавал ей серьезного конкурента в лице польской шляхты. Все это должно было наводить широкие шляхетские круги на печальные политические размышления.

Сильная литовская магнатерия отстояла неприкосновенность всего своего земельного фонда, но политическая ее роль несколько снизилась, поскольку удельный вес великого княжества Литовского в Речи Посполитой был сравнительно незначителен. Ряд членов панов-рады не попал в общий Сенат. Князей и панов перестали приглашать на

«спольные» сеймы. Не занимая высших урядов, княжеско-панская аристократия не могла теперь оказывать заметного влияния на политику Речи Посполитой. Ее голос в Сенате заглушался голосами многочисленных польских сенаторов. Даже внутри великого княжества Литовского крупная земельная аристократия не могла принимать активного участия в политической деятельности, поскольку вальный сейм великого княжества Литовского юридически перестал существовать и поскольку литовская паны-рада должна была реконструироваться по образцу Сената Польского королевства. Естественно, что среди литовских магнатов, которым не улыбалось «содружество» с польскими феодальными элементами, сепаратистские настроения были очень сильны. Отныне литовские магнаты используют любую благоприятную политическую конъюнктуру для ослабления «содружества» и для укрепления политической самостоятельности великого княжества в рамках Речи Посполитой. Сепаратизм магнатерии проявлялся до тех пор, пока не поднялась волна противофеодальных движений, заставивших землевладельцев трепетать за свои социально-экономические преимущества. В борьбе за их неприкосновенность литовские и польские землевладельцы образовали единый фронт, и экономически ослабленное великое княжество Литовское, гордое своими историческими воспоминаниями и традициями, превратилось по существу в вассала Польского королевства, хотя самостоятельное государственное существование великого княжества Литовского оставалось нерушимым вплоть до конституции 3 мая 1791 г., создавшей унитарное польское государство.

Анализ состава «спольного» Сейма отчетливо показывает, какой политический ущерб был нанесен литовским магнатам актом Люблинской унии 1569 г. Образование «спольного» Сейма не представляло особых политических затруднений, поскольку избирательная система в Короне и Княжестве была одинакова. Накануне Люблинской унии великое княжество Литовское в административном отношении разделялось на 12 воеводств и отдельное староство Жмудское, в свою очередь разделявшихся на 30 поветов. Число поветов в отдельных воеводствах колебалось между пятью и одним. После Люблинской унии к Польше отошло четыре воеводства, и в составе великого княжества Литовского осталось только 8 воеводств и староство Жмудское, разделенные на 22 повета[1]. Согласно Литовскому статуту 1566 г. каждый повет посылал в посольскую избу двух депутатов[2]. Следовательно, всего депутатов в посольской избе должно было быть 44. Фактически же их было 48, так как, хотя Смоленское воеводство и отошло к Москве еще в 1514 г., но депутаты от двух поветов этого воеводства все же избирались[3]. Эта фикция прекратилась лишь с момента заключения Деулинского перемирия 1 декабря 1618 г., вернувшего Литве Смоленскую и Чернигово-Северскую земли, которые традиционно считались во владении Литвы до заключения Московским государством с Речью Посполитой Андрусовского перемирия 1667 г.[4]. Но и после Андрусовского перемирия два отошедших к Московскому государству воеводства избирали своих поветовых депутатов на «спольные» сеймы.

Смоленское воеводство, в состав которого вошла и часть Черни-

---

[1] И. Лаппо. Литовско-русский повет и его сеймик, стр. 58, Юрьев, 1911.
[2] Статут 1566 г., разд. III, 5.
[3] St. Kutrzeba. Unia... str. 643.
[4] Василенко. Територія України XVII віку (Збірник на честь ак. Д. І. Багалія, стр. 113—114).

говщины, было разделено на два повета: Смоленский и Стародубский[1]. Черниговское воеводство, организованное только в 1635 г., в свою очередь разделилось на два повета: Черниговский и Новгород Северский[2]. После Андрусовского перемирия черниговские сеймики продолжали собираться во Владимире, а смоленские — в Вильне, где и происходили выборы послов на сеймы[3]. Сеймовая конституция считала оба эти воеводства номинально входившими в состав Речи Посполитой, основываясь на том предположении, что они в будущем будут вновь возвращены Речи Посполитой. Так до первого раздела Речи Посполитой великое княжество Литовское продолжало посылать 48 депутатов на общие польско-литовские сеймы.

Образование общего сената представило значительные затруднения. В польский сенат входили только бискупы, воеводы, каштеляны и королевские министры: канцлер и подканцлер, маршалки, коронный и надворный, а также подскарбий коронный. Состав панов-рады великого княжества Литовского был несколько отличным от польского сената и более многочисленным. Накануне Люблинской унии в состав господарской рады входили: 4 католических бискупа, 13 воевод, 14 каштелянов, староста жмудский, маршалок волынский, князь Слуцкий и дворные урядники[4].

На основании Люблинской унии состав панов-рады, ставших членами общего польско-литовского сената, представляется в следующем виде: два католических бискупа — виленский и жмудский и другие два бискупа — киевский и луцкий стояли во главе украинских католических епархий; воеводы: виленский, троцкий, новогородский, минский, полоцкий, витебский, мстиславский, берестейский, смоленский, староста жмудский; каштеляны: виленский, троцкий, жмудский, смоленский, полоцкий, витебский, берестейский, мстиславский, минский и новогородский; господарские урядники, подскарбий земский, канцлер и подканцлер, маршалок земский и дворный[5]. Из состава господарской рады выбыли князь Слуцкий и дворные урядники: маршалки, подскарбий дворный и столовые урядники — подчаший, крайчий, кухмистер, подстолий, подкомарий, ловчий, конюший дворный, хоружий земский, хоружий дворный, мечник и чашник, так как эти должности в Польше не были соединены с сенаторскими креслами. Выпал из состава сената и господарской рады гетман высший, так как должность гетмана обычно замещалась лицом, уже заседавшим в сенате по своему должностному положению, в силу чего обоим гетманам — польскому и литовскому — не были предоставлены отдельные сенаторские кресла[6].

Такой состав общего польско-литовского сейма существенным образом задевал интересы великого княжества Литовского. По установившейся практике литовского сеймования, в работах «вального литовского сейма» принимали участие знатные феодалы, приглашавшиеся на сейм по личным повесткам от великого князя[7]. Новым порядком был нанесен серьезный удар политическому значению крупной земельной аристократии, с чем она не желала мириться. Князь Слуцкий еще

---

[1] Volumina legum, III, str. 865, § 28.
[2] Ibid., str. 866, § 31.
[3] Ibid., IV, str. 471, § 12.
[4] И. Лаппо. Великое княжество Литовское.., стр. 257; L. Kolankowski. Zygmunt-August Wielki książe Litwy do roku 1547, str. 219, 1913.
[5] Volumina legum, II, str. 93.
[6] М. Любавский. Указ. соч., стр. 840—841.
[7] Там же, Приложения №№ 12, 25, 31, 45, 47, 53, 56, 60, 70.

при Стефане Батории требовал для себя места в сенате, но его домогательства не имели успеха. Феодальная аристократия отныне могла принять участие в работах «спольного» польско-литовского сейма или в силу своего должностного положения или в качестве депутатов Посольской избы.

После конструирования литовско-польского сейма установилась практика, согласно которой обычно наиболее крупные земельные собственники, титулованные и нетитулованные, получали от короля и великого князя приглашение прибыть на тот или иной поветовый сеймик, где находились его основные имения. Это была простая любезность, не имевшая никакого политического значения, но несколько щекотавшая самолюбие обиженных магнатов[1].

Литовские депутаты в «спольной» посольской избе и радные паны в польско-литовском Сенате растворялись в массе коронных депутатов и сенаторов. Общее количество коронных поветовых депутатов вместе с депутатами аннексированных украинских воеводств доходило до 114. Литовские депутаты составляли только около трети коронных депутатов[2]. При системе единогласного решения всех обсуждавшихся на сейме вопросов, это, конечно, не имело практического значения, но все же соотношение польских и литовских голосов свидетельствовало о незначительном политическом удельном весе великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой.

Таков же был удельный вес литовских панов-рады в общем польско-литовском сенате. На 13 коронных епископов и архиепископов приходилось только два литовских, на 22 воеводства коронных — 9 литовских и староство Жмудское, на 5 министров польских — 5 литовских. Всего на 113 членов сената от Короны приходилось только 27 членов от Княжества[3]. Правда, и в сенате не практиковалось принятие решений по большинству голосов, так что малочисленность литовских сенаторов и здесь не имела никакого практического значения, но все же политический удельный вес литовских сенаторов был в общем незначителен. Ведущая роль оставалась за польскими сенаторами.

К моменту заключения Люблинской унии 1569 г. в экономической структуре великого княжества Литовского произошли глубокие изменения. До половины XVI в. великое княжество представляло собой феодальную монархию, части которой экономически и политически были слабо связаны между собой. Эта экономическая обособленность отдельных составных частей великого княжества Литовского имела очень важные политические последствия: основные украинские и белорусские земли сохранили свою политическую обособленность, которая была закреплена в местных феодальных конституциях — в так называемых областных привилеях. Хотя эти земли политически и были связаны с центром единством административного деления и управления, однако это нисколько не отражалось на привилегиях местных феодалов, располагавших исключительным правом владения землей и занятия должностей по областному управлению[4].

Люблинская уния подтверждала все эти привилегии, но они уже фактически не имели прежнего политического значения. Термин

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское.., стр. 257; A. Iablonowski. Zródła dziejowe, XI, str. 151. 172.

[2] St. Kutrzeba. Unia.., str. 643.

[3] Ibid., str. 642.

[4] Областные привилеи напечатаны М. Любавским в его книге «Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно».

«земля», как обособленная политическая территория, становился архаическим пер житком и сменился административным понятием «воеводство». Областные сеймы, как внешний признак феодальной полусуверенности, постепенно прекратили свое существование, уступив место шляхетским сеймикам, что явилось неизбежным результатом утверждения диктатуры класса средних и мелких землевладельцев во второй половине XVI в. Учреждение поветовых сеймиков разбивало территориально-политическое единство древних украинско-белорусских земель. Единство это сохранялось лишь в том случае, если земля представляла собою один повет. Так было в Полоцком воеводстве и старостве Жмудском. Шляхта последнего особенно отстаивала свои областные привилегии, продолжая рассматривать Жмудь как особую привилегированную часть территории в составе великого княжества Литовского, хотя при единстве законодательства «спольного» польско-литовского сейма и особого законодательства в отношении Литвы это отстаивание Жмудским старостовом своего привилегированного положения практического значения не имело.

Если великое княжество Литовское до половины XVI в. экономически было разбито на отдельные мало связанные между собой районы, то во второй половине того же века общая картина его экономической структуры значительно изменилась. Образование единого внутреннего рынка и значительное развитие внешней торговли, в которую втягивались не только принеманские земли, но и придвинские и приднепровские области[1], усилило взаимную связь отдельных районов Литвы. С развитием общественного разделения труда увеличилась емкость внутреннего рынка. Хотя классовая сущность шляхетской экономической политики в корне подрывала намечавшееся экономическое оживление городов, тем не менее об экономической разобщенности Литвы в конце XVI в. не может быть и речи.

Реконструкция феодального хозяйства, в связи с втягиванием его в круговорот товарно-денежных отношений, повлекла за собой окончательное оформление крепостного права в великом княжестве Литовском и ликвидацию сельской общины там, где она еще сохранялась (главным образом в восточных областях). Этот процесс нормального экономического объединения великого княжества Литовского в один более сплоченный политический организм был приостановлен Люблинской унией, оторвавшей от великого княжества Литовского наиболее плодородные земли — предмет устремлений и вожделений литовских феодалов.

Впрочем, следует отметить, что отрыв Украины от великого княжества Литовского не мог служить препятствием для дальнейшего политико-экономического объединения оставшейся его части. Но для экономического развития великого княжества Литовского существенной угрозой являлась экономическая политика господствующего класса, его привилегии. В этих условиях рост городов должен был, естественно, остановиться, что вызвало сокращение емкости внутреннего рынка и тяжело ударило по местной городской и цеховой промышленности, лишенной почвы для своего развития и для перерастания в крупную промышленность мануфактурного типа. Упадок зарождавшейся и экономически еще не окрепшей торговой буржуазии должен был превратить Литву и Белоруссию в сельскохозяйственные по преимуществу районы крепостного хозяйства. Это, в свою очередь, укре-

[1] В. Пичета. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве, ч. I, стр. 46—71, 1917.

пило диктатуру шляхетского сословия как в великом княжестве Литовском, так и в Польском королевстве, поскольку итоги шляхетской политики одинаково сказались на обеих частях Речи Посполитой.

В рассматриваемое нами время великое княжество Литовское, как экономически целостный организм, было связано с Балтийским побережьем, через порты которого, при благоприятной внешнеторговой конъюнктуре, вывозилось литовско-белорусское сырье. Благоприятная сельскохозяйственная конъюнктура была фактором огромной политической важности. Поскольку экспортерами леса и сельскохозяйственных продуктов являлась крупно-поземельная аристократия, владевшая громадными латифундиями, постольку ее значение в экономике края должно было в той или иной степени отразиться и на политике феодальной магнатерии. Кроме того, политическая обстановка в Речи Посполитой в конце XVI в. складывалась благоприятно для осуществления феодальной магнатерией ее политической программы.

Как ни рассматривать условия Люблинской унии, все же нельзя не видеть в ней громадного политического поражения княжеской и панской аристократии, превратившейся из ведущей политической силы в великом княжестве Литовском в придаток польского шляхетства, в интересах которого были сделаны экономические и политические уступки большого принципиального значения. Уния не сблизила экономически обе составные части Речи Посполитой. И Корона, и Княжество в промышленном отношении зависели от европейских стран, поставлявших в Польшу и Литву необходимые для феодального землевладения промышленные изделия. В этом отношении более мощная экономически Польша не могла подчинить себе более слабую экономически Литву, поскольку Польша за отсутствием своей крупной индустрии не могла превратить великое княжество Литовское в колонию для сбыта своих промышленных изделий. При отсутствии экономической связи между обеими федеративными частями Речи Посполитой политическая связь не могла быть достаточно сильной, вследствие чего даже взаимная отмена таможенных ограничений не имела никакого практического значения для сближения Литвы и Польши. Таким образом, в последней четверти XVI в. не было условий для практического закрепления торжественных деклараций «о едином теле, о добровольном воссоединении обоих братских народов». Хотя польские дипломаты и публицисты и любили щегольнуть эффектной политической фразеологией, они только делали вид, что верят в действительное ее содержание. Это превосходно учитывали литовские паны и князья, выжидавшие благоприятного момента, чтобы изменить в свою пользу политически неприятные для них условия Люблинского акта.

Политическим планам литовской аристократии благоприятствовало и то обстоятельство, что, несмотря на полную реконструкцию сельского хозяйства и новый нажим на крепостное крестьянство, несмотря на обезземеление крестьян в условиях крепостного права, крестьянство сначала только пассивно выражало свой протест против усиления внеэкономического принуждения. Оно убегало из западных волостей в восточные, а оттуда, по мере усиления внеэкономического принуждения, уходило на юг в Запорожье. В сущности, белорусское крестьянство положило начало Запорожью как убежищу для противофеодальных элементов Речи Посполитой[1]. Конечно, широкое распространение пассивной противофеодальной оппозиции не исключало

---

[1] W. Pičeta. Die Agrarreformen in den östlichen Bezirken, S. 5.

возможности перерастания ее в активную борьбу против феодалов. Но такого рода крестьянские движения оставались узко-локальными и не принимали массового характера. Проведение Сигизмундом-Августом «волочной померы» в западной части великого княжества с переводом натуральных повинностей на деньги сопровождалось отдельными выступлениями крестьян. Только с началом казацко-крестьянских движений на Украине противофеодальные выступления белорусского крестьянства в отдельных районах начали постепенно принимать активный характер[1]. В рассматриваемое нами время при первичном характере крестьянского противофеодального протеста классовые противоречия в деревне не могли особенно беспокоить литовско-белорусских феодалов.

Относительная пассивность крестьянства, отвлекая внимание магнатов-феодалов от классовой борьбы в феодальном поместье, давала им полную возможность сосредоточить все свое внимание на литовско-польских отношениях и добиваться изменений условий Люблинского акта и укрепления своего политического положения, базой для которого являлась развивавшаяся литовско-белорусская сельскохозяйственная экономика.

Люблинская уния была заключена во время борьбы великого княжества Литовского с Московским государством за Прибалтику, от которой зависели жизненные интересы феодальной Литвы. Польская шляхта, учитывая затруднительность внешнего положения Литвы, использовала этот критический для Литвы момент, предложив ей договор о единстве внешней политики. По этому договору Польша должна была оказать Литве военную помощь. Однако в годы, последовавшие за Люблинской унией, поляки не оказали Литве никакой помощи. Литовские магнаты горько разочаровались. Не меньшее разочарование испытали и широкие круги шляхетского сословия, активно боровшегося за унию, ради которой литовско-белорусская шляхта пошла на кардинальную уступку польским шляхтичам в вопросе о владении землей и о праве занятия должностей в великом княжестве Литовском. Это разочарование в политических результатах унии 1569 г. содействовало образованию единого литовско-белорусского феодального противопольского фронта. Началась борьба за изменение государственно-правового положения великого княжества Литовского, за изменение условий Люблинской унии. Ведущей силой в этой борьбе были литовско-белорусские князья и паны.

Известное чувство реальности заставляло магнатов быть осторожными и весьма эластичными в своих политических требованиях. Внешнее положение великого княжества Литовского не позволяло магнатам идти на разрыв унии 1569 г. Они отчетливо сознавали, что подобный сепаратистский акт вызовет активные действия со стороны поляков, которые не позволят снять петлю, надетую ими на шею литовско-белорусских феодалов. Тактика литовских магнатов была иная. Сохраняя внешнюю лойяльность в отношении унии, они стремились использовать все благоприятные возможности, чтобы ослабить тяжелые цепи, наложенные на литовских феодалов, и особенно на титулованных и нетитулованных владельцев латифундий.

Мы уже указывали, что в первые годы после Люблинской унии 1569 г. Польша не оказала военной помощи великому княжеству Литовскому в его борьбе с Московским государством. Поляки вмешались в войну только после того, как Стефан Баторий вернул Польше

[1] Гісторыя Беларусі у дакументах і матэрыялах, стр. 461—526. 1936.

суверенитет над Гданском и тем самым укрепил экономическое и политическое положение Польши в этой части Балтики. После этого, не желая усиления Москвы в восточной части Балтийского моря, Стефан Баторий вмешался в борьбу за Ливонию.

В результате Ливонской войны Москва потеряла все свои завоевания в Ливонии, но, с другой стороны, укрепилось положение Швеции в Эстонии, что явилось прологом к длительной борьбе Речи Посполитой с Швецией из-за Прибалтики. Как известно, борьба эта в конечном итоге привела к величайшему поражению Речи Посполитой и к потере ею большей части Ливонии с Ригой.

Баторий и польско-литовская шляхта не выпускали из виду Москву и внимательно следили за развивавшейся в ней классовой борьбой. Баторий учитывал экономическое и политическое ослабление Московского государства в связи с Ливонской войной. Крупные литовские паны толкали его на войну за возвращение Смоленска и его области, где они лишились немалого количества земель. И Баторий мечтал о большом походе на Москву, который должен был окончиться захватом Москвы и нанесением туркам удара в тыл через Кавказ, Армению, Малую Азию[1]. Разумеется, все эти планы являлись лишь плодом необузданной фантазии Батория, а не реальных расчетов. Правда, турки в Константинополе, постоянно угрожавшие Польше и стеснявшие ее вывоз на восток, рассматривались как опасные для Речи Посполитой враги, и вопрос о войне с турками для поляков никогда не терял своего актуального значения, но для борьбы с ними в одиночку Речь Посполитая не имела ни материальных возможностей ни физических средств.

Это сложное внешнее положение Речи Посполитой учитывалось литовскими магнатами. Баторий со своими планами восточного похода и завоевания Московского государства не хотел восстанавливать против себя белорусско-литовское панство, а, наоборот, он искал с ним сближения. Все это было учтено литовскими магнатами в целях изменения своего политического положения вообще и положения великого княжества Литовского как самостоятельного государственного организма в частности. Уже Сигизмунд-Август, находившийся в сфере влияния польских дипломатов, понимал, что при заключении унии 1569 г. поляки, ограбив великое княжество Литовское, зашли очень далеко. В виде компенсации Сигизмунд-Август предлагал присоединить к великому княжеству Мазовию, но это было лишь платоническим желанием короля, стремившегося помириться с литовскими магнатами[2]. Король умер (7 августа 1572 г.), и после его смерти намеченный им план вознаграждения великого княжества Литовского был забыт. Попытка примирения шляхетской Польши с магнатской Литвой потерпела полную неудачу именно вследствие непримиримости поляков.

Помимо всякого рода политических разногласий оба народа разъединял вопрос об обмене монеты. Люблинский сейм установил единство монетной системы. Монета чеканилась отдельно в Литве и в Польше и должна была иметь равное распространение в обеих частях Речи Посполитой, независимо от места ее чеканки. С новой монетой затруднений не было, поскольку в обеих частях государства ее вес и наименование были одинаковы. Но поляки не желали принимать старую литовскую монету или принимали ее по очень низкому

[1] С. Платонов. Борис Годунов, стр. 41, Пгр., 1923.
[2] И. Лаппо. Великое княжество Литовское., I, стр. 91.

курсу. Сигизмунд-Август установил принудительный курс при обмене литовской монеты на польскую, но так как этот указ короля не был записан в сеймовой конституции, то он не имел практического значения, и недоразумения при обмене монеты не прекращались. Этот частный случай лишний раз подчеркивал обостренность отношений между литовскими магнатами и польской шляхтой. При жизни Сигизмунда-Августа все эти противоречия находились в скрытом состоянии, но как только он умер, эти противоречия до крайности обострились.

Смерть Сигизмунда-Августа и предстоявшие выборы нового короля показались литовским магнатам подходящим моментом для реализации своих политических планов. Борьба внутри польского шляхетского сословия и враждебные отношения между отдельными польскими магнатами укрепляли политические позиции литовских магнатов и превращали их в серьезную политическую силу, с которой приходилось считаться в предстоявшей избирательной кампании. Литовские магнаты действовали исподволь, осторожно, не раскрывая своих карт, медленно, но шаг за шагом укрепляя свои поколебленные унией 1569 г. политические позиции.

История всей избирательной борьбы во время первого бескоролевья выходит из рамок настоящей работы. В старой работе А. Трачевского «Польское бескоролевье и прекращение династии Ягеллонов» и в названном выше исследовании И. П. Лаппо ярко обрисована вся крайне сложная обстановка во время избирательной кампании, показавшей, что польские руководящие шляхетские круги были лишены всякого патриотизма. Избирательная кампания показала, с одной стороны, всю мелочность и классовую эгоистичность польских политиков, а с другой — напряженность отношений внутри класса польских землевладельцев.

Избирательная кампания сразу обнаружила громадную политическую роль литовских магнатов и литовского шляхетства. С литовскими магнатами во время Люблинской унии можно было не считаться, свободно ограбить «братский» народ и под видом «добровольного воссоединения» принудить его дать согласие на унию. Во время первого бескоролевья, при наличии напряженных внутренних противоречий в среде польских землевладельцев, полякам приходилось действовать уже по-иному.

Литовские магнаты прежде всего заняли враждебную позицию в вопросе о созыве Конвокационного сейма, а также и в отношении примаса католической церкви Якова Уханского, ставшего временным главой Речи Посполитой (хотя такое положение и не было предусмотрено актом Люблинской унии). Литовские сенаторы не хотели ехать на Конвокационный сейм в Варшаву, что заставило, в свою очередь, польских сенаторов искать какого-либо соглашения с литовцами; при саботаже литовскими сенаторами Конвокационного сейма было трудно договориться о кандидате на престол Речи Посполитой.

В конце ноября 1572 г. состоялся согласительный съезд польских и литовских сенаторов в Мстибогове. Переговоры Петра Зборовского и гнезненского каштеляна Яна Томицкого не дали ничего положительного. Литовские сенаторы стояли на точном понимании юридического содержания акта 1569 г., в котором не предусмотрен созыв Конвокационного сейма. Литовцы отказывались ехать в Варшаву под предлогом тяжелого внешнего положения, когда на шее у литовцев «сидит враг, весь вооруженный и непримиримый»[1].

[1] А. Трачевский. Польское бескоролевье.., стр. 176.

Заявление литовских панов польским сенаторам в Мстибогове содержало отчетливую политическую программу. Она сводилась к восстановлению литовского вального сейма, возвращению незаконно отнятой на Люблинском сейме у Литвы территории и к признанию за Литвой права на самостоятельное ведение дипломатических сношений. Польские сенаторы должны были убедиться в том, что литовская аристократия оставалась на своих старых политических позициях. Это не предвещало ничего доброго и грозило в будущем значительными политическими осложнениями. Только затруднительное внешнее положение великого княжества Литовского в некоторой степени служило гарантией того, что литовские паны не решатся сразу на какой-либо экстраординарный политический шаг. Зато польские сенаторы имели основание беспокоиться по другим соображениям. Литовские паны очень приветливо встретили агентов австрийского императора, хотя кандидатура австрийского принца была неприемлема для польских сенаторов. Впрочем, едва ли сами литовские паны, в том числе и такой крупный политик, каким был Ян Ходкевич, придавали серьезное значение кандидатуре австрийского принца. Оказанный агенту императора аббату Циру любезный прием был скорее политической демонстрацией, намерением наглядно показать свой удельный вес в Речи Посполитой, чем реальным политическим действием.

Более серьезным актом были дипломатические переговоры с Московским государством, хотя едва ли этим переговорам можно было придавать большое политическое значение. Это была дипломатическая акция, вызванная внешними осложнениями великого княжества Литовского и желанием вернуть себе право ведения самостоятельных дипломатических сношений. Переговоры с Москвой о кандидатуре на престол одного из сыновей Ивана Васильевича должны были произвести на литовских панов весьма тяжелое впечатление. Москва себя чувствовала пока довольно прочно в завоеванной территории и была уверена в дальнейших своих успехах. Поэтому при внешне любезном приеме литовского посла Федора Воропая московское правительство не скрывало своего намерения оставить за собой все завоеванное. Перспектива иметь московского царя на польско-литовском престоле менее всего улыбалась литовцам[1]. К тому же московская кандидатура грозила серьезными внешнеполитическими осложнениями со стороны Турции и Крыма. Естественно, что вопрос о кандидатуре Ивана IV на престол Речи Посполитой был снят с очереди.

Следует признать, что попытки литовских панов занять самостоятельное положение в избирательной кампании и выдвинуть своих кандидатов на престол потерпели неудачу. Провалилась и попытка созвать избирательный сейм в более близком к Литве пункте. Избирательный сейм был назначен под Варшавой в деревне Камень[2].

Решение поляков созвать сейм для выборов нового короля явилось для литовцев крупным политическим поражением. Тем не менее литовские магнаты не преминули воспользоваться своим присутствием на сейме для предъявления ряда политических требований. Ставя себе целью восстановление политического авторитета великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой, литовские представители на сейме потребовали изменения политических условий унии 1569 г. Повторяя свои заявления на Мстибоговском съезде о воз-

---

[1] А. Трачевский. Указ. соч., стр. 257—260, 345—346; С. Соловьев. История России, кн. 2, стр. 235—241.

[2] И. Лаппо. Великое княжество Литовское... стр. 102.

вращении Литве незаконно отнятых у нее земель, литовцы к этому территориальному вопросу присоединили следующие политические требования: 1) допустить в сенат литовских князей, 2) ввести в сенат литовских маршалков, 3) созывать сеймы поочередно в Польше и Литве[1]. Но и эта политическая акция не имела успеха. Поляки не только не пожелали изменить условий Люблинской унии, но и отказали литовцам в военной помощи против Москвы.

Литовские паны во время первого бескоролевья стремились играть самостоятельную политическую роль, надеясь этим поднять свой упавший авторитет, а заодно и авторитет великого княжества Литовского. Но победа осталась не за ними. Попытка вести большую политику потерпела неудачу. Условия Люблинской унии остались неизменными. Литовцы даже не получили военной помощи, которая логически вытекала из условий Люблинского акта. Однако потерпевшие поражение магнаты не отказались от реализации своих планов и выжидали только благоприятного случая.

После избрания на польско-литовский престол Генриха Валуа литовские паны еще раз продемонстрировали свою мнимую политическую самостоятельность. Лидер литовских сепаратистов кн. Криштоф Радзивилл от имени всей Литвы принес присягу на подданство вновь избранному королю, а Виленский съезд послал новому королю диплом, в котором от имени великого княжества Литовского подтверждалось его избрание на престол Речи Посполитой[2].

Это, конечно, была политическая демонстрация противопольского характера. Литовские паны, потерпев полное поражение во время первой избирательной кампании, хотели своей отдельной акцией подчеркнуть существование великого княжества Литовского, как самостоятельного политического организма. Однако демонстрация эта не дала никаких практических результатов. Единственным завоеванием литовцев было восстановление деятельности вального сейма в виде Виленского съезда, как верховного законодательного органа, который своим существованием, вопреки условиям Люблинской унии, должен был укрепить политическое положение великого княжества. Созыв Виленского съезда представлял собой также своего рода политическую противопольскую демонстрацию, организованную литовским панством. Однако и эта демонстрация не дала конкретных результатов. Поляки сочли более удобным для себя закрыть глаза на состоявшуюся демонстрацию и не обострять и без того достаточно напряженное политическое положение.

Новый король Речи Посполитой оказался недолговечным. Вскоре умер французский король Карл IX, и Генрих Валуа, обманув бдительность польских сенаторов, тайком оставил Польшу и утвердился на французском престоле. Речь Посполитая осталась без короля, и вновь началась напряженная избирательная кампания, которой литовские паны воспользовались, как удобным средством для осуществления своей политической программы.

Впрочем, продолжавшаяся Ливонская война связывала литовских панов и заставляла их действовать крайне осторожно в надежде получить от Польши нужную им военную помощь для борьбы с Московским государством. С другой стороны, польские сенаторы и шляхта прекрасно сознавали всю затруднительность своего политического положения, требовавшего более эластичной тактики в отношении литовских панов и шляхты.

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское., стр. 103.
[2] Там же, стр. 114.

Польские сенаторы и шляхта согласились на требование литовской шляхты послать к бежавшему королю посольство с предложением вернуться в Речь Посполитую. Сами литовцы, желая подчеркнуть свою политическую самостоятельность, отправили от себя к Генриху Валуа особое посольство с подобным же предложением. Саботируя выборы нового короля, литовские паны и депутаты «спольного» сейма не явились на Варшавский Конвокационный сейм. Но Генрих Валуа, успевший укрепиться на французском престоле, отказался вернуться в Польшу, и тем самым новая избирательная кампания становилась неизбежной. Политическая инициатива пока находилась в руках литовцев, прекрасно понимавших, в какое затруднительное положение поставило поляков позорное бегство короля, избранного усилиями польского землевладельческого класса.

Литовские паны и шляхта, собравшись на общелитовский съезд в Вильно в 1574 г., на котором также присутствовали киевский бискуп и каштелян, организовали противопольскую демонстрацию. Киевская феодальная знать, вопреки акту унии 1569 г., считала себя политически связанной с великим княжеством Литовским, а не с Польшей, что, конечно, игнорировать не приходилось. От имени Виленского съезда было отправлено польским сенаторам письмо за подписью крупнейших духовных и светских панов, занимавших воеводские, каштелянские и другие правительственные уряды. Это письмо, впервые напечатанное И. И. Лаппо, — документ большой политической важности, свидетельствующий о политических планах и намерениях литовско-белорусской шляхты. «Лист» литовских панов наглядно показывал их нежелание мириться с территориальными потерями, узаконенными Люблинским сеймом 1569 г. Нового, конечно, в этом заявлении ничего не было, но все же польские сенаторы и шляхта, в условиях запутанного политического положения, не могли не считаться с полученным ими протестом. Мало того, Виленский съезд самостоятельно выдвинул кандидатуру на престол Речи Посполитой Эрнеста, сына императора Священной Римской империи, который, в случае избрания его на престол, обещал вернуть великому княжеству Литовскому аннексированные поляками Подляшье, Волынь, Киев и Брацлав.

Польско-литовские отношения настолько обострились, что, когда в 1575 г. поляки и литовцы собрались на съезд в Стенжицу (в связи с невозвращением Генриха Валуа к назначенному сроку в Варшаву), представители обоих «братских» народов явились с вооруженными отрядами, и между ними едва не произошло кровавое столкновение. Позиция, занятая литовцами, не предвещала ничего хорошего. Кроме того литовцы отказались признать постановления Варшавской конференции, принятые в их отсутствие. Однако поляки хорошо понимали, что, при неблагоприятном для великого княжества Литовского внешнем положении, литовские магнаты и стоявшая за ними шляхта не решатся на разрыв польско-литовской унии. Это сделало их крайне неуступчивыми. Выступление литовских магнатов закончилось полным поражением — их протест оказался политической буфонадой. Литовские паны и шляхта не располагали реальной силой, которая могла бы заставить поляков согласиться на изменение условий акта Люблинской унии 1569 г. Политические и военные преимущества были на стороне поляков, и литовцам ничего не оставалось, как принять участие в избрании нового короля.

Все же литовские паны пытались саботировать назначенную в Варшаве на 3 октября 1575 г. конвокацию нового короля. Явившись

в Варшаву в незначительном количестве, литовцы надеялись сорвать конвокацию и произвести нажим на «братский» народ, заставив поляков перенести место конвокации поближе к Литве. Но и эта тактика потерпела неудачу. Поляки не стали ожидать приезда литовцев, конвокационный съезд состоялся без них. Литовцы опять потерпели политическое поражение[1], что заставило литовских панов и шляхту отказаться от тактики саботажа. На элекционный сейм, назначенный в Варшаве на 7 ноября, литовцы сначала также приехали в небольшом количестве, но когда стало ясным нежелание польской шляхты ожидать приезда литовцев, последние поспешили в Варшаву[2].

Политическая атмосфера во время выборов короля была крайне напряженной, и не только вследствие разногласия между «братскими народами». В это время украинские земли подверглись жестокому набегу крымских татар, и перед польской шляхтой встал вопрос об обороне Украины против крымцев. В такой обстановке всякое обострение польско-литовских отношений было нежелательно, и полякам пришлось против своей воли занять в отношении литовцев примирительную позицию, не делая, однако, литовцам никаких уступок в отношении Люблинского акта 1569 г.

Литовцы сначала голосовали за выдвинутого Виленским съездом принца Эрнеста, но эта кандидатура не встретила поддержки среди польских сенаторов и шляхты. Элекционный сейм затянулся на несколько недель, а вопрос о будущем короле все оставался в прежнем положении. Наконец, 12 декабря 1575 г. примас католической церкви Яков Уханский провозгласил королем императора Максимилиана II. Эта кандидатура была поддержана частью польских сенаторов, но ее враждебно встретили широкие слои польской шляхты и литовцы, которые, выдвигая кандидатом на престол Эрнеста, надеялись вернуть Литве аннексированные Польшей в 1569 г. земли; при избрании же Максимилиана этот вопрос отпадал.

Положение внутри Речи Посполитой осложнялось еще тем, что сенаторы и шляхта — противники кандидатуры Максимилиана — во главе с Яном Замойским, избрали на престол Семиградского князя Стефана Батория. Кандидатура последнего поддерживалась турками, что для польской шляхты имело особенно важное значение в виду напряженных отношений между Крымом и Речью Посполитой. Таким образом на королевском престоле Речи Посполитой оказались два короля, причем оба они были избраны вопреки воле литовцев и фактически без их участия.

Тем не менее литовцы не могли игнорировать избрание Батория королем, так как им была необходима военная помощь Короны. Для обсуждения создавшейся весьма запутанной политической обстановки литовские феодалы назначили съезд в Гродно, который начал свою работу 19 апреля 1576 г. Гродненский съезд был направлен против Батория и избравших его поляков. На съезде было вынесено постановление, в котором литовцы угрожали разрывом унитарного соглашения 1569 г. и избранием своего собственного князя, если обе стороны не придут к какому-либо соглашению. Литовцы предлагали созвать общий польско-литовский сейм в Варшаве для разрешения всех недоразумений, а пока от коронации Батория воздержаться[3].

Постановления Гродненского сейма также не имели никакого практического значения. Коронационный сейм собрался без литовцев,

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское.., стр. 130.
[2] Там же, стр. 132.
[3] Там же, стр. 136—137.

и коронация Батория стала свершившимся фактом. 4 мая 1576 г. вновь коронованный король опубликовал «генеральную конфирмацию», в которой подтверждались права и преимущества княжества и короны на основе унитарного акта 1569 г. Король давал торжественное обещание не сокращать границ обеих составных частей Речи Посполитой и защищать их неприкосновенность всеми имеющимися в его распоряжении силами[1]. Король тем самым санкционировал произведенную Польшей аннексию Подляшья и прочих земель, закрепленную актом Люблинской унии 1569 г. Это общее подтверждение, вытекающее из требований унии 1569 г., было актом громадного политического значения, поскольку оно разбивало планы литовских феодалов: правовое положение великого княжества Литовского оставалось без всяких изменений. Коронационный сейм вынес ряд политически важных для Литвы постановлений. Сеймовая конституция 1576 г. закрепляла за великим княжеством Литовским право созывать в Волковыйске «главный сеймик», обычно собиравшийся до созыва «спольного литовско-польского сейма». На ряду с этим конституция гарантировала неприкосновенность урядов обоих народов, подтверждала земельные права, снова подчеркивала единство королевской канцелярии и печати[2]. Нового в этой конституции не было ничего, но она была целиком направлена против политических притязаний литовцев.

Избрав и короновав нового короля, поляки уже совершенно не обращали никакого внимания на политические требования и жалобы литовцев. Напрасно депутация, отправленная Гродненским съездом к королю и к польским сенаторам, во главе с минским каштеляном Яном Глебовичем, протестовала против односторонне направленных действий короля и сенаторов. Несмотря на все политические угрозы и предостережения, выступление Яна Глебовича перед Сенатом и шляхтой не дало никаких положительных результатов[3]. Правовое положение великого княжества Литовского не изменилось. Аннексия части его территории была подтверждена. Литовские паны попрежнему оставались у разбитого корыта.

Посольство Яна Глебовича лишний раз показало слабость политической позиции литовской магнатерии, благодаря чему поляки могли игнорировать всякого рода политические ламентации литовцев. Победителями и на этот раз остались польские землевладельцы. Впрочем, поражение литовских магнатов еще не означало отказа их от своих политических планов.

После коронационного сейма отношения Короны и Княжества оставались крайне напряженными. Литовские паны не признавали Батория главой Речи Посполитой, считая его только польским королем. В поисках выхода из создавшегося положения коронационный сейм решил отправить в Литву сеймовую делегацию в составе воеводы Ленчицкого и каштеляна Минского. К этому моменту среди литовской феодальной знати уже не было единства. Такой реальный политик, как жмудский староста гетман Ян Ходкевич, на котором лежала вся тяжесть борьбы с Московским государством, склонялся на сторону Батория в надежде получить наконец от поляков столь необходимую литовцам военную помощь. Позиция Ходкевича встретила поддержку среди панства и широких шляхетских кругов. Дальнейшая политика непризнания Батория королем вела к полной изоляции великого княжества Литовского и грозила серьезными внешнеполитическими

[1] Volumina legum, II, str. 157—159.
[2] Ibid., str. 161.
[3] И. Лаппо. Великое княжество Литовское... стр. 159.

последствиями. В виду этого собравшийся в Мстибогове литовский съезд признал Батория королем. Австрийская партия во главе с виленским воеводой князем Николаем Радзивиллом потерпела полное поражение. Польским сенаторам, прибывшим в Литву для переговоров, уже нечего было делать. Политика Польши вновь одержала полную победу.

Многочисленное посольство во главе с Яном Ходкевичем, представленное «обоими станами», было отправлено к Баторию в Варшаву для изъявления ему подданства Литвы. Литовское посольство предъявило Баторию ряд политических требований. Литовские магнаты не понимали, что, признав Стефана Батория, присягнувшего на определенных условиях «королем и великим князем литовским», бесполезно предъявлять требования, не имевшие никаких шансов на успех. Впрочем, новый король, как опытный дипломат, внимательно отнесся к высказанным Мстибоговским съездом пожеланиям и немедленно удовлетворил те из них, которые непосредственно не задевали Люблинского унитарного соглашения.

Литовские послы, поскольку они не принимали участия в избрании Стефана Батория, потребовали от него повторения в их присутствии той присяги, которую он дал Короне и Княжеству в Кракове. В случае выполнения этого требования литовская делегация обещала немедленно принести королю присягу от своего имени и от всех станов «Литовского имени». Стефан Баторий пошел на уступки «литовским станам» и повторил присягу перед литовским посольством[1]. Вместе с тем Баторий гарантировал право участия литовских сенаторов в «прибочной» королевской раде, учрежденной во время избрания Генриха Валуа.

Учреждение «прибочной рады королевской» было актом большого политического значения, так как теперь вся деятельность короля в сфере внутренней и внешней политики находилась под непосредственным контролем польских и литовских сенаторов. Вновь избранный король гарантировал неприкосновенность всех лиц, голосовавших против его избрания. Согласился он и с тем, чтобы находившиеся в Княжестве королевские имения перешли во владение великого княжества. Наконец, король давал обещание охранять неприкосновенность литовских судебных учреждений и воспретить всем королевским староствам вмешиваться в литовскую юрисдикцию.

Удовлетворение всех этих просьб литовцев не представляло собой нарушения акта об унии, и Стефан Баторий мог себе позволить это «великодушие», не боясь вызвать раздражения со стороны польских сенаторов и сеймов. Но литовская делегация хотела укрепить правовое положение Княжества в составе Речи Посполитой и оградить литовских землевладельцев от покушений со стороны польской шляхты, что по существу выходило уже за пределы Люблинского унитарного акта. Стефан Баторий, разумеется, не мог пойти на удовлетворение этих требований, но он не решался отказать в категорической форме. Все поднятые делегацией щекотливые вопросы были отложены до следующего вального сейма, и таким образом вся литовская дипломатическая игра закончилась в сущности ничем.

Действительно, высказанные литовской делегацией пожелания выходили за пределы акта об унии 1569 г. Литовская делегация вновь потребовала, чтобы сеймы собирались поочередно в Литве и Польше; чтобы литовскими войсками командовал литовец, а не поляк; чтобы

---

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское..., стр. 145.

жолнеры в пограничных замках набирались из людей, живших в Княжестве; чтобы все войска, которые будут посылаться на территорию Княжества, находились под единой командой литовского гетмана, чтобы старая литовская монета обращалась в Польше наравне с польской; чтобы таможенные доходы, принадлежавшие раньше Литве, оставались в ее распоряжении; чтобы князю Слуцкому, согласно древнему обычаю, было предоставлено место в сенате; чтобы литовцы были территориально вознаграждены за уменьшение их земель в силу Люблинской унии и в случае опасности им не приходилось бы прибегать к помощи поляков[1].

Эти требования не были удовлетворены, и второе бескоролевье, как и первое, не дало литовцам никаких положительных политических результатов. Правовое положение великого княжества Литовского оставалось без перемен. Поляки не собирались возвращать отнятых земель. Поэтому совершенно не понятно, почему И. И. Лаппо в политике литовцев периода второго бескоролевья видит чуть ли не политическую победу литовских магнатов.

В первые годы правления Стефана Батория внешнее положение Речи Посполитой было обострено до крайности. Поляки могли делать вид, что они не интересуются Ливонской войной, предоставив великому княжеству Литовскому самому защищаться от наседавшего на него неприятеля. В действительности, поляки прекрасно оценивали всю сложность создавшегося политического положения и политические последствия для Речи Посполитой укрепления Москвы в бассейне среднего течения Западной Двины и в Ливонии. Одновременно приходилось действовать против Гданска, поднявшего восстание против Польши. Обе проблемы — гданская и ливонская — обсуждались на Торунском сейме, открывшемся 4 октября 1576 г., где было принципиально решено собрать «посполитое рушение» (архаическое феодальное ополчение) для оказания помощи Литве. Фактически это не могло быть осуществлено, так как литовцы требовали соблюдения определенных условий со стороны коронных обывателей, а сейм отнесся к этому требованию отрицательно. Литовцы отказались от помощи коронного «посполитого рушения», «бачечи с того рушения посполитого большую шкоду, а нижели пожиток свой». На том же сейме, используя затруднения Польши, литовцы добились от Батория передачи на рассмотрение ближайшего сейма требований, выдвинутых ими еще на Варшавском сейме.

Нападение татар еще больше усложнило внешнее положение Речи Посполитой. Надо было действовать быстро и решительно. Баторий решил отказаться от созыва коронного «посполитого рушения» и защищать территорию Речи Посполитой с помощью наемного войска. Это было лучшим выходом из создавшегося положения, так как на военные успехи «посполитого рушения» трудно было рассчитывать. Но для найма войска требовались денежные средства.

Перед созывом нового сейма происходили главные сеймики в Короне и Княжестве для предварительного обсуждения вопроса о новых податях. Главный Литовский сеймик начал свою работу в Волковыйске 22 июня 1577 г. и закончил ее только 27 июля. Как и главные сеймики в Малой и Великой Польше, Литовский сеймик предоставил Баторию нужные кредиты. Впрочем, Волковыйский сеймик соглашался на новые налоги под условием, чтобы собранные средства были истрачены на нужды литовского, а не коронного войска, еще раз

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское..., стр. 148.

подчеркнув тем самым политическое бытие великого княжества Литовского как самостоятельного государственного организма. Сборщики «военного податка» были обязаны представить отчет не «спольному» сейму как единому законодательному органу для Княжества, а литовскому съезду. Конечно, оба эти постановления нарушали условия унии 1569 г.

Восстание в Гданьске было быстро подавлено Баторием, успешно заканчивалась и война за Ливонию. Благополучное окончание Ливонской войны давало литовцам основание надеяться на присоединение Лифляндии к великому княжеству Литовскому, что послужило бы вознаграждением за отнятые земли. Литовская делегация выдвинула это требование на Варшавском сейме в 1582 г. Против предложения литовцев выступил коронный канцлер Замойский, и литовцы вновь потерпели полное поражение. Сеймовая конституция 1582 г., признав Ливонию одной из составных частей Речи Посполитой, определила формы ее политической организации[1]. Поражение литовской делегации на общем литовско-польском сейме лишний раз подчеркивало незначительный политический удельный вес Литвы в Речи Посполитой. Становилось очевидным, что поляки, как основная руководящая политическая сила, никогда не согласятся на какое бы то ни было территориальное или политическое изменение. В этом отношении политическая игра литовских магнатов была проиграна, и не было никаких оснований надеяться на изменение общеполитического положения в ближайшем будущем.

Но литовские магнаты не могли и не хотели отказаться от своих требований изменить правовое положение Литвы в составе Речи Посполитой. Еще во время войны литовцы пытались восстановить деятельность великого вального сейма под видом общелитовских съездов, и Баторий, стремясь скорее закончить Ливонскую войну общими усилиями поляков и литовцев, был вынужден пойти навстречу литовским требованиям. Он разрешил созвать 16 марта 1580 г. литовско-русский съезд в Вильне. В 1582 г. такой же съезд заседал в Волковыйске, а в марте 1584 г. — снова в Вильне. На Виленском съезде 1580 г. присутствовал сам Баторий, чем особенно подчеркивалось политическое значение этого съезда.

С точки зрения Люблинской унии все эти съезды являлись нарушением конституции, но во время военных действий с этим не приходилось особенно считаться. Это понимали и Баторий и поляки, но их уступки отнюдь не означали отказа от принципиальной позиции в отношении великого княжества.

Литовские магнаты придавали громадное политическое значение этим съездам, где они могли демонстрировать политическую обособленность и самостоятельность великого княжества Литовского. Литовский шляхетский съезд смотрел на себя как на носителя суверенной власти, которая только одна может принимать законодательные меры в отношении великого княжества, причем постановления литовских съездов фактически никем не утверждались. Но и это не испугало поляков, поскольку литовские сепаратисты не выступали открыто против акта унии 1569 г. и в данный момент не собирались ее разрывать.

Виленский съезд занимался, главным образом, вопросами войны. Присутствие на нем Батория, конечно, не было случайностью. На Виленском съезде присутствовала и депутация Полоцкого воеводства,

---

[1] Volumina legum, II. str. 220—22?.

незадолго до этого возвращенного Литве. Она выступила с предложением подтвердить прежние права и привилеи Полоцкой земли. Полоцкие депутаты были против унификации великого княжества, что угрожало местной шляхте потерей политического веса и влияния, которыми она издавна пользовалась в силу прежних областных привилеев. Это было проявлением политического феодального сепаратизма внутри самого великого княжества. Баторий пошел навстречу просьбам полоцкой шляхты. Он подтвердил привилей Сигизмунда-Августа от 21 февраля 1547 г., и шляхта была удовлетворена. Подтверждение прав Полоцкой земли находилось в противоречии с актом Люблинской унии 1569 г., поскольку, согласно областному полоцкому привилею, право занятия «урядов» в Полоцкой земле принадлежало только местной шляхте. Отдельные подтверждения Баторием прав и привилеев Полоцкой земли были серьезной политической уступкой, а также и нарушением унии 1569 г., но полоцкая шляхта так сильно пострадала от войны, что приходилось делать кое-какие политические уступки в ее пользу и тем самым укрепить политическое положение области, возвращенной обратно в состав великого княжества. Это был политический успех не одних только полочан, но и всего великого княжества. Полочане сохранили за собой все «державия», бывшие у них до войны. Они также противились учреждению в Полоцкой земле иезуитской коллегии и наделению ее землями, отнятыми у православных, но в этом деле успеха не имели[1].

Варшавский сейм, собравшийся в январе 1581 г., имел огромное политическое значение. С одной стороны, он демонстрировал неприкосновенность акта унии 1569 г., что было особенно важно в связи с Виленским съездом 1580 г., нарушившим унитарные условия. С другой стороны, на сейме была принята конституция об учреждении для великого княжества Главного литовского трибунала[2].

Учреждение новой самостоятельной высшей судебной инстанции являлось для Княжества дальнейшим шагом в шляхетизации его. Судебные реформы 60-х годов шляхетизировали суд, но оставили в неприкосновенности панов-раду как высшую апелляционную инстанцию.

Паны-рада должны были два раза в год съезжаться для разбора дел по апелляциям. Шляхта была недовольна создавшимся положением. Разбор дел по апелляциям происходил крайне медленно, и количество неразобранных дел было очень велико. Наличие панов-рады как апелляционной инстанции находилось в противоречии со шляхетизацией суда. Шляхта стремилась иметь в своем ведении суд по апелляциям. В этом отношении учреждение Главного литовского трибунала полностью отвечало ее требованиям. Борьба за лишение панов-рады права разбора дел по апелляциям началась едва ли не сразу после судебной шляхетской реформы[3].

Через полтора года после Виленского съезда собрался новый съезд в Волковыйске (январь 1582 г.). На нем присутствовал и представитель короля. Новый литовский съезд интересовался главным образом вопросом о «поправе» Статута 1566 г. После унии 1569 г. в политической жизни великого княжества произошли серьезные перемены. Учреждение Главного литовского трибунала изменило систему судоустройства в великом княжестве. Оно шляхетизировалось,

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское.., стр. 179—181.
[2] Vol. legum, II, str. 210.
[3] М. Ясинский. Главный литовский трибунал, стр. 220 и сл., Киев. 1901.

а литовско-белорусское право, отраженное в Статуте 1566 г., оставалось без перемен. Необходимо было изменить юридические нормы Статута применительно к условиям унии 1569 г., вычеркнув из Литовского Статута противоречащие унии статьи и отразив в нем все те новые политические завоевания шляхты, которые дала ей уния 1569 г. Перспектива изменения Статута мало улыбалась литовским магнатам, ибо изменение это по существу означало признание магнатами своего политического поражения. Тем не менее пройти мимо этого существенного вопроса было невозможно. Этого требовала литовско-белорусская шляхта, которую трудно было удержать в фарватере магнатской сепаратистской политики, тем более что вопрос о «поправе» Статута был поставлен на Люблинском сейме 1569 г., где была учреждена и комиссия для выработки нового текста Статута [1].

Вопрос о «поправе» Статута встретил множество препятствий. Прежде всего возник вопрос о том, кто же будет утверждать новый Статут. Гродненский сейм 1568 г. вынес решение о том, чтобы исправления и дополнения Статута 1566 г. были внесены на рассмотрение сейма великого княжества [2]. Конституция же Люблинского сейма устанавливала порядок издания новых законов на «спольном» польско-литовском сейме, с чем литовцы не могли согласиться. На Варшавском сейме 1581 г. литовские магнаты требовали, чтобы текст нового Статута не подлежал утверждению «спольного» сейма, но это требование было, естественно, отвергнуто поляками [3]. Литовские магнаты не могли согласиться на политическое самоубийство. Назревал новый конфликт. Статут был составлен, но вопрос о форме его утверждения из-за смерти Батория остался открытым.

Для литовских магнатов имел большое значение и вопрос о том, в каком направлении будет происходить изменение старого литовско-белорусского права. Сеймовая конституция 1581 г., учредившая Главный трибунал для Литвы, признавала наличие в великом княжестве Литовском «собственного права, написанного руским языком», и разрешала «поправу» Статута, но так, «чтобы новый Статут ни в чем не противоречил унии». Конституция 1581 г. устанавливала новый порядок дальнейшего прохождения Статута и превращения его в действующее право, указывая на необходимость утверждения Статута сеймом [4].

Комиссии, составлявшей текст нового Статута, предстояла трудная и ответственная задача. Если положить в основу новой редакции Статута конституцию 1581 г., свелась бы на нет вся борьба литовских феодалов за изменение правового положения великого княжества Литовского и за восстановление территории Княжества в границах, существовавших до Люблинской унии. Литовские и белорусские землевладельцы, составлявшие в данном вопросе единый фронт, не могли пойти на это. В новом Статуте надо было юридическими нормами закрепить правовое положение великого княжества Литовского и защитить интересы местного землевладения, хотя бы эти основные положения и расходились с общими требованиями унии 1569 г. С другой стороны, надо было закрепить и упрочить шляхетизацию великого княжества Литовского как основное социально-политическое завоевание Люблинской унии 1569 г. Составление текста нового Статута было большой политической задачей, в разрешении которой

[1] И. Лаппо. Великое княжество Литовское.., стр. 194—195.
[2] Документы Моск. арх. мин. юст., стр. 476, 1897.
[3] Vol. legum, II. str. 210.
[4] Ibid.

принимали участие сеймовые литовские депутаты, поветовые сеймики и общелитовские съезды. Все землевладельцы в той или иной форме принимали участие в составлении Статута. Материалы для Статута были разработаны в период 1584—1588 гг., причем в разработке их принимал активное участие подканцлер Лев Сапега, крупный землевладелец Белоруссии, юрист по образованию, широко образованный по тому времени человек.

Борьба магнатов и всего шляхетства при Батории дала кое-какие положительные результаты. Литовские магнаты и литовско-белорусская шляхта демонстрировали свою волю самостоятельно решать стоявшие перед ними задачи, хотя в конечном итоге их политические акции превращались в политическую буфонаду. Все же литовцы заставили поляков считаться с восстановленной деятельностью вального сейма в виде Литовского съезда. Литовцы добились от Батория отдельного подтверждения привилегий и прав Полоцкой земли, что противоречило условиям унии. Но литовские магнаты не добились ни возвращения отнятой у них территории, ни присоединения Лифляндии к великому княжеству Литовскому. Поляки лавировали и делали незначительные уступки, не допуская никаких изменений в условиях Люблинской унии и стремясь держать великое княжество Литовское в тех оковах, которые на него наложила Люблинская уния. Эти мелкие уступки нисколько не изменяли правового положения великого княжества. Люблинский акт 1569 г. попрежнему оставался фундаментом литовско-польских отношений. Удельный политический вес великого княжества Литовского мало увеличился. Корона крепко держала в своих руках все нити внутренней и внешней политики Речи Посполитой.

М. Н. ТИХОМИРОВ

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 ГОДА

Московское восстание 1648 г., как известно, не было одиноким. В том же 1648 г. поднялись восстания и в других городах Московского государства — в Устюге и Сольвычегодске. Из разных концов Московского государства шли вести о крупных и мелких восстаниях, волнениях и открытом недовольстве московскими порядками. Весь 1649 год прошел для московского правительства крайне тревожно. В начале января в Москве распространился слух о намерении стрельцов убить боярина Морозова. В конце января говорили о готовящемся новом восстании, более сильном, чем в 1648 г. В марте—апреле в Москве было наказано кнутом 35 человек, толковавших о новом восстании, а несколько сот стрельцов было сослано в Сибирь.

Но 1649 год прошел для московского правительства относительно благополучно. В следующем же, 1650 г., вспыхнуло восстание в Пскове и Новгороде, охватившее всю северозападную окраину Московского государства. Эти восстания сразу переросли границы чисто местного движения.

Уже в самом начале Псковского восстания псковский воевода Никифор Собакин писал в Москву, что псковичи хотят посылать в Москву и в другие города, чтобы всяких чинов люди пришли к царю «бити челом таким же невежством, как и преж сего на Москве учинилось». Речь шла о знаменитом эпизоде московского восстания 1648 г., когда царь всенародно обещал удовлетворить челобитье, поданное ему на площади, и клялся перед иконой, что он исполнит свои обещания, кстати сказать тотчас же им нарушенные.

Позднее митрополит Никон приписывал Ивану Жеглову, главе восставших новгородцев, такую же попытку поднять восстание в Москве: будто бы он приказал новгородским челобитчикам, отправленным в Москву, «не объявяся нигде, преж объявитца на Москве, на земском дворе, и смутить такоже» (т. е. как в Новгороде). Как мы увидим дальше, сам Жеглов едва ли имел это намерение, но среди восставших новгородцев, как и среди псковичей, были люди, понимавшие необходимость решительных действий «всей землей» против московского правительства.

Новгородское восстание длилось сравнительно недолго — около месяца. Но соседний Псков держался более полугода и успешно боролся против военных сил князя Хованского, осаждавших город. В это время Псков был фактически самостоятельным и имел свое правительство, не подчинявшееся приказам Москвы. Восстание не ограничилось самим городом Псковом и разлилось далеко за его пределы[1].

По сравнению с Псковом, восстание в Новгороде рисуется нам

[1] См. М. Тихомиров. Псковское восстание 1650 г., М., 1935.

менее ярким и глубоким. Но в событиях 1650 г. Новгородское восстание сыграло крупную роль. Вместе с тем самый характер восстаний в Новгороде и Пскове очень сходен. Восстания в обоих городах носили резко классовый характер и были направлены не только против московского правительства, но и против всей верхушки московского общества XVII в. Эта черта Новгородского восстания 1650 г. придает ему особый интерес.

Новгородское восстание освещено в исторической литературе очень слабо, а документы о нем до сих пор не опубликованы. Наиболее полно Новгородское восстание 1650 г. описано в «Истории России» С. М. Соловьева[1].

Соловьев пользовался подлинными документами, но явно придерживался официальной версии, изображавшей восстание как внезапную вспышку, «мятеж» кучки недовольных. Поэтому он и не пытался вскрыть социальные корни восстания. Во многих случаях Соловьев явно проявлял не только враждебное, но прямо насмешливое отношение к восставшим новгородцам. «Сполошный колокол заливался», — пишет Соловьев о набатном звоне, созывавшем восставших на площадь. «Стали опамятываться», — говорит он в другом месте о наступившем в Новгороде временном затишье и т. д. Такими выражениями пестрит рассказ Соловьева о восстаниях 1650 г. Для него восстания 1650 г. в Новгороде и Пскове — лишь случайный эпизод в истории XVII в. Изложение Соловьева легло в основу всех дальнейших работ о Новгородском восстании 1650 г.

Конечно, и подлинные документы, рассказывающие о восстании 1650 г., крайне односторонни. Они идут из лагеря московского правительства, враждебного восставшим. Тем не менее даже эти документы помогают нам многое выяснить в истории Новгородского восстания 1650 г.

I

К середине XVII в. лучшие времена Великого Новгорода отошли в безвозвратное прошлое. Софийская сторона была выжжена во время шведской интервенции начала XVII в. Только каменные церкви и детинец возвышались над деревянными избами и развалинами прежних каменных палат. Количество посадских дворов уменьшилось в Новгороде с начала XVI в. в десять раз. За городским валом, когда-то окружавшим богатый и населенный город, теперь находились «многие сады и огороды и хмельники и луга и пустые места, а на лугах и по пустым местом пасут животину»[2].

Основная масса населения Новгорода состояла теперь не только из посадских людей, но из стрельцов и различного рода беломестцев, в первую очередь слуг новгородского митрополита или Дома св. Софии. Общее число новгородских стрельцов доходило до 1000 человек и значительно превышало количество посадских людей. Поэтому в развернувшихся событиях стрельцы играли решающую роль — без них, как признают очевидцы событий, посадские люди не могли бы поднять восстания. Стрельцы являлись естественными союзниками посадских людей, так как были теснейшими узами связаны с посадом, а ряд правительственных мероприятий 1647—1649 гг. тяжело ударил

---

[1] С. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. II, стр. 1540—1551. изд. „Общ. польза“.

[2] Н. Смирнов. Из истории классовой борьбы в городах XVII в. („Исторический сборник“, № ., 1934, стр. 85).

по стрельцам. В наказах воеводам 1647 г., например, запрещалось прибирать новых стрельцов и казаков на выбылые места. Это запрещение рассматривалось посадскими людьми и стрельцами как большое стеснение. Прибор и пополнение стрелецких приказов шло прежде всего за счет подросших стрелецких сыновей, детей и племянников, которые учитывались в росписях ратных людей уже в возрасте 7—11 лет. В стрельцы и казаки попали многие захудалые посадские люди. Между посадскими людьми и стрельцами поддерживались дружеские и родственные связи, как и чисто торговые и деловые отношения. Таким образом интересы посада не были чужды стрелецкому войску. По характеру своих повседневных занятий ремеслом и торговлей, даже по своим земельным наделам в городе, стрельцы тоже были близки посадским людям. Уложение 1649 г. еще более сблизило интересы стрельцов и посадских людей. Согласно уложению, стрельцы обязаны были платить таможенные пошлины с промыслов и оброк с лавок. Пушкари же, плотники и кузнецы должны были нести тягло «с посадскими людьми в ряд». В результате — интересы рядовых стрельцов тесно переплетались с интересами посадских людей. Стрельцы поддерживали требования «меньших» посадских людей как своих естественных союзников, и только стрелецкая аристократия в лице пятидесятников, сотников и голов тянула линию «лучших» людей.

В XVII в. Новгородский посад был отягощен многочисленными повинностями. Дворяне, монастыри и Софийский Дом, опираясь на свое привилегированное положение, стремились переложить ряд «государевых» тягот на плечи посадского населения. Дети боярские Софийского Дома владели лучшими тяглыми дворами и садами, но никакого оброка не платили и тягла не тянули, — читаем мы в извете на митрополита Киприана (в 1633 г.). Двором гостя Истомы Демидова завладел софийский дворянин Иван Жеглов; на другом таком же дворе жил митрополичий подьячий. Позднее раздавались такие же жалобы по адресу гостя Ивана Стоянова, владевшего безоброчно или из малого оброка многими дворовыми местами. Основная тяжесть повинностей в Новгороде, как и в других городах Московского государства, падала на ремесленников и мелких торговых людей. Многочисленные подати и поборы разоряли посадских людей, тянувших государево тягло. Жалобы посадских тяглецов несутся из разных городов Московского государства. Порою поборы становятся невыносимыми, и тогда посадские люди «бегут розно».

Тяжелое положение посадского мира вызывало среди многих посадских людей стремление освободиться от тягла, «заложиться», хотя бы ценой потери личной самостоятельности. Сыск посадских людей и возвращение их в тягло производился в Новгороде в течение всей первой половины XVII в., но не всегда удачно. Например, в 1636 г. в Новгороде некто Куземко Яковлев получил льготу на $2^1/_2$ года. Когда же его хотели положить в тягло, он заложился за Троицкий монастырь, «не хотя с посадцкими людми тягла платить и государевых служеб служить». Уложение 1649 г. как известно, отменило закладничество, но практически это мероприятие едва ли было проведено в полной мере к 1650 г. По крайней мере, еще в 1649 г. в Москве шли разговоры о возможности восстания закладчиков.

На фоне общего обеднения новгородского посада еще резче выступало значение крупных торговых воротил. В половине XVII в. классовое расслоение новгородского посада достигло высокой степени. Против массы ремесленников и мелких торговцев, объединяемых общим названием «меньших» или «молодших», стояло несколько «лучших

людей» — верхов посадского мира. «Лучших людей» было сравнительно немного. В 1649 г. под челобитной «лучших людей» подписалось всего 15 человек.

Но даже «лучшие люди» отступали далеко на задний план перед богатым родом Стояновых — настоящих монополистов новгородской торговли. Стояновы торгуют вместе, составляя как бы единый торговый дом. По словам приказных документов «Семен (Стоянов) с ним Иваном живет не в розделе в одном». Вместе со Стояновыми торгуют их племянники, Петр Микляев и Ивашко Коломской. Стояновы поддерживают близкие отношения с известным псковским дельцом, посадским человеком, а впоследствии гостем, Федором Емельяновым. На их близость указывает псковская челобитная: «во всем у него Федора дума с Семеном Стояновым». Действительно, Семен Стоянов был одним из душеприказчиков жены Емельянова, Прасковьи. Стояновы ведут большую торговлю с заграницей; по их поручению, Петр Микляев в 1648 г. ездил с соболиными мехами в Любек; на Стояновых же лежали операции по покупке ефимков;[1] они вывозили за границу сало и мясо.

Стояновы чувствовали себя настолько сильными, что не очень считались даже с воеводами. Иван Стоянов оспаривал у воеводы Хилкова право выбора верных целовальников, ссылаясь на царские грамоты. В наказе, данном великим послам, отправленным в Стокгольм, говорилось, что Стояновы запретили шведским торговым людям ездить с солью и железом на Тесово, велев им ездить прямо на Новгород. Наказ разрешал отменить это запрещение Стояновых и позволял шведским подданным торговать вольно и «без помешки», но ни одним слогом не осуждал действий Стояновых[2].

Жалобы на Стояновых вызвали наконец назначение особой комиссии для расследования их действий. Начало сыска относится к августу 1648 г., т. е. ко времени выборов на земский собор, на которых Стояновы ожесточенно боролись с «молодшими» людьми. Следствие вели дворянин Александр Леонтьев и подьячий Ермола Клочков, приехавшие в Новгород 11 сентября 1648 г. Следствие обнаружило, что у сбора соляной пошлины, кроме гостей Семена и Ивана Стояновых «и по их выбору целовальников, иных гостей никого не было». Подтвердилась и жалоба, что сборщики брали пошлины «многие напрасно боем и болшим правежем».

Но тут и обнаружилось бессилие следователей. Кабацкие откупщики Василий Стоянов и Васька Колачник при всех с насмешкой говорили дворянину, давшему неблагоприятные для них показания: «Поди де ты на сьезжей, там ваша оборона приехала да и оборона де в[а]ша нам ничег[о] не зделает». В октябре Семен Стоянов приходил к следователям и говорил им «невежливые слова», спрашивая у них царский наказ: «почему вы де меня ведаете»? Пока производился сыск в Новгороде, Иван Стоянов не медлил и подал в Москве челобитную с просьбой об освобождении его и брата от сыска. В результате, 30 ноября была дана грамота с приказом передать следствие по делу Стояновых псковскому воеводе Собакину. Это означало потушить дело, потому что Собакин явно мирволил Стояновым и их псковскому собрату Федору Емельянову[3]. Впрочем, такое завершение сыска о Стояновых не было чем-то неожиданным. Оно целиком вытекало из

[1] К. Якубов. Россия и Швеция в первой половине XVII в., стр. 138 (напечатано также в „Чтениях в Общ. Ист. и Древн. Российских“, 1897 г.).
[2] Доп. к Актам Историч., III, стр. 240—242.
[3] ГАФКЭ, Прик. дела ст. лет, № 60.

привилегированного положения гостей как прямых приказчиков московского правительства.

В XVII в. Новгород еще сохранял крупное значение как резиденция новгородского владыки. Новгородский Дом св. Софии, как принято было в XVI и XVII вв. называть двор новгородского митрополита, являлся как бы остатком древнего Новгорода. Чашники, келари, сгрячие и другие домовые слуги митрополита составляли значительную часть населения Новгорода.

Порядки Софийского Дома подробно изучены в специальной работе Б. Д. Грекова («Новгородский Дом св. Софии»), посвященной митрополичьему двору в Новгороде. Для нас важно отметить, что софияне или слуги Софийского Дома были теснейшим образом связаны с новгородским посадом. Извет о Киприане упоминает в числе митрополичьих советников трех посадских людей. Некоторые дети боярские Софийского Дома вышли, несомненно, из посадских людей. Извет о Киприане, например, говорит о боярском сыне Юрье Карпове, которого митрополит взял из посадских людей. В Софийском Доме у посадских людей много родственников и свояков.

Эта близость посадских людей к софиянам чрезвычайно ярко сказалась во время восстания 1650 г. Дети боярские Софийского Дома сыграли в Новгородском восстании роковую роль. Из их среды вышел глава восставших Иван Жеглов и его помощник Федор Негодяев, в решающий момент передавшиеся на сторону московского правительства.

Что касается дворян, то интересы их были мало связаны с городом. В восстании 1650 г. дворяне занимали пассивную позицию и «к смуте не приставали». Таково было внутреннее положение в Новгороде накануне восстания.

Московское восстание 1648 г. еще более усилило классовый антагонизм в Новгороде.

Возбуждение посадских людей тотчас же отразилось на выборах в земские старосты. «Молодшие люди» выбрали из своей среды новых «наемных» старост — Кривоносова и Никифора Лаврентьева. Еще ярче эти же настроения посадских людей сказались при выборе представителей на земский собор 1648 г. В начале августа посадские люди сошлись в земскую избу и выбрали своими представителями посадских людей — Никифора Клетку и Якова Шипулина. Это избрание вызвало протест «лучших людей» во главе с гостем Семеном Стояновым. Под челобитной, поданной ими в августе царю, подписалось всего 15 человек, среди них двое Стояновых. В своем протесте челобитчики указывали, что «молодшие люди» «окроме смуты никаких дел не знают», выдвигая таким образом чисто политическое обвинение. На этот раз челобитная была не ко времени и успеха в Москве не имела. Затем обе стороны пришли к известному соглашению, и на собор были избраны два представителя — один от «лучших», другой от «молодших». По крайней мере, отписка воеводы гласит об участии в избрании новгородских гостей, пятиконецких старост и всех посадских людей. Подписи обоих избранников, Андрея Шелковника и Никифора Клетки, мы встречаем под Соборным уложением[1].

Тревога и волнение, охватившие посадское население Новгорода, находили живой отклик среди новгородских стрельцов. В июле 1648 г. стрелецкий голова Бестужев, в связи со слухами о Московском восстании, говорил о воровстве Назария Чистого и «злоумыш-

[1] Подробнее о новгородских событиях 1648 г. см. в ст. Островской („Север“, № 3).

ленных попытках» покушения на жизнь молодого царя. Так говорили в верхах стрелецкого войска; в низах разговоры должны были быть еще более откровенными. Стрельцы также считали себя обиженными только что проведенным сокращением их содержания. Подготовлялась почва для общего возмущения, направленного против московского правительства. Тем не менее в 1648 г. московскому правительству удалось временно предупредить назревавший взрыв. Но это была только отсрочка. Последовавшее через два года восстание в Пскове всколыхнуло все недовольные элементы Новгорода.

II

Восстание в Новгороде началось 15 марта 1650 г.[1], но слухи и толки о событиях в Пскове и о закупке хлеба для шведов поднялись гораздо раньше. На это указывает и новгородская челобитная: «молва учала быть еще до мятежу, когда по государеву указу по торжкам стали бирючи кликать, чтобы русские люди покупали бы хлеб про себя не от велика четвериками».

4 марта в Новгород вернулись стрельцы, провожавшие во Псков шведского агента Логина Нумменса. Они были свидетелями первых дней Псковского восстания и в съезжей избе дали воеводе Хилкову подробные показания о происшедших событиях. Сообщить о Псковском восстании могли не только стрельцы, но и торговые люди, приезжавшие из Пскова в Новгород.

В начале марта Хилков писал в Москву, что в Великий Новгород приезжали псковичи, торговые и всякие люди, «и от них были в разговорах многие смутные речи». Тот же Хилков в письме к Борису Ивановичу Морозову прямо говорит: «смуту большую в Новгороде завели от псковичей... потому что было в Новгороде от них письмо, чтоб также учинить, как оне учинили».

12 марта в новгородской съезжей избе были обысканы псковские челобитчики, стрелец Юшка Щербаков и посадский человек Прохор Мясник. Воевода нашел у них «смутные письма», составленные псковским площадным подьячим Томилой Васильевым и его сыном Григорием. Томило Васильев был автором большой псковской челобитной 1650 г. и одним из вождей Псковского восстания.

Соловьев связывал начало восстания с приездом в Новгород датского посланника Иверта Краббе (следуя русским источникам, Соловьев называет его Грабом). Царские грамоты также упрекали новгородцев в желании «меж государств учинить ссору». Поэтому эпизоду с Краббе Соловьев, а вслед за ним и другие историки, уделяют большое место. Действительно, в бумагах о Новгородском восстании немало места отводится слухам о приготовлениях шведов к походу на Новгород. Этими слухами и псковичи и новгородцы старались оправдать перед московским правительством необходимость восстания.

На другой же день после начала восстания, т. е. 16 марта, новгородцы пришли на шведский двор и арестовали шведского агента по закупке зерна Дионисия Эршвиллера, только что приехавшего из Москвы. После допроса Эршвиллер был отдан приставу и освобожден только через три недели[2].

---

[1] Основной материал по истории Новгородского восстания 1650 г. имеется в ГАФКЭ в Шведских делах за 1650 г., № 3. Дальнейшее изложение основано на этих материалах.

[2] „Журн. мин. нар. просв.", февраль 1898 г., ст. Г. Форстена. Сношения Швеции и России во второй половине XVII в.

По городу ходили слухи о близком нападении шведов. Указывали даже срок — светлую или пасхальную неделю, потому что де в «то время пора питущая», по наивному объяснению новгородцев. Этим слухам большое место отводилось в новгородских челобитных, где указывалось, что вместе с Краббе приехал внук Ивана Аминева, «а Иван де был природной государев человек, а ныне в измене и живет в Свее».

Но острие восстания было направлено все-таки не против иноземцев. За исключением эпизода с избиением Краббе, о котором будет сказано далее, не слышно ни о погромах ни о насилиях над иностранцами. Шведский агент в Новгороде Эверс мог спокойно писать в Стокгольм свои донесения о новгородских событиях.

Попробуем дать хронологическую канву первых дней восстания в Новгороде. Повидимому, начало восстания было тесно связано с собравшимся 15 марта мирским сходом у земской избы, на котором следовало избрать целовальников для посылки в Москву с дарами новорожденной царевне Евдокии и в Тихвин на заставу.

Многочисленные показания указывают на земского старосту Андрея Гаврилова Красильника как на инициатора сбора посадских людей к земской избе. Андрей Гаврилов и сам не отрицал, что он собрал у земской избы «многих посадских людей», но за дальнейшие события слагал с себя всякую ответственность. Участие Андрея Гаврилова в восстании было чисто случайным. Меньше всего он годился для роли вождя восстания. После 15 марта Гаврилов, испугавшись последствий восстания, тщательно «ухоранивался» от посадских людей. Инициатором восстания был сапожник Елисей Лисица. По словам очевидцев, он ходил по площади и кричал во всеуслышание, что гость Семен Стоянов провозит за рубеж хлеб и мясо, а немцы «везут с Москвы многую денежную казну».

Дальнейшие события представляются в таком виде. На площади собралась большая толпа и двинулась в Каменный город. Здесь восставшие опрокинули караулы у ворот и ударили в набатный или «сполошный» колокол. К посадским людям присоединились стрельцы. С этого момента фактически начинается Новгородское восстание.

Захват Каменного города означал переход власти в руки восставших. Только после этого произошел эпизод с посланником Ивертом Краббе, выехавшим из Новгорода «за час до вечера». Посланник был остановлен на дороге, отведен в земскую избу и подвергнут допросу. В земской избе Иверта Краббе посадили на скамью и стали заковывать в кандалы. Вот как рассказывает об этом толмач Нечай Дрябин, сопровождавший Краббе: «Посадцкой человек Трофимко Волченок с товарыщи того датцкого посланника бил по щекам и с руки перстень снял. А в ухе де у него колцо золотое с алмазом и то колцо учал было у него из уха рвать. И посланник де учал ему говорити с прошеньем, чтоб де велели ему голову отсечь, а уха бы у него не испортили, и того де детину отвели иные земские люди. И тот же де детина у посланника вынял из кармана часы боевые».

Весь этот эпизод производит впечатление случайного грабежа. Сам Иверт Краббе представлял повидимому мало интереса для новгородцев, так как тот же Дрябин говорит дальше, что новгородцы разрешили посланнику ехать за рубеж, но Краббе отказался и требовал отослать его обратно в Москву. Ни воевода Хилков ни датский посланник не были главными объектами ненависти восставших. Восстание было направлено против «лучших» посадских людей и в первую очередь против новгородских гостей Василия и Семена Стояновых.

Сохранилось письмо доверенного человека Стояновых Тимошки Черкашенина, посланное им в Москву Василию Стоянову. На нем помечен адрес: «дати ся грамотка на Москве у Печатнова двора Василию Гаврилову сыну Стоя[нову]». Приводим это письмо целиком.

«Государю моему Василью Гавриловичю Тимошка Черкашенин челом бьет. Как тебя, государя моего, бог милует? А про нас изволишь ведать, и мы в кручине своей одва живы. Да у тебя, Василей Гаврилович, дом твой разграбили стрелцы и казаки и посадцкие люди весь, едва ушла Анна Максимовна с твоими детми. Да у Семена Ивановича, да у Василья Микифорова да у Василья Проезжалова, да у Михайлы Вязмы да у Микиты Тегерина да у Ондрея Земского. И твоя семья, Василий Гаврилович, в кручине одва жива, лежит у попа у Михайлы в таю, на свой двор жить иттить не смеет же, и хоромы все переломали. Да дай ведом Семену Ивановичю, что сестры ево Палагеи ведома нету, взяли ее посадцкие люди и стрельцы, Лисица да Шмара с товарищи, марта седмое на десять число, а Стефанида в таю, ведает толки Сидор Холщевник. Да молва итит в миру, что хотят грабить лавку и на Городищи Семена Ивановича, а околничево хотят убить и называют ево изменником. А немец посадцкие люди и стрелцы перебили, которыи приехали со псковитином, посланников держат в земской избе и грамоты и грамотки все отняли и переводят с немецких грамот и грамоток в земской избы с Ываном Жегловым да с Игнашком Молодожником, а за Семоном послали в погоню, догонят ли или нет, тово не ведаю. А Анну твою хотели убить, едва ушла, а называют вас всех изменниками. А потом тебе челом бью».

Семен Стоянов успел скрыться и пытался пробраться в Москву, но был пойман по дороге и отвезен обратно в Новгород. Стрельцы и казаки гнались за ним 300 верст с лишком. Новоторжец Наумка Иванов встретил по дороге стрельцов и казаков, которые везли на дровнях связанного и избитого Семена Стоянова. Кроме дворов Стояновых были разгромлены дворы их приспешников. Среди них выделяются имена Василия Проезжалова и Василия Колачника. Оба они были в 1648 г. целовальниками по сбору соляной пошлины и брали многие «наметные пенные деньги».

Таким образом восстание было направлено явно против верхушки посадского мира.

Волнения не утихли и на следующий день. 16 марта восставшие новгородцы ворвались во двор к митрополиту и освободили двух узников, сидевших на митрополичьем дворе — Ивана Жеглова и Игнатия Молодожника. Освобождение Жеглова произвело сильнейшее впечатление на митрополита и воеводу, так как в Жеглове они видели «большого вора». 16 марта Никон и Хилков пишут царю, что они опасаются большого «дурна», «потому што в земскую избу взяли к тому своему воровскому умыслу, сына боярскова, что бывал Софейскова Дому митрополич дворецкой, Ивашко Жеглова, да посадцкова человека Игнашка Молодошника». Действительно, Жеглов и Молодожник стали во главе новгородской земской избы.

В первые же дни восстания воевода Хилков окончательно растерялся и бежал на митрополичий двор, даже не помышляя о сопротивлении восставшим. Сохранился замечательный документ, относящийся к 15 марта — к первому дню Новгородского восстания — совместная отписка митрополита Никона, воеводы кн. Федора Андреевича Хилкова и дьяка Василия Сафонова. Этот документ поражает крайней неряшливостью почерка и правописания, неряшливостью совсем

необычной для отписки воеводы из большого города. Отписку второпях писал дьяк Сафонов и, в извинение за небрежность, приписал в конце: «а переписать, государь, начисто не успели, стало вскоре, а писал я холоп твой Васька». Сидевшие на митрополичьем дворе в осаде воевода и дьяк бессвязно рассказывали о событиях первого дня, заявляя в полной растерянности: «а что у нас холопей твоих на дворишках делаетца, то неведомо и что впредь будет». Воевода и дьяк и позднее пребывали в полной растерянности. Все отписки их неизменно заканчиваются просьбой об отставке: «вели, государь, меня холопа своего переменить, а бью челом я холоп твой... чтоб их новгородцов злобы вскоре унеслась». В одной из отписок воевода и дьяк пишут: «убегая от своих домов живем у твоево государева богомолца у Никона митрополита, ожидаем себе смерти». Что это не пустые страхи, доказывают донесения шведского агента Эверса, который утверждал, что воевода ни на минуту не мог быть спокойным за свою жизнь.

III

Какие же социальные силы подняли восстание 15 марта?

Начальный успех восстания был обеспечен союзом посадских людей и стрельцов, казаков и пушкарей. Как и во Пскове, начало восстания было положено посадскими людьми, собравшимися у земской избы. Но потом к ним тотчас же присоединились стрельцы и казаки. В толпе, ворвавшейся в Каменный город, были «многие люди всяких чинов, от стрельцов и от казаков и посадцкие и все люди». Впрочем, совместная отписка Никона и Хилкова отмечает отсутствие в толпе восставших верхушки посадского мира. В дальнейшем богатеи посадского мира попрежнему чуждаются восстания и тайно ведут работу против него. Грабеж дворов приписывается кабацким голышам и ярыжкам. Монастырский служка Иван Тарбеев, выехавший из Новгорода 16 или 17 марта, так описывает порядки в городе: «В Новегороде по всем улицам поставлены сторожи от гилевщиков, ото всяких чинов людей, для того, чтоб ничьех дворов болши того не грабили. А которые де дворы и разграблены, и о тех каютца, а грабили де те дворы ярыжки и кабацкие голыши и стрелцы, которые голые же люди, гилюют де и в земскую избу ходят по прежнему». К категории кабацких голышей Тарбеев, подделываясь под язык московских приказов, причислил всех «меньших» людей и стрельцов.

Подлинную силу восстанию придали своим участием стрельцы. По словам одного наблюдателя, «весь тот мятеж держат стрелцы, а толко б де не стрелцы и посадских де людей немного и делать было им нечего». На это же указывает воевода Хилков в первой отписке о мятеже: «а от стрелцов болшая смута». С переходом стрельцов на сторону восставших у посадских людей сразу оказалась военная сила.

Против союза «меньших» посадских людей и стрельцов сплоченной массой выступал блок верхушки новгородского общества — дворяне, духовенство, стрелецкое начальство и «лучшие» посадские люди. Существует мнение, будто успех Московского восстания 1648 г. объясняется участием в нем провинциального дворянства. Нельзя отрицать, что среди дворянства были настроения оппозиционные московскому правительству. Но история Московского восстания 1648 г. еще недостаточно изучена, и многие его моменты остаются неясными. История же восстаний в Пскове и Новгороде рисует нам явную враждебность дворян к восставшим. Немногочисленные дворяне и дети бояр-

ские, находившиеся в Новгороде, стоят в стороне от восстания как бессильные зрители развертывающихся событий. Но отношение их к восстанию определенно враждебно. Дворяне наотрез отказались дать свои подписи под общую круговую запись, «чтоб им с ними мирскими людми стоять заодно». Они согласились подписаться лишь под челобитной о запрещении продажи хлеба за границу. Однако челобитная восставших была все-таки написана от имени всего В. Новгорода, в том числе дворян и детей боярских. Но в Москве отлично знали о непричастности дворян к восстанию. В ответ на челобитную новгородцев царская грамота указывала, что в начале челобитной прописаны дворяне и дети боярские, а на обороте дворянских рукоприкладств нет. Грамота резко замечала: «и то вы делаете воровством, пишете в челобитных своих дворян и детей боярских заочно, воровски и оправдаете себя». Так официальным документом была установлена верность новгородских дворян и детей боярских московскому правительству.

Прямым пособником воеводы в подавлении восстания было духовенство. Все сношения Хилкова и Никона с Москвой идут через посредство духовных лиц, тайно принимающих отписки в церквах во время богослужения. Но Никон не остановился на этом и открыто вмешался в события, стараясь использовать религию в помощь московскому самодержавию. Здесь сказалась традиционная классовая природа русской церкви, так выпукло выступившая во время восстаний XVII в. Всюду и всегда высшая церковная иерархия выступала в защиту московских порядков. Так было в 1650 г. во Пскове и Новгороде, так повторилось позже в Астрахани, при Разине.

Выступление Никона было обставлено необыкновенно торжественно. В день царских именин, 17 марта, во время обедни Никон предал проклятию Жеглова и всех восставших и освободил их от данной друг другу клятвы «стоять заодно». Проклятие провозглашал с амвона ризничий старец Мисаил, а певчие дьяки повторяли его на клиросах.

В ответ на проклятие последовало нападение на Никона 19 марта. Позднее, во время ссоры с царем Алексеем, Никон напоминал царю о своих заслугах в деле усмирения восстания во Пскове и Новгороде. В карьере Никона новгородские события сыграли исключительную роль. Сохранилась подлинная отписка, отправленная Никоном в Москву, где излагаются подробности событий 19 марта. Отписка была адресована непосредственно царскому семейству — царю, царице и царевнам. На обороте находится помета: «158-го (1650 года) апреля в 13 день с митрополичим неделщиком сь Ярофейком Офонасьевым подана в Верх». Таким образом перед нами не простая приказная отписка, а письмо Никона, адресованное «в Верх», в терема, непосредственно царскому семейству. В этом смысле характерно начало отписки, где перечисляются адресаты: царь Алексей Михайлович, царица Марья Ильинична, царевны Ирина, Анна и Татьяна Михайловны и новорожденная царевна Евдокия Алексеевна. Судя по отписке, уже в это время Никон был своим человеком в царском семействе.

По словам Никона, 17 марта, в день царских именин, он совершил молебствие и «предал клятве» Ивана Жеглова с товарищами. 19 марта на Софийский двор пришел из числа отлученных бывший пристав Гаврилка Нестеров, принося покаяние. «И я, — рассказывает Никон, — ево велел поберечь покамест пойду к обедне и по преданию святых апостол и святых отец хотел ево разрешить и молитвы разрешалные проговорить». Об этом узнал Иван Жеглов и велел ударить в набат. Толпа вломилась в Софийский двор. Никон пытался уговорить ворвав-

шихся, но был избит. «Меня бранили всякою непотребною бранью, — жалуется Никон, — и в грудь торчма ударили и грудь разшибли и по бокам каменнем держа в руках и кулаки били». Никона повели было в земскую избу, но он отпросился посидеть у Золотых дверей, а потом получил разрешение отслужить в церкви Знаменья обедню. Из церкви Никон вернулся совершенно больным.

Показания Никона значительно теряют в своей достоверности при сравнении их с распросными речами других очевидцев событий. Прежде всего самая история с приставом была совсем не столь невинна, как ее описывает Никон. По словам софийского служки Кузьмина, пристав Колча, «а имени не помнит», ходил по Торговой стороне и называл Никона и Хилкова изменниками. Воевода и митрополит приказали его схватить, бить батогами и посадить в тюрьму. Тогда в Земскую избу пришли родственники Колчи и просили заступиться за него. Многие люди бросились к митрополиту и потребовали освобождения Колчи. Выпущенный воеводой и дьяком на свободу, Колча показал народу свою спину, обезображенную батогами. Тогда-то толпа стала ломиться в Казенный двор и в переходы. Митрополит сам вышел к толпе и был избит кулаками и шапками, «а в шапках было каменье». Таким образом, «разрешальные молитвы», которые Никон «по преданию святых апостол» дал приставу Колче, на самом деле оказываются батогами. Нет никаких данных не доверять словам софийского служки. Ведь этот же самый Кузьмин привез отписку Никона в Москву, следовательно он пользовался достаточным доверием у митрополита [1].

Нам еще не раз придется отмечать разного рода несуразности, а порой и прямую ложь приказных отписок. Но отписка Никона имеет особый интерес. Она бросает яркий свет на личность Никона, объясняя те способы, которыми он создал себе блестящую карьеру, получив патриаршество. Никон явно злоупотреблял склонностью царского семейства к мистике, не стесняясь выставлять себя чуть ли не святым мучеником. По словам Никона, избиению предшествовали всякие знамения. Он пишет о них совсем в стиле жития. Вот это знаменитое место, которое столь часто цитировалось потом в различных исторических трудах.

18 марта Никон служил заутреню и сам читал псалмы и каноны, стоя перед образом спаса (копии с увезенной Иваном Грозным в Москву иконы «Златая Риза»). «И се внезапу я, богомолец ваш, стоя на своем месте, увидел тот венец стал приближатися ко мне, и я, богомолец ваш, от великого страху, аки забылся, точию своима очима на тот венец смотрю и свещу пред спасовым образом, как горит, вижу. И то в разуме помыслил, кем тот венец движится, и то в памяти есть, что тот венец собою двигся и пришед стал на моей главе грешной. И аз мало от великого того страха пременився, чуя чювственно и обоима рукама на своей главе осязал, и от того времени тот венец невидим бысть». Никон приводит свидетелей странных явлений, якобы происшедших в соборной церкви до 19 марта: казначей Никандр, дьяк Парфений и иные многие люди слышали в соборной церкви «клопот и голку велику». Таким образом, все предвещало мучения Никона.

Между тем отписка Никона полна несообразностей. 18 марта Никон имел видение, а 19-го его избили, но он все-таки пишет, что с 18 марта до избиения, т. е. до следующего дня, стал служить «каждый» день обедни, тут же забывая всю сочиненную им хронологию событий. Но

[1] Шведские дела, № 3, лл. 167—169 — показания Ив. Кузьмина.

еще замечательней самый тон повествования Никона. Перед нами типичные обороты жития святых, наполненные характерными архаизмами, которые остались в употреблении только в литературных памятниках XVII в. и давно покинули столбцы московских приказов. Никон пишет: «и се внезапу, венец царский на воздусе злат», «своима очима», «обоима рукама» и т. д. Здесь же ссылки на очевидцев видения. Однако замечательно, что никто, кроме самого Никона, не говорит о видениях: молчат об этом воевода Хилков и дьяк, молчат посланцы из Новгорода, молчит об этом и любимый служка митрополита Иван Шушерин, написавший житие Никона. Знает об этом только Никон, вся цель которого выставить себя героем, почти мучеником. Недаром отписка адресована всему царскому семейству, этому женскому синклиту теремных затворниц, царице и царевнам, досужим охотницам до сплетен, чудес и всякой мистики.

IV

С переходом Хилкова к митрополиту в Новгороде образовалось как бы два правительства: одно номинальное на Софийском дворе, где засели митрополит, воевода и дьяк, другое — фактическое — в земской избе. Вся власть находилась в руках восставших. Сидя в Каменном городе, Хилков не мог даже открыто сноситься с Москвой; ему приходилось отправлять свои отписки окольными путями, постоянно опасаясь, что они попадут в руки восставших. За первым же гонцом в Москву была послана погоня до самого Торжка. Увидев псковитина Марка Жиневлева, пришедшего просить подорожную, воевода приказал ему на словах передать Борису Ивановичу Морозову: «отписка послать нелзе для того, что в городе по караулам везде заказано, велено обыскивать». Одну из своих отписок Хилков тайно в соборе передал игумену Кириллова монастыря во время службы в день царских именин, а игумен, в свою очередь, отослал ее с монастырским служкой. Когда в Новгород приехал с царской грамотой Яков Соловцов, митрополит высказал ему свое удивление, что он не был задержан в земской избе: «диво де то, что он Яков проехал, а никого мимо земские избы к нему митрополиту и к околничему не пропускают».

С устранением воеводы власть в Новгороде перешла в руки мирского схода и земской избы. Но восставшие так и не довели дела до конца, оставив воеводу и митрополита на свободе, дав им таким образом возможность сноситься с Москвой и интриговать в самом Новгороде.

Верховная власть перешла к мирскому сходу, т. е. собранию новгородских жителей, в первую очередь посадских людей и стрельцов. Восставшие собирались перед земской избой и, по выражению документов, стояли «гилем». Шушерин запомнил, что новгородцы во время восстания для сбора мирского схода били в набат на городской великой башне или у соборной церкви Николы чудотворца на Дворище, «что близ земской таможенной избы, идеже их собрание первое бяше». Таким образом, одним из мест собрания новгородцев была старинная площадь, где некогда сходилось новгородское вече. Иногда мирское собрание происходило у съезжей избы, в Каменном городе. На таких собраниях, естественно, могли решаться только общие вопросы. Обычно же дела велись в земской избе, где сидело новгородское правительство. Земская изба управляла всеми делами. Здесь читались царские грамоты, допрашивались приезжие, выдавались подорожные. Приводим как образец память, выданную земской избой во время вос-

стания. Память написана красивым подьяческим почерком: «158-го (1650 года) марта в 20 день. Память караулщиком Славенских ворот. Пропустить им за город Московского дворянина Семена Корсакова с сыном и с людми, а у него досматривать и тем ево не обесчестить, пропустить не подержав».

Мирское собрание до известной степени напоминало древнее вече, по звону колокола собиравшееся на площадь. Но слово «вече» так и не было произнесено за все время восстаний в Новгороде и Пскове. Может быть, в новгородском управлении за время восстания не было настоящего подражания древним вечевым порядкам. Мирские собрания были совершенно сходны и там, где не было никаких вечевых пережитков. После восстания, когда Новгород вернулся к обычной жизни, воевода тотчас написал, что земские старосты попрежнему ходят в земскую избу решать мирские дела. Земская изба и мирской сход вернулись к обычным своим делам. И тем не менее именно для Новгорода нельзя отрицать возможности сохранения старых традиций. Иван Жеглов в письме к князю Ив. Никитичу Хованскому выразил чрезвычайно характерную мысль: «впредь государь жалуй, посылай в Великий Новгород новгородцов, а не иногородних людей, потому что государь иногородные люди, не ведая ничего, говорят многие прибавочные речи, а новгородского извычая не знают».

В другой раз тот же Жеглов угрожал Семену Корсакову, что велит его «с мосту скинуть» — наказание, от которого веет буйной новгородской стариной. В отдельных замечаниях новгородцев проскальзывает их знакомство с прошлым родного города. Говоря о Софийской церкви, новгородцы не забывали добавить, что та церковь строена «по ангельскому благовестию». В челобитных новгородцы вспоминали былую славу Новгорода, в разговорах — опалу на город при царе Иване. Повидимому, в среде новгородцев жили еще воспоминания об особых «извычаях» и «пошлинах», еще не стертые почти двухвековым владычеством Москвы.

Очень интересен состав временного новгородского правительства, сидевшего в земской избе. Вместе с Жегловым в земской избе сидели «другие великие воры» — посадские люди Игнатей Солодовник (Молодожник) и Иван Оловяничник. Кроме них из посадских людей упоминается еще Елисей Лисица, а из «лучших» — Никифор Хамов. В земской избе сидел также псковский стрелец Щербаков, посланный в Москву «в челобитчиках» от Пскова, посаженный в тюрьму Хилковым и впоследствии освобожденный новгородцами. Что касается новгородских стрельцов, то в документах из стрельцов, сидевших в земской избе, упоминаются пятидесятники с Киршей Дьяволовым во главе. Официальными главами правительства были земские или всегородные старосты. Есть известие, что старосты во время восстания были избраны один «от нарочитых людей, а другой от смутных». Такой порядок сильно напоминает выборы на земский собор 1649 г., когда от Новгорода были выбраны по одному представителю от «лучших» и от «молодших» людей. Имя земского старосты от «нарочитых» людей даже как следует не известно. В документах только упоминается пятиконецкий староста Иван Железный Колпак. Наоборот, староста от «смутных» людей упоминается во всех документах как один из вождей новгородского восстания — это Игнатий Молодожник. Большинство показаний выделяют как вождей восстания Ивана Жеглова, Игнатия Молодожника и Ивана Оловяничника — «трое их болшую смуту чинят и всем миром владеют».

Документы особенно подчеркивают значение в новгородском пра-

вительстве Ивана Жеглова. Составитель жития Никона (Шушерин) не сделал большой натяжки, когда назвал Жеглова «воеводой» восставших. В земской избе Жеглов занимал первое, исключительное место. Новоторжец Наумко Иванов так высказывался о значении Жеглова в земской избе: «А тот де Ивашко Жеглов у них земских людей в началных людях. А челобитчики де всякие люди о всяких делах о расправе бьют челом ему, Ивашку, да земскому старосте Игнашку с товарыщи и проезжие памяти на земские избы дают они же, Ивашко с товарыщи». Пятиконецкие старосты не решались выполнять без Жеглова сколько-нибудь важные дела. В одном известии говорится, что в избе сидели Игнатий Молодожник и пятиконецкий староста Иван Железный Колпак, «а после их пришол Ивашко Жеглов а до него же, Ивашке, никаких отписок Игнашко Молодожник и пятиконецкие старосты не распечатывают; как же он Ивашко пришол, и тое боярскую отписку распечатал тотчас, и велел честь».

Жеглов сыграл настолько роковую роль в исходе Новгородского восстания, что на его биографии следует несколько остановиться. Впервые о нем упоминается в известном деле о «неправдах» и «непригожих речах» митрополита Киприана, как о родственнике митрополита, на племяннице которого он был женат.

Ко времени прибытия Никона в Новгород Жеглов достиг уже места дворецкого или приказного Софийского Дома. Значение приказного хорошо выяснено в уже упомянутой работе Б. Д. Грекова. Это был мажордом Софийского Дома, первое лицо после митрополита, в руках которого сходились все нити управления Софийским Домом. Для служилого человека Софийского Дома эта должность была завершением карьеры. Во всяком случае перед Никоном стояла крупная личность, человек, сумевший снискать популярность во время восстания. Сам Никон признавался с каким-то суеверным страхом, что Жеглов с Негодяевым «всех людей приворотили к себе своим коварством». В лице Жеглова Никон наткнулся на человека своего же склада и, конечно, с ним не поладил. К моменту восстания Жеглов уже находился под стражей. Источники разноречиво говорят о причинах его заключения. В одной отписке Никон глухо говорит, что Жеглов сидел в тюрьме «в государевом великом деле». В другой он подробнее объясняет, что это было за государево дело. Никон еще в 1649 г. писал царю о Жеглове и о софийских детях боярских Федоре и Макаре Негодяевых, что они люди недобрые и похваляются, будто знают, что «у царя и у короля в полатех делается». У них была найдена «воровская книга и ключ в тетрадех» (повидимому это была обычная гадательная книга или тайнопись). Распросные речи были отосланы в Москву, а про дело было приказано сыскать самому Никону.

Новгородская челобитная, поданная во время восстания, утверждает, что Никон держал Жеглова «в чепи и в железех», бил его и мучил без вины и «вымучил на нем» триста рублей денег. В сущности новгородскую челобитную подтверждает и Шушерин, замечая только, что Жеглов «за некую вину его посажен бе во узилища и бысть цепь на выи его». Позднее в письме к князю Хованскому Жеглов жалуется на увечье.

Несчастия Жеглова создали ему популярность: он стал кандидатом на пост главы временного новгородского правления. Но бывший дворецкий Софийского Дома выплыл на поверхность восстания не по своей воле, а благодаря случаю, как одна из жертв произвола митрополита и воеводы. Еще в начале восстания ходили слухи, «что де Ивашко Жеглов и сам ныне каетца, что такую беду завел».

Земские люди в присутствии Жеглова допрашивали Якова Соловцова и говорили между собой, что Соловцов не царский гонец, а холоп Бориса Ивановича Морозова. Жеглов первый заговорил об этом. Тогда Соловцов не выдержал и заявил в лицо Жеглову, что ведь и он, Жеглов, его, Соловцова, знает: они не раз встречались с ним на Москве — «у Федора Олябьева бывали вместе не однова» (Федор Олябьев — московский дворянин). Соловцов сознательно напоминает Жеглову о его московских связях. После этой сцены Жеглов оставляет гонца у себя на дворе и наедине заводит с ним беседу. Соловцов упрекает Жеглова за участие в восстании, Жеглов оправдывается тем, что «то дело не он учинил, а он де сидит неволею, взяли его из желез да и с чепи миром. А толко бы де его земские люди не взяли, и в тое бы же время к елее того учинилось, потому что де он унял смертное убийство».

Перед нами яркая картина двойной игры предателя и авантюриста, который очутился в роли вождя восстания. Да и другие члены временного новгородского правления были элементом в большей или меньшей степени случайным. Посадский человек Игнатий Молодожник был злейшим врагом Семена Стоянова; во время восстания он завладел двором Стоянова и на нем жил. Но еще в 1649 г. Игнатий Молодожник был связан со Стояновым тесными узами. В это время он — «збору соляные пошлины целовалник», вел какие-то таинственные переговоры с доверенным человеком Стояновых, Ивашкой Черкасовым или Черкашенином. Спустя год Молодожник, разоренный Стояновыми, сделался их злейшим врагом. По вине Стояновых он просидел целую зиму в заключении — «на снегу» — под съезжей избой и потерял все свое имущество.

Не совсем подходящим для роли руководителя восстания кажется и «лучший посадский человек» Никифор Хамов, также сидевший в земской избе. В 1646 г. он варил уксус на продажу, причем сваренный им уксус — до 2 000 ведер — был оценен «по меньшей цене» в 60 рублей. В это время Никифор Хамов вел большое тяжебное дело с новгородским воеводой Урусовым и имел личные связи со слугами Софийского Дома. Урусов обвинял Хамова в том, что он лечил у себя «телесную юность», о чем знает весь митрополичий дом, а митрополит мирволит Хамову, потому что свояк Хамова служит у него дьяком. Действительно, на поручной записи по Хамове подписались казенный дьяк и боярский сын Софийского Дома.

Единственными подлинными представителями «меньших» посадских людей в земской избе повидимому являются Иван Оловянишник и сапожник Елисей Григорьев, по прозвищу Лисица. Елисея Лисицу надо считать настоящим вождем «меньших» посадских людей. Он первый поднял восстание и повел за собой толпу в Каменный город. Лисица участвовал в разгроме дворов Стоянова и других посадских богачей. Во главе отряда из 300 стрельцов и казаков Лисица ездил по московской дороге в поисках большой казны, отпущенной из Москвы. В конце восстания тот же Лисица стоял за открытое сопротивление московским войскам и за установление сношений с восставшим Псковом. Скромнее была роль Ивана Оловяничника, также взятого из тюрьмы, как и Игнатий Молодожник. Но ни Лисица ни Оловяничник далеко не пользовались таким влиянием, как Жеглов и Молодожник.

Гибельной для восстания оказалась и другая особенность правления новгородской земской избы — малое участие в ней рядовых стрельцов. Представителями стрельцов являлись пятидесятники, т. е. стрелецкие верхи.

Состав новгородской земской избы оказал сильное влияние на успех восстания и наложил свой отпечаток на все действия восставших, отмеченные нерешительностью. Жеглов старался не столько углубить, сколько прекратить восстание. В этом смысле представляют интерес новгородские челобитные, которые, казалось-бы, должны были отразить истинные намерения восставших. В конце марта восставшие новгородцы выбрали шесть человек: троих посадских людей, двух стрельцов и одного казака. Челобитчики приехали в Москву 11 апреля и были допрошены в Посольском приказе. Здесь челобитчики показали, что «воровской завод и мятеж» учинился от старосты Андрея Гаврилова и Елисея Лисицы. К этому один из челобитчиков, Иов Красильник, добавил, что у них в Новгороде (повидимому, у «лучших» людей) «совет был, как приедет (Хованский) и им ево встретить честью и заводчика Ивашка Жеглова да Игнатка Молодожника, Лисицу и иных, которые тот воровской завод учинили, всех сыскать, а сыскав выдать же». После таких заявлений трудно видеть в челобитчиках истинных представителей восставшего Новгорода.

Не менее странное впечатление оставляют и новгородские челобитные. Новгородцы подали три челобитных — на Хилкова, Никона и Стоянова. Соединенные вместе, все они составили одно общее челобитье, поданное царю от имени «всего Великого Новгорода». Подобную челобитную подал несколько позднее восставший Псков. Чрезвычайно интересно сопоставить челобитные двух восставших городов. Даже поверхностное знакомство с ними позволяет заметить, что перед нами два глубоко различных по значению документа. Псковская челобитная написана с большим подъемом и уменьем. Описав события, предшествовавшие восстанию, псковская челобитная переходит к жалобам на тягости и обиды и, наконец, кратко резюмирует требования восставших псковичей. В сравнении с этим документом, написанным смелой и опытной рукой, новгородская челобитная поражает своим слабым, пониженным тоном.

Вот краткое содержание новгородской челобитной. Новгородцы обвиняют Хилкова и Стоянова в продаже за границу съестных припасов — хлеба, мяса и свиных полтей; воевода запрещает осматривать на заставах возы, отправляющиеся за границу. Это основное обвинение, к которому дважды возвращается челобитная. Подобно псковичам, новгородцы возражают против отдачи шведам денежной казны, ссылаясь на обманы и вероломство шведов, захвативших исконные русские города — Ямь, Копорье, Ивангород. Упоминается про слух о готовящемся нападении шведов и о том, что воевода постоянно им «норовит». На ряду с этим главным пунктом недовольства воеводой, выставлены еще два других: воевода запретил в холодное время топить печи и подговорил митрополита анафематствовать мятежников. Почти половина всех челобитных посвящена жалобам на Никона. Больше всего новгородцы жалуются на акт проклятия, которому он их предал в соборе. Кроме анафемствования новгородцы ставят Никону в вину несправедливые притеснения, причиненные им Жеглову, а также намерение сломать в соборной церкви столпы. В челобитных новгородцы утверждают, что никто Никона не бил, но «милостию божею и молитвами пречистые богородицы при всем народе митрополита Никона обличило, силою божиею ударило ево и всего раздробило». По обычаю, челобитная кончается кратким резюмированием всех требований, которые сводятся к следующим трем пунктам: переменить воеводу Хилкова и поставить иного воеводу — «кому ты, государь, укажешь»; не отдавать денежной казны и не отсылать съестных при-

пасов в Швецию; не верить наговорам Никона и Хилкова. Эти куцые три пункта весьма далеки от той широкой программы требований, которую выдвинули псковичи. Повидимому, новгородская челобитная должна была играть для восставших роль оправдательного документа и отражала, главным образом, личную неприязнь против Хилкова, Никона и Стоянова со стороны Жеглова и его товарищей.

Однако и в земской избе были люди, понимавшие необходимость энергичных действий против московского правительства. Уже вскоре после 15 марта в Новгороде начались разговоры о необходимости всем новгородцам целовать крест и составить круговую запись с тем, чтобы стоять крепко и никого не выдавать. Согласно одному сообщению, «земские старосты и всяких чинов люди говорят, а хотят посылать в пятины по дворян и по детей боярских, и хотят их всех ко кресту приводить». Несколько позже (20 марта) Жеглов с товарищами призывали новгородских дворян и детей боярских в земскую избу, предлагая рукоприкладствовать под записью, в которой дворяне должны дать обещание действовать с посадскими людьми заодно. Дворяне отказались дать свои подписи.

Позднее снова говорили о записи между посадскими людьми. Никон уверяет, что такая круговая запись была составлена и к ней заставляли прикладывать руки «с великою нуждою з боем». Однако замысел с круговою записью, как далее говорит Никон, не удался, потому что, по наущенью Никона, попы и многие люди бежали из города, чтобы не подписываться под записью. Не удалось и вызвать на помощь восставшему Новгороду дворян и детей боярских из пятин. Однако, как в этом нас убеждает один документ, такая, хотя и безрезультатная попытка, действительно была сделана.

В Актах Археографической экспедиции напечатана память стрельцу Арефке Иванову[1], посланному в Нагорную половину Обонежской пятины. Память выдана от имени новгородского воеводы кн. Хилкова и дьяка Василия Сафонова и найдена в архиве Тихвинского Успенского монастыря. Память приказывает: «дворян и детей боярских и новеков и недорослей, всех без выбору до одного человека выслать на государеву службу в Великий Новгород тотчас... безо всякого ослушанья, не дожидаясь по себя из Великого Новгорода стрельцов на многих подводах из прогонов».

Вызов дворян мотивируется слухами о сборах немецких ратных людей, весть о чем дошла до Хилкова 28 марта. Издатели актов поместили этот документ без всякого примечания, повидимому не сомневаясь в его подлинности. Между тем значение этой памяти совсем особое, и она никак не может считаться подлинной воеводской памятью. Прежде всего такой важный шаг, как вызов дворян из пятин, воевода едва ли осмелился бы сделать без согласия Москвы. Далее, 28 марта Хилков сам еще находился под домашним арестом. Странно также, что вызов дворян поручен простому стрельцу, да еще с угрозами воздействия со стороны тех же стрельцов. Наконец, и это самое главное, у нас есть точные сведения о вызове дворян в полк к Хованскому 20 марта. По новгородским вестям, царь указал итти в поход против Новгорода князю Ивану Никитичу Хованскому, а в пятины послал стольников для сбора дворян и детей боярских. В Обонежскую пятину послан был стольник Вас. Сем. Волынский. Общий сбор дворян из всех пятин был назначен в Валдае. Таким образом показания памяти расходятся с разрядами. Память, напечатанная в Актах Архе-

[1] ААЭ, IV, стр. 65—66.

ографической экспедиции, была написана в земской избе и отослана от имени воеводы, как это позже делалось и во Пскове. При таком объяснении становится вполне понятной мотивировка вызова дворян тревожными вестями из-за рубежа. Возможно, что попытка вызвать дворян из пятин была сделана с особой целью помешать им приехать в полк к Хованскому.

V

Известие о Новгородском восстании было получено в Москве 20 марта; об этом говорит точная запись в дворцовых разрядах. В тот же день правительство решило отправить против Новгорода карательный отряд во главе с князем Хованским. Настроение правительства в это время было чрезвычайно тревожным. В Москве боялись дальнейшего распространения восстания, пытаясь задержать его при помощи царских милостей. Об этом свидетельствует один документ, сохранившийся в делах Посольского приказа. 22 марта из Москвы отослана грамота к воеводам в Заонежье с приказом «жить с береженьем» от «воровских людей». Другая грамота, помеченная тем же числом и полученная в Заонежье 4 апреля, гласила: «по нашему указу велено заонежан учить солдатской службе повседневно, а ныне мы великий государь пожаловали велели им польготить и учить их перед прежним с болшою легостью в неделе день или два, чтоб им от пашни и от промыслов своих не отбыть». Причины новой заботы правительства ясно обнаруживаются в следующих словах: «а что заонежаня против того учнут говорить, и что у вас ныне делаетца, и вы бы о том к нам отписали».

Отсутствие материалов не позволяет представить себе ясную картину московских настроений. Но уже в апреле в Москве опять ходят толки о Борисе Ивановиче Морозове, говорят о его близости с киевлянами. Молва об измене Морозова широко распространяется под влиянием слухов, шедших из Новгорода и Пскова. Богдан Ушаков, ехавший в Москву с отписками Хованского, слышал на перевозе, недалеко от Клина, разговор об измене Морозова и готовящемся нападении немцев. Говоривший об этом клинский посадский человек Трунило добавил, что новгородцы и псковичи «стали за правду». По допросу Ушакова, Трунило был схвачен и подвергнут допросу, причем у него особенно допытывались «с иными людьми про то говорил ли, с кем имянем и на Москве и в городах всяких чинов людем те речи вмещать хотел ли».

Правительство чувствовало себя непрочно и избегало всего, что могло бы напомнить московскому люду о волнениях в Новгороде и Пскове. Новгородские челобитчики были доставлены в Посольский приказ ночью стрелецким головой Артамоном Матвеевым, а челобитчики из Пскова были отправлены непосредственно к царю в Покровское, не заезжая в Москву. Правительство всячески старалось найти корни крамолы даже там, где их не было. В одной из отписок Никон сообщил в Москву, что в Новгороде перед восстанием появились люди бывшего новгородского воеводы Семена Урусова и живут «неведомо зачем, а слух тот в мире есть, что де от них и смута болшая». Началось дело по обвинению людей Урусова в причастности к новгородским событиям, закончившееся, однако, их оправданием.

Кто же стоял во главе московского правительства в марте — апреле 1650 г.? Номинальный глава государства, царь Алексей Михайлович в это время находился в длительном путешествии по подмосковным. Он ездил в Калязин и успешно занимался соколиной охотой. Сохрани-

лось несколько писем царя Алексея, датированных апрелем—июнем 1650 г. Письма целиком посвящены деталям соколиной охоты, и в них нет ни слова о событиях, волновавших Московское государство в это время. Только полной беспечностью и удивительным политическим невежеством царя Алексея можно объяснить содержание его писем в те дни, когда шаталось самое основание его престола. А между тем в правительственных кругах Москвы великолепно понимали истинное положение дела.

Шведский агент в Москве, Поммеринг, в своих донесениях королеве Христине пишет об отношении московских политических деятелей к восстанию. Государственный канцлер, как он называет думного дьяка Михаила Волошенинова, пытался представить перед ним восстание в Новгороде и Пскове как «мятеж» простых несведущих людей и черни. Тот же Волошенинов ссылался и на то, что «бог и более значительные мятежи попускает», упомянув о революции в Англии и волнениях в Турции. Поммеринг сообщил далее о слухах, обвинявших Морозова в сношениях со шведами[1]. Эти слухи были чрезвычайно симптоматичны, так как намекают нам на главное действующее лицо в московском правительстве 1650 г. Морозов действительно вновь руководил государственными делами, предоставив «тишайшему» государю развлекаться соколиной охотой и поездками по окрестным лесам. В делах о восстании 1650 г. сохранилось подлинное письмо новгородского воеводы Хилкова «государю Борису Ивановичу». Письмо это крайне интересно, потому что оно рисует картину искательства перед Морозовым даже такого видного сановника как Хилков. Замечательно уже начало письма: «Государю Борису Ивановичю искатель твоего жалованья и скормленик Федка Хилков челом бьет. Пожалуй, государь, вели ко мне писать о своем многолетнем здоровье. А на милость, государь, положишь, про работника своего велишь спросить, и я на государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всея Русии службе в Великом Новегороде марта в 17 день жив до воли божии, а впред уповаю на сотворшаго нас».

Письмо датировано 17 марта[2] и содержит подробный рассказ о событиях первых двух дней Новгородского восстания. Заканчивается это письмо униженными словами: «Умилостивися, государь милостивый Борис Иванович, заступи своею милостию, как тебе государю бог известит, чтобы государеве вотчины порухи какие напрасно не учинилось, а мне бы ево государеву холопу безвинно не погинуть в том. А потом тебе, государю, рабски многа от многа челом бью слезно в таких бедах».

Таким образом, во главе правительства опять стоял Борис Иванович Морозов, имя которого сыграло большую роль в Московском восстании 1648 г. И в этот раз, как в 1648 г., московское правительство пыталось выиграть время и расколоть восставших.

Уже 21 марта в Новгород поехал с царскими грамотами дворянин Яков Соловцов. Но миссия Соловцова потерпела полную неудачу: требование выдать «воров и мятежников» вызвало общее негодование. Мирской сход кричал Соловцову: «у нас гилевщиков и воров никого нет». Характерно недоверие, с которым новгородцы отнеслись к царской грамоте. В земской избе многие люди называли Соловцова не дворянином, а человеком Морозова и не признавали подлинности царской грамоты: «волно де вам ночью написать хотя сто столбцов».

---

[1] К. Якубов. Указ. соч., стр. 468—471.
[2] Шведские дела, № 3, л. 72.

После неудачи с миссией Соловцова правительство могло рассчитывать лишь на военную силу. Во главе отряда, посланного против Новгорода, был поставлен князь Ив. Никитич Хованский. Перед Хованским теперь встала трудная задача усмирения Новгорода. В его распоряжении были очень незначительные силы. Главная надежда была на дворян и детей боярских, которые должны были съехаться по дороге из пятин. 23 марта Хованский находился уже в пути. Из Новгорода шли плохие вести, и Хованский колебался, как ему поступить — ожидать ли ратных людей или итти наспех с теми, кто подоспеет по дороге. Ответный приказ из Москвы был — итти «наспех».

Царский указ намечал Хованскому окольную дорогу — на Крестцы, Старую Руссу, Пшагу и Новгород с тем, чтобы отрезать Новгород от Пскова. Хованский изменил этот маршрут и двинулся в Новгород большой дорогой. В Москве, основываясь на тревожных вестях из Новгорода и Пскова, предполагали, что восставшие окажут сильное сопротивление. Еще 15 апреля царские грамоты приказывали Хованскому стоять под Новгородом, а 17 апреля угрожали новгородцам «большим разорением».

Но незаметно для новгородцев в их собственном лагере назревала измена. Старая историческая литература как особую заслугу приписывала усмирение восстания митрополиту Никону. Заслуги Никона как бы подтверждаются царской грамотой с похвалами за «крепкое стояние и страдание». О своем участии в усмирении Новгородского восстания не раз говорит сам Никон в отписках царю. На самом же деле Никон, как и Хилков, не пользовался никаким влиянием на восставших новгородцев. Митрополит и воевода в отписке рассказывают о сцене в съезжей избе при чтении царской грамоты, привез ной Солов цовым: «и земской и бы пришли начальные люди з болшим невежеством с такими же с воры и нам холопем твоим и места не дали». Хилков под влиянием такого приема опять стал бить челом о своей «перемене». Земские люди, несомненно под влиянием Жеглова, проявляли по отношению к Никону особое озлобление. Тотчас после вступления Хованского в город пятиконецкие старосты подали ему челобитную с жалобой, что Никон и Хилков «в мир пускают словесную речь болшую со устрастием, что будто вы в Великий Новгород едете по их отпискам нас без сыску и без очной ставки вешать и пластать». Об этом такими же словами пишет Жеглов в письме к Хованскому.

Несомненно в этом озлоблении против Никона немалую роль сыграли личные счеты. Жеглов и Негодяев принимали все меры, чтобы опорочить Никона в глазах правительства и поссорить его с Хованским. Никон же под влиянием личной неприязни не замечал, что Жеглов и Негодяев, по его мнению «большие воры», давно изменили восставшим и в любую минуту готовы перейти на сторону московского правительства.

8 апреля товарищ Жеглова Федька Негодяев покинул Новгород и перебежал в полк к Хованскому. В Москве Негодяев получил полное прощение — «царские очи видел и у руки был». Жеглов тоже пытался бежать, но принужден был вернуться обратно. Тогда он написал Хованскому письмо, в котором рассказал о своем неудавшемся побеге. В письме, доставленном, повидимому, дворянином Ушаковым, ездившим от Хованского с грамотой в земскую избу, Жеглов советует Хованскому поспешить в Новгород «скорым обычаем», потому что его ожидают мирские люди.

Вот это письмо:

«Государю моему милостивому кормилцу боярину князю Ивану Никитичю Ивашко Жеглов, пад па землю, рабски челом бью.

Буди государь мой князь Иван Никитичь на государьской службе в путном шествии здрав и многолетен.

Милости государь у тобя прошу. Пожалуй меня, изволь государь ко мне велеть отписать про свое многолетнее здравие, как тобя государя моего на государеве службе христос милостию своею охраняет. А пожалуешь, государь мой, изволишь, велиш про меня спросити, и я милостию божиею в Великом Новегороде апреля по число дал бог з живущими вкупе пребываю, а впредь уповаю на его же всещедраго бога милость.

Милости у тобя государя моего прошу. Пожалуй меня, не положи государь гневу на меня, что я до твоей милости не доволокся. Воистинно государь поволокся было с Парамоном с Поскочиным к тебе государю моему и на реке на Волхове Олексей Рожнов, едучи копать, испортил. А сесь ледом реку зыбило, а пеш государь волотца не мог, что ноги перебиты. И мы государь назад в Великий Новгород воротилися, а твоего государя моего здравия з государьскою милостию ожидают в Великий Новгород.

А стречать тебя государя моего всяких чинов жилецкие люди хотят за городом с хлебом да с со[лью].

Милости у тобя государя прошу, не в указ тебе государю моему я бью челом и пишу, облегчися государь в Великий Новгород скорым обычаем не со многими людми и милостиво учини, а мирские государь люди государьской милости и тобя государя моего ожидают вскоре, а все государь тебе скажут подлинно Богдан Лукьянович Ушаков. А впред, государь, жалуй, посылай в Великий Новгород новгородцев, а не иногородных людей, потому что, государь, иногородные люди, не ведая ничего, говорят многие прибавочные речи, а новгородского извычая не знают.

А новгородцкой Никон митрополит и околничей князь Федор Андреевич Хилков в мир пускают словесную речь с устрастием болшую, что бутто ты государь в Великий Новгород едеш по их митрополичя и околничего отпискам православных християн вешать и пластать без сыску и без очных ставок. И теми государь они речми в миру чинят великое сумнение и смуту.

А я тебе, государю моему, пад на землю рабски, челом бью. Здравствуй, государь мой, в нескончаемые веки»[1].

Как видно из письма, Жеглов даже не собирался отстаивать город против Хованского и готов был сам бежать к нему в полк, но ему помешал Алексей Рожнов.

Но одна измена Жеглова не может объяснить нам падение Новгорода. Сам Жеглов ничего не добился бы, если бы он не нашел опору в самом Новгороде. Надо заметить, что новгородские события первой половины апреля 1650 г. освещены нашими источниками очень слабо. Отписки объясняют падение Новгорода внезапным раскаянием восставших. Ту же официальную версию поддерживает и Соловьев. Он говорит: «Нападение на Никона было последнею вспышкою мятежа, начали простывать, опамятываться и думать о следствиях своего дела[2]. На самом деле конец марта ознаменовался ожесточенной борьбой внутри восставшего Новгорода. Сам Жеглов принужден был тщательно скрывать свои замыслы от восставших новгородцев. Он говорил в земской

---

[1] Шведск. дела, № 3, л. 321.
[2] С. Соловьев. Указ. соч., стр. 1531.

избе дворянину Богдану Ушакову, присланному от Хованского с грамотами: «придет Хованский с малыми людьми, взяв не более 50 человек, и они его в город пустят, пускай приедет помолиться у Николы на Дворище, против земской избы». Тайно от всех Жеглов отправил Хованскому известное уже нам письмо с выражением покорности. Жеглов прекрасно знал настроение большинства посадских людей и стрельцов. Именно в это время о «ссылке» со псковичами слышно из самых различных источников. Уже 22 марта псковитин Марк Жиневлев показывал в Москве, что восставшие новгородцы «подо Псков хотят от себя послати лутчих людей, чтоб им обеих городов всяких чинов людем стоят(ь) заодно». Это еще первый период восстания. Термин «лучшие люди» нельзя понимать буквально. Под «лучшими людьми» понимались вожди восстания.

Как и надо было ожидать, инициатива исходила от Пскова. Воевода, как мы знаем, даже начало событий в Новгороде приписывал «смутному письму псковичей». В начале апреля, по словам Федора Негодяева, псковичи прислали в Новгород двух казаков и двух монастырских служек с заручной грамоткой, в которой был призыв «городу за город стоять вместе». Далее псковичи сообщали о переходе солдат Сумерского погоста на сторону восставших. Известие это было преждевременным, но псковичи действительно вели серьезные переговоры с сумерскими солдатами, часть которых тайно склонялась на их сторону.

Восставшие новгородцы возлагали большие надежды на Псков, который казался им последним убежищем в случае неудачи восстания. Если дела в Новгороде примут плохой оборот, восставшие новгородцы, «взяв знамены и барабаны», немедленно уйдут во Псков. Эти слова принадлежат Елисею Лисице, который возглавлял группу новгородцев — сторонников упорного сопротивления Хованскому и московскому правительству. Лисица заявлял в земской избе: «мы боярина, князя Хованского, в город не пустим».

Восставшие вели приготовления к обороне против Хованского. Новгородцы думали сидеть в осаде: нельзя будет сидеть в деревянном городе, так перейдут в Каменный город, а хлеб будут брать из царских и митрополичьих житниц. На ряду с этим восставшие новгородцы возлагали большие надежды на свои челобитные, посланные в Москву. «Как де челобитчики прибудут к Москве, — показывает в распросных речах Федор Негодяев, — и в те де поры [новгородцы] чают того, что государь пожалует всех их, ничего над ними чинить не велит».

Это мнение, повидимому, сознательно поддерживалось не только сторонниками, но и многими противниками восстания, чтобы усыпить бдительность восставших. Сам Никон писал царю в отписке, что он новгородцев уговаривал и «в твоей милости веру им давал, а только бы не так уговаривать, то бы все отчаялись за свое плутовство и на болшое бы худо вдалися». Но одновременно при посредстве городских попов Никон вел агитацию за прекращение восстания.

13 апреля Хованский вошел со своим отрядом в Новгород. Восстание было подавлено. Что же вызвало такой скорый конец восстания?

Главные старания Никона и Хованского заключались в стремлении отколоть стрельцов от «меньших» посадских людей. По всей видимости, этот маневр удался блестяще, может быть не без помощи стрелецких пятидесятников, сидевших в земской избе вместе с Жегловым. В этом нас убеждает один документ. 16 апреля в земской избе был прочитан царский «милостивый» указ, в котором говорилось: «В великом Новегороде учинился мятеж от худых людей, а дворяне

и дети боярские и головы стрелетцкие и казачаи и атаман и пятидесятники и десятники и стрелцы и казаки и пятиконецкие старосты и пасадские лутчие люди к такому воровскому заводу не пристали, и то они учинили добро». В этом списке чинов, получивших царскую похвалу, перечисляется все население Великого Новгорода за исключением одних посадских «меньших» людей. Следовательно на «меньших» людей падало тяжелое обвинение в восстании. Таков был хитрый тактический прием Хованского, имевший целью успокоить большинство и расправиться с «меньшими» посадскими людьми, которых правительство не без основания считало главными виновниками восстания.

Хованский уже 16 апреля мог уведомить царя о полном успокоении в Новгороде. В Новгороде, — доносил он, — «сходу и бунту никакова нет и в земской избе за земскими твоими делами по прежнему сидят земские старосты». Между тем в Москве торопили с сыском, обвиняя Хованского в промедлении и советуя обо всем договориться с Никоном. Правительство проявляло невероятную нервность, посылая Хованскому грамоту за грамотой с упреками в нерешительности. Однако причины, замедлявшие производство сыска, заключались вовсе не в медлительности и неспособности Хованского; он был вынужден придерживаться средней линии поведения, так как готовился к дальнейшему походу на Псков и в то же время боялся нового восстания в Новгороде, у себя в тылу. Поэтому он не прочь был прикинуться перед новгородцами милостивым радетелем. В этой тактике Хованский находил полную поддержку у Никона, который выступал теперь в роли миротворца, заставив просить у себя прощение «всем градом... не по один день».

Миролюбие Никона и Хованского вызывалось, конечно, не милосердием, которого они в других случаях не проявляли, а простым политическим расчетом. Хованскому приходилось выжидать, так как сил у него было мало. Уже после вступления Хованского в город воевода Хилков все еще жалуется, что земские люди попрежнему его не слушают, что Хованский стоит в Деревянном городе, а в Каменном городе на караулах стоят новгородские стрельцы.

В отписке, полученной в Москве 17 мая, Никон объясняет медленность сыска тем, что Хованский работает «тихим обычаем», чтоб новгородцы «в чем не ожесточились». Это была, повторяем, необходимая предосторожность, потому что силы Хованского были очень незначительны. Если верить шведскому эмиссару в Новгороде Эверсу, в распоряжении Хованского при вступлении в Новгород было только 100 дворян, 100 стрельцов и 100 слуг. Хованский тайно собирал из пятин дворян и только тогда приступил к настоящему сыску, когда к нему собралось до 2 тысяч человек.

Таким образом Хованский приступил к сыску только через 11 дней по вступлении в Новгород. С 24 апреля по 7 мая производился сыск по росписи, составленной посадскими людьми. Всего из 190 человек за это время было сыскано тридцать. Хованский по царскому указу хотел их посадить в тюрьму, но 13 мая к соборной церкви пришли стрельцы с женами и детьми и просили обвиняемых в тюрьму не сажать, а учинить им наказанье и отпустить на поруки, «а если де их всех людей посажать в тюрьму, и они де и те все винные чают смерти да казни». Посоветовавшись с Никоном, Хованский посадил «лучших воров» с Жегловым в тюрьму, а остальных перевел из тюрьмы под стражу на пустой двор Семена Стоянова.

Но этого было мало. По просьбе Никона, Хованский 19 мая прика-

зал освободить еще 15 человек. В своих отписках Никон откровенно объясняет мотивы, по которым он просит царя о помиловании восставших. «Уподобися милостивому и человеколюбивому богу, — пишет Никон, — как будут тебе о своих винах бити челом, прости по премногу своея милости».

Никон особенно подчеркивал, что крутые меры против новгородцев вызовут ожесточение в Пскове. Действительность оправдала слова Никона, и суровые меры против новгородцев побудили Псков к открытому сопротивлению против московских войск.

Весть о падении Новгорода скоро дошла до Пскова, но вызвала совсем не то действие, какого ожидало московское правительство. В ответ на отписку Хованского псковские всегородные старосты отвечали, что они Хованского с ратными людьми в город не пустят, так как он «в Новегороде многих людей велел казнить, а иным наказанье учинил, а у них того во Пскове не учинить».

3 мая в Псков приехал Богдан Сназин, посланный от митрополита Никона к псковскому архиепископу Макарию. Всегородные старосты велели ударить в сполошный колокол и прочли всем городским людям отписки митрополита. «И выслушав тех отписок, псковичи всяких чинов люди митрополита невежливыми словами всячески бранили, и ево де мы отписок не слушаем, полно де ему митрополиту и того, что де он Новгород обманул, а мы де не новгородцы, челобитных де нам повинных ко государю не посылывать».

Падение Новгорода еще сильнее укрепило партию Гаврилы Демидова, возглавлявшего псковское восстание. Больше того, твердая позиция Пскова если не спасла новгородцев от сыска и казней, то, по крайней мере, заставила московское правительство умерить свой карательный пыл. Большинство участников восстания в Новгороде было освобождено на волю после битья батогами и кнутом. Это было сделано «ради Пскова», со специальной целью показать милосердие правительства. Между тем восстание во Пскове не только не уменьшалось, но даже имело тенденцию к расширению на окрестные области. Но тема о восстании во Пскове уже выходит за пределы этой статьи.

Т. К. КРЫЛОВА

ФРАНКО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

Первый франко-русский трактат был заключен 4/15 августа 1717 г. в Амстердаме, после того как победы в Северной войне создали России видное положение в системе европейских государств.

Первая серьезная попытка заключить политический союз между Россией и Францией падает на самое начало XVIII в. Но отдельные «пересылки» имели место значительно раньше. Сохранились известия, что Василий III дважды посылал грамоты к французскому королю, приглашая его выступить против польского короля Сигизмунда. Известно также, что Иван IV отказался удовлетворить притязания английского посла Боуса, требовавшего закрыть северные русские пристани для иностранных купцов кроме английских. Кольская пристань была предоставлена французским «гостям». В 1604 г. среди прибывших в Архангельск 29 кораблей имелись и французские[1].

Более подробные сведения о франко-русских отношениях дошли к нам от XVII столетия. В 1615 г. из Москвы были отправлены к Людовику XIII послы — Иван Кондырев и подьячий Неверов, чтобы «наше государство обвестить, Сигизмунда короля и шведских, прежнего и нынешнего, королей неправды объявить». Посольство не имело успеха в виду отдаленности Московского государства и неупрочившегося положения Михаила Федоровича на царском троне.

Осенью 1629 г. в Москву приехал в первый раз французский посол Де Гэ Курменен. Главная цель его приезда заключалась в том, чтобы получить разрешение на беспошлинную торговлю с Персией через владения царя. Но попутно он настойчиво толковал боярам, что у французского короля и царя общие недруги — австрийский дом и польский король. Он уверял также, что французский посол в Константинополе уже действует в пользу русских.

Разрешения на проезд в Персию французские купцы не получили, как не получили его до них и английские. Однако врученная Курменену царская грамота от 12 ноября 1629 г. содержала следующие важные привилегии: торгующие в России французы уплачивают только двухпроцентную пошлину; они не подсудны местным судьям. Это соглашение возбудило опасения шведского короля: он заподозрил Московское государство и Францию в заключении враждебного ему союза.

Возможно, что об этих заверениях Курменена вспомнили в Москве перед началом войны с Польшею в 1654 г. Во Францию был отправлен гонец Мачехин, который наотрез отказался передать грамоту

---

[1] С. Соловьев. Русская история с древнейших времен, кн. I, стр. 1626, 1627; кн. II, стр. 298, 720.

королеве Анне и потребовал приема у несовершеннолетнего Людовика XIV. Но французское правительство после Вестфальского мира не испытывало нужды в союзниках против австрийского дома. Мачехин привез королевское пожелание о сохранении дружественных отношений между Московским государством и Польшей[1].

Франко-русские дипломатические отношения второй половины XVII в. тесно связаны с турецким вопросом. Как раз в этот период Польше и Московскому государству угрожала опасность нападения со стороны Турции. Перед лицом этой новой грозной опасности умолкла старая вражда; русско-польская война прекратилась.

Заключив 13 января 1667 г. Андрусовское перемирие, царь Алексей Михайлович известил об этом через особых послов некоторые европейские державы, не без затаенного намерения подыскать союзников для предстоящей войны с Турцией. В Испанию и Францию были отправлены стольник Петр Потемкин и дьяк Семен Румянцев. Во Франции, куда они прибыли в 1668 г., их ожидал любезный прием, потому что французское правительство в эти годы рассчитывало на получение в Московском государстве торговых привилегий, прежде принадлежавших англичанам. Но Людовик XIV выказал явное нежелание вмешиваться в политические дела Восточной Европы.

После нападения турок на Польшу царь Алексей Михайлович, по неопытности в европейских делах, взялся пригласить всех европейских государей выступить против Турции в защиту Польши. С этой целью переводчик Посольского приказа Виниус отправился сначала в Англию, а оттуда в 1673 г. к Людовику XIV. Ссылаясь на голландскую войну, король отказался вступить в коалицию против Турции. Момент для посольства был выбран очень неудачно. В том же 1673 г. Людовик XIV подтвердил дружественные договоры, заключенные его предшественниками с турецкими султанами.

После взятия турками Каменца Польша заключила тяжелый для себя Журавинский мир. Покончив с Польшей, турки ударили на присоединившуюся к России часть Украины, после чего Московское государство поспешило заключить неблестящий для себя мир.

Преемники Алексея Михайловича возобновили поиски союзников. В 1680 г. было отправлено новое посольство в Англию, Францию и Испанию. Послы — Петр Потемкин и дьяк Степан Волков — повезли в Западную Европу запоздалое извещение о смерти царя Алексея, свежую новость о продлении перемирия с Польшей еще на 13 лет и общие рассуждения о взаимной свободной торговле. 10/20 марта 1681 г. русские послы высадились в Кале. Оказанный им во Франции прием во многом напоминал прием первого посольства в 1668 г. С послами обращались любезно, но переговоры с ними велись только о торговле.

Последняя попытка в этом направлении была сделана в правление царевны Софьи, после того как 21 апреля 1686 г. был заключен вечный мир и союз с Польшей. По одному из условий заключенного договора Киев «навечно» отходил от Польши, а Москва должна была уплатить в вознаграждение за уступку Киева 146 тыс. рублей и разорвать мир с Турцией. Для выполнения обязательств по этому договору в 1687 и 1689 гг. было предпринято два неудачных военных

---

[1] Сб. Русского историч. общ. (РИО) XXXIV, стр. I—III; С. Соловьев. Указ. соч., кн. II, стр. 1179—1184; 1656—1657.

похода в Крым под начальством хорошего дипломата, но плохого полководца В. В. Голицына.

Вступив в союз с Польшей, правительство Софьи делает энергичные усилия, чтобы найти новых союзников для войны с Турцией.

Во Францию и Испанию был отправлен Никита Бехтеев с извещением о скором прибытии в эти государства полномочных послов — стольников князя Якова Долгорукого, князя Якова Мышецкого и дьяка Кирилла Алексеева — «для склонения оных королей к помощи войсками и деньгами» против Турции. Во Франции русским послам в 1687 г. был оказан очень холодный прием. Московскому посольству было предложено уехать без прощальной аудиенции, и 27 августа к посольскому дому были поданы экипажи. Когда же послы наотрез отказались уехать, пока король не назначит им аудиенции, французские чиновники решились было на крайние меры, чтобы принудить послов к отъезду: лишить послов содержания, отозвать всех лиц, состоящих при них, и вынести всю мебель из занимаемого ими дома. В конце концов дело окончилось мирно. 3 сентября русские послы откланялись Людовику XIV, получили щедрые подарки, осмотрели версальские сады и дворец, после чего их с почетом проводили до испанской границы.

Описанный инцидент наглядно показывает недальновидность московской дипломатии, плохое знание европейской политики. Наивной и заранее обреченной на неуспех была попытка искать во Франции союзника для войны с Турцией. Ведь обе эти страны связывал тесный союз, восходивший еще к началу XVI в. К тому же Польша вела войну против Турции не одна, а в союзе с Венецией и Австрией, старинной соперницей Франции. Правда, французский министр Круасси говорил русским послам в 1687 г., что король «всегда одобрял и продолжает одобрять намерение царей... поднять оружие против турок и что он с удовольствием узнал о союзном трактате, заключенном ими с Польшей». Но этим заверениям было так же опасно верить, как «миротворческим» планам некоторых европейских министров в наши дни[1].

I

Азовские походы Петра I подняли престиж русского оружия на Западе. Но без Керчи Петр со своим флотом был заперт в Азовском море. Чтобы утвердиться на Черном море, надо было захватить Керчь — древнерусский Корчев, при Владимире I входивший в пределы Киевской Руси.

С этой целью 29 января 1697 г. в Вене был заключен трактат с Австрией и Венецией о продлении войны с Турцией еще на три года. Союзники обязывались не заключать сепаратного мира.

Но условия венского договора остались не выполненными. Австрия готовилась к участию в войне за испанское наследство и торопилась развязать себе руки, прекратив войну с Турцией. Отправившийся с великим посольством за границу в том же 1697 г. Петр I скоро понял, что в данной международной обстановке нельзя найти новых союзников в войне против Турции и невозможно удержать старых. Зато перед ним открывались новые широкие горизонты: его родина получила возможность «ногою твердой стать при море», более важном, северном море, возвратить России утраченные ею прибалтийские

[1] ГАФКЭ, ф. МИД, Французские дела 1687 г., д. № 1, лл. 2, 74; Сб. РИО, XXXIV, стр. I—III, 1—19; С. Соловьев. Указ. соч., кн. III, стр. 535, 536, 1024—1026; Driault. La question d'Orient, pp. 30—39, 43—44.

земли. «Этот действительно великий человек, — писал Энгельс о Петре, — великий совсем не так, как Фридрих «Великий», послушный слуга преемницы Петра, Екатерины II, — первый вполне оценил изумительно благоприятную для России ситуацию в Европе»[1].

На рубеже XVII и XVIII столетий, готовясь к войне за наследство Фердинанда Католика, Европа раскололась на два лагеря, и это разделение было горькой насмешкой над религиозной идеологией средневековья. Здесь католическая Франция не на жизнь, а на смерть враждовала с католической же Австрией. С одной стороны, христианнейший король Людовик XIV находился в теснейших дружеских отношениях с магометанским полумесяцем Порты и протестантской Швецией и искал помощи у «еретиков-московитов»; с другой — союзниками императора «Священной Римской Империи» выступили протестантские державы — Англия и Голландия.

Швеция не раз уже оказывала важные услуги Франции. Еще кардинал Ришелье в свое время отклонил Густава-Адольфа от завоевания Ливонии «для унижения австрийского дома»[2]. Вестфальский мир укрепил и юридически оформил франко-шведскую дружбу. Союз с северными державами, по мнению Кампредона[3], был неотъемлемым элементом той системы, с помощью которой Ришелье добился величия Франции. И, конечно, не слабеющая Турция, а сильнейшая и воинственнейшая держава севера — Швеция внушала наибольшие опасения врагам Франции. Для них было бы крайне важно отвлечь внимание Швеции от испанских и французских дел, заняв ее войной на другом конце Европы. Впрочем, они не брезгали и другими средствами — заключали с Швецией договоры о союзе и военной помощи, обещали субсидии.

Вопрос о том, против какой из двух держав — Швеции или Турции — направить силы России, не сразу был решен. Один из союзников — Австрия была особенно заинтересована в том, чтобы Россия одна продолжала войну с Турцией. Когда осенью 1698 г. открылся Карловицкий конгресс, австрийские уполномоченные при поддержке посредников (английского и голландского послов) поторопились заключить выгодный мир с Турцией, а своих союзников оставили на произвол судьбы. Приехавший в Константинополь в 1699 г. для мирных переговоров русский посол Украинцев не получил вначале никакой помощи от английского и голландского послов, а первый даже враждебно отнесся к его приезду.

Однако Петру вскоре удалось разрушить англо-голландский блок. Голландия того времени, упавшая с вершин своего торгового и морского могущества, оттесняемая Англией на второй план, была заинтересована в России как в огромном рынке. К тому же Петр, великий мастер дипломатического искусства, подчинил своему влиянию голландских государственных людей еще в первый свой приезд туда, в 1697 г.

В силу этих обстоятельств голландское правительство согласилось принять на себя посредничество в русско-турецких переговорах, и Коллерсу, голландскому послу в Константинополе, были даны соответствующие распоряжения[4]. Мир между Россией и Турцией был заключен в 1700 г. на условиях, принятых Карловицким кон-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, стр. 12.
[2] Сб. РИО, XXXIV, стр. 320.
[3] Кампредон — видный французский дипломат, с 1721 г. — первый французский посол в России.
[4] ГАФКЭ. Г. А., Кабинет Петра I, 2 отд., кн. 1, лл. 115, 117.

грессом, с соблюдением принципа uti possidetis (да владеет каждый тем, чем владеет во время мирных переговоров).

Пришлось и Англии примириться с тем, что Россия ведет самостоятельную внешнюю политику. Осенью 1700 г., когда русские войска осаждали Нарву, английский король Вильгельм III (Оранский) приехал в Гаагу. Он долго разговаривал с Матвеевым при всех иностранных министрах, с похвалой отзывался о Петре, жалел, что нарвский поход предпринят в неблагоприятное осеннее время, не забыл упомянуть, что ливонские города исстари принадлежали России[1]. Впрочем, для России в начале Северной войны крайне важно было заручиться не столько содействием правительств, сколько сочувствием самих англичан и голландцев. «Деньги суть артерия войны» — это изречение Карла V не раз повторял Петр I, постоянно испытывавший тяжелые финансовые затруднения. А пожелай в то время кто-либо из монархов занять значительную сумму, кредита не найти было нигде, кроме Англии и Голландии; у пятнадцати амстердамских купцов было больше наличных денег, чем во всех северных королевствах[2].

Нарвское поражение не сломило ни сил русского народа, ни энергии Петра. В одной из своих военных статей Ф. Энгельс очень метко определил значение этого события в русской истории: «Нарва, — писал он, — была первой большой неудачей подымающейся нации, умевшей даже поражения превращать в орудия победы»[3]. В посленарвский период Петр удесятеряет свою энергию в области внутренней и внешней политики. Завязываются нити новых переговоров, намечаются планы новых дипломатических союзов. А общий ход европейских дел крайне благоприятствовал этим начинаниям.

Давно уже в Европе не было такой напряженной обстановки. В ноябре 1700 г. умер испанский король Карл II, последний представитель испанской линии Габсбургского дома. Незадолго перед смертью он составил завещание, по которому испанский престол переходил к Филиппу Анжуйскому, внуку Людовика XIV. Во французском государственном совете, несмотря на противодействие некоторых членов, волею короля решено было принять завещание. Людовик отпустил своего внука в Испанию и на прощание якобы произнес неосторожную фразу: «Теперь нет уже Пиренеев». Общая европейская война стала неизбежной. Против Испании и Франции образовалась сильная коалиция. Кроме Австрии, Голландии и Англии удалось еще привлечь к коалиции курфюрстов бранденбургского и ганноверского. Положение Франции стало очень тяжелым. Страна была истощена беспрерывными войнами, ослаблена экономическим кризисом.

Франции и Испании нужно было серьезно позаботиться о новых союзниках. И вот зимою 1701 г. в Биржах, где происходила встреча Петра I с польским королем, французский посол в Польше де Герон начал переговоры с президентом посольской канцелярии Ф. А. Головиным. Герон, в течение всего 1700 г. тщетно старавшийся примирить польского и шведского королей[4], предложил Головину следующий план: Петр I и Август II прекращают войну против шведского короля Карла XII, а затем Швеция, Россия, Польша и Турция заключают союз с Францией.

В предшествующей русской исторической литературе переговоры

---

[1] С. Соловьев. Указ. соч., кн. III, стр. 1312.
[2] Сб. РИО, LXI, стр. 62, 63.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., X, стр. 227.
[4] Кабинет Петра I, 2 отд., кн. 1, лл. 108, 121.

Головина с Героном получили неправильное освещение. Н. Н. Бантыш-Каменский и В. А. Уляницкий полагали, что здесь речь шла только о коммерческом трактате[1]. Инициативу этих переговоров Бантыш-Каменский приписывал Герону; по мнению Уляницкого, она исходила от Петра. Последнее мнение основано на данных записки Ледрана, излагающей историю франко-русских отношений с 1613 г. Записка эта была составлена в 1726 г. старшим чиновником французского министерства иностранных дел Ледраном в официальном духе. Составитель умалчивает о тайных намерениях и закулисных соглашениях французской дипломатии. Перелистывая эту записку, мы замечаем также, что вся история русско-французских переговоров с 1701 по 1715 г. (год смерти Людовика XIV) излагается в ней таким образом, будто в течение этого периода именно русское правительство искало союза с Францией. Иное освещение фактов казалось старшему чиновнику французского министерства, очевидно, не совместимым с достоинством «короля-солнца»; Людовик XIV не мог искать помощи у царя «полуварварской страны».

Ледран сообщает нам следующие подробности о завязке франко-русских переговоров. Герон сопровождал в феврале 1701 г. польского короля Августа II в Биржи, куда он выехал для свидания с Петром I. Там Герон получил аудиенцию у Петра, во время которой царь заявил о своем желании вступить в теснейшую дружбу с Людовиком XIV, являющимся для него образцом в деле управления государством. Далее Петр заметил, что следовало бы проучить голландцев, которые вмешиваются во все европейские дела и сейчас сильно обеспокоены тем, что испанский престол занял внук французского короля. При этом царь добавил, что он был бы рад заключить торговый договор с Францией для взаимной выгоды подданных обоих государств; тогда французы сами смогли бы вывозить из России товары, получаемые ими обычно из рук посредников — английских и голландских купцов, извлекающих громадные барыши из этой торговли. Людовик XIV на эти предложения царя ответил в общих выражениях, что он с радостью встретил бы установление между ними дружественных и торговых отношений. Этим заканчивается у Ледрана изложение первого этапа русско-французских переговоров. Далее он переходит к событиям, развернувшимся в Польше в 1702 г., где главными действующими лицами были тот же Герон и русский посланник в Польше Г. Долгорукий[2].

Среди бумаг русских архивов сохранились письма Герона к Ф. А. Головину, написанные в промежуток времени с апреля по ноябрь 1701 г. Они собраны в папке под заголовком: «Письма на французском языке к боярину Ф. А. Головину от находившегося при польском дворе французского посланника Герона, просительные о вступлении в договор для учинения коммерции между Россиею и Франциею». Всего имеется четыре письма. Первое и второе сохранились и во французском подлиннике и в русском переводе, от третьего письма до нас дошел только французский оригинал, от четвертого — только русский перевод. При быстром просмотре документов четвертое письмо можно принять за перевод третьего, а так как переводы двух первых писем сделаны совершенно точно, то можно счесть нелишней сверку третьего письма с его предполагаемым переводом.

[1] Н. Бантыш-Каменский. Обзор внешних сношений России, ч. 4, стр. 89. В. Уляницкий. Исторический очерк русских консульств за границей. См. в сб. Моск. главн. архива мин. иностр. дел, вып. 5, стр. 37—38.
[2] Сб. РИО, XXXIV, стр. IV—V.

И тогда самое важное, третье, письмо ускользнет от внимания исследователя.

Содержание этих писем, написанных буквально накануне войны за испанское наследство, проливает свет на франко-русские отношения. Торговые интересы здесь стояли на втором плане, и толками о них маскировались переговоры о политическом союзе, начавшиеся в Биржах между Головиным и Героном.

Герон, очевидно, находился под сильным влиянием Петра I. В одном из своих писем он говорит о царе в следующих выражениях: «Сохраню всегда всякой респект, всякое усердие и всякое признание благодарное, что я должен иметь за милости, показанные им мне во время, в которое имел я честь исполняти ему мои надворная последствования в Бирже постановить сообщение, которое вы и я желаем между двумя народами». В другом письме он выражает готовность «умрети во служении его царского величества» и называет Головина своим патроном[1].

По возвращении в Варшаву Герон 15 апреля 1701 г. шлет письмо Головину с просьбой сообщить, какими привилегиями пользуются в царских владениях английские и голландские купцы и предоставят ли такие преимущества французским негоциантам, желающим начать торговлю в России. Герон выражает надежду, что французские купцы прибудут в русской гавани еще до окончания лета[2]. Переговоры развертывались быстрыми по тому времени темпами: 1 мая Головин пишет ответ, а второе варшавское письмо Герона помечено 25 числом того же месяца.

В этом письме совершенно отсутствуют торговые предложения и настойчиво выступают вперед интересы тогдашней большой европейской политики. Письмо начинается с выражения надежды, что русско-французская дружба еще более укрепится; «и не удержится от моих попечений, — заявляет Герон, — чтобы не постановил я единому между моим народом и вашим». Король расположен в пользу дружбы; он с удовольствием принял предложения царя и выразил пожелание, чтобы Петр во время своего путешествия посетил Францию. Письмо заканчивается предложением заключить договор, так как поведение голландцев внушает опасения и требует, по мнению французского и испанского королей, общих с Москвой мероприятий. Переговоры по этому вопросу Герон предлагает вести в Варшаве. Небезинтересно отметить, что переводчик посольской канцелярии переводит дважды встречающееся в этом письме слово «commerce» как «сообщение, сношение»; это свидетельствует о том, как расценивались посольской канцелярией французские дипломатические нюансы[3].

Однако в дальнейшем ход переговоров сильно замедлился. Обе стороны, очевидно, колебались и выжидали. Чрезвычайный французский посланник де Балюз, приехавший в 1703 г. в Москву для заключения трактата с Россией, в письме к Головину писал: «Сей указ ко мне дан бы был скорее, когда бы ему (Людовику XIV. — *Т. К.*) не показалось продержать сие мое посольство и выезд, дабы царское величество гораздо познал прежде времянем, что не может основатися крепко на своих союзниках, которые по сие времена мало что пользовали делам царского величества, да чаять и обещанных не исполн

[1] Французские дела, 1701 г., письма де Герона, лл. 8, 12.
[2] Там же, лл. 3—5.
[3] Там же, лл. 6—8.

зовали своих обязаней, хотя царское величество своим довольство чинил»[1].

По крайней мере следующее, третье, письмо Герона, сохранившееся только во французском оригинале, датировано 11 ноября, причем оно является ответом на письмо Головина от 19 августа, т. е. ответом, значительно запоздавшим. Это запоздание станет особенно наглядным, если мы припомним срок ответа на майское письмо Головина: там ответное письмо было написано Героном через 25 дней, здесь — почти через три месяца.

В виду особого интереса, который имеет для нас это письмо, главную часть его приводим полностью:

«Отчет, который я сделал королю, моему господину, о чувствах царя к нему, доставил ему действительное удовольствие. Если бы оба эти монарха были так тесно соединены, как я этого желал бы, его царское величество узнало бы разницу между этим новым союзником и теми, которых оно имело в прошлом.

Я недоволен тем, что посланник его величества не смог до своего отъезда из Гааги завязать и окончить эту работу ко взаимному удовольствию наших государей.

Я не знаю, удобно ли было бы, чтобы эти переговоры велись в Копенгагене. Этот двор забыл мир, который принудили его заключить голландцы, не включая в него (мир. — *Т. К.*) своих союзников, и кажется слишком ревностным к их интересам. Если бы Вы нашли удобным доверить мне мысли его царского величества и Ваши собственные по этому вопросу, то я сообщил бы их его величеству; так как Вы имеете курьеров, которые часто прибывают сюда, то переговоры могут остаться более секретными.

Порта, обещала бы она, чтобы царь установил торговлю по Черному морю? Если бы это могло быть, то подданные извлекли бы из этого громадные преимущества. Я убежден, что король охотно возьмет на себя заботы и посредничество, чтобы установить добрый мир между царем и шведским королем, если будет уверен, что, беря на себя эти хлопоты, он доставит удовольствие его царскому величеству. Я радуюсь вместе с вашей светлостью доброму приему, оказанному царю в Адрианополе»[2].

За дипломатическими недомолвками здесь нетрудно рассмотреть основные положения французского плана. Сначала надо было отвлечь Россию от ее старых союзников, Англии и Голландии, не выполняющих своих обязательств. Герон был совершенно прав: после нарвского поражения Англия отвернулась от России, а Голландия выплачивала субсидии Швеции. Затем следовало примирить Петра I с Карлом XII и закрепить дружественные отношения между Россией и Турцией. Тогда у Швеции освободились бы руки на севере, а в тылу у Австрии сложилась бы группа государств, дружественных Франции и следовательно враждебных австрийскому дому. Французский дипломат недвусмысленно намекал, что, присоединившись к французским планам, Россия может извлечь немалую выгоду и для себя. С французской помощью легче будет получить согласие Порты на плавание русских судов в Черном море.

Для успешной борьбы за Прибалтику Петру I нужно было искусно использовать раздиравшие Европу противоречия, и прежде всего англо-французское соперничество. Важно было заручиться фран-

[1] Французские дела, 1703 г., д. № 3, л. 88.

[2] Там же, 1701 г. — письма де Герона, лл. 9—11 (перевод с французского оригинала сделан мною).

цузской поддержкой не только в Турции, но и в Польше, где существовала сильная французская «факция». Поэтому Петр не мог отнестись безучастно к французским проектам. Предложение Герона не переносить переговоров в Копенгаген, а вести их в Польше было принято.

В январе 1702 г. русский посланник в Польше Долгорукий сообщил Герону, что царь недоволен своими союзниками, — императором, Англией и голландцами — и «усердно желает» вступить в союз с Людовиком XIV; что же касается Северной войны, то французский король заинтересован в ее продолжении, потому что тогда войска шведского и польского королей не смогут подкрепить неприятеля Франции. Сам же царь требует только одного — чтобы король облегчил ему завоевание какого-либо порта на Балтийском море, способствуя этим продолжению войны с Швецией и участию в ней Польской республики. Овладев таким портом, царь вскоре построит столько кораблей, что в непродолжительном времени вся торговля на Балтийском море перейдет в руки русских и французов, чем будет нанесен тяжелый удар голландцам [1].

Этот разговор и развернутый в нем план балтийской торговли достаточно важен, чтобы задержать на себе наше внимание. Невольно задаешься вопросом — чем объяснить то, что русские дипломаты обращали такое внимание на проекты русско-французской балтийской торговли, для выполнения которых не было, казалось, реальных условий в напряженной военной обстановке?

В. А. Уляницкий полагает, что Петр I просто при случае старался склонить иностранные государства к открытию непосредственных торговых сношений с Россией, помимо англичан и голландцев [2].

Едва ли это объяснение можно счесть достаточным. Во-первых, возникновение этих проектов не было случайным: речь о них заводится систематически и в феврале 1701 г., и в январе 1702 г., пока, наконец, не стало ясно, что эти предложения не встречают живого отклика у французского правительства. Во-вторых, сравнивая эти проекты, мы видим, что, хотя с течением времени план русско-французской торговли на Балтийском море становится более разработанным, одно качество присуще ему с самого начала — своим острием он направлен против Голландии. Если же мы припомним, какою популярностью пользовалась во Франции еще со времен Кольбера идея уничтожения политического могущества Голландии путем сокращения ее торговли, то поймем, что Петр I не мог не попытаться использовать этот аргумент в русско-французских переговорах, чтобы заинтересовать Францию в утверждении России на балтийских берегах.

Несколько позже, в феврале 1702 г., участие в переговорах приняло новое лицо, известный ливонский дворянин Паткуль. Чтобы заинтересовать французское правительство и побудить его согласиться на предложения Москвы, Паткуль выдвинул план союза Франции с Россией, Данией и другими северными государствами, причем обещал, что царь обяжет датского короля отозвать свои войска, находящиеся на службе у голландцев, а также заставит бранденбургского курфюрста изменить свой образ действий по отношению к Людовику XIV.

Эти предложения русского посланника и Паткуля не возымели

---

[1] Сб. РИО, XXXIV, стр. V—VI. Записка Ледрана.
[2] Сб. Моск. главн. арх. мин. иностр. дел, вып. 7, стр. 103.

желательного действия. Герон получил из Франции ответ, что Паткуль известен как сторонник императора, а потому надлежит сомневаться в его искренности, да к тому же теперь не следует входить ни в какие планы, имеющие целью порождать на севере новых врагов наидеждому королю.

Тогда Паткуль заявил, что царь искренне желает заручиться дружбой короля и что со своей стороны царь может быть полезен: так, он мог бы произвести диверсию со стороны Трансильвании, чтобы оказать помощь венгерцам против Австрии; что современное положение дел в Польше предвещало «революцию» и что царь может оказать королю большую услугу, возведя на польский престол принца французского дома; далее царь высказывал, якобы, сильное недовольство императором, англичанами, голландцами и выражал даже пожелание прислать королю свои войска, если турки разрешат перевести их на кораблях в Италию.

Даже Ледран отмечает, что, хотя король и сильно сомневался в правдивости сделанных Паткулем заявлений, но они были слишком важны, чтобы ими можно было полностью пренебречь. Поэтому Герону было приказано передать царю, что король весьма признателен за сделанные ему предложения и никогда не уклонялся от союза с царем, а также что от царя зависит передать свои требования посланнику Герону или же сообщить их лично де Балюзу, которого король намерен назначить в Россию. Вслед за тем Людовик XIV известил Герона, что если бы Петр I заключил какой-нибудь договор и обещал военную помощь, то наиболее полезной была бы диверсия в Венгрию.

Насколько французское правительство было заинтересовано в совершении этой диверсии, показывает быстрота, с которой подвигались переговоры. Предложения Паткуля были переданы французскому посланнику в августе 1702 г., а 28 сентября 1702 г. в Фонтенебло Людовик XIV подписал грамоту «au czar et grand duc de Moscovie», в которой говорилось, что чрезвычайный посланник «объявит вашему величеству наше намерение о всем, что надлежит».[1]

Инструкция де Балюзу, подписанная одновременно с верительной грамотой, раскрывает перед нами карты французской дипломатии. Диверсия в Трансильванию и денежный заем королю — вот те мероприятия, в которых было заинтересовано французское правительство. Если же московские министры проявят колебания и не предложат сами этих мероприятий, послу рекомендовалось «предложить торговый договор, и при обсуждении статей его тотчас будет для него ясно, насколько верны указания, данные г-ну де Герону, и есть ли основания для принятия особых мер в отношении царя»[2].

Обратимся теперь к разбору посольства де Балюза, которого русские исследователи считали в известном смысле как бы антиподом Герона. Если с именем Герона связывалось начало переговоров о коммерческом трактате между Россией и Францией, то посольство де Балюза в Москву рассматривалось как первая попытка заключить договор о политическом союзе между обеими странами[3]. Поэтому В. А. Уляницкий в своей работе о консульствах только мимоходом, в подстрочных примечаниях, упоминает о переговорах с де Балюзом.

Де Балюз приехал в Россию из Варшавы, где он около пятнадцати лет состоял при французском посланнике. Из Варшавы де Ба-

[1] Французские дела, 1703 г., д. № 3, лл. 77, 80, 82; Сб. РИО, XXXIV, стр. VIII—XII.
[2] Сб. РИО, XXXIV, стр. 113.
[3] Н. Бантыш-Каменский. Указ. соч., ч. 4, стр. 85—86.

люз выехал 8 декабря 1702 г., но в Смоленск прибыл только 2 марта 1703 г.; Головину он объяснял свое запоздание разными «трудностями, о которых король не ведал»[1].

Мы не знаем точно, какие трудности имеет здесь в виду французский посол, но весьма вероятно, что здесь подразумевается столкновение, происшедшее осенью 1702 г. между Августом, польским королем, и Героном.

Д. Голицын доносил об этом из Вены Головину следующее: «Король французский писал и прислал письмо чрез посланника своего к королю польскому, в котором письме не признавал его за короля, только именовал курфюрстом саксонским; которое письмо королевское величество польское принять не изволил и посланнику французскому указал сказать, дабы немедленно из государства выехал; на что посланник французской ответствовал, что он прислан не к нему, а прислан к республике и его повеления в том не слушает». А в сообщении из Вены от 25 сентября мы читаем известие об аресте Герона по распоряжению польского короля, «понеже он не того двора пойтить не хотел». Князь Любомирский протестовал против ареста Герона именем Речи Посполитой, и вся французская «факция» требовала его освобождения[2].

В Смоленск де Балюз «приехал просто», не дав о себе знать с границы. Он отказался сообщить цель своего приезда переводчику посольского приказа Лаврецкому, выехавшему к нему навстречу из Москвы, и заявил, что сообщит об этом только тому лицу, которое будет назначено царем для ведения переговоров. На ряду с этим французский посол требовал, чтобы его принимали наравне с цесарскими послами[3].

По приезде де Балюза в Москву (13 марта) его тотчас же посетил Ф. А. Головин, сообщивший о выполнении царем его последнего требования. Головин одобрил тайный приезд французского посла; «а что он приехал инкогнитом и то учинил добро, потому что дела обоих великих государей — лучшее и скорейшее поведение иметь могут».

Де Балюзу было ассигновано такое же содержание, как и цесарскому послу, но в то же время ему было предложено переехать с посольского двора на житье в Немецкую слободу под предлогом, что там и фельдмаршалы стоят и все иноземцы там живут, и что летом там лучше жить, воздух де здоровее.

Частную аудиенцию у царя де Балюз получил 14 марта, а на следующий день состоялась секретная беседа его с Головиным, названная в записи посольской канцелярии «тайный разговор».

Головин прямо поставил вопрос о том, какой дружбы желает король и куда клонятся его намерения — иметь ли с царем только «пересылки и церемониальное приятство» или же «союз крепкой и постоянной?»

Высказывавшийся сначала очень уклончиво, де Балюз принужден был ответить, что он прислан для заключения франко-русского союза; «а фундамент тому делу есть договор общей и постановление учинить на чем тот союз поставить и на каких статьях и какому в том союзе мочно быть вспомогательству». Затем посол предложил, чтобы ему был передан русский проект договора для пересылки в Париж, сам же он до получения ответа пробудет в Москве.

---

[1] Французские дела, 1703 г., д. № 3, лл. 1, 33, 34, 62, 88.
[2] Кабинет Петра I, 2 отд., кн. № 2, лл. 2 5, 207; 1 отд., кн. 19, лл. 155, 156.
[3] Французские дела, 1703 г., д. № 3, лл. 1, 31, 35, 247—248.

Повторяя аргументацию Герона, де Балюз при этом порицал непостоянство цесаря и немецкого народа и восхвалял верность французской дружбы, «хотя неприятные вымыслы худо ее толкуют». Как видим, тут же он нечаянно проговорился, что и превозносимая им французская дружба тоже не свободна от упреков.

Но Головин категорически отказался первым наметить условия франко-русского трактата. Царь недоволен своими союзниками — цесарем, Польшей, Англией, Данией, Пруссией, Голландией — потому, что они не выполняют данных обещаний; он особенно недоволен их поведением в Турции. Однако царь не может вступить в бесплодный союз с Францией. Людовик XIV должен сначала объявить, какие преимущества будут предоставлены царю при заключении договора. Ведь франко-русского соглашения «утаить не мочно будет», и оно повлечет за собою потерю прежних союзников.

В результате беседы было решено, что де Балюз сообщит в Париж об искреннем желании московского двора заключить с Францией дружественный договор и попросит выслать условия трактата и полномочия вести переговоры. Свои депеши посол просил пересылать во Францию через Копенгаген, потому что опасался, как бы поляки не стали их перехватывать.

Так изложено содержание этой беседы в записи, сохранившейся в архиве посольской канцелярии. В донесениях де Балюза речам Головина придан другой оттенок; там сказано, что царь ставит дружбу французского короля выше дружбы всех прочих своих союзников и охотно вступит в прочный и твердый союз с ним.[1]

Де Балюз прожил в Москве больше года в тщетном ожидании новых указаний из Парижа. Выполняя данную ему инструкцию, он усердно занимался торговыми вопросами. В письме от 15 апреля он осведомляется у Головина о привилегиях для французских негоциантов. Ему ответили заверениями, что французские купцы будут приняты наравне с английскими и голландскими, «и еще иногда с вящею милостью перед иными».[2]

Со своей стороны, Головин также вводит французского посла в круг торговых интересов и конфиденциально сообщает ему, что в Копенгагене московскому послу Измайлову сделаны от имени Людовика XIV следующие три предложения: установление дружественных сношений между обеими сторонами, изъятие всей торговли в государстве из рук голландцев и англичан и передача ее французам, избрание Людовика XIV единственным посредником при заключении мира между Петром I и шведским королем. На это был дан ответ, что царь охотно соглашается на первое и третье предложения, но не может в настоящую минуту отнять торговлю у голландцев и англичан, не нанеся этим ущерба своим подданным и не уменьшая своих доходов; впрочем, он повелит, чтобы французы пользовались в его гаванях хорошим приемом, а когда он убедится в пользе, приносимой их торговлей, он отдаст им предпочтение перед англичанами и голландцами[3].

Несколько позднее, приблизительно летом 1703 г., некий купец Сана по поручению Петра I ведет с французским посланником переговоры о торговле с Францией через Черное море. По мнению Саиа, это можно было бы легко устроить, если бы Людовик XIV получил от Порты разрешение основать выше Азова торговый город, откуда турецкие корабли могли бы вывозить русские товары и доставлять их в Кон-

[1] Французские дела, 1703 г., д. № 3, лл. 89—95, 62, 66; Сб. РИО, XXXIV, стр. 25, 26.
[2] Французские дела, 1703 г., д. № 3, л. 118.
[3] Сб. РИО, XXXIV, стр. 28, 29.

стантинополь для дальнейшей отправки во Францию, а на обратном пути привозить в Россию французские товары.

Кроме того Сана передал де Балюзу предложение от имени первого министра (очевидно Головина) относительно торговли на Балтийском море, указав, что царь расположен оказать предпочтение в этом деле французам перед англичанами и голландцами, которые сейчас настоятельно ходатайствуют о предоставлении им этой торговли и предполагают оговорить в торговом трактате свободный проезд в Персию через владения царя. [1]

Сопоставляя некоторые факты, нетрудно догадаться, что купец Сана есть не кто иной, как известный Сава Рагузинский. В кабинетских бумагах сохранились сведения о том, что летом 1703 г. Рагузинский был в Москве. При отъезде его оттуда произошел следующий инцидент. Сава просил разрешения ехать обратно через Киев и писал об этом Головину. Тот ответил ему, чтобы он ехал через Азов, но в то же время донес Петру о случившемся в следующих выражениях: «Только естли заупрямитца и знатно государь, что есть ему некакая препона, возбранить ему сильно с трудностию и отогнать ево вовсе от себя; и естли он не пременит того своего намерения (всякими мерами отводя его) велел ево отпустить и чрез Киев, а письма, которые с ним писаны, взяв послать их в Азов в тот час» [2].

Если сравнить эти данные со сведениями из депеш французского посланника, что «Сана» — греческий купец, отъезд которого в Константинополь отложен по неизвестной для де Балюза причине, и если припомнить, что в это время будущий граф Иллирийский имел самое непосредственное отношение к русско-турецкому вопросу, то станет ясно, что Сава Рагузинский и Сана — одно и то же лицо.

На ряду с Рагузинским в донесениях французского посланника фигурирует еще имя Пасгу (вероятно, испорченное Паткуль), обладатель которого вел переговоры с де Балюзом об организации союза, в котором участвовали бы царь и короли датский и польский. Напомним, что тот же Паткуль развивал аналогичные планы перед Героном еще в 1702 г.

Итак, мы встречаемся в посольстве де Балюза с тем же кругом идей и в значительной степени с тем же кругом лиц, которые мы видели, когда анализировали переговоры Герона сначала с Головиным, а затем с русским посланником в Польше и Паткулем.

Прежде чем изложить результаты посольства де Балюза, следует остановиться еще на двух эпизодах. Один из них характеризует попытку московского правительства производить финансовые операции в Париже через французского посла. При его помощи в мае 1703 г. предполагали перевести в Париж 4 тысячи ефимков. Но де Балюз заявил, что ему нужен срок для ответа, сейчас же он ничего «подлинно» сказать не может, так как на свои письма не получает ответа из Франции. Любс и Брант, голландские купцы, торговавшие в России, согласились перевести деньги через амстердамских негоциантов, имевших корреспондентов во Франции, но получить за ефимки русскими деньгами отказались, а просили зачесть эту сумму в уплату таможенных пошлин у города Архангельска или «за смальчюг, за который доведетца им платить в приказ большие казны платеж» [3]. Так потерпела фиаско попытка установить непосредственные финансовые связи между Москвой и Парижем.

[1] Сб. РИО, XXXIV, стр. 31—32.
[2] Кабинет Петра I, 2 отд., кн. № 2, л. 913.
[3] Французские дела, 1703 г., д. № 3, л. 128.

Помимо всех остальных причин ход переговоров сильно затруднялся дальностью расстояния, особенно значительной при тогдашних способах передвижения. Наш второй эпизод относится именно к этому обстоятельству.

Письма де Балюза посылались кружным путем на Копенгаген, но, очевидно, и датская почта не оказалась исправной. Правда, по донесениям русского посланника при датском дворе Измайлова, он получил и передал французскому послу в Дании Пуссэну несколько десятков писем де Балюза, но до июля 1703 г. в Париже не было получено ни одной из балюзовских депеш. Вероятно, этим и была вызвана посылка в Копенгаген к Измайлову Модзалевского, который должен был тайно передать присланные с ним балюзовские письма Пуссэну для отсылки их в Париж к министру иностранных дел, а также и написать от себя министру с просьбой прислать ответ в Копенгаген.

Путешествие Модзалевского служит ярким образцом тех злоключений, которые претерпевал дипломатический курьер XVIII в.

Модзалевский выехал из Архангельска в Данию 31 сентября 1703 г. «и в шествии морском октября до 10 числа были разные погоды, а наче противные». В середине октября корабль, едва не разбитый сильной бурей, был занесен в Берген, где и зазимовал, задержанный непогодами. В Бергене Модзалевский прожил около двух месяцев, так как долго не мог сыскать попутного корабля. 2 декабря он выехал в дальнейший путь по направлению к Ютландии. «И отшед от Бергена в немалом расстоянии на море восстала великая противная погода, которою и корабля вредность не малую учинила и едва от потопления спаслися». Видя полную невозможность продолжать плавание, капитан повернул назад к Бергену. Но из-за полученных во время бури повреждений судно остановилось за милю от гавани у гор, откуда Модзалевский на баркасе добрался в город.

Ехать сухим путем было опасно и почти невозможно, так как путь пролегал через шведские города. К тому же злополучный курьер не знал немецкого языка, а «нанять такова человека, который бы по руски и по немецки знал, сыскать не мог, да и нанять было нечем». Послать же письма почтою он не решался, опасаясь, чтобы они не попали в руки неприятелю. «Да и к послу, к стольнику А. Измайлову в Копенгаген, — пишет Модзалевский в своем докладе, — за вышепомянутыми от стороны неприятельскими причинами и за приискиванием корабельным, и за обнадеживанием того города жителей корабельным отшествием день ото дня и не писал».

Только в феврале выехал Модзалевский из Бергена на корабле, направлявшемся в Нюборх. Путешествие было длительное, корабль подолгу простаивал в гаванях из-за неблагоприятной погоды. Модзалевский прибыл в Копенгаген и передал бумаги московскому послу лишь 20 апреля, когда де Балюза уже не было в Москве. В Дании Модзалевский прожил несколько месяцев и, не дождавшись ответа из Парижа, выехал в обратный путь.[1] Так окончилось это путешествие, трудно сказать — удачное или неудачное, так как мы не знаем, с какой целью был послан Модзалевский: может быть, это нужно было лишь для того, чтобы затянуть переговоры и выиграть время.

А в Москве интересующие нас события тем временем шли своим

---

[1] Французские дела, 1703 г., д. № 3, лл. 175—178, 198, 205—206, 280, 293; см. также лл. 129—138.

чередом. По возвращении царя в Москву в ноябре 1703 г. Головин тотчас же известил французского посланника. Последний сообщил ему, что поскольку царь не хотел первым представить условия союзного трактата, это дало королю повод предположить, что намерения царя изменились, и потому ему, посланнику, велено было выехать из Москвы обратно в Польшу. Но де Балюза всячески старались задержать в Москве, на что он жалуется в письме от 11 января к Ф. А. Головину; он просит дать ему отпуск («повторение часто предложенного прошения моего»), указывая на то, что десять недель прошло, как возвратился царь, а указ короля об отъезде из Москвы он получил еще за 7—8 недель до этого и боится, как бы ему не впасть в немилость к королю.

Перед отъездом же де Балюз имел прощальную аудиенцию у царя в доме Головина. Петр I лично повторил де Балюзу то, что Головин говорил ему незадолго перед тем: об установлении южного торгового пути Марсель — Азов. Петр убеждал французского посла, что эта торговля будет более выгодной и более значительной, чем северная архангельская. Врученная де Балюзу отпускная грамота содержала одни лишь уверения в дружбе и приязни.[1]

Так окончилась эта первая в истории русской дипломатии серьезная попытка заключить франко-русский союз. Начало ей было положено накануне войны за Испанское наследство, когда оказавшаяся в затруднительном положении Франция стремилась создать в тылу у Австрии барьер из враждебных императору государств. Кроме того, английская ориентация Голландии беспокоила французского и испанского королей и заставляла их искать сближения с Россией. С этой целью французский посол в Польше Герон старался примирить Петра I и Августа с Швецией. За это России обещали французскую дружбу и содействие в Турции, где московское правительство хлопотало о разрешении русским кораблям плавать по Черному морю. Начав зимою 1701 г. в Биржах переговоры о франко-русском союзе, Герон затем письменно предлагает Головину не переносить этих переговоров ни в Голландию ни в Копенгаген, а продолжать их в Польше.

Момент для подобных предложений был выбран удачно. После Нарвского поражения Англия отвернулась от России, а Голландия выплачивала Швеции субсидии. Петр I, одно время подумывавший даже о заключении мира, сам искал сближения с Францией. Русские представители за границей — Матвеев в Голландии и Измайлов в Дании — завязывают переговоры с французскими министрами. Во Францию посылается русский представитель Постников.

Когда через Голландию проезжал австрийский эрцгерцог Карл, претендент на испанский престол, Матвеев уклонился от свидания с ним и от признания его испанским королем. После объявления войны за испанское наследство Матвеев, по царскому повелению, объявил королю Вильгельму, что Россия сохранит нейтралитет[2].

Предложение Герона было принято, и франко-русские переговоры продолжались в Польше, теперь уже между Героном и русским послом в Польше Г. Долгоруким. Руководимая Петром русская дипломатия проводила в этих переговорах самостоятельную политическую линию, стремясь заручиться французской поддержкой для возвращения России балтийского побережья. Через Г. Долгорукого

[1] Французские дела, 1705 г., д. № 3, лл. 209, 217—219, 220—223; Сб. РИО, XXXIV, стр. 35—37.

[2] Сб. РИО, XXXIV, стр. 45, 408.

старались убедить Людовика XIV, что продолжение Северной войны соответствует французским интересам: если эта война прекратится, то Швеция и Польша могут усилить своими войсками врагов Франции, как это уже сделала Дания после заключения Травендальского мира. Кроме того указывалось, что с утверждением России в Прибалтике вся балтийская торговля будет передана французам; голландские же купцы будут совершенно вытеснены с Балтийского моря, и это нанесет тяжелый удар экономической и политической мощи Голландии.

Но эти доводы не возымели желательного действия, и устами Паткуля в августе 1702 г. было высказано предложение о диверсии в Трансильванию для помощи венграм, поднявшим под предводительством трансильванского князя Рагоци восстание против австрийского владычества. К этому времени русские победы в Прибалтике уже начали привлекать внимание Западной Европы и подняли престиж русского оружия. Людовик спешно отправляет осенью 1702 г. в Москву чрезвычайного посланника де Балюза для заключения франко-русского договора.

Так нить секретных переговоров тянется из Бирж от Герона через Паткуля к де Балюзу. Торговые переговоры здесь применялись как одно из средств секретной дипломатии. Французское правительство рассчитывало получить военную помощь против Австрии и сделать денежный заем. Но взамен этого не было предложено никаких выгодных для России условий. Французское правительство оказалось неспособным к решительным действиям. Франция во внешней политике слишком часто прибегала к полумерам, которые раздражают врагов, не удовлетворяя друзей. Кроме того эти полумеры, не вполне соответствуя потребностям момента, давали неприятелю возможность усилиться и нанести Франции тот вред, который она могла бы нанести врагу, действуя решительно и своевременно. Так при известии о тайных переговорах герцога Савойского с союзниками, Франция вместо того, чтобы арестовать самого герцога, удовольствовалась захватом в плен нескольких тысяч герцогских войск, находившихся в то время при французской армии. Такой же полумерой могут быть названы переговоры, которые Франция вела с Португалией в надежде отклонить ее от участия в «великом союзе». А тем временем Англия и Голландия прислали в Португалию свои войска.[1]

Такою же колеблющейся была французская политика и по отношению к России. Сближаясь с Петром I, французский король уверял Карла XII, что это делается исключительно в его интересах. А между тем обстановка в 1704 г. сложилась чрезвычайно благоприятно для подлинного франко-русского сближения. После двух блестящих военных кампаний Петр искал случая заключить почетный мир с Швецией и сильно опасался, что морские державы, особенно Англия, помешают ему утвердиться в Прибалтике. Но французский союз и посредничество в русско-шведских отношениях предложили на таких условиях, что в Москве де Балюзу на него ответили сухим отказом[2].

Так из-за французской нерешительности был упущен удобный момент для России закончить Северную войну, не истощив чрезмерно своих внутренних сил, а для Франции — значительно усилить свои шансы на победу в войне за испанское наследство.

Французские колебания и нерешительность уменьшали ценность французской дружбы, но все же не делали ее совершенно бесплод-

1 Сб. РИО, LXI, стр. 6[illegible]—62.
2 Сб. РИО, XXXIX, стр. 39.

ною для России, как это полагал С. М. Соловьев: благодаря французской поддержке удавалось удерживать Турцию и Крым от враждебных выступлений. Не случайно Ферон радовался доброму приему, оказанному русским в Адрианополе. Учреждение постоянного русского дипломатического поста в Турции едва ли произошло без французской помощи. Первому русскому посланнику в Константинополе П. А. Толстому не раз приходилось действовать вместе с французским представителем против английского и австрийского. Англия и Австрия были заинтересованы в русско-турецкой войне, чтобы обезопасить Австрию от турецких выступлений. Россия и Франция, правда, из разных побуждений, были заинтересованы в турецко-австрийской войне.

Французская дружба была полезной и в Польше, где существовала сильная французская «факция», с которой Петр старался поддерживать добрые отношения. Личное отношение Петра к Франции не носило характера той подчеркнутой враждебности, которую ему обычно приписывают. Наоборот, английский посол при русском дворе Витворт в 1705 г. отмечает, что царь недоволен значительными успехами союзных войск. Петр опасался, что после заключения мира с Францией морские державы вмешаются в Северную войну и станут на сторону Швеции с целью закрыть Балтийское море для русских. Эти опасения имели основание. Тот же Витворт в донесениях английскому статс-секретарю Гарлею в 1706 г. выражал сомнение, чтобы Англии и Голландии было выгодно отворить царю дверь к европейским делам и торговле. Английский посланник считал, что Петербург нельзя оставить за Россией, и называл роковым пренебрежительное отношение шведов к защите прибалтийских областей. По его мнению, это «роковое небрежение» объяснялось уверенностью шведских министров в том, что Англия никогда не допустит утверждения России на Балтийском море.[1]

II

Продолжение русско-французских переговоров переносит нас из Москвы и Варшавы в столицу Франции—Париж.

В 1703 и 1704 гг. французскими каперами были взяты и приведены в Дюнкирхен два русских корабля, принадлежавшие Баженину и Избранту. Оба они назывались «Апостол Андрей». Один из них направлялся с товарами в Лондон, другой — в Голландию.

Это было время, когда недавно начавшаяся война за испанское наследство протекала еще относительно успешно для Франции. Французский флот одерживал победы над врагом, и французские каперы были грозой морей. Так, в Архангельске в 1703 г. сильно опасались, что торговые суда, отправленные туда из Голландии и Англии, захвачены французскими арматорами. Известный английский купец Стельс писал Петру 31 июля 1703 г.: «Корабли наши и галанские еще не бывали, о чем мы уже сумнение имеем, для того наши блиско 10 недели как вышли, а пишут с Москвы на почту, что пронесетца весть, что 13 французские же воинские корабли вышли на Нордзеи, сохрани бог»[2].

Если даже считать данные А. Трачевского безусловно преувеличенными, то все же совершенно несомненно, что французские каперы представляли большую опасность для северной московской тор-

[1] Сб. РИО, XXXIV, стр. 176, 222.

[2] Кабинет Петра I, 2 отд., кн. № 2, л. 666. Впрочем эти опасения не оправдались, так как в письме от 3/VIII 1703 г. Стельс сообщает, что к городу пришло 70 торговых английских кораблей и 6 „опасных“, т. е. конвойных (там же, л. 660).

говли, которая велась преимущественно голландскими и английскими купцами. Здесь опасность угрожала не фантастическим планам изгнания голландцев с Балтийского моря и не заманчивым, но весьма мало вероятным перспективам южной русско-французской торговли через Марсель и Азов. Нет, здесь наносился непосредственный и весьма чувствительный ущерб русским политическим и экономическим интересам. Вести Северную войну в эти годы без поставки оружия и обмундирования из-за границы было бы невозможно.

Русско-голландская торговля подвергалась наибольшей угрозе со стороны французских каперов уже в силу географического положения Голландии. Поэтому, когда хлопоты Постникова о возвращении захваченных кораблей оказались безуспешными, голландское правительство согласилось на поездку в Париж гр. А. А. Матвеева, русского посла в Гааге. Сам Матвеев так объяснял цель своей поездки пенсионарию Гейнзиусу: «промыслить кораблям нашим ход безопасной и свободный впредь от добычников французских, чтобы оне потом от них обезпокоены не были».

Осенью 1705 г. Матвеев выезжает из Гааги в Париж под видом дворянина, путешествующего инкогнито, имея при себе французский паспорт и проезжий лист Голландских генеральных штатов.[1]

В посольской грамоте Матвеева, составленной по образцу балюзовской, шла речь только о том, чтобы посла выслушали с полным доверием и вынесли решение по порученным ему делам. Гораздо больше интереса представляет данный русскому послу наказ[2]. В нем Матвееву поручалось добиться возвращения двух взятых кораблей и обеспечить безопасность плавания русских торговых судов на будущее время. Чтобы сделать эти притязания более основательными, все предшествующие переговоры — с Героном и де Балюзом, а также и те, которые в Голландии велись между Матвеевым и де Биордом, а в Дании между Измайловым и Пусеэном, — в наказе изображены как переговоры, посвященные вопросам торговли и безопасного плавания кораблей.

Наказ составлялся значительно позже того времени, когда были взяты каперами российские суда с товарами, после долгой, по безуспешной переписки с французским правительством о возвращении призов. Следовательно, вводная часть наказа, где дается обзор франко-русских переговоров, представляет собою результат длительной работы русской юридической мысли того времени, стремившейся доказать незаконность захвата судов. Все это естественно располагало к преувеличению того значения, которое вопросы торговли и мореплавания имели в предшествующих посольствах и переговорах.

Правильность нашего вывода подтверждается историей вопроса о захвате кораблей и историей текста матвеевского наказа. В архиве посольской канцелярии сохранился документ, написанный по свежим следам событий. Это мемориал Головина, адресованный де Балюзу и датированный 5 марта 1704 г.[3]. В нем отсутствуют указания на Герона и де Балюза.

---

[1] Кабинет Петра I, 2 отд., кн. № 95, л. 672; Французские дела, 1706 г., д. № 3, лл. 251—252.

[2] Французские дела, 1705 г., д. № 1, л. 4 и сл.

[3] Там же, 1703 г., д. № 3, л. 26[illegible]. Документ носит следующее длинное название: „Мемориал королевского величества французскому господину посланнику экстраординарному господину Иоанну Дебалюзу, государственной посольской канцелярии от господина президента и царского величества ближнего боярина Федора Алексеевича Головина“.

Мемориал начинается ссылкой на то, что царь «обнадежен будучи через министра будучего в Гравен Гаге прошлого 1702 году, графа Дебриорда, по объявлению царского величества посла господина Матвеева, что испущенные ис портов царского величества подданных корабли под флаком Московским никако от каперов французских обидимы будут. На что сие имянно королевского величества именем вышеупомянутой господин граф известовал и на сие позволил».

Дальше указывается, что царь, основываясь на древних и на новых о «торговых промыслех обсылках.., указал кораблям своим в Московском государстве у города Архангельского деланным, для торгового в покупке ис чюжих государств также и в продаже своих Московского государства товаров промыслу, ездить за море под московским гербом».

Затем излагается история захвата баженинского корабля французскими каперами, причем «все будущие на нем торговые разграблены и вскрай берега морского отпущены».

В заключение Головин просит французского посла написать Людовику XIV о том, чтобы корабль был возвращен и убытки возмещены, а каперам впредь были воспрещены подобные захваты: «Дабы впредь они не дерзали кораблей царского величества под гербом Московского государства грабить, потому что паче прежняго ныне у царского величества с королевским величеством любительная заходит дружба и в торговых на обе стороны к пользе общей промыслех умножается дело».

Этот документ, подписанный Головиным, был вручен де Балюзу еще во время его пребывания в Москве; по крайней мере, на черновике имеется помета: «Отдан посланнику».

Анализ черновика матвеевского наказа покажет нам, как складывался окончательный текст документа. Сначала в наказе говорилось, что Матвеев посылается во Францию «для торговых дел». Затем слово «торговых» было перечеркнуто и сбоку другим почерком приписано: «для свободного хождения кораблей с купечеством, как надлежит по обнадеживанию французских послов в Голландии и в Копенгагене и в Москве будущих для отвращения и о взятии кораблей с товары его величества от каперов французских».[1]

На полях того чернового листа, где идет речь о переговорах между Измайловым и Пуссэном в Копенгагене, поставлен крест, и тем же почерком, что и в первом случае, сделана приписка: «Надобно написать и о посланнике, что он на Москве обнадеживал». Очевидно, здесь имеется в виду де Балюз, потому что к следующему листу приклеен маленький клочок бумаги с вставкой о французском посланнике де Балюзе, который «устно о той торговле его царского величества министрам предлагал и обнадеживал и о свободном хождении кораблей». Так постепенно увеличивалось в перечнях посольской канцелярии количество лиц, которые вели переговоры о торговле и мореплавании.

Свое требование возвратить захваченные корабли Матвеев должен был подкрепить ссылкой на дружественное отношение к французским кораблям в России. В 1703 г. к Архангельску пришел французский корабль под названием «Рука божья», груженый вином. При входе в устье Двины он был обстрелян с английских конвойных судов и затем взят ими в плен под тем предлогом, что они имеют приказ не допускать плавания французских торговых кораблей. На требование архангельского губернатора освободить захваченный корабль,

[1] Французские дела, 1705 г., д. № 1, л. 4.

потому что он взят в русских водах, английский комендор ответил отказом, ссылаясь на приказ английского правительства задерживать такие корабли, где бы они ни встретились. Снятие ареста было достигнуто через четыре дня, и то лишь после применения энергичных мер: ворота гостиного двора, где жили иностранные купцы, были заперты и к ним был приставлен караул; английские капитан и поручик, жившие в гостином дворе, были арестованы; на конвойные корабли был послан английский выборный бурмистр для переговоров об освобождении захваченного французского корабля. Вслед за тем в Архангельск был прислан царский указ о том, что за всякий ущерб, причиненный англичанами и голландцами французским и испанским кораблям во владениях царя, как на море, так и в гаванях, будет взыскано втрое с компаний, к которым принадлежат обидчики; захват одного корабля будет караться задержанием трех лучших. Петровское правительство дало решительный отпор попытке англичан вести себя в русских водах, как в своих собственных, игнорируя соглашения, существовавшие между Россией и другими государствами.

Хлопоча о возвращении кораблей Баженина и Избранта или возмещении убытков их владельцам, Матвеев должен был также получить гарантию безопасности московских кораблей на будущее. Для этого нужно было, как указывалось в наказе, чтобы французское правительство отдало каперам специальный приказ не задерживать московские суда. Взамен обещалось увеличение франко-русской торговли, так как московские купцы будут побуждаемы «со всякими потребными в государстве российском происходящими особливо х карабельному строению принадлежащими товарами, а имянно: с пенькою, смолою, лесом и протчим, також хлебом и юфтью, и иными товары и в самую Францию купечество отправлять»[1].

Только после успешного выполнения этих поручений Матвеев мог приступить к заключению коммерческого трактата с Францией на следующих условиях: обе стороны получают равные торговые права, французским негоциантам в России не предоставляется никаких особых преимуществ. Матвеев получил и политическое поручение. Если французские министры предложат ему посредничество для заключения мира со Швецией, он уполномочен был заявить, что царь согласен на мир, но мир «честной и добрый», заключенный с участием его союзника, короля польского, и что французскому королю следует вперед показать царю пользу от своего посредничества.

Ранней осенью 1705 г. Матвеев выехал из Амстердама во Францию. Подобно де Балюзу, он ехал инкогнито. В Генте Матвеев узнал, что на королевском тайном совете решено дать ему частную аудиенцию у короля, хотя он и не имеет полномочий министра. Статс-секретарь де Торси, ведавший иностранными делами, сообщил об этом решении К. Н. Зотову и приказал «отписать» Матвееву.

В Париж русский посол прибыл 25 сентября 1705 г. Он был восхищен видом французской столицы и писал, что Париж нашел втрое больше Амстердама «и людства множество в нем неписанное и народа убор и забаву и веселии их несказанном... ниже узнать возможно ж, что оне такую долговременную и тяжкую ведут войну».

Однако первое впечатление сохранилось недолго, и месяцем позже Матвеев писал Головину: «Здесь конечная в деньгах есть, а больше в людях скудость и всемерно двор сей к миру готов, только Англия

[1] Французские дела, 1705 г., д. № 1, лл. 12—13.

ни мало к тому не склонна и Голландию держит она, хотя та к миру и поползнулася». Субсидии Рагоци, шведскому королю и баварскому курфюрсту вместе с военными расходами истощили все средства.[1]

А в середине следующего, 1706 года, ознакомившись с жизнью страны, московский посол так характеризует положение французского народа: «...тех провинций жители претяжкими от Франции задавлены годовыми податьми и весьма несносными; в приход союзнича флоту всемерно склонятся к ним союзникам и без всякой должной противности отдадут себя». Здесь речь, очевидно, идет о Нормандии, так как в это время опасались прихода англо-голландского флота к ее берегам.[2]

В Париже, очевидно, колебались, не зная, как ответить на московские требования, и оттягивали начало переговоров. Московский посол долго не имел аудиенции у короля под предлогом, что двор был в Фонтенебло, куда иностранные министры приезжали лишь по особому приглашению. Только 18 октября Матвеев посетил возвратившегося из Фонтенебло де Торси, который принял его любезно, а через пять дней получил аудиенцию у короля. На этом закончилась торжественная часть приема и начались деловые переговоры, вести которые с французской стороны было поручено д'Ибервилю.[3]

В начале ноября[4] состоялся первый двухчасовой разговор. Матвеев заявил, что, несмотря на строго соблюдаемый Россией нейтралитет, французские каперы захватили два московских корабля, нагруженных не запрещенными товарами, с презрением разорвав московские паспорта, которыми были снабжены суда.

Во время разговора Матвеев несколько раз возвращался к выгоде, которую обе нации извлекут из франко-русской торговли. Он подчеркивал, что на французские вина в Московии имеется очень большой спрос, особенно с того времени, как царь отменил налог, взимавшийся в размере 25 экю с бочки, и что французы, с своей стороны, могли бы получить из Московии воск, деготь, доски для постройки кораблей и другие товары.

Дипломатические интересы сторон тоже не были забыты в этом разговоре. Московский посол нашел случай сообщить, говоря о шведах и г. Паленквисте, что он показывает голландскому пенсионарию Гензиусу все письма, получаемые им из Франции[5].

Несколько дней спустя после этого Матвеев имел встречу в Версале с де Торси, но последний уклонился от обсуждения вопроса о московских призах, ссылаясь на то, что это дело передано уже королем «адмиралства своего правителю графу Поншартрену». В тот же день московский посол вел с графом длинный разговор, который он подробно излагает в своем письме от 17 ноября 1705 г.; письмо это частично зашифровано, и между сообщениями секретной и несекретной части имеется интересное разноречие.

В нешифрованной части Матвеев пишет о Поншартрене следующее: «сказал он многие причины о тех взятых наших кораблях явные, кои нам неведомы, что те корабли были конечно не наши, только под притвором, и хотел доложа королю с подлинными и всесвидетель-

---

[1] Французские дела, 1705 г., д. № 2, лл. 1, 2, 19—20.
[2] Там же, 1706 г., д. № 3, лл. 180, 176.
[3] Там же, 1705 г., д. № 2, лл. 19, 22, 34.
[4] Известно, что 12/XI 1705 г. д'Ибервиль приезжал к Матвееву (Французские дела, 1705 г., д. № 2, л. 98).
[5] Сб. РИО, XXXIV, стр. 45—46—донесение д'Ибервиля.

ствованными доводы на все пункты мемориала моего вскоре мне учинить свой ответ, где все известнее объявится». [1]

В зашифрованной же части письма Матвеев просит указать, как ему поступать в дальнейшем, «естли впредь тот двор мне ответ учинит с подлинными объявлений причин и свидетельств, что те карабли непрямыя были наши, но под флагами государевыми и с пашпорты англичан и галанцев, понеже письма, взятые на тех кораблях, ныне все во их руках и все открыли, что мне чинить тогда? — По наказу ли, не смотря и не рассуждая тех их действительных причин, учиня спор, отъехать в Галандию? Или, те рассмотря, естли они со истинными освидетельствований объявят причины, о которых нам не будет прямого способа чем отговориться,... — несмотря на то дело карабельное, о торговле и свободном ходе караблей государевых через море впредь вступать с французским двором в договор?» Матвеев просит прислать условия трактата с французским правительством, считая настоящий момент благоприятным и опасаясь будущего мира между Францией и англо-голландской каолицией. «Чтоб при том мире, — пишет он, — для своих однех общих сил и на море основательных изстари, не допуская нас, меж собою не постановили, какова нам противнаго к помешке наших морских впредь умножаемых сил договору» [2].

25 ноября 1705 г. Поншартрен прислал Торси письменный ответ. От имени короля объявлялось, что корабли не будут возвращены. Конфискация их была произведена не потому, что на них был московский флаг, но потому, что коносаменты не были подписаны и в них не было объяснено, куда следовал груз, вследствие чего и сочли, что он назначался голландцам. К тому же корабли уже проданы, деньги розданы и крайне трудно получить их обратно. Король возобновит повеление французским каперам не тревожить московских кораблей, но владельцы их должны соблюдать предосторожности, требуемые в военное время, для доказательства того, что подданные нейтральных держав не прикрывают врагов. Королем будут приняты все меры к установлению мореплавания и хороших отношений между французами и подданными царя. Взамен этих неопределенных обещаний от царя ожидали предоставления французам преимуществ наиболее благоприятствуемой нации, наравне с англичанами и голландцами [3].

Получив это письмо, де Торси переслал копию с него Матвееву через д'Ибервиля и приказал прибавить от своего имени, что возвращение московских кораблей невозможно, так как они взяты на основании морского регламента, принятого всеми европейскими державами. Король не может возместить убытки за два захваченных корабля в виду того, что они не принадлежали московским купцам, но он согласен заключить торговый договор и «впредь во всем те убытки при той их (царских подданных. — *Т. К.*) торговле всячески наградить».

Тогда Матвеев прибег к двойному дипломатическому маневру. Он заявил французскому министру, что если король отказывается от удовлетворения за захваченные корабли, то шансы на заключение договора сильно уменьшаются. В то же время в письме в Россию от 24 ноября [4] он снова настаивает перед московским правительством

---

[1] Французские дела, 1705 г., д. № 2, л. 46.
[2] Там же, л. 45.
[3] Сб. РИО, XXXIV, стр. 41—43.
[4] Очевидно, старого стиля.

на заключении с Францией коммерческого трактата, полагая, что французские правящие круги искренне намерены установить дипломатические и торговые связи с Москвой: «Естли же нынешнюю видя самую во всем склонность к стороне государевой сего двора кроме той одной причины — кораблей, на что тот двор не без рацый есть пред нами, разорвав ту и без договору о безопасном ходе кораблей и торговли, видится мне, чтоб он озлобяся вовсе нашим кораблям пути не пресек и большаго подданным государевым, имая впредь их корабли, которые станут в Англию и в Галандию ходить с торги, разорения. Тогда нам с тем двором не без труда вновь договоры чинить будет, а паче же, естли когда с англичаны и з галанцы помирится».[1]

Матвеев был прав, когда опасался враждебного отношения морских держав к развитию русского мореплавания и торговли. Голландия и Англия были против заключения русско-французского торгового договора. Уже в начале 1706 г. в Гааге распространились слухи, что Матвеев обещает французскому королю свободную торговлю с Россией на Черном море, куда французские корабли будут приходить из Средиземного моря.[2]

Приблизительно в это же время голландский резидент в Москве заявил русскому правительству протест от имени Голландских штатов против чрезмерной тяжести московских таможенных пошлин и неслыханной жестокости наказаний за неуплату их. Если такое положение вещей будет сохранено и дальше, то торговля голландских купцов в России станет невозможной, писал он.[3] Быть может, в этой угрозе сказывалось не только или не столько действительное возмущение чрезмерными пошлинами, сколько желание повлиять на политику Москвы и не допустить нежелательного сближения России с Францией.

По крайней мере в настроениях высших голландских торговых кругов эти два сюжета стояли рядом. В письме от 23 августа 1705 г., сообщая о новостях, которыми занято общественное мнение в Гааге, Матвеев упоминает о жалобе, полученной Штатами от голландского резидента в Москве, на непосильные налоги, которыми облагает московское правительство голландских купцов, торгующих в России, а также о негодовании голландцев на долгое пребывание его, Матвеева, в Париже «бутто б для постановления торговли с Францыею к предосуждению и убытку их»[4].

Что касается Англии, то она как будто разделяла настроения Голландии. При французском дворе существовало мнение, что в Москве голландский и английский министры всячески стараются помешать установлению торговых сношений между Францией и Москвой «для своих особых из того прибылей» и что этим вмешательством объясняется долгая задержка в присылке русскому послу полномочной грамоты и проекта договора.

Сам Матвеев не сомневался в намерениях «союзников», воевавших в то время с Францией, и полагал, что если в Испании военное счастье окажется на стороне союзников, то последует вынужденный для Франции мир, «каков оне союзники похотят, при котором всемерно не оставят оне, чтоб Францию не обязали с собою на всякие договоры без согласия своего с нами не вступать, а особливо о торговле и о ходе

[1] Французские дела, 1705 г., д. № 2, лл. 56—57.
[2] Там же, 1706 г., д. № 3, л. 33.
[3] Подробнее о протесте Голландских штатов см. в моей статье „Россия и Венеция на рубеже XVIII столетия“ („Ученые Записки Педаг. ин-та им. Герцена“, XII).
[4] Французские дела, 1706 г., д. № 3, л. 293.

корабельном его царского величества и его подданных кораблей, чего оне внутренно ненавидят».[1]

Настояния Матвеева совпали с намерениями Петра. 10 декабря 1705 г. из Гродно послу был отправлен указ о заключении торгового договора: «Что естли будут предлагать от двора французского о постановлении трактату о торговле и пожелают, чтоб он с ними в оной не описываясь вступил, то ему с ними о том трактовать и становить договор против обыкновения иных народов, усматривая дабы чего торговле необычайного и к стороне нашей противного не вместить и что основание такого трактату везде полагается на свободном позволении обоих стран купцам торговле с платежем обыкновенной против иных народов пошлины, а иных никаких кондиций в том прилагать не надлежит». Вместе с тем Матвееву снова наказывалось продолжать домогательства как о возвращении захваченных кораблей, так и о признании нейтральными московских флагов и пасов в будущем.[2]

Между тем французские каперы продолжали задерживать корабли с товарами русских купцов. В январе 1706 г. русский агент в Амстердаме Фандебург сообщил Матвееву, что на голландских кораблях, которые шли из Архангельска в Голландию, взято французами большое количество товаров, принадлежащих московским купцам — Исаеву Илье и другим; Фандебург прислал вместе с письмом четыре голландских и русских коносамента.

Эти документы А. А. Матвеев отослал в Дюнкирхен и просил морского интенданта возвратить товары русских купцов. Говорил он и с прокурором, но последний ответил, что по французским регламентам чьи бы ни были товары, но если они взяты на неприятельских кораблях, они не подлежат отдаче, чему можно привести много тысяч примеров[3].

Все дальнейшие домогательства Матвеева о возвращении захваченных кораблей и товаров оказались тщетными; 16 февраля 1706 г. в Версале русский посол получил от де Торси решительный отказ. Через несколько дней Матвеев в последний раз пытался возобновить этот разговор «з большою и острою докукою», но Торси остался непоколебим. «Уже выше сил моих та отдача кораблей» — пишет Матвеев в своем письме от 22 марта, посвященном условиям будущего франко-русского коммерческого трактата.

Вплоть до своего отъезда из Парижа осенью 1706 г. Матвеев хлопотал о заключении этого трактата. Вначале он надеялся даже выговорить особые привилегии для пострадавших от каперов московских купцов, ссылаясь на королевские обещания, переданные через де Торси, но эта надежда оказалась несостоятельной. С русской стороны были еще очень заинтересованы в том, чтобы французское правительство разрешило свободное плавание под московским флагом подданным других держав, если их корабли выстроены в России.

Не был забыт Матвеевым и план южного торгового пути Марсель — Азов. Он предполагал, что Франция по заключении договора с Россией сумеет получить от Турции разрешение на свободное плавание французских кораблей в Черном море. Из Азова было легко установить связь с Астраханью и завести там торговлю персидскими товарами: шелк-сырец сухим путем будет привозиться в Азов, а оттуда морем

[1] Французские дела, 1706 г., д. № 3, л. 184.
[2] Там же, 1705 г., „Письма к Ф. Головину от находящегося в Париже посла А. Матвеева“, лл. 99—102 б.
[3] Там же, 1706 г., д. № 3, лл. 33—34.

отправляться в Марсель. При этом русский посол несколько опасался, что французские негоцианты сумеют проложить себе дорогу и в Хиву.

Немало беспокоил русского посланника и вопрос о том, следует ли соглашаться на включение в договор пункта о свободной торговле французских купцов во всех русских гаванях, наравне с англичанами и голландцами, т. е. на предоставление Франции прав наиболее благоприятствуемой нации. По всем этим вопросам Матвеев неоднократно писал в посольскую канцелярию и просил выслать инструкцию и полномочную грамоту для заключения торгового трактата.[1]

Что касается противоположной стороны, то французские дипломаты колебались и старались затянуть переговоры. На первом же совещании с Матвеевым, где шла речь о торговом трактате, де Торси потребовал от него специальной полномочной грамоты. Но спустя несколько недель, 26 марта 1706 г., при встрече с русским послом в Версале де Торси сообщил ему, что «король всегда дружбы его царского величества желателен и все учинит, что к прямому содружению впредь той принадлежит; в договор о свободном ходе кораблей е. ц. в. и его подданных и о установлении торговли к пользе обеих сторон указ королевский есть ему вступать». Здесь же французский министр предложил обеим сторонам немедленно приступить к составлению проектов договора, которые затем будут подвергнуты обсуждению и доложены королю[2].

Дело с заключением трактата как будто принимало благоприятный оборот. Но Матвеев не доверял постоянству и искренности правящих французских кругов и, напоминая о присылке полномочной грамоты, писал в Москву: «хотя ныне король склонился и без той договор чинить, однако ж слова французские по подобию луны растут и изменяются»[3].

Вскоре де Торси снесся со статс-секретарем по морским делам графом Поншартреном, после чего они встретились втроем с Матвеевым в Версале. На этом совещании Матвееву было заявлено, что дело передано на рассмотрение президенту «королевского особого совета купецких дел» Дагесо[4].

Матвеев нанес визит Дагесо, жившему в Париже. Тот сообщил ему, что проект договора подготовляется и к будущей неделе, вероятно, будет закончен; тогда он сравнит его со статьями, предлагаемыми русской стороной. Дагесо потребовал также, чтобы ему были сообщены сведения о том, «какие товары на Руси есть, потому что с Франциею у Москвы никаких доныне торгов не бывало и он подлинно о видех русских торгов не сведом»[5].

С передачей Дагесо подготовки договора обсуждение его из области общих рассуждений было перенесено в сферу выработки деловых предложений. Благодаря этому для нас открывается возможность проследить те подозрения, которые предполагаемый франко-русский договор пробуждал у французских дипломатов, и те надежды, которые он им мог внушать.

Основное опасение правительственных кругов Франции заключалось в том, что Москва, вступая в договорные отношения, преследует не развитие франко-русской торговли, а создание для гол-

[1] Французские дела, 1706 г., д. № 3, лл. 55—57, 68.
[2] Там же, л. 73.
[3] Там же, л. 71.
[4] Там же, лл. 85—86.
[5] Там же.

ландских и английских торговцев возможности безопасного плавания под московским флагом.

После первых же совещаний с Дагесо это стало ясно для российского посла. «И из всех тех его разговоров, — пишет Матвеев в своем донесении в посольскую канцелярию, — признал я всеконечно, что сей двор в тайном стороне его царского величества мнении, что будто сей ход карабельный от нас у них свободен быть оставлен требовался не для какой прибыли особой государству Московскому, но что его царское величество особливо есть милостиво к Галандии и к Англии склонен, чтоб под его именем пашпорты и флаги им англичаном и галанцом при ее пребывающей с Франциею войне за тем притвором свои торговли умножить и распространить безопасно было».

С целью воспрепятствовать этому Дагесо много раз повторял, что с московской стороны должны быть строжайше соблюдаемы последние королевские регламенты, установленные во время войны за испанское наследство.[1] Он усиленно подчеркивал, что не может быть допущено отступления от существующих морских законов для иностранцев, что даже корабли самих французов, если те нарушают правила регламента, также подвергаются конфискации.

Выражение этих сомнений сопровождалось заверениями в склонности короля заключить договор, прибыльный для царя и его прямых подданных, «исключа не того притвору вышеупомянутых дел своих неприятелей, которых он николи не пропустит ни для кого.., для которых тех его неприятелей чаемых вымыслов те и регулямента и для пресечения их советом королевским крепко утверждены и с иными державы постановлены».

Трудно сказать, насколько искренни были эти заверения в дружественных намерениях французского двора в отношении к Москве, но сам Матвеев склонен был принимать их за чистую монету. Он, кажется, искренно поверил, что заключение договора затягивается только из-за отсутствия у него полномочной грамоты. Старательно переписывая в своих донесениях все изъяснения министров в дружественных чувствах короля к царю и его подданным, он видит признак особого расположения в выраженном королем желании иметь при своем дворе русского резидента: «Изволь не того разсмотреть, что сам от нас тот двор ищет любви».

Было и второе немаловажное опасение, которое смущало президента торгового совета Дагесо, о чем он заявлял Московскому послу. Лучшие товары русского рынка — табак и мачты корабельные — были по особым договорам отданы на откуп англичанам и голландцам, «и с того препона самая видитца им вольной торговли». Возражения Матвеева, ссылавшегося на то, что откупа существуют и во Франции на некоторые товары, например на соль, а также его уверения, что после заключения торгового договора французы, наравне с англичанами и голландцами, смогут взять на откуп любой товар из казны, не очень разубедили его собеседника[2].

Какие же надежды пробуждал этот договор у руководителей экономической жизни Франции, и какие выгоды рассчитывали они извлечь при его помощи?

Матвеев все время побуждал Дагесо скорее закончить проект трактата и доложить о нем королю. 15 мая Дагесо сообщил послу,

---

[1] Очевидно, здесь имелся в виду известный морской регламент 1704 г.

[2] Французские дела, 1706 г., д. № 3, лл. 105—108 об.

что на будущей неделе ему будет передано королевское решение. Здесь же он показал ему грамоту царя Михаила Федоровича к Людовику XIII, датированную 12 ноября 1629 г. и врученную французскому послу Де Гэ Курменену, приезжавшему в Москву.

Президент королевского торгового совета настаивал на сохранении в заключаемом франко-русском трактате предоставленной в 1629 г. привилегии — торговли с двухпроцентной пошлиной. «Домогался у меня крепко, — пишет Матвеев, — чтоб по той грамоте вышеупомянутой пошлины, естли ныне у его царского величества с королем французским торговля постановится, от подданных французских иметь бес прибавки». [1]

Но русский посол занял решительную позицию в этом вопросе. Он заявил, что единые торговые пошлины регламентированы особым уставом, изданным еще при царе Алексее Михайловиче [2]. Подданные всех государств без исключения подчиняются этому уставу и отменить его или изменить «ни для каких потентатов» невозможно. И если между Москвой и Францией установится торговля, то и французские негоцианты будут обязаны платить пошлины по торговым уставам. «И притом ему наотсечь сказал, — пишет Матвеев, — чтоб в том больши никаких трудностей он ныне не чинил, и то дело тем пресеклося и больши уже не упоминаетца».

Так неудачно закончилась попытка королевского торгового совета заключить неравный договор с Москвой и получить особые привилегии, которых не имели даже голландцы. Что здесь речь шла именно о неравных условиях, видно из того, что подобная уступка пошлин с французской стороны представлялась Дагесо совершенно немыслимой. Он ответил решительным отказом на все усилия Матвеева получить право беспошлинной торговли в некоторых французских портах. Так же тщетны были старания посла получить гарантию для безопасного плавания судов, построенных в России, независимо от того, кому они принадлежат; ему было сказано, что это нарушает французские морские регламенты [3].

На этом заканчиваются совещания между Матвеевым и Дагесо по установлению статей торгового договора. Затем договор был доложен королю и рассмотрен в тайном королевском совете. Здесь еще раз была подчеркнута полнейшая невозможность какого бы то ни было отступления от существующих морских регламентов, острие которых направлено против англичан и голландцев.

После твердого отказа, полученного Дагесо на его притязания, интерес к договору с Москвой сильно уменьшился. Кроме того в Париже в это время ходили слухи, проникавшие и в печать, что Петр I арестован недовольными боярами, что шведы идут к Смоленску. Матвееву опять было категорически заявлено, что без полномочной грамоты о заключении с ним договора не может быть и речи, и был сделан совершенно прозрачный намек на то, что если он потребует от короля немедленного отпуска, ему будет вручена грамота.

«Не того всего я усматриваю, — пишет московский посол в своем донесении, — что оне желательнее хотят отделатьея грамотою, которая невеликой крепости будет без договору, буде король своего слова содержать не похочет впредь. Также и обещаться может в ней станет о торговле, а не о свободном ходе московских кораблей».

---

[1] Французские дела, 1706 г., д. № 3, лл. 120—123.
[2] Очевидно, Матвеев имел здесь в виду Новоторговый устав.
[3] Французские дела, 1706 г., д. № 3, лл. 120—123.

Впрочем, здесь же московский дипломат сообщает, что хотя договорные отношения с Францией еще не установлены, московские корабли могут свободно ходить всюду по особому королевскому слову, также и в самую Францию; следует только быть осторожными и придерживаться правил морского регламента. При этом особенно важно соблюдение 9-й статьи — о кормщике: если на корабле кормщик будет голландец, то в проезжем пасе корабельном следует писать русское имя, а голландца записать матросом. Французский морской регламент еще раньше был получен от Дагесо, переведен и переслан в Москву. Теперь Матвеев советует отпечатать его, разослать во все города и опубликовать для сведения всего купечества. «А те регламента не во многом нам помешка, а миновать их нельзя никоим державам», — пишет он.

Однако Матвеев все еще не терял надежды на заключение договора и считал, что «та остановка не от них, но от нас самих», поскольку задерживалась присылка полномочной грамоты.[1]

Инструкция за подписью тайного секретаря Шафирова и полномочная грамота были отправлены из Москвы в начале июня, но дальность расстояния и трудности пересылки, очевидно, вызвали задержку в получении. 19 июля 1706 г. Матвеев снова жалуется в посольскую канцелярию, что дело о заключении трактата остановилось за отсутствием у него полномочий.

Присланная из Москвы инструкция отвечала на вопросы, поставленные Матвеевым в его письме от 22 марта 1706 г. и в других. В первом и втором пунктах инструкции говорилось о разрешении свободной торговли во всех портах и на всей территории договаривающихся государств для подданных другой стороны. Пошлины уплачиваются ими наравне с другими иностранными купцами; исключению подлежат лишь товары, запрещенные генеральными государственными указами. В Российском государстве разрешение свободной торговли не распространялось на Сибирь, причем инструкция предлагала «отговориться» «пустотою» края и его отдалением, вследствие которых, якобы, в Сибири нельзя иметь купечества, а также нельзя гарантировать безопасность торгующим купцам. Третий и четвертый пункты содержали обязательство не разрешать пользоваться своим флагом подданным тех держав, с которыми одна из сторон находится в состоянии войны: вместе с тем подданным договаривающихся государств разрешалось вести торговлю и отправлять корабли с товарами в любое государство. Инструкция очень подробно останавливается на последней части вопроса, предвидя возражения со стороны французов против ввоза в Голландию и Англию. Она рекомендует отстаивать неограниченный вывоз во все страны местных продуктов, производимых в каждом государстве, а также ссылаться на то, что этот пункт договора сделает невозможным протест Англии и Голландии против вывоза российского леса, пеньки и смолы в Испанию и Францию.

На ряду с этими стараниями обезопасить свою торговлю с Голландией и Англией, или, точнее сказать, англо-голландскую торговлю с Россией от французских каперов, московское правительство уделяет очень большое внимание уже известному нам плану южного русско-французского торгового пути из Азова в Марсель. В инструкции рекомендуется «вместить, буде возможно, особливую статью о торговле чрез Черное море водою и оттуды Доном и Волгою (меж

[1] Французские дела, 1706 г., д. № 3, лл. 128—131.

которыми уже ныне и сообщение шлюзами к ходу небольших судов учинено) в Персиду для шелковой и иной торговли, представляя им, что та торговля им прибыточнее всех прочих быть может». Таким путем они смогут получать персидский шелк, а также индийские товары дешевле, чем англичане и голландцы, и этим нанесут непоправимый ущерб Ост-индской компании, а также левантской торговле своих врагов.

Нельзя с уверенностью сказать, преследовал ли этот проект коммерческого трактата только экономические выгоды. В первом пункте инструкции мы находим следующее указание: «особливо притом побуждать им и, буде мочно, то и явно вместить о торговле чрез Черное море в тамошних пристанищах е. цар. вел-ва и на Балтийском море приращенных отечественных».[1] Думается, что нельзя видеть в этих словах только заботу о торговом процветании вновь завоеванных портов. Мы знаем, что основание французского торгового агентства в Петербурге в 1714 г. было воспринято шведами как признание со стороны Франции балтийских завоеваний Петра I. Мысль о таком закреплении своих военных успехов возникла в российских правящих кругах гораздо раньше.

Таковы были планы московской дипломатии, но, обладая чувством реальности и здравым смыслом, она понимала трудности, связанные с их осуществлением, и не обольщала себя несбыточными надеждами. Одновременно с инструкцией Матвееву был послан указ, что, если договор «паче чаяния за французскими штуками нарочно не учинится», немедленно просить отпуск.

Опасения оправдались. Присылка полномочной грамоты не обеспечила успешного окончания торговых переговоров. Присланные условия Матвеев заявил на совещании де Торси и Шамиляру (Дагесс в это время был болен), причем он особенно подчеркнул пункт о проезде через Черное море и о торговле в Азове, Астрахани и до самой Персии, очевидно в расчете на то, что этот пункт должен оказать особое влияние на французское правительство.

Условия были доложены королю, а 27 августа 1706 г. в Версале произошла последняя встреча посла Матвеева с министром иностранных дел де Торси. После обычных заверений в дружественных чувствах французского короля к Петру I министр объявил, что русско-французский договор не может быть заключен по следующим причинам: во-первых, Северная война делает невозможным развитие французской торговли с Москвой; во-вторых, смола, мачтовое дерево и другие московские товары, необходимые для французского кораблестроения, отданы на откуп по особым договорам англичанам и голландцам; англичане монополизировали в России даже торговлю табаком, т. е. как раз тем товаром, который имеется в изобилии во Франции и мог бы вывозиться в Россию.

В ответе министра вопрос о черноморской торговле шелком был выделен особо; французскому послу в Константинополе будет послан королевский приказ испросить у Оттоманской Порты позволения французским кораблям проходить в Черное море для торговли с Московским государством; как только согласие султана будет получено, французский король пошлет особое посольство в Москву для заключения договора. Теперь же король отпускает Матвеева и отправляет с ним к царю ответную грамоту.

Выслушав все это, Матвеев сдержанно возразил, что предложе-

[1] Сб. Моск. главн. арх. мин. иностр. дел, вып. 5, стр. LXXIII—LXXIV.

ние о заключении договора исходило от самих французских министров, но, если намерение короля изменилось, то он просит только, чтобы в отпускной грамоте было подтверждено королевское решение от 25 ноября 1705 г. о безопасном ходе кораблей и свободной торговле.

Эту последнюю попытку успешно выполнить главную часть своего дипломатического поручения Матвеев продолжил и дальше. 30 августа[1] в Версале он передал мемориал, в котором кратко излагал предшествующий ход русско-французских переговоров, начиная с 1701 г.[2], и в заключение ходатайствовал о том, чтобы французским каперам и морским офицерам было запрещено арестовывать торговые корабли, которые будут итти во Францию «или куды им в иные государства для торговли случай позовет».[3]

Французский ответ был любезным, но уклончивым и мало обещающим. В конце сентября 1706 г. Матвееву были вручены отпускная грамота и письмо де Торси.[4] Первая содержала только общие уверения о желательности «доброй пересылки и союза»; второе представляло собою деловой ответ и как бы результат переговоров Матвеева с французским правительством.

В последующие годы русские ссылались на это письмо де Торси при требовании возврата морских призов, взятых у них французскими арматорами. Поэтому мы остановимся на нем несколько подробнее.

После уверений в том, что намерение Петра I установить свободную торговлю очень приятно королю, следуют комплименты Матвееву и его разумному поведению; далее излагается отказ заключить торговый договор в виду войны, которая мешает приходу кораблей в северные страны и делает невозможной торговлю французских купцов с Москвой. Далее в письме говорилось осторожно и уклончиво, что все московские корабли, нагруженные московскими товарами, будут приняты во французских портах как «приятельские» при условии, что они будут строго соблюдать французские морские регламенты. Для французских же купцов, которые будут торговать в России, Торси претендует на право наибольшего предпочтения[5].

Так закончилось посольство Матвеева. Официальное содержание этого посольства прошло в своем развитии несколько стадий. Сначала речь шла только о возврате нескольких судов, захваченных французами под русским флагом. После некоторых колебаний французское правительство ответило решительным отказом, но предложило заключить торговый договор на будущее время. Проекты договора были выработаны обеими сторонами, и французский двор выразил готовность заключить соглашение, но затем вдруг прекратил переговоры под предлогом, что у Матвеева нет полномочий. Когда же полномочная грамота была прислана, нашлись новые предлоги. Сам Матвеев верно отметил в одном из своих писем, что договор будет заключен в том случае, если французы будут терпеть поражения от союзников, а русские — одерживать победы в Польше; в противном случае надежды мало. Но 1706 год принес и французам и русским

---

[1] Мемориал был подан 30/VIII 1705 г. ст. ст. — 10/IX по новому стилю.

[2] Здесь Матвеев точно придерживается вводной части наказа, полученного им при отъезде во Францию.

[3] Французские дела, 1706 г., д. № 3, лл. 247—249.

[4] В сб. РИО, XXXIV, стр. XIV в примечании указано, что грамота короля, врученная Матвееву, а также письмо де Торси к последнему помечены 20/XII 1706 г.— это ошибка или опечатка (надо 20/IX).

[5] Французские дела, 1706 г., № 3, лл. 278—279.

тяжелые испытания. Отдельные успехи русского оружия, например Калишская битва, пришли слишком поздно.

Следует сказать еще несколько слов о дипломатическом значении парижских переговоров. Немалым успехом России был отказ Франции признать шведского ставленника Станислава Лещинского польским королем. Франция не признала Лещинского даже тогда, когда его признали официальные друзья России, Пруссия и Англия. В одном из своих донесений Матвеев писал, «что швед неотступно домогается от короля здесь о признании Лещинского королем, но он, король, того не чинит за особую любовь к его царскому величеству и за присылку мою сюды к нему».[1]

В европейских дипломатических кругах длительное пребывание Матвеева в Париже вызвало много толков. Утверждали, что русский посол просит Людовика XIV исходатайствовать у Турции разрешения для московского флота пройти из Дона в Средиземное море на помощь Франции. Как мы видели, эти слухи не были совершенно безосновательны.

В то же время в Копенгагене при живейшем участии французского министра Пуссэна было разглашено, что царь заключает сепаратный мир с Карлом XII при посредничестве Людовика XIV. В России охотно приняли бы французское посредничество для заключения мира со Швецией. Это предусматривалось и в наказе Матвееву. Но французская политика колебаний и оттяжек принесла и здесь свои печальные плоды. Франция только дразнила шведов русской дружбой, но ни на какие серьезные шаги не решилась.

Осенью 1706 г. Россия должна была принять на одни свои плечи всю тяжесть Северной войны: 13 октября этого года в замке Альтранштедте, недалеко от Лейпцига, тайком от Петра, тайком от всей Европы, уполномоченные Карла XII и Августа II подписали договор о сепаратном мире. Россия очутилась перед угрозой шведского нашествия.

Будущий герой Полтавы в эти годы подписывал свои письма «Печали исполненный Петр». Но и с печалью в сердце он не потерял своей обычной энергии. Деятельно готовясь к обороне страны, Петр использует все дипломатические средства, чтобы не принимать боя в невыгодных условиях одному, без союзников, против сильнейшего неприятеля. Петр ищет мира с Швецией. Но Англия и Голландия оттягивают ответ на русские предложения о посредничестве, ссылаясь друг на друга. Морские державы полагали, что Франция, занятая своими делами, не примет участия в Северной распре.

Франция действительно переживала тяжелые дни. Битва при Рамильи кончилась потерею занятой французами с начала кампании Бельгии; поражение при Турине вытеснило их из Италии. Только в Испании перевес был на стороне франко-испанской коалиции, и победа при Альмансе в 1707 г. упрочила положение Филиппа Анжуйского.

Но Англия и Голландия все же ошиблись в своих расчетах. Франко-русские интересы очень тесно переплетались в Австрии. Как Франция, так и Россия были кровно заинтересованы в том, чтобы вспыхнувшие в 1706 и 1707 гг. недоразумения между императором Карлом VI и шведским королем Карлом XII привели к австро-шведской войне. Весною 1707 г. русское правительство через Дезальера, французского посла при Рагоци, предложило Людовику XIV

[1] Французские дела, 1706 г., д. № 3, л. 68.

взять на себя посредничество в русско-шведских мирных переговорах; за это Петр обещал предоставить в распоряжение французского короля свои войска. Людовик XIV согласился, и дело началось. Но Карл XII потребовал, чтобы Петр возвратил все без исключения завоеванные земли и возместил военные издержки. Россия не могла принять эти условия, и Петр I твердо выразил свою волю: «По самой нужде и Нарву (шведу) уступить, а о Питербурхе всеми мерами искать удержать за что-нибудь, а о отдаче ни же, и в мыслях иметь».[1]

Английское правительство было сильно обеспокоено этими переговорами. Витворт из России доносил статс-секретарю Гарлею, что если Франция сумеет настоять в Швеции на уступке Ингрии, то царь несомненно согласится на мир и охотно выплатит значительную сумму. Франция этого не добилась, быть может потому, что Англия сумела в 1707 г. заключить с Швецией договор о союзе. Но русско-шведские переговоры помогли выиграть время и продлить передышку для России. Добрые отношения с Францией были очень важны в эти тяжелые годы еще и потому, что сохранение мира с Турцией было до Полтавской баталии задачей первостепенной важности. С помощью близкого к Франции Рагоци не раз удавалось царским дипломатам успешно противодействовать попыткам Станислава Лещинского разжечь русско-турецкую войну[2].

В августе 1707 г., после длительного отдыха, шведское войско двинулось из Саксонии, чтобы вторгнуться в русские пределы. Карл XII говорил, что он заключит с Россией мир «по-саксонски»; он хотел свергнуть Петра с престола и на его место возвести польского вельможу Якова Собесского. Потеря государственной самостоятельности и территориальное расчленение угрожали нашей стране. Но Россия, политически изолированная, оставленная своими союзниками, с честью вышла из испытания. Русский народ рука об руку с братскими народами — украинским и белорусским — отстояли свои рубежи. Они проявили преданность родине, мужество в битвах, терпеливую выносливость в лишениях.

Энгельс, говоря о населении России в середине XVIII в., так характеризует его: «Это население закостенело в умственном застое, лишено всякой инициативы (результаты крепостнического гнета. — *Т. К.*), но в рамках своего унаследованного от предков быта может быть использовано решительно на что угодно; выносливое, храброе, покорное, способное преодолевать всяческие тяготы, оно представляло собою превосходнейший солдатский материал...»[3]. Отзыв Энгельса подтверждается и петровскими современниками, причем людьми критически настроенными, как Витворт. «Невзирая на такие ненормальные бедственные условия жизни, — писал английский посол, — деревенский люд здесь чрезвычайно силен, крепко сложен, в высшей степени легко переносит жары и морозы». Витворт здесь же добавляет, что Северная война выработала из русских крестьян хороших солдат[4].

Не только армия, но и все население проявляло отвагу и готовность к жертвам для защиты своей земли. Перейдя российскую границу, шведские войска двигались по опустошенной местности. Население, заранее подготовленное, при известии о приближении неприятеля прятало хлеб в ямы, а само скрывалось, уводя с собой скот

[1] Цитирую по С. Соловьеву, Указ. соч., кн. III, стр. 1434.
[2] Сб. РИО, XXXIX, стр. 371, 444, 415.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, стр. 8.
[4] Сб. РИО, LXI, стр. 78.

в укромные места в лесу. Когда Карл в августе 1708 г. выступил из Могилева и направился к юго-востоку, к реке Сож, поход этот оказался крайне тяжелым для голодного войска. Шведские солдаты снимали с поля колосья и мололи их между камнями. А тут еще лили беспрестанные дожди, и негде было укрыться и обсушиться. В армии начались болезни, как неизбежное следствие сырости и дурной пищи. Солдаты говорили, что у них три доктора — доктор Водка, доктор Чеснок и доктор Смерть.

Напрасно свернул Карл XII на Украину, рассчитывая там найти провиант и проводников, которые поведут его прямыми и безопасными дорогами к Москве. Украина не захотела стать вотчиной Лещинского[1] и не последовала за Мазепой. Свежа еще была память о том гнете, что терпел украинский народ от польских панов. Перехваченное письмо Мазепы к Лещинскому в декабре 1708 г., в котором Мазепа называет себя подданным, а Украину — наследственным достоянием Лещинского, стало известно всей стране. И Карлу XII пришлось апеллировать главным образом к реакционной знати, на которую он рассчитывал, еще находясь в Саксонии. В своих манифестах 1708 и 1709 гг. он восстает против Петра и за его реформы — за то, что он людей «низкой породы» возвысил над «благородными».

Патриотический подъем населения был правильно учтен при составлении стратегического плана военных действий русской армии. Этот план бил и по самым слабым сторонам военной тактики Карла XII. Разработан он был под руководством Петра I и под его же руководством выполнен. В 1708 и 1709 гг. Петр почти неотлучно находился в действующей армии. Он прекрасно понимал значение хорошего солдата для страны и заботился о нем. Еще в 1706 г., когда Карл XII отрезал русское войско от границы и осадил его в Гродно, Петр приказывал фельдмаршалу Огильви и генералу Репнину: «при отступлении, из полкового имущества взять зело мало, а по нужде хотя и все бросить... артиллерию тяжелую, разорвав, бросить в Неман... и ни на что не смотреть, только, как возможно стараться, чтобы людей спасти»[2].

Полтавская битва погубила военную славу Карла XII и лишила его армии. «Преславная виктория», одержанная над шведами 27 июня 1709 г., доставила Петру I владычество над Балтийским морем и привела к полному подчинению его власти Ливонию, Ингрию и Карелию.

Во французских дипломатических кругах утверждали, будто положение этих земель настолько облегчает их оборону, что все соседние державы не в силах принудить царя вернуть их Швеции. Все возраставшее могущество Петра обратило на себя внимание Людовика XIV, терпевшего все эти годы тяжелые военные неудачи, и вновь усилило в правительственных сферах Франции интерес к франко-русскому союзу. Петра сравнивали с Густавом-Адольфом и заявляли, что Россия займет место Швеции в системе европейских государств. Когда в июле 1710 г. начались мирные переговоры между Францией, Англией и Голландией, французское правительство предложило России посредничество и с этой целью вторично направило к царю де Балюза для переговоров[3].

Петр I прекрасно понимал, какое значение имеет война за испанское наследство для утверждения России на Балтийском побережье

---

[1] Польский вельможа, возведенный Карлом XII на польский трон.
[2] С. Соловьев. Указ. соч., кн. III, стр. 1481, 1541, 1542, 1415.
[3] Сб. РИО, XXXIV, стр. XVI, 320, 430.

Он больше всего опасался, что Северная война затянется дольше войны за испанское наследство. И его отношение к франко-испанской коалиции ни в начале ни в конце войны вовсе не носило того характера нарочитой враждебности, которую ему часто приписывают. Наоборот, английский посол при русском дворе Витворт не раз с раздражением отмечает, что царь и министры рады французским победам[1].

С огромной преобразовательной деятельностью, направленной прежде всего на усиление боевой мощи России, Петр сочетал умелое использование противоречий между великими державами — Англией, Францией и Австрией. Удачно используя их сталкивающиеся интересы, он умел «обеспечить для каждого дипломатического выступления России сильных, даже подавляюще сильных союзников»[2].

---

[1] См. РИО, [illegible] 62.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 12.

Н. М. ДРУЖИНИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ В ДВОРЯНСКИХ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ 1800—1833 ГГ.

Вопрос о государственных крестьянах, особенно об их положении и судьбах в XIX в., — один из наименее разработанных в нашей историографии. Больше всего внимания и интереса привлекала к себе реформа Киселева, но и о ней мы имеем небогатую и крайне устаревшую литературу: разрозненные и уже забытые статьи в «Журнале министерства государственных имуществ», официальные исторические очерки, книгу о Киселеве Заблоцкого-Десятовского, написанную в апологетических целях, и ряд небольших популярных работ, базирующихся на тех же официальных материалах и на работе Заблоцкого.

Но если реформа Киселева хотя отчасти освещена, то весь предшествующий тридцатилетний период остается крайне туманным: о внутренних процессах, происходивших в среде государственных крестьян, об их напряженной борьбе за освобождение от феодального гнета, наконец, о резких столкновениях взглядов дворян и правительства по вопросу о государственных крестьянах нет ни одного исследования.

Между тем в ленинградских архивах хранится немало ценного материала, который проливает свет на все эти вопросы. В частности, в фондах Государственного совета, — особенно комитетов 6 декабря 1826 г. и 20 апреля 1828 г., — имеются компактные группы архивных дел, которые знакомят нас с дворянскими и правительственными проектами, подготовившими реформу Киселева. Если мы дополним их некоторыми делами V отделения собственной е. в. канцелярии, отдельными журналами Комитета министров и собственноручными записками Сперанского, хранящимися в рукописном отделении Ленинградской публичной библиотеки, то эти материалы дадут нам возможность уяснить одну из крупнейших проблем истории СССР XIX в. — о классовых корнях киселевской реформы 1837/38 г.

I

Государственные крестьяне представляли крайне разнородную, но очень крупную величину в составе трудящихся масс крепостной империи: по данным Министерства финансов, относящимся к 1828 г., их насчитывалось 6 528 243 душ мужского пола, т. е. 38% всего земледельческого населения России.[1] Составляя одно сословное целое, они в то же время дробились на десятки разнообразных разрядов: начиная с компактных масс черносошного крестьянства северного Поморья и кончая небольшими, но очень обособленными прослойками,

[1] Центральный архив внутренней политики, ф. Государственного совета, Комитет 20 апреля 1828 г. (в дальнейшем обозначается „К 28“), д. № 1, лл. 83—85.

вроде «панцырных бояр» литовских губерний. При всей пестроте этого номинально свободного государственного сословия в его составе нетрудно различить две основные постепенно сближавшиеся категории: остатки незакрепощенного крестьянского населения (черносошные, однодворцы, малороссийские казаки, колонисты и пр.) и крестьяне, в разное время освобожденные от помещичьей власти (экономические крестьяне конфискованных польских имений, вольные хлебопашцы и т. д.).

Не только фактически, но и de jure государственных крестьян нельзя было считать свободными земледельцами. Это были крепостные государства, сидевшие на казенной земле и обязанные отбывать за пользование ею барщину или оброк. Около 8% крестьян (в арендных имениях западных губерний) состояло «на хозяйственном положении», т. е. выполняло барщинные повинности частным «посессорам» и целиком подчинялось их вотчинной власти; остальные находились на «оброчном положении», но и здесь встречались значительные группы барщинников, вроде однодворческих крепостных или вологодских половников. Все казенные крестьяне без исключения были обложены тяжелыми натуральными повинностями, которые по существу представляли собою отработочную ренту, уплачиваемую государству.

Объединенные в волостные и сельские общины, государственные крестьяне были окованы цепью внеэкономического принуждения. Если в арендных имениях они подчинялись воле посессора, то в оброчных деревнях ее заменяла власть «мира» и выборной дворянской полиции. Прикрепленный к общине, связанный круговой порукой, казенный крестьянин нес на себе тяжесть разнообразных правовых ограничений — личных, имущественных и обязательственных. В своей работе «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—7 годов» Ленин назвал такую систему общественных отношений «государственным феодализмом», существующим на ряду с другой формой — феодализмом помещичьим[1]. Здесь феодалом-эксплоататором выступало само государство, обладавшее казенными землями и извлекавшее из земледельческой массы прибавочный продукт сверх государственной подати.

В продолжение всего XVIII века и позднее, до реформы Киселева, юридическое и бытовое положение государственного крестьянина оставалось крайне неустойчивым. Дворянское государство признавало за ним не только личную свободу, но и публичные права — местного самоуправления и представительства в судебных органах (в так называемых «расправах» и в судах уездном и совестном). Екатерина II даже проектировала особой жалованной грамотой торжественно подтвердить права и преимущества «свободного сельского сословия». В первые десятилетия XIX в., под давлением растущего торгово-промышленного оборота был издан ряд указов о праве казенных крестьян давать и получать денежные обязательства, приобретать городские дома и ненаселенные земли, вести оптовую торговлю и заключать биржевые сделки; были расширены их права передвижения и перехода в другие податные сословия.

Но в то же время самодержавная власть не останавливалась перед фактическим и формальным закрепощением «свободных» сельских обывателей: хорошо известны многочисленные пожалования Екатерины и Павла, которые превратили около полутора миллионов государ-

[1] В. Ленин. Соч., XI, стр. [illegible]

ственных крестьян в помещичьих крепостных; пожалования в аренду на 12, 25 и 50 лет широко практиковались и в XIX веке. «Гуманные» намерения Александра I не помешали ему приписывать «свободных» крестьян к заводам, тысячами перечислять их в военные поселения, переводить их в кавказские казачьи полки и даже продавать с публичного торга для погашения государственных ассигнаций. Практика следующего царствования продолжала эту крепостническую традицию. Если Екатерина II собиралась торжественно декларировать свободу и «привилегии» сельских обывателей, то ее ближайший преемник серьезно подумывал о раздаче всех этих обывателей дворянскому сословию. Сами помещики, поддерживаемые колеблющейся политикой правительства, практиковали насильственное закрепощение казенных крестьян — особенно в районе однодворческих поселений.

Неустойчивому правовому положению государственных крестьян соответствовала их хозяйственная необеспеченность. Правда, межевая инструкция 1754 г. гарантировала каждому хлебопашцу 15-десятинный надел; указом 17 декабря 1800 г. эта норма была понижена до 8 десятин на ревизскую душу. Заинтересованное в платежеспособности оброчного крестьянства, дворянское государство начало вводить с середины XVIII в. «уравнительное землепользование» в казенных имениях. Но на ряду с этими попытками поддержать самостоятельное хозяйство мелкого производителя происходил обратный процесс — систематическое расхищение государственного земельного фонда. Вместе с крестьянскими душами, а часто и независимо от них, правительство жаловало тысячи и десятки тысяч десятин земли за «государственные заслуги». По официальным и далеко не полным сводкам, с 1804 по 1836 г. в руки чиновного дворянства перешло 1 032 524 десятины плодородной земли. Но это была не единственная и не основная форма ликвидации казенного имущества: пользуясь практиковавшейся куплей-продажей крестьянских участков, помещики за бесценок приобретали экономические, «инородческие» и особенно однодворческие земли; еще чаще они самоуправно захватывали соседние казенные угодья и старались закрепить их за собой по праву давностного владения. Чем больше развивались товарно-денежные отношения, тем выше ценились казенные угодья, тем напряженнее и острее развертывалась борьба за землю. Государственные дачи быстро таяли, и с каждым поколением все яснее обнаруживалось растущее крестьянское малоземелье. Уже к 1828 г. девять черноземных губерний имели в среднем меньше «голодной» пятидесятинной нормы на душу. В Полтавской и Черниговской губерниях, населенных сотнями тысяч государственных крестьян, средний надел сократился до 1 десятины и ниже. Были селения, где крестьяне получали по половине и четверти десятины на ревизскую душу[1]. Крестьянское малоземелье, как подчеркивал Ленин, было оборотной стороной многоземелья дворянского класса.

Одновременно в условиях растущей торговли и промышленности наблюдалось расслоение в рядах государственного крестьянства. С одной стороны, слагалась зажиточная верхушка, которая выделяла из своей среды торговцев, фабрикантов, подрядчиков, откупщиков и частично переходила в купеческое и мещанское сословие; с другой стороны — увеличивалось количество бобылей, бездомовных, «кутни-

[1] Центр. Ар., Нар. Хоз. (ЦАНХ). ф. мин. гос. имущ., I департ. (в дальнейшем обозначается „I д. МГИ“), 1840 г., № 2511, л. 3; „К 28“, № 1, лл. 83—84.

ков», «коморников», «халупников». К моменту киселевской ревизии 1837 г. от 3 до 5% казенного крестьянства составляли «неоседлые», бесхозяйственные семейства. Богатеи — «мироеды», «каштаны», «бульни» — хозяйничали в казенной деревне, командовали миром, вступали в стачку с земской полицией и делали своих односельчан объектом незаконных поборов и вымогательств[1].

Взыскание государственных податей, так называемых земских (местных) повинностей и особенно общинных «мирских» сборов становилось орудием обогащения для волостного и земского начальства и причиной расстройства и обеднения для крестьянской массы. Постоянно нуждаясь в деньгах, государство все туже и туже завинчивало налоговый пресс: начиная с 1724 г., шестнадцать раз повышались подушные и оброчные оклады; рост налогового обложения оказывался в обратной пропорциональности с ростом земельного обеспечения. К тому же натуральные повинности — дорожные, подводные, постойные и другие — всей своей тяжестью перелагались дворянской полицией на казенную деревню. Результатом такого хозяйственного положения было прогрессирующее обеднение государственных крестьян. Этот факт одинаково устанавливается и правительственными ревизиями, и донесениями местных чиновников, и многочисленными частными записками: неуклонно сокращалось количество крестьянского скота, истощалась выпахиваемая и неудобряемая почва, безнадежно росли податные недоимки. Несмотря на многократные «всемилостивейшие» сложения, недоимки на государственных крестьянах выросли к 1828 г. до 44 688 760 руб.; в отдельных селениях они достигали огромной цифры — 700 руб. на ревизскую душу[2]. Достаточно было очередного неурожая (а он повторялся все чаще) или случайного падежа скота, чтобы деревня оказалась на грани полного разорения. Земледелие — не только на севере, но и в плодородной черноземной полосе — переставало обеспечивать государственных крестьян. Они выискивали — не всегда успешно — подсобный заработок в местных промыслах, крупными партиями уходили на земледельческие и дорожные работы, наконец, тысячами снимались с места и самовольно или с разрешения начальства переселялись в Заволжье, Приуралье или на Северный Кавказ. Глухое брожение охватывало разоряющуюся деревню. Крестьяне осаждали местную и центральную власть многочисленными жалобами, вступали в борьбу с собственными выборными, с земской полицией и, временами, с присылаемыми военными командами. Волнения государственных крестьян, иногда принимавшие бурные формы вооруженного восстания, представляют одно из крупных явлений первой трети XIX в.

Такое положение должно было возбуждать тревогу в рядах господствующего класса и его правительства. Государственные крестьяне жили бок-о-бок с помещичьими, тесно общались с ними и не могли не оказывать на них влияния; понятно, почему судьбы государственного крестьянства непосредственно и живо интересовали правящее сословие. Не в меньшей степени волновал этот вопрос представителей самодержавной власти, для которой 13 миллионов «собственного» земледельческого населения составляли важнейший объект хозяйственной эксплоатации.

---

[1] О крестьянском расслоении накануне реформы Киселева большой материал имеется в отчетах ревизоров: ЦАИХ, ф. V, отд. собств. е. в. канцелярии (в дальнейшем обозначается „V о.“), №№ 26122—26176.

[2] „V о.“, № 26485, лл. 1—9; „К 25“, № 1, лл. 112—113.

II

Наиболее прогрессивную позицию в вопросе о государственных крестьянах заняли дворянские революционеры, сильнее всего затронутые буржуазными влияниями. Тяжелое положение казенной деревни не укрылось от внимания декабристов. В известной сводке Боровкова, составленной для Николая I, мы находим специальный раздел на эту тему. Батенков, Штейнгель, Каховский и другие члены тайного общества возмущались насильственным обращением крестьян в военных поселенцев, тяжестью натуральных повинностей, хищениями земской полиции, беспощадным выколачиванием недоимок.

Декабристы — в проектах Пестеля и Никиты Муравьева — выдвинули наиболее радикальную программу разрешения поставленного вопроса: государственные крестьяне должны стать равноправными гражданами свободного государства и получить в свое обладание занимаемую ими землю; именно здесь, на территории «вольных земледельцев», должна была быстрее и последовательнее всего осуществиться пестелевская схема аграрного передела. Такое разрешение вопроса открывало широкую дорогу развитию буржуазной собственности и капиталистического накопления. Если бы программа декабристов была практически осуществлена, это явилось бы сильнейшим ударом по системе «государственного феодализма».

Совершенно иную позицию заняла феодально-аристократическая группировка, исходившая из противоположных принципов — укрепления сословной иерархии, расширения дворянских привилегий, экономического усиления помещиков и сохранения крепостного права. Точку зрения этого дворянского течения еще в 1787 г., в связи с повсеместным неурожаем и голодом в России, выразил кн. М. М. Щербатов. Задумавшись над причинами разразившегося бедствия, Щербатов в специальной статье сурово критиковал неудовлетворительную постановку земледельческой техники, плохое использование казенных земель и недостаточное «рачение» о хлебопашестве. Для ликвидации хозяйственной отсталости Щербатов предлагал создать специальную «Государственную Коллегию земледелия и домоводства», поручив ей проведение широкого плана агрономических преобразований. В ведомство Коллегии земледелия должны отойти все государственные крестьяне со всеми казенными землями; Коллегия через особых директоров домоводства обязана руководить хозяйством государственных крестьян и переселять малоземельных на свободные пространства. Но Щербатов не верил в успехи казенного хозяйства и в способности государственных крестьян: его идеалом оставалась патриархальная вотчина дворянина, который энергично печется о повышении собственного дохода. Поэтому «для обновления упадшего у нас земледелия» Щербатов предлагал распродать все государственные и экономические деревни дворянам, «щитая кругом не 80 рублев за душу». Продажа должна быть произведена не за наличные, а в долг, под залог продаваемых деревень; государство ограничивается ежегодным получением процентов с постепенным погашением покупной суммы. От реализации этого плана дворянского «аграрного передела» Щербатов ожидал самых плодотворных результатов: «дворянство бы обогатилось, земледелие и другие домоводствы умножились, службы наградились, крестьяне лучше бы управляемы и защищены были; доимок бы не было, и казна не

токмо бы (не) потеряла, но нашла прибыль в денежном своем доходе»[1].

Классовый смысл этого проекта вполне ясен. Щербатов хотел расширить и легализовать происходящие процессы закрепощения казенных крестьян и расхищения государственного земельного фонда. Сословие «свободных сельских обывателей» уничтожается, государственные крестьяне окончательно сливаются с помещичьими и становятся объектом бесконтрольной эксплоатации со стороны дворянства; приобретение нескольких миллионов душ и десятков миллионов десятин земли необычайно усиливает экономическую мощь господствующего класса; наконец, с уничтожением казенных деревень, этих опасных очагов «необузданной свободы», утверждается и гарантируется спокойствие в помещичьей вотчине. «Государственный феодализм» целиком уступает место феодализму помещичьему.

Трудно сказать, насколько известной и распространенной была эта статья Щербатова, но можно быть уверенным, что высказанные им взгляды и пожелания находили сочувствие и поддержку в рядах дворянства. Через 40 лет они возродились в новой усовершенствованной редакции — в многочисленных записках, проектах и памятных заметках гр. Н. С. Мордвинова. Просвещенный поклонник Смита и Бентама, апологет личной свободы и частной собственности, Мордвинов умел красиво и либерально критиковать существующий порядок. Состоя президентом Вольно-Экономического Общества и членом правления Российско-Американской Компании, он лелеял обширные планы торговой и промышленной экспансии. Он понимал необходимость распространения знаний, использования европейской техники, поднятия производительных сил страны. Но эти характерные черты новой буржуазной идеологии не мешали Мордвинову оставаться на феодальных позициях в основных вопросах социально-политической жизни: принципиально осуждая рабство, он неуклонно боролся против всех проектов эмансипации; выступая против самодержавия, он противопоставлял ему идеал аристократической олигархии. Положение, создавшееся в казенных деревнях, приковывало к себе внимание Мордвинова. В специальной записке, обращенной к Александру I незадолго до восстания декабристов, он не жалеет красок для суровой и смелой характеристики действительности: «Там, где сохою скребут землю не глубже как на четыре пальца, где работает скот малосильный, всегда тощий; где паренина существует, где урожаи дают от 3 до 4 зерен, где на десятине накашивают 30 или много 50 пудов сена, где коровы питаются соломою, а люди едят хлеб мякинный, конечно, владыке сих 12 миллионов душ достаточно стяжания от них ожидать не можно... Но в сей дикости она (империя) и навеки остаться должна будет, если населяющие ее 12 миллионов пахарей и пастухов, живя среди мхов и дебрей, в грубых деревенских хижинах, оставляемы будут без всякого урядства и просвещения их во всем том, что потребно к благоденствию народному». Мордвинов непрерывно возвращается к интересующей его теме: разбирая положение государственных крестьян, он говорит о тяжести податей и натуральных повинностей, о вреде частых рекрутских наборов, о стесняющем влиянии паспортной системы и правовых ограничений, о размножении кабаков, о вымогательствах низших чиновников и вообще о плохой постановке казенного управления.

---

[1] М. Щербатов. Рассуждение о повсеместном голоде в России 1787 г. „Чтения в Общ. Истории и Древн. Росс.“, 1860 г., I.

Но Мордвинов решительно отклоняет распространенное мнение, что главная причина всех бедствий, испытываемых государственными крестьянами, заключается в малоземелье. На оборот, «недостаток земель для казенных поселян должно почесть счастливым для России обстоятельством... ибо доколе поселянин владеет великим пространством земли, дотоле он будет оставаться, наверно сказать можно, в скудном состоянии: при наренине, трехпольном разделении земли, при посеве ржи, овса, гречи, без всякого искусственного обрабатывания земли... Вместо того, чтобы наделить крестьян великим пространством земли, именно по 15 десятин на душу, должно бы там, где земли много, уменьшить количество в наделении их. Посему неблагоразумно делает тот министр финансов, который переводит казенных крестьян в те губернии, где пустой земли во множестве находится. Сию пустую землю полезнее бы было обращать в частную собственность, ибо и дворяне многие нуждаются в потребном для них количестве земли. Не видим ли, что ростовцы от малоземелья соделались искусными огородниками, костромитяне от бесплодия земли — плотниками, каменьщиками и в прочих ремеслах искусными». По мнению Мордвинова, причина крестьянского оскудения — не малоземелье, а принадлежность крестьян государственной казне, которая по своему существу неспособна вести правильное хозяйство. Вот «черное пятно», которое омрачает настоящее положение России и всегда будет умалять ее благосостояние. Чтобы выйти из состояния отсталости и дикости, нужно раздать казенных крестьян и государственные земли в частные руки, сделать их «частною собственностью многих, могущих радетельное об оных иметь попечение и приложить искусство к каждому участку для извлечения из оного способляемый природою плод. Без такового последовавшего в России преображения она процвести не возможет, и скудость всеобщая пребудет вовеки».

В 1826 г. Мордвинов составил детальный план такого «преображения» России. Согласно этому проекту, государственные крестьяне вместе со своими наделами и добавочной площадью земли передаются в долгосрочную аренду на 50—100 лет частным лицам (Мордвинов разумеет помещиков) и учебным заведениям. Помимо оброка, который остается неизменным и по-прежнему вносится государству, крестьяне от 18 до 50 лет облагаются в пользу арендатора барщинными повинностями в размере одного дня в неделю. С разрешения правительства арендаторы могут продавать, дарить и менять крестьян, но не имеют права раздроблять деревни при передаче их по наследству. В качестве специальной льготы для приобретателей слагаются все крестьянские недоимки, накопившиеся до момента сдачи в аренду; зато арендатор берет на себя обязательство ввести в имении плодопеременное хозяйство и учредить деревенский банк, который процентными платежами на вложенные капиталы гарантирует уплату государственных податей. Об определении наделов и об ограничении вотчинной власти Мордвинов не говорит ни одного слова — здесь все предоставляется на добрую волю самого арендатора. Как правило, в аренду должны поступать деревни, обеспеченные землею (с крестьянским наделом не менее 6 десятин на душу). Малоземельных крестьян правительство должно поощрять к выселению в города, давая им десятилетнюю льготу по уплате государственных и городских налогов.

Крестьяне, которые еще не перешли в частные руки, должны быть переданы министру двора и подчинены правилам удельного частновладельческого управления. Мордвинов отказывается видеть в них «свободных сельских обывателей» и трактует их, по аналогии с по-

мещичьими, как «крепостных государя императора». Весь этот план увенчивается образованием министерства сельского хозяйства, которое по примеру щербатовской Коллегии домоводства развертывает обширную программу агрономических улучшений[1].

Проект Мордвинова на 40 лет моложе щербатовского, отсюда его смягчающие коррективы и дополнения: аренда вместо продажи, однодневная барщина вместо неограниченной эксплоатации и т. д. Но по существу эти проекты вполне однородны: и тот и другой сливают государственных крестьян с помещичьими крепостными и передают национальный земельный фонд в полное распоряжение дворянства.

Мнение Мордвинова не было одиноким. Одновременно Н. Н. Муравьев предлагал раздать государственные земли с крестьянами в вечное и потомственное владение служащим дворянам. Еще раньше, в 1802 г., В. Зубов, а в 1814 г. М. Орлов и Дмитриев-Мамонов проектировали переход государственных ненаселенных земель в частные руки. Некоторые составители дворянских проектов не шли так далеко, как Мордвинов: они предлагали перевести казенных крестьян с оброка на барщину (проекты смоленского помещика Лопухина, отставного прап. Недоброво и торопецкого владельца Челищева)[2]. Широким распространением пользовалась мордвиновская идея подчинить государственных крестьян патриархально-попечительной власти правящего сословия. Существующая организация казенного управления подвергалась большим нападкам: она не обеспечивала бдительного надзора и руководства и порождала бесконечные притеснения и вымогательства. С точки зрения дворянства необходимо было поставить над крестьянами власть просвещенную и попечительную, дать казенным селениям то, чего им нехватало, что обеспечивало бы спокойствие и благоденствие в соседних помещичьих имениях — заботливого и опытного хозяина-вотчинника.

Особенно подробно обосновывает эту точку зрения бывший новгородский губернатор П. Сумароков. В своей интересной записке «О новом устройстве всех частей в губерниях», начатой в 1823 г. и законченной после суда над декабристами, он подвергает критическому разбору весь государственный и общественный уклад России. Реакционно-крепостническая позиция Сумарокова не вызывает никаких сомнений: он негодует на «зверское восстание» во Франции, которое «стремилось водворить безначалие, равенство», благоговеет перед законодательством Екатерины II и считает наилучшей формой правления самодержавие, фактически ограниченное дворянством; правда, он соглашается, что «наступит время к уничтожению рабства», но предупреждает против всякого неосторожного прикосновения к этому сложившемуся институту — «иначе взрыв подорвет основание, все сословия потерпят и безначалие сменит устройство». Административные реформы начала XIX в. представляются ему, так же как Карамзину, ненужным и вредным потрясением екатерининской системы; он отдает предпочтение разрушенным коллегиям и скорбит о нарушении достоинства Сената. Но, оставаясь на реакционной позиции в коренных вопросах политической жизни, Сумароков чрезвычайно далек от

[1] „Архив гр. Мордвиновых“, IV, стр. 201—205; VII, 59—60, 77—80; IX, 31—33, 43, 51, 67, 74, 76, 129—131, 136—137, 365, 407, 432; V, 716—717; VIII, 70—71, 172—175, 139, [illegible], 539, 566—567, 579, 636, СПб., 1902—1903.

[2] Центр. архив внутр. политики, ф. Гос. Совета, Комитет 6 декабря 1826 г. (в дальнейшем обозначается „К 26“), №№ 106, 33, 22; „Из писем и показаний декабристов“ под ред. А. К. Бороздина, стр. 146, СПб., 1906; „К 26“, №№ 25, 26, 28.

всякого официального оптимизма; его записка звучит как обвинительный акт против современного государственного управления. Проявляя дар наблюдательности и живого изложения, автор рисует конкретную картину отечественной отсталости — бедности и некультурности деревень, убожества городов, насилий и грабежа чиновников.

Среди других явлений общественно-политической жизни внимание Сумарокова привлекает тяжелое состояние государственных крестьян. Ему прежде всего бросается в глаза полная беззащитность казенной деревни, отданной на разграбление чиновникам: «Участи, собственности поселян не обеспечены, зависят не от уставов, окладов, а от исправников, заседателей, старост, десятников, проезжающих солдат, более или менее буйных, корыстолюбивых. Всякий цепляется за них, берет, что хочет, нет ни малейшей защиты, ничего известного положительного и самоуправия соделываются явными, будто позволительными, укрепляются от привычного терпения притесняемых. Собирают взятки по гривне, по полтине с души, и учащаемые поборы приводят в замешательство платящих... От сего недоимки во всем государстве, которые доходят до невозможности очистить оные».

Присматриваясь ближе к жизни государственных крестьян, Сумароков видит такую же неутешительную картину: он описывает черные избы, полные дыма, покрытые сажей и кишащие насекомыми, примитивное освещение лучиной, непрочную и нездоровую обувь из древесных лык; говорит о губительных эпидемиях оспы, которые некому лечить, о дальнополосице, которая изнуряет крестьян и рабочий скот, о неуравнительном и разоряющем влиянии рекрутства.

Критика существующего положения дает основание Сумарокову развернуть программу частичных всесторонних улучшений, которые не затрагивали бы крепостнической системы в целом. Главное, по его мнению, — преобразовать местную администрацию, заменить негодные органы новыми, отвечающими своему назначению. В частности, Сумароков предлагает радикально перестроить управление государственными крестьянами. В силу классовой ограниченности своего кругозора, он объясняет все бедствия крестьянской жизни отсутствием правильного просвещенного руководства. Крестьяне нуждаются в опеке: «Не можно оставлять наших крестьян при их произволе. У них все от малой до большой вещи укореняется привычками... Они еще младенцы природы, надлежит руководствовать их, указать на опытах выгоды, сотворять образования, употребить некоторое принуждение». Современные капитан-исправники, хотя выбираются дворянством, но не годятся на роли руководителей; их должности постыдно унижены, оплачиваются жалкими окладами, загромождены непосильными обязанностями, запятнаны вынужденным лихоимством. Сумароков предлагает иную, тоже сословно-дворянскую, но более сложную и независимую систему местной администрации. Каждая казенная волость должна иметь управителя из отставных чиновников, предпочтительно военных (т. е. дворян), который назначается министром финансов; управители несут функции полицеймейстеров и «радеют о всем, что только касается до пользы, благоустройства общества». Вместе с пятью выборными от волостного мира они образуют волостное правление, низший судебно-административный орган, обслуживающий территорию волости. Следующую инстанцию составляет уездная администрация: здесь взамен прежних капитан-исправников и заседателей учреждаются должности трех земских комиссаров, избираемых дворянством на неопределенное время и обязательно из среды местных помещиков. Земский комиссар занимает почетное

положение и живет в своем поместьи. Он свободен от всякого рода мелких исполнительных функций (все они отходят к волостному управителю), его задача — общее наблюдение за «благочинием» и взносом податей, периодические ревизии волостных правлений, ходатайства о нуждах обывателей, следствие по уголовным и тяжебным делам, принятие мер при чрезвычайных событиях (заразных болезнях, скотских падежах и т. д.). Высшей инстанцией является уездный предводитель дворянства, который избирается на неопределенное время и служит не за жалованье, а как почетный представитель сословной корпорации. Сумароков характеризует его власть следующими чертами: «он — начальник комиссарам, старшина дворян, опекун казенных крестьян, генерал-полицийместер, полный хозяин в уезде». Казенные крестьяне «находят в нем себе покровителя, он их защищает от обид помещиков по землям, промыслам, договорам, поставкам, платежам, от несправедливостей комиссаров, волостных судей, по ссорам с другими волостями, принимает жалобы, дает управу. Смотрит, чтобы они исправно отправляли подати, повинности, чтобы заведения на пользу призрения человечества были в порядке».

Сумароков не ограничивается провозглашением общей идеи попечительства: он развивает конкретную программу мероприятий, которую проводит в жизнь управитель с помощью волостного правления, под ближайшим руководством земского комиссара и высшим наблюдением уездного предводителя. Повсюду при волостных обществах учреждаются денежные капиталы, из которых крестьяне получают ссуды не выше 500 р. на покупку скота «и иные полезные для хозяйства предметы»; в деревнях строятся хлебные запасные магазины, приобретаются пожарные орудия, открывается богадельня для престарелых; волостное начальство приглашает повивальных бабок, скотоврача и цырюльника для привития оспы и подачи первой помощи; учреждаются школы для крестьянских мальчиков, организуется воспитание сирот; дома и улицы строятся по правильным фасадам и планам; с помощью переселения и новых земельных наделов уничтожается дальнополосица; выводятся черные избы, лучина, лыковые лапти, сооружается общественная баня; устраивается собственный кирпичный завод и распространяются ремесла; наконец, издается краткий катехизис об обязанностях крестьян «к вере, правительству, обществу, семейству». Для осуществления всей этой обширной программы крестьяне облагаются особой и, повидимому, значительной податью. Крестьянский «мир» продолжает функционировать, он сохраняет полную самостоятельность в хозяйственных и податных вопросах, но в делах «благочиния» и помощи он целиком подчиняется правительственной власти. Крестьянские выборные рассматриваются автором как приводной ремень, соединяющий дворянские попечительные органы с распыленною крестьянскою массою[1].

Таков был проект Сумарокова, ставивший государственных крестьян как «младенцев природы» под всестороннюю опеку «просвещенного» дворянского сословия. В какие бы благожелательные формы ни был облечен намеченный план, его объективная классовая сущность раскрывается перед нами с полною ясностью: подобное преобразование окончательно развязывало руки поместному дворянству в отношении государственных крестьян, — в частности при разрешении земельных споров и раскладке земельных повинностей. Фигура «хозяина уезда», предводителя дворянства, который великодушно

[1] „Н 26“, № 84.

защищает крестьян от земельных захватов помещиков и притеснений дворянских комиссаров, с головою выдает автора проекта. Сама программа попечительной опеки, которую не без маниловских приемов, развертывает Сумароков, восходит к патриархально-вотчинной практике крупного помещичьего имения.

Нам хорошо известна генеалогия этих попечительных инструкций. Ее исходный пункт — вотчинные наказы, которые давались управляющим «разумными» хозяйственными помещиками в целях повышения владельческих доходов. Эти наказы, обобщавшие практический опыт по управлению крепостными имениями, постепенно усложнялись и обрастали обширными дополнительными распоряжениями в зависимости от размеров землевладельческой вотчины. Так сложились подробные хозяйственные инструкции княжеских, удельных, демениальных имений; теории камералистов XVIII в. возводили их в принцип и переносили в публичную сферу государственного управления. Если мы вчитаемся в «наказы управителям» Волынского, Рычкова, Удалова, Вольфа, нам станет совершенно ясно, откуда явилось екатерининское «Наставление Экономическим правлениям» 1771 г.; в свою очередь, анализируя «Наставление» 1771 г. или аналогичный закон о казенных селениях Екатеринославского наместничества 1787 г., мы поймем происхождение хозяйственных параграфов «Учреждения об императорской фамилии» и повторивший его указ о казенных волостях Павла I. В данном случае законодательство коронованного вотчинника в обобщенной и развитой форме воспроизводило хозяйственные приказы частновладельческого имения. Попечительная программа Сумарокова опиралась на давнюю традицию и, в сущности, была идеализированным выражением патриархально-вотчинной политики. Барская опека над крепостными подданными, лишенными самостоятельных прав и свободного самоуправления, — таков был руководящий принцип дворянского попечительства Сумарокова.

В той или иной форме идея попечительной опеки развивалась другими дворянскими проектами — Лазарева-Станищева, сенатора Дурасова, волоколамского помещика Муравьева, флаг-капитана Васильева и т. д.[1].

Таким образом ни один из дворянских проектов, представленных правительству или изложенных в публицистических статьях между 1800 и 1833 г., не пошел навстречу требованиям декабристов. Начиная от широкой классово-заостренной программы Мордвинова, повторившей щербатовские мысли XVIII в., и кончая мелкими проектами по отдельным вопросам, мы встречаем единый сплоченный фронт крепостнической реакции. Распродажа национальных земельных резервов и полное закрепощение полусвободных государственных крестьян — как требование-maximum, перевод государственных крестьян на барщину и подчинение их патриархально-попечительной опеке дворянства — как пожелание-minimum — такова была программа правящего сословия, обращенная не вперед, к осуществлению буржуазной свободы и равноправности, а назад, к увековечению феодально-зависимых отношений.

Однако крепостническим проектам первой трети XIX века были свойственны две характерные особенности: почти все авторы исходили из признания тяжелого положения государственных крестьян и иногда

---

[1] „К 28", №№ 22, 29, 33; № 1, л. 27; № 8, л. 25; „V о.", № 26421, проект № 10; „Журн. Ком. мин.", 19 мая, 1831, № 959.

правильно улавливали действительные причины этого факта; с другой стороны, апеллируя к прошлому, они нередко облекали свои требования в одеяние экономического либерализма, аргументировали ссылками на развитие частной предприимчивости и постепенную ликвидацию рабства. Буржуазные отношения, которые внедрялись в систему феодально-крепостнического строя, заставляли приспособляться и выражать заскорузлые, отживающие понятия языком новой прогрессивной идеологии.

III

Мнения дворянства о положении и судьбах государственных крестьян были хорошо известны правительству. Какую же позицию заняла власть перед лицом этих сталкивавшихся дворянских мнений?

Александр I, вступив на престол, торжественно заявил, что он отказывается насаждать рабство — продавать государственных крестьян и жаловать их в вечную собственность. Либералы ожидали, что ученик Лагарпа, обещавший править «по законам и сердцу своей бабки», осуществит ее мысль — об издании жалованной грамоты «с ободным сельским обывателям». Действительность далеко не оправдала этих ожиданий: в 1810 г. правительство Александра I вступило на прямо противоположный путь, рекомендованный крепостническими проектами Щербатова и Мордвинова.

Как раз в это время, в связи с государственным дефицитом и прогрессирующим падением ценности ассигнаций, был разработан при активном участии Мордвинова финансовый план Сперанского. В программу этого плана входило образование особого капитала в целях изъятия и погашения ассигнаций путем распродажи оброчных земель и всех арендных имений. Министр финансов Гурьев предполагал продать в 37 губерниях 3 млн. десятин земли, около 2 млн. десятин лесов и 350 тыс. душ крестьян; общая сумма реализации должна была составить больше 100 млн. рублей серебром. Правда, при обсуждении этого проекта в Государственном совете кн. Чарторыйский энергично возражал против подобной меры. Но голос Чарторыйского прозвучал одиноко. Департамент экономии признал, что «продажа излишних казенных земель как для частных людей, так и для самой казны весьма полезная быть может».

Александр I согласился с мнением Государственного совета, и 27 мая 1810 г. был опубликован манифест «об открытии срочного внутреннего займа для уменьшения количества ассигнаций и для уплаты государственных долгов». Первыми параграфами этого акта устанавливалось, что определенная часть государственных имуществ — оброчные статьи, отдаваемые в наем некоторые казенные леса и «имения, арендные и другие, ныне во временном частном владении состоящие», — отделяется «для обращения ее в частную собственность посредством продажи»; самая продажа будет производиться с публичных торгов; населенные земли смогут приобретать не только дворяне, но и «купцы высших разрядов», в том числе иностранные капиталисты. Закон был издан так нерешительно и поспешно, что оставил открытым самый важный вопрос — о будущем положении продаваемых крестьян. Уже впоследствии, задним числом, Гурьев запрашивал, сохраняют ли силу инвентари, которыми определялись наделы и повинности крестьян, или, приобретая крестьян в собственность, помещик может руководиться исключительно своим произволом. Ответ на этот вопрос был найден в выражении манифеста: «Крестьяне переходят к покупа-

телям на помещичьем праве». Другими словами, они закрепощались владельцам без всяких ограничительных условий.[1]

Однако задуманная финансовая операция не получила широкого развития и не имела практического успеха. Государственные земли часто были не обмежеваны, не описаны и лишены планов; выяснение оброчных угодий и представление справочных ведомостей затянулось на многие месяцы. Комиссия погашения долгов подходила к вопросу с фискальной точки зрения и старалась поднять цены на продаваемые имущества. Наоборот, покупатели стремились приобрести казенные угодья подешевле и делали малые наддачи: иногда десятина плодородной саратовской целины вместо 10 р. шла по 2, по 3 рубля серебром. Публичные торги не давали желаемого эффекта и нередко отменялись из центра. Вместо 37 губерний торги состоялись только в 19. Оброчных угодий было приобретено только на 292 458 руб. серебром. Что касается арендных имений, то журналы Департамента экономии Государственного совета, утверждавшего заключенные сделки, дают нам следующие цифры: продажи были произведены в Киевской, Волынской, Подольской, Виленской, Витебской и Минской губерниях; всего было продано 37 имений и в них 11 686 ревизских душ на сумму 1 033 490 р. серебром и 757 155 руб. ассигнациями. Позднее 1 278 душ вернулись в казну вследствие отказов со стороны покупателей. По мере поступления сведений с мест правительство приходило к твердому выводу, что лучше оставить имущество в пользовании казны, чем распродавать его за бесценок в частные руки; вспомним, что авторы дворянских проектов стояли на противоположной точке зрения и требовали максимального понижения цен на казенную землю. Сжатое финансовым кризисом государство не могло согласиться на удовлетворение этого требования; интересы казны и частных землевладельцев сталкивались в условиях развивающегося денежного хозяйства[2].

Но кроме материальных соображений выдвигались другие не менее серьезные мотивы. При продаже казенных имений крестьяне не хотели идти в распоряжение частных собственников; в отдельных случаях они выражали готовность уплатить всю объявленную на торгах сумму, чтобы откупиться от угрожавшего закрепощения. Правительство нашло для себя выгодным такую операцию и утвердило ее постановлением Государственного совета. С другой стороны, все очевиднее становилось крестьянское малоземелье, все напряженнее — классовая борьба за землю. Когда в 1817 г. Александр I проезжал через Орловскую и Курскую губернии, местные однодворцы подали ему 403 жалобы на земельные захваты помещиков и на попытки самоуправно лишить их свободы. Этот факт произвел впечатление на императора, послужил предметом специальной записки Аракчеева и был поставлен на обсуждение в Комитете министров.

В том же 1817 г., в связи с отмежеванием крестьянской земли в пользу помещиков (на основании решения судебных инстанций), вспыхнули волнения государственных крестьян в Псковской губернии. Крестьяне целыми деревнями вышли на защиту своей земли, заявляя, что они «скорее умрут, чем дадут отрезать землю, без кото-

[1] ЦАНХ. ф. лит. „А“, 1810 г., №№ 19—28; № 6753; Архив Гос. совета, т. IV; Журн. Деп. гос. экон., стр. [illegible], 213—221, 228, 1515—1520, СПб., 1881 г.; ПСЗ, XXXI, № 24244.

[2] Арх. Гос. сов., т. IV, стр. 1522, 1526—1528, 1551—1553, 15[illegible] и сл., СПб., 1881; ЦАНХ. ф. лит. „А“, №№ 19, лл. 154 и сл., 199 и сл., 252, 2[illegible], [illegible]; № 22, лл. [illegible]—52; № 25/I, лл. 18—19; № 2[illegible], л. 189; № 2[illegible], лл. 505—510, 532—533, 520; Н. Блиох, Финансы России в XIX стол., I, стр. 98—101.

рой им жить невозможно». Правительство вынуждено было задержать исполнение судебных приговоров об отрезках крестьянских земель, — к чрезвычайному негодованию адмирала Н. С. Мордвинова. Через 3 года, в связи с усиливающимся малоземельем и недоимочностью, состоялось высочайшее повеление Сенату — ограничить раздачу жалуемых земель северными, юго-восточными и сибирскими губерниями. Через некоторое время министр финансов внес новое предложение — изъять из числа этих губерний еще три — Олонецкую, Вятскую и Оренбургскую, чтобы сохранить земельные резервы для увеличивающегося потока переселенцев. Но Комитет министров, и энергичнее всех адмирал Мордвинов, решительно воспротивились дальнейшим ограничениям.[1]

Таким образом, руководясь фискальными интересами и находясь под впечатлением крестьянских выступлений, правительство стало переходить на другой путь — охраны казенной собственности и обеспечения минимального крестьянского надела. Чтобы уяснить себе этот поворот, необходимо вспомнить особенности переживаемого момента. Период 1814—1818 гг. проходил под знаком тяжелого послевоенного кризиса: ряд губерний был разорен, финансы были истощены, раскрылись крупные злоупотребления высших чиновников, дворянство находилось в состоянии оппозиции, а главное — половина Европейской России была охвачена массовыми крестьянскими волнениями. Феодально-крепостническая система, разъедаемая внутренними противоречиями, едва справлялась с последствиями затяжной и дорого стоившей войны. Ярким симптомом дворянского и правительственного возбуждения этого периода может служить докладная записка умеренного Кочубея, поданная Александру I в декабре 1814 г. Записка эта, проникнутая опасениями и тревогой, испещренная резкими характеристиками, убеждает царя в необходимости дальнейшей, хотя и осторожной европеизации России.[2]

Нужно думать, что эта записка была не единственная и что сознание необходимости реформы прочно овладело Александром I в эти тревожные послевоенные годы. Одновременно царь дал ряд ответственных поручений: Новосильцеву — составить проект конституции, Аракчееву — разработать план уничтожения рабства, Сперанскому — подготовить гражданское уложение. Правда, эти реформаторские потуги были еще более бесплодными, чем в «медовый месяц» Негласного комитета: начавшись мечтами о проведении федеративной конституции, они закончились пробной организацией генерал-губернаторских округов. Но был момент, когда реакционная часть дворянства с трепетом ожидала манифеста об уничтожении крепостного права. Недаром в 1818 г. Мордвинов поторопился подать свою полемическую записку против подготовляемой реформы; он убеждал царя, что «патриаршее[3] управление» еще не отжило своего времени, что крепостные еще в младенческом состоянии, что крутые и быстрые меры всегда опасны. Дворянские опасения имели определенное и вполне реальное основание; именно в 1818 г. Александр I дал официальное поручение министру финансов гр. Гурьеву подготовить двойной проект — освобождения помещичьих крепостных и всесторонней реформы положения государственных крестьян. О второй части этого поручения рассказывает сам Гурьев в обстоятельной записке

[1] Д. 287, № 21; Архив гр. Мордвиновых, V, стр. 716—717.
[2] Д. 267, № 50 об. 235; Русск. Истор. Общ., XC, стр. 5—26.
[3] Т. е. вотчинно-патриархальное.

к составленному проекту; о первой части задания мы узнаем из дел II отделения собственной е. в. канцелярии, куда в 1866 г. были препровождены соответствующие материалы, найденные в бумагах умершего сына гр. Гурьева[1].

В свое время Гурьев пользовался расположением и поддержкою Сперанского, — раньше, чем перешел в ряды его активных противников. В качестве министра уделов он провел крупную административную реформу, которая легла в основу всей системы последующего удельного управления. В качестве министра финансов он держался определенного принципа, который делал его непопулярным в дворянской массе: отстаивать прежде всего «казенный интерес», особенно в столкновениях с частными лицами. Докладные записки гр. Гурьева показывают, что он претендовал на определенную политическую роль; в 1815 г. он выступил с контрпроектом, направленным против конституционных замыслов Александра I; в 1823 г. он возражал против плана наместнических округов, который привлекал к себе большое внимание императора. Повидимому, гр. Гурьев не был человеком принципа, убежденным носителем продуманной государственной программы. Но он связал себя с консервативными кругами, считался членом «русской партии» и занимал соответственную позицию, смягченную преклонением перед европейской культурой и государственностью. Это не мешало ему искусно маневрировать среди меняющихся политических веяний и в случае необходимости брать на себя поручения, которые шли дальше охраны существующего порядка. Во всяком случае на бюрократическом фоне начала XIX века он был достаточно солидной фигурой для подготовки задуманной реформы.

Для выполнения поставленной задачи Гурьев пригласил двух авторитетных специалистов: законоведа Балугианского и директора Департамента государственных имуществ Дружинина; первый хорошо ориентировался в европейском и русском законодательстве, второй непосредственно управлял государственными крестьянами. Судя по данным II отделения, они подготовили большой исторический очерк, за которым должно было последовать составление плана задуманного преобразования и, наконец, самое «Уложение». Но работа скоро оборвалась, повидимому в связи с переменою правительственного курса. После 1820 г., отмеченного южно-европейскими восстаниями и возмущением Семеновского полка, Александр I отказывается от плана социально-политической реформы и избирает путь открытой последовательной реакции. К этому моменту экономическое оживление ликвидировало последствия войны, крестьянское движение было подавлено, в Европе решительно утвердилась гегемония Священного союза. Первоначальная мысль связать улучшение участи государственных крестьян с освобождением крестьян помещичьих — повидимому по образцу австрийских, прусских и остзейских положений — была признана «несвоевременной» и сдана в архив. Однако тревожная мысль о перспективах будущего развития не оставляла Александра I; в 1823 г., давая отставку гр. Гурьеву, он потребовал от него окончания незавершенной работы. На этот раз дело шло исключительно о государственных крестьянах; вопрос о помещичьих крепостных, по крайней мере официально, был снят с очереди.

К июлю 1824 г. работа Гурьева была закончена. Он представил ее на предварительное одобрение императора и, получив его согласие,

[1] Д. 2-е, № 19, лл. 1—2; АИИ, ф. II отд. собств. е. и. канц., 1866 г., № 12 [illegible] ф. Гос. сов., отд. дел Гос. секретаря № 19, за 1866 г., л. 7.

направил на рассмотрение Государственного совета. Проект заключал в себе пять объемистых законоположений: 1) «Учреждение для управления государственными имуществами и казенными поселянами», излагавшее новую систему административных органов, 2) «Постановления о казенных поселянах и государственных имуществах», представлявшее собою сословный гражданский кодекс, 3) «Устав экономический для управления государственными имуществами», 4) «Устав судебный по делам государственных имуществ и казенных поселян» и наконец 5) «Сельский полицейский устав».[1] Как видим, Гурьев пытался охватить все стороны крестьянской жизни: хозяйственную, правовую, административную и даже культурную (в рамках так называемой «общей полиции»).

На первый план Гурьев выдвигал дарование крестьянскому сословию «твердого гражданского бытия, подобно как таковое установлено для дворянства грамотою, всемилостивейше оному пожалованною, и для среднего состояния Городовым положением». Отдельные сословные разряды государственных крестьян с разнообразными правами и обязанностями сливались в единое сословие «казенных поселян». За ними утверждались гражданские права, принадлежавшие свободным «податным состояниям»: право собственности на движимое и недвижимое имущество, право передвижения и перехода в другие сословия, возможность совершать обязательственные сделки, безусловная свобода заключения брака, свободный выбор занятий, право свидетельствования на суде, право наследования и опеки. На основании нового положения исключалась возможность закрепощения казенных поселян и передачи их тем или иным способом в частные руки.

Второе место — это составляло основной стержень проекта Гурьева — отводилось коренному изменению прежних форм землепользования. Общинное владение отведенными угодьями заменялось «бессрочным содержанием» существующего надела. Все участки, находившиеся у казенных поселян «под их усадьбами, дворами и всякими сельскими устройствами, также под пашнею, сенокосами и лугами, оставаясь по прежнему собственностью казны», с момента опубликования наказа переходили в потомственное владение отдельных домохозяев из платежа оброка. Правда, луга, сенокосы, выгоны и лесные угодья могли оставаться в пользовании крестьянского общества, но по постановлению $^2/_3$ голосов мирской сход имел право произвести раздел общинных земель между отдельными домохозяевами. При отсутствии такого коллективного решения каждый домохозяин имел право требовать выдела соответственного участка в бессрочное содержание. В случаях раздела и выдела требовалось «по возможности избегать раздробления по разным местам участка, принадлежащего одному хозяину», — другими словами, поощрялось «отрубное» хозяйство.

Гурьев мотивировал проектированные им аграрные мероприятия в соответствии с требованиями новой буржуазной экономики: «Вследствие установления бессрочного содержания поселяне превратятся в наследственных казенных фермеров, и прекратится главное препятствие к усовершенствованию нашего хлебопашества — ненадежность на прочное и продолжительное владение землею. Одна токмо полная уверенность в ненарушимом и спокойном пользовании полем навсегда или надолго может заставить земледельца употребить значительный капитал и труды на усовершенствование пашни и отправлять свое

[1] „К 25“, №№ 19, 15, 14, [illegible]

промысел на истинно хозяйственных правилах, без чего никогда не достигнет полного успеха земледелие...». Чтобы приблизить институт «бессрочного содержания» к частной земельной собственности, Гурьев придал ему очень широкое правовое содержание: «Бессрочное содержание есть наследственное право владеть, распоряжать и пользоваться недвижимым имуществом, казне принадлежащим...», т. е. соединять чересполосные участки посредством обмена, продавать, дарить, завещать или иным образом передавать свое право на землю в пользу другого казенного поселянина, в частности делить имущество при своей жизни между законными наследниками. Но сдавать участки в аренду и отдавать их в заклад не разрешалось, — очевидно, чтобы предотвратить спекуляцию казенными угодьями. Обязательным условием заключения сделок было сохранение определенного размера бессрочного участка — 20 десятин земли. На основании закона участок переходил по наследству к старшему сыну, а за отсутствием сыновей — к дочерям. Введение института «бессрочного содержания» участков ликвидировало не только земельные переделы, но и всякое наделение землею безземельных, малоземельных и вновь приписавшихся к обществу, если они не получили наследственной доли в недвижимом имуществе. Для таких обделенных крестьян открывалась возможность либо приобрести землю в собственность, либо взять свободные казенные участки в аренду (институт срочного содержания), либо заняться промышленностью, либо, наконец, поступить на работу по найму.

Автора проекта нисколько не пугала подобная перспектива; она соответствовала его принципиальной позиции, из которой вытекала и третья характерная особенность реформы. Санкционируя классовое расслоение деревни, Гурьев разделял государственных крестьян на две основные юридические категории — «хозяев», имеющих землю в качестве самостоятельных собственников или держателей казенных участков, и «работников», имеющих только дворы или усадьбы. Такое же деление на «хозяев» и «работников» устанавливалось для крестьян, занимавшихся промыслами и торговлею. Только «хозяева», обладавшие собственными или бессрочными участками, могли участвовать в мирском сходе и, следовательно, руководить хозяйственной жизнью селения.

Управление государственными крестьянами перестраивалось на началах «попечительной» власти, близко стоящей к казенному поселянину, и это составляет четвертую отличительную черту проекта. Центральное руководство управлением по-прежнему исходило от Департамента государственных имуществ при Министерстве финансов, губернским органом оставалась Казенная палата, а низшими органами управления — мирской сход и крестьянские выборные, составлявшие «Сельский приказ». Зато существенно изменялась волостная инстанция, которая по павловскому закону 1797 года строилась на основе выборного крестьянского самоуправления. Теперь в каждую волость должен был назначаться волостной управитель из чиновников, к нему присоединялись два заседателя, избираемых миром из казенных поселян — эти три лица составляли волостной приказ, непосредственно руководивший крестьянской жизнью. Решающая власть принадлежала назначенному агенту правительства, дворянину по происхождению или по выслуге. Крестьянские выборные должны были служить некоторым противовесом злоупотреблениям чиновников. Но волостной управитель, по предложению Гурьева, действовал не самостоятельно; он подчинялся Окружному правлению государственных

имуществ во главе с назначенным окружным начальником, «главным хозяином и попечителем казенных поселян». Эта промежуточная инстанция между губернией и волостью создавалась заново, она была призвана заменить в казенной деревне власть земской полиции и охватывала территорию округа из одного или нескольких уездов. Очерчивая компетенцию этих бюрократических классовых органов, Гурьев следовал традиционной программе патриархально-попечительной опеки, правда смягченной сравнительно с инструкциями XVIII в.: наряду с внешним благоустройством и благочинием, своевременным отбыванием повинностей, задержанием беглых и беспаспортных внимание правительства должно было быть направлено на улучшение крестьянского хозяйства и образование с этой целью добровольных капиталов, на борьбу с эпидемиями и эпизоотиями, на устройство училищ и богаделен и, наконец, на поддержание религиозного чувства и доброй нравственности. В этом пункте Гурьев опирался на богатый материал «наставлений» XVIII в. и инструкций удельного ведомства.

Пятым и очень важным принципом гурьевского проекта была коренная реорганизация оброчной системы; взамен неуравнительного подушного сбора проектировалось ввести поземельное обложение, соответствующее количеству и качеству земли, находящейся в пользовании каждого домохозяина.

Шестым и последним принципом реформы была планомерная охрана и эксплоатация государственных имуществ — лесов, пашен, лугов, выгонов, рыбных ловель, мельниц и других оброчных статей. С этой целью проектировалась последовательная система мероприятий: с одной стороны, внешнее и внутреннее межевание земель, их измерение и описание, нанесение их на планы, наблюдение за неприкосновенностью земель и борьба против самоуправных захватов, ведение судебных процессов; с другой стороны — устройство арендных ферм, введение агрономических улучшений, организация мирских хозяйственных предприятий, сдача излишних земель, содействие развитию торговли и промыслов.

Таково основное содержание проекта Гурьева. Созданный под сильным влиянием остзейских «Положений» и с учетом западноевропейского законодательства, он представлял собой своеобразное сочетание буржуазных и феодально-крепостнических наслоений. Расширяя гражданские права крестьян и ставя преграды их закрепощению, проект шел навстречу буржуазным требованиям личной свободы и равноправия. Разрушая поземельную общину и насаждая индивидуальное землепользование, он создавал благоприятные условия для развития хозяйственной предприимчивости и капиталистического накопления. Санкционируя классовое расслоение деревни и ставя в привилегированное положение имущую верхушку, проект форсировал процесс развития буржуазных отношений. К такому же результату должны были привести разрешенная в определенных рамках мобилизация земли, поощрение аренды свободных казенных земель и заботы об агрономических улучшениях. Межевание угодий и уничтожение чересполосицы создавали более благоприятные условия для ведения хозяйства нового буржуазного типа. Несомненно, что из всех правительственных проектов, касавшихся государственных крестьян, гурьевский проект открывал наиболее широкие возможности для изживания феодально-крепостнических отношений. Разрывая с хозяйственной традицией XVIII в., этот проект пытался направить государственное крестьянство на путь английского фермерства, приложения к земле частного капитала и сельскохозяйственных знаний.

Это была сознательная «ставка на сильных», на укрепление зажиточного сельского слоя, на пролетаризацию и устранение экономически слабых.

Однако не следует преувеличивать влияния этих буржуазных элементов в проекте 1824 г. Не надо забывать, что крестьянин становился не самостоятельным, а «казенным» фермером и оказывался в промежуточной позиции между крепостным оброчником и свободным арендатором. Земля оставалась собственностью дворянского государства, т. е. сохранялась основа «государственного феодализма». Укрепить это право казны, приучить крестьянина к мысли, что он только держатель, только пользователь казенных угодий, было одной из важнейших целей реформы. Обладание бессрочным участком приближалось к буржуазному праву частной собственности. Отсюда вытекали разнообразные правовые ограничения: можно было отчуждать землю только казенному поселянину, только в определенном размере и только с разрешения начальства; аренда, дарение и заклад бессрочных участков категорически воспрещались. Сильно ущемлялись и общегражданские права крестьянина. «Казенный поселянин» продолжал рассматриваться как неправомочный опекаемый член общества; хождение по тяжбам и подача жалоб разрешались только через «поверенных» чиновников министерства финансов; поручительство допускалось только в отношении односельчан; принимать и давать на свое имя векселя можно было лишь тем, кто имел свидетельство на право торговли и содержание фабрики; при отбывании податей и повинностей сохранялась традиционная круговая порука; отлучка обусловливалась разрешением волостного приказа и получением паспорта, для переселения и перехода в другие сословия требовалось согласие «мира» и принимающего общества. Наконец, что особенно важно, над государственной деревней воздвигалась громоздкая и сложная бюрократическая надстройка. Оставаясь в правовом отношении обособленным государственным сословием, которое подчинялось особому гражданскому кодексу, «казенные поселяне» ставились под опеку правительственных чиновников. Крестьянин не становился свободным гражданином, членом самоуправляющейся корпорации, а оставался под тяжестью внеэкономического принуждения, подчинялся надзору волостного управителя и распоряжениям окружного начальника. Сельский полицейский устав подробно регламентировал внутренний распорядок жизни крестьянина — вплоть до неукоснительного исполнения церковных обрядов, а наказание розгами — от 1 до 20 ударов и заключение в особой сельской тюрьме всегда угрожали за неисполнение мелких требований благочиния, за «мотовство, расточительность, праздность и пьянство». Крестьяне арендных имений вовсе изымались из круга действия реформы и оставались во власти барщинных отношений.

Проект Гурьева, учитывая развивающиеся буржуазные отношения, в интересах фиска старался приспособить к ним хозяйственную жизнь деревни; но он не ликвидировал системы «государственного феодализма», не уничтожал препятствий, мешавших росту капиталистического строя. Крепостники типа Мордвинова должны были признать свое поражение — казенные земли и крестьяне навсегда утверждались за государством. Но землевладельческое дворянство в целом не терпело ущерба; право земельного пожалования и аренда запасных имений сохранялись в прежней неприкосновенности; дворянское государство укрепляло свои финансы; заноза малоземелья была извлечена — неимущие и беспокойные элементы либо переходили на положение зависимых работников, либо устранялись из сельского хозяй-

ства: зажиточные, укрепляющиеся слои крестьянства ставились под наблюдение и руководство твердой дворянско-бюрократической власти. Казалось, вопрос о государственных крестьянах получил свое разрешение без потрясения действующей системы, но с учетом сложной социально-экономической обстановки назревающего внутреннего кризиса.

Тем не менее вокруг проекта вспыхнули оживленные дворянские споры. Отголоски этой фракционной борьбы сохранились в журналах комиссии Государственного совета, куда были направлены материалы Гурьева, в бумагах министра финансов, в делах Комитета 1828 г., в черновых записках Сперанского. Мнения дворянства разделились; более прогрессивные круги приветствовали предполагаемую реформу, не считая ее опасной для помещиков, — на такую позицию встала Комиссия составления законов, в которой участвовали Ал. Тургенев и Балугианский. Наоборот, крепостническое крыло было встревожено открывающимися перспективами; бессрочное содержание участков, говорили представители этой группы, означает фактически собственность на землю, но если такое право получит казенный крестьянин, то за ним потянется и помещичий; «наследственная кортома» (аренда) приведет к размножению класса бобылей, которые не найдут себе пропитания и станут тягостными и даже опасными подданными; новый порядок в казенных деревнях даст крестьянам необузданную свободу, которая может стать гибельной для помещичьего имения. Наконец, указывали на социально-политическую опасность такого крутого перелома; крестьяне привыкли считать землю своим общественным достоянием, — в этом убедили их писцовые книги, межевые инструкции, судебные решения; если эта общинная земля внезапно будет объявлена достоянием отдельных домохозяев, то кто поручится за спокойствие и порядок в казенной деревне?[1].

Возражения противников реформы были проникнуты боязнью буржуазных нововведений и опасением за будущее феодально-крепостнической системы. Комиссия составления законов старалась отвести эти возражения и высказалась за принятие проекта. Вопрос должен был разрешиться на заседании Государственного совета. Но раньше чем состоялось ожидаемое заседание, произошли события, которые спутали все карты. Осенью 1825 г. умер составитель проекта гр. Гурьев, в конце этого года последовала смерть Александра I, междуцарствие и восстание декабристов. На престол вступил новый царь, с трудом ориентировавшийся в сложных социально-экономических проблемах. Противники проекта поспешили воспользоваться создавшейся обстановкой. В качестве главного «агрессора» выступил министр финансов Канкрин, сменивший в 1823 г. отставленного Гурьева; после воцарения Николая Канкрин произвел своеобразный «coup d'état», который навсегда похоронил проект его предшественника.

Несомненно, Канкрин превосходил Гурьева и специальными знаниями, и замечательной работоспособностью, и пониманием практических жизненных отношений. Суровая школа, которую прошел в молодости Канкрин, его мытарства в бытность учителем, комиссионером и бухгалтером сделали его независимым и уверенным в своих суждениях и поступках. Но он вырос и получил политическое воспитание в затхлой атмосфере полуфеодального германского княжества;

[1] „К 28", № 20; № 1, лл. 15—17; № 8; АВП, ф. Гос. сов., департ. экон., 1831 г., д. № 23; АНХ, ф. Особ. канц. по секретн. части мин. фин., 1829, № 7/93, л. 142— Рукоп. отд. Лен. публ. биб-ки, Бумаги Ренпского, № Ao.

его мировоззрение строилось на отсталых теориях немецких камералистов; неожиданную и головокружительную карьеру он сделал в чужой крепостнической стране, которую видел преимущественно из окон бюрократической канцелярии. Отсюда — консервативная узость государственной и финансовой программы Канкрина, его неспособность к широкой постановке вопросов, его страх перед смелыми экономическими нововведениями.

Правда, постоянная угроза дефицита в условиях развивающегося товарного хозяйства помогла Канкрину оценить торговлю и промышленность, как могущественные источники повышения доходов. Канкрин понял на собственном опыте, какое значение имеет «умножение народного богатства», и сделал отсюда не один практический вывод. Но эта уступка времени не сделала его программу смелее и шире, не превратила ее в программу планомерного развития производительных сил империи; она осталась, по образному выражению председателя Государственного совета кн. Васильчикова, системой «заклепывания щелей» и вызывала попрежнему резкие выступления оппонентов, особенно Мордвинова и Любецкого, обладавших более широким классовым кругозором.

Такая же узость мышления характерна для Канкрина и в его постановке крестьянского вопроса. Как истый «европеец», он возмущался существованием «крепостного сословия» и не раз составлял подробные и мотивированные проекты освобождения крестьян. Но он был уверен, что «несправедливо, неосторожно и даже невозможно сразу отпустить крестьян»; в своем проекте 1818 г. он предусматривал постепенные этапы ликвидации рабства, рассчитанные ровно на 61 год; он прибавлял при этом, что слишком торопится и что следовало бы удлинить необходимые интервалы. Канкрин хорошо понимал значение государственных имуществ как доходной статьи в бюджете, ему было известно тяжелое хозяйственное положение казенной деревни. В своем отчете за 1826 год, рассуждая об усилении российских финансов, он уделил особое место государственным крестьянам. «Улучшить положение и управление казенных крестьян, — предлагал Канкрин, — расселить исподволь великое число малоземельных, по мере остающихся земель; исправить самое у них хлебопашество и распространить разные между ними промыслы». Это звучало крайне обще и консервативно. Но Канкрин не мог и не хотел дать более конкретный план преобразований; он предпочитал не ломать существующего порядка и не отваживаться на опасные эксперименты. Принципиально Канкрин не возражал против ликвидации общины; в 1818 г. он сам проектировал раздробление общинных земель на подворные участки, но теперь, в качестве министра финансов, он находил это мероприятие неподготовленным, неосуществимым и социально опасным; больше всего он боялся «умножения бобылей» и сопротивления со стороны крестьянства[1].

Руководясь такими соображениями, Канкрин решил предпринять обходный маневр: не ожидая, пока в Государственном совете будет рассмотрен проект гр. Гурьева, он представил Совету свой контрпроект. Канкрин постарался мотивировать свое предложение чрезвычайно осторожно; он не высказывался открыто против проекта Гурьева, а ссылался на сложность его содержания и, следовательно, продолжительность его обсуждения. Поэтому Канкрин предлагал произвести

---

[1] Записка об освобождении крестьян от крепостной зависимости („Русский Архив“, 1865 г., стр. 1360); Сб. РИО, LXXIV, стр. 192; „К 28“, № 1, лл. 15—17.

опыт, а именно «в некоторых губерниях, различествующих местными обстоятельствами», распространить на казенных крестьян «порядок для удельных установленный». Конкретно это означало — расширение хозяйственных отделений Казенных палат, изъятие государственных крестьян из ведения земской полиции, подчинение их новым органам в системе министерства финансов — «Окружным хозяйственным управлениям» во главе с назначенными окружными комиссарами; при этом Окружные управления и Казенные палаты в своей административной деятельности должны были руководиться инструкциями, изданными для удельных имений.

В этом проекте Канкрина были две стороны — принципиальная и практическая. Принципиально Канкрин приравнивал казенные имения к удельным, т. е. частовладельческим имуществам царской фамилии, которые официально трактовались как помещичьи вотчины. Другими словами, Канкрин ставил знак равенства между государственными и крепостными крестьянами, т. е. перечеркивал основную идею Гурьева о даровании «казенному поселянину» прав «гражданского бытия», о признании его свободным подданным государства. Используя в качестве руководства удельные инструкции, которые подходили к крестьянину с вотчинной точки зрения — извлечения максимального дохода, — Канкрин рассматривал государственного крестьянина исключительно как объект феодально-оброчной эксплоатации. Принципиально это было движение назад — увековечение системы «государственного феодализма» и приближение ее к системе феодализма помещичьего. Практически министерство финансов оказывалось единственным и полновластным хозяином в казенной деревне; благодаря новому органу, Окружному правлению, оно получало реальную возможность непосредственно руководить всею крестьянскою жизнью. О содержании экономической политики в деревне не было сказано ни одного слова; министерству финансов предоставлялась полная свобода действий, не ограниченная ни определенными задачами, ни определенными сроками; глухая ссылка на удельные инструкции только развязывала ему руки. Фактически это предрешало ликвидацию гурьевского проекта и предоставляло Канкрину ничем не стесненную инициативу для самостоятельной деятельности.[1]

Департамент экономии Государственного совета не согласился с подобной постановкой вопроса. На заседании 8 января 1826 г. он отклонил проект Канкрина, так как не видел никакой гарантии улучшения быта казенных крестьян в результате введения удельного управления. Но Канкрин не примирился с таким решением и, заручившись согласием Николая I, вторично внес свой проект на рассмотрение Государственного совета. Департаменту экономии оставалось признать совершившийся факт, предоставить министру финансов «распорядиться к приведению проекта своего в должное исполнение», а общему собранию Государственного совета — присоединиться к заключению Департамента экономии.

Так родилось «Положение 24 июня 1826 г.», наскоро и неряшливо отредактированный закон, оставлявший многие вопросы невыясненными или вовсе опущенными. По этому закону порядок управления удельными крестьянами распространяется постепенно «в первый раз в виде опыта, на казенных крестьян в губерниях Санкпетербургской и Псковской», впоследствии — «и в прочих губерниях, по особым каждый раз высочайшим разрешениям». Другими словами, заранее пред-

[1] АВП, ф. Гос. сов., Деп. экон., 1826 г., № 11.

решался вопрос об устранении гурьевского проекта и о замене его системой удельного управления. Отныне руководством для управления казенными крестьянами должны были служить «изданные по удельной части узаконения» (какие именно — не указывалось), с применением специальных узаконений для казенных крестьян там, «где крестьяне казенного ведомства различествуют от удельных» (где именно они «различествуют», — тоже не указывалось).[1]

Казалось бы, реформа, начатая Канкриным, должна была удовлетворить крепостнические круги дворянства: она предотвращала опасные последствия гурьевского проекта, брала из него то, что отвечало дворянским требованиям — патриархальную опеку над крестьянами — и, в общем, сохраняла систему существующих отношений. На деле же закон 1826 г. не встретил ожидаемого сочувствия. На ряду с крайней консервативностью закон 1826 г. обладал двумя характерными чертами, которые восстанавливали против него дворянство: он продолжал гурьевскую традицию охраны государственных имуществ и поручал эту охрану назначенным бюрократическим органам. Оппозиция имела достаточно материала для резкой критики закона: новые органы министерства финансов душили крестьян формальными предписаниями и бумажным делопроизводством. Не прошло и двух лет с момента издания закона, как обнаружились корыстные вымогательства окружных комиссаров, и пришлось назначить специальную комиссию для расследования этих злоупотреблений. Кроме того новое управление оказалось крайне громоздким и дорогостоящим. Все эти факты поколебали первоначальное решение Николая I, и вопрос о государственных крестьянах остался попрежнему не разрешенным[2].

IV

Однако и помимо этих фактов, сложившаяся политическая обстановка исключала возможность легкой победы для Канкрина. Восстание декабристов было только что подавлено. В разных концах страны вспыхнуло крестьянское движение. «Победители» чувствовали себя неуверенно и, развивая политику репрессий, должны были задуматься над причинами только что происшедших ошеломляющих событий. Николай искал поддержки в совещаниях с ближайшими сановниками, в переписке с Константином, в изучении политического опыта Александра I. Он чувствовал, что почва под его ногами колеблется, что в теле могущественной империи гнездится какая-то скрытая болезнь. Необходимо исследовать и искоренить это зло, вникнув в систему государственного устройства и управления. Так родилась идея специального комитета, который должен был пересмотреть все планы Александра I, все проекты, поданные в предыдущее и настоящее царствования, продумать всю систему государственных учреждений и всю организацию финансов, словом — все, от чего зависит спокойствие и благоденствие государства.

Такова была программа, намеченная уже спустя два месяца после восстания в интимных беседах Николая I с Кочубеем и, повидимому, со Сперанским: неопубликованная записка Сперанского «Обозрение гражданских установлений» была представлена в самом начале цар-

---

[1] АВП, Журн. Комит. мин., сент. 1826 г., лл. 274—278; Приложения к Журн. Комит. мин., сент. 1826 г., лл. 309—316; Второе ПСЗ, I, № 423; „История уделов“, I, стр. 65—104.

[2] „К 28“, № 6, 7; „Архив гр. Мордвиновых“, VIII, стр. 704; АВП, ф. Гос. сов., Деп. экон., 1831 г., № 52.

ствования и выдвигала политические проблемы, которые заполнили впоследствии деятельность Комитета 6 декабря. Кочубей и Сперанский были близки друг к другу и по своей прежней работе, и по своим общественным взглядам; оба они стояли на консервативной позиции, но критиковали существующую государственную систему; оба признавали необходимость самодержавия, но высказывались за продолжение реформы Александра; оба хотели преобразований осторожных и постепенных, но сближавших Россию с европейскими государствами. Это была дворянская, но антикарамзинская платформа, решительно противопоставленная ревнителям старины и поклонникам административной системы XVIII в. Кочубей и Сперанский принадлежали к той группе, которая чувствовала нарастание кризиса феодально-крепостнической системы и стремилась преодолеть его своевременными и благоразумными мерами. Николай I не случайно избрал их руководителями секретного Комитета: в лице обоих он видел не только знатоков государственных вопросов, но и носителей умеренно-преобразовательных идей предшествующего царствования. Привлекая их к выполнению ответственной задачи, определившей всю последующую политику, Николай постарался обеспечить их необходимым материалом. Манифестом 13 июля 1826 г. подданным Российской империи разрешалось приносить к подножию трона свои мнения о необходимых улучшениях в государстве. Целый поток дворянских записок, проектов и жалоб на самые разнообразные темы общественно-политической жизни был ответом на это разрешение.

Комитет 6 декабря широко воспользовался этим материалом при построении своего плана общей реформы. Среди других вопросов, поднятых авторами записок, был наиболее волнующий дворянство вопрос — о крестьянах, в частности о крестьянах государственных. На ряду с проектами реформы центральных и местных учреждений, уничтожения чинов, отмены дворянской выслуги, образования среднего сословия «граждан» Комитет не мог не поставить социальной проблемы — о крепостном праве и о его постепенной ликвидации. Правда, ко всем вопросам Комитет подходил с исключительной умеренностью и осторожностью, находясь под впечатлением только что разгромленного восстания и предвидя отпор со стороны крепостнической реакции. Приходилось выискивать далекие обходные пути и уверять себя в реальности мирных безболезненных решений. Опыт восточно-европейских монархий казался поучительным и ободряющим примером. Прусские и австрийские реформы XVIII в. начались благоустройством государственных доменов и закончились освобождением помещичьих крепостных. России необходимо было избрать тот же благоразумный и правильный путь; эту мысль отчетливо выразил Сперанский в своей известной записке о крестьянах. Ее подхватили и закрепили в виде руководящей формулы члены Комитета 6 декабря.

Та же самая точка зрения более откровенно и обоснованно была высказана шесть лет спустя Кочубеем на заседаниях особого Комитета, обсуждавшего проекты о государственных крестьянах. «Прошедшее царствование, — говорил Кочубей, — направление умов и часто являвшиеся признаки нетерпеливого перенесения помещичьими крестьянами их рабства, обращали внимание правительства к сему важному предмету. Не оспаривая, что правительство в то время, может быть, слишком явно изъявляло чувства свои, нельзя однако же отвергнуть, что нетерпение крестьян, вероятно, еще более усилилось, скрываясь, может быть, только по боязни решимости и твердости, с коими правительство теперь все беспорядки укрощает. При таковом положении

генцей должно конечно помышлять о том, как на будущее время обеспечить спокойствие государства. В сем отношении люди предусмотрительные, удаляя всякую мысль о даровании мгновенно свободы крестьянам, признавали необходимым действовать с большою осмотрительностью и постепенно, приуготовляя крестьян к перемене их положения, а между мерами к достижению, самою надежною почитаемо было: устроить поселян казенных, дать им прочное существование и постановить правила для повинностей, взаимно им и казне выгодные, дабы сим образом можно было впоследствии, с должною осторожностью, ввести таковое положение и в помещичьих владениях. Рассматриваемое с сей точки зрения дело об устройстве казенных крестьян заслуживает особенного внимания и стараний правительства».

Таким образом реформа управления государственными крестьянами приобретала в глазах правительства новое и могущественное значение. Она должна была вывести дворянское государство из состояния глубокого обостряющегося кризиса, о котором говорили только что пережитое восстание, критическое содержание всеподданнейших записок и периодические отчеты III отделения. Очень вероятно, что мысль о взаимной зависимости обеих реформ — постепенного смягчения государственного и помещичьего феодализма — уже владела сознанием Александра I, когда он давал свое поручение Гурьеву; но только теперь — в условиях более сложной обстановки — она была высказана официально и получила значение государственной директивы. Николай I целиком согласился с позицией Сперанского и Кочубея; с этого момента вся его политика в крестьянском вопросе исходила из этого основного положения[1].

Такая постановка вопроса о государственных крестьянах приводила к очень важным социально-политическим выводам. Она окончательно порывала с крайней реакционно-крепостнической программой Мордвинова, Муравьева и Зубова; она требовала такого экономического и правового преобразования, которое послужило бы стимулом для освобождения помещичьих крепостных; наконец, она ставила на очередь не обособление государственных крестьян как особого замкнутого сословия, а его всестороннее сближение с остальными слоями земледельческого населения. Но все это означало решительный отказ от принципиального курса Канкрина, который своим Положением 1826 г. направлял развитие в диаметрально противоположную сторону: насаждения в казенной деревне приемов частновладельческого вотчинного управления, затушевывания экономической стороны вопроса и превращения государственных крестьян в замкнутый обособленный мир, подчиненный усмотрению Министерства финансов. С точки зрения Комитета 6 декабря нужно было ликвидировать неправильный «опыт» Канкрина, заново поставить вопрос о государственных крестьянах, пересмотреть проект, составленный Гурьевым, и подготовить новый, соответствующий выдвинутым задачам.

Таковы были мотивы, продиктовавшие постановление Комитета — не дожидаясь нового гражданского уложения, которое определит права и обязанности казенных крестьян, образовать особую Комиссию для выяснения начал их хозяйственного управления. Комиссия должна была состоять «из опытных в сельском хозяйстве людей», и быть совершенно независимой от Министерства финансов. Помимо личной

[1] [illegible] ..., лл. 305–310, 212, 152–154; Вопрос [illegible], I, № 16; Сб. РИО, LXXIV, стр. 173–176.

перегруженности Канкрина, учитывалось то обстоятельство, что «министры финансов нередко и, вероятно, по роду обыкновенных своих занятий, почти невольным и неприметным для самих себя образом увлекались предпочтительно к мгновенным прибылям казначейства, вместо видов, кои, открывая новые источники доходов или усовершая существующие, впоследствии доставляют истинные государству выгоды». В сущности, это было официальным вотумом недоверия по адресу Канкрина и заранее предопределяло решение Комиссии.

Николай I согласился с постановлением Комитета, но внес в него две существенные поправки: Комиссия должна была рассмотреть вопрос о государственных крестьянах во всей полноте не только с хозяйственной, но и с полицейской точки зрения, а при окончательном обсуждении ее проектов допускалось присутствие министра финансов. Чтобы придать Комиссии «более важности», решили назвать ее Комитетом и «привязать ее к высшему месту в империи», назначив ее председателем члена Государственного совета. После некоторых колебаний выбор остановился на кн. Алексее Куракине, руководителе Департамента экономии Государственного совета. Кочубей предварительно посвятил его в планы правительства. Сперанский составил текст высочайшего рескрипта, и 20 апреля 1828 г. существование нового особого Комитета было официально санкционировано. Перед ним была поставлена большая задача — рассмотреть законопроект Гурьева, «сообразить» Положение, введенное в Петербургской и Псковской губерниях, принять во внимание другие существующие предположения и «основать полный проект устава об управлении казенных крестьян»[1].

Кн. Алексей Куракин был достаточно заметной фигурой в рядах крупной феодальной аристократии. В прошлом участник оппозиционного панинского кружка, он был вознесен на высоту иерархической лестницы Павлом I, занимая последовательно посты управляющего уделами, генерал-прокурора и министра внутренних дел. По мнению Николая Тургенева, Алексей Куракин «не мог пожаловаться на недостаток природного ума», но «его характер, его инстинкты толкали его к укреплению ярма рабства; за учтивыми манерами светского человека» этот царедворец скрывал в себе отсталого и дикого крепостника. Н. Тургенев противопоставлял Куракину Мордвинова, как воплощение света и европейской цивилизации — мраку и азиатскому варварству. Внимательнее присматриваясь к воззрениям и деятельности обоих сановников, мы должны изменить характеристику, данную Тургеневым: и просвещенный граф Мордвинов, и малообразованный князь Алексей Куракин одинаково выступали защитниками дворянских крепостнических интересов; тот и другой, хотя и в разной степени, были затронуты влиянием новой европейской культуры. Куракин был не только человеком опыта и рутины, у него имелись принципиальные взгляды и самостоятельные проекты; Тургенев должен был констатировать, что во всех тяжбах между крепостными и помещиками о свободе Куракин неизменно высказывался в пользу крестьян. В 1826 г. он представил проект об уничтожении гильдий, исходя из положения — «свобода есть душа торговли». Оставаясь прежде всего крупным аристократом, он отдавал некоторую дань буржуазной идеологии, хотя никогда не поднимался до такой умственной высоты, какой достигал адмирал Мордвинов. Эта характерная

[1] Сб. РИО, LXXIV, стр. 14[illegible], 175—176, 251—255, 297—298, 3[illegible]2, 340, 349; „К 26[illegible], № 2[illegible], л. 151; № 105, лл. 1—3.

внутренняя двойственность, отражавшая противоречия переживаемого периода, ярко сказалась на позиции Куракина как председателя Комитета 20 апреля[1].

Несмотря на свою глубокую старость, Куракин быстро и энергично приступил к делу. Комитет собрал большой и разнообразный материал, воспользовавшись данными государственной канцелярии, нескольких министерств и отчасти представителей местной администрации. В течение 7 месяцев состоялось 19 заседаний, на которых были выслушаны и рассмотрены все накопившиеся проекты, Лифляндское и удельное положения, законы о государственных крестьянах, отзывы губернаторов, докладные записки членов Комитета и, наконец, разработанный проект нового управления[2]. Куракин проявил живую инициативу и своей властной фигурой заслонил всех остальных сотрудников.

В своих построениях Куракин исходил из противопоставления двух систем — Гурьева и Канкрина. Принципиально он отдавал предпочтение первой, «по коей сословие поселян государственных облекается в бытие политическое», т. е. получает права свободных подданных. Он находил, что «правила другой системы, напротив того, удерживают их в настоящем положении крестьян помещичьих, в зависимости неограниченной, без всякой к ним доверенности в разных отношениях, в совершенной ничтожности в обязательствах личных, и в одном безмолвном исправлении податей и повинностей». Куракин принимал и хозяйственные принципы гурьевского проекта — индивидуальное землепользование и поземельное обложение: по его мнению, только такая система «указывает неиссушаемый так сказать источник будущего сельского изобилия в едином постоянстве владений и в уравнительности податей существовать могущего». Но вместе с тем проект Гурьева пугал Куракина своим радикализмом, мгновенным и повсеместным потрясением существующего хозяйственного порядка. Являясь рупором крепостнических суждений, Куракин повторял уже известные дворянские аргументы о чрезмерном увеличении бобылей и о вредном влиянии реформы на помещичьи вотчины. Куракин считал особенно опасным предоставлять домохозяину широкое право распоряжаться бессрочно используемым участком: «Мысль, что сия земля принадлежит ему не только как хозяину, но по нынешним понятиям иного народа как господину, может распространиться между крестьянами, принадлежащими дворянству, и, укореняясь, сделаться новым препятствием для установления иного порядка сношения их с помещиками и для уничтожения личного рабства».

Вся эта аргументация ярко вскрывает классовую позицию автора: он хочет устранения элементов рабства из положения помещичьих крепостных, он не боится расширения их гражданских прав, так же как превращения государственных крестьян в сословие свободных обывателей; но он считает крестьянские наделы помещичьих имений неотъемлемой собственностью дворянства и представляет себе взаимные отношения крепостного и землевладельца на основе феодальной зависимости, постепенно перерастающей в форму арендного договора. С этой точки зрения институт бессрочного содержания земельных участков, конструированный Гурьевым, угрожал неприкосновенности

---

[1] Из архива кн. Ф. А. Куракина („Старина и новизна", XIV, стр. 157—[illegible], М., 1911; Император Павел и его время. Записки курляндского дворянина („Русская старина", 1887 г., № 11, стр. [illegible] и сл.; Н. Тургенев. Россия и русские, стр. 11[illegible], [illegible] 376—377, М., 1915; „К 28", № 157, л. 75; Сб. РИО, LXXIV, стр. 213, 251.

[2] „К 28", №№ 13, 33, [illegible].

праву помещичьей собственности и мог направить хозяйственное развитие по опасному и нежелательному пути. По мнению Куракина, необходимо соблюдать строгую постепенность и воспитывать казенного, а следовательно и помещичьего крестьянина в привычном и твердом убеждении, что не земля зависит от поселянина, а поселянин зависит от предоставленного ему надела.

Из этого исходного пункта вырастает следующий самостоятельный план Куракина. Государственные крестьяне не обособляются в отдельное замкнутое сословие, а подчиняются действию общих государственных узаконений, являясь членами свободного податного состояния. Крупные торгово-промышленные села объявляются городами с предоставлением крестьянам прав городского мещанства. Среди крестьян земледельцев устанавливается институт личного землепользования, но не сразу, не повсеместно, а в строгой и медленной постепенности. На первый раз выделяются две малоземельные и две многоземельные губернии и под руководством правительства, при государственной поддержке организуется массовое переселение из губерний малоземельных в многоземельные. Переселяются преимущественно многотягольные зажиточные семьи; им нарезываются отдельные (мы бы сказали «отрубные») участки со всеми нужными угодьями, размером от 30 до 500 десятин. Переселенцы пользуются землею на правах потомственного бессрочного содержания без права переделов, но и без права раздела и отчуждения. По истечении 2—3-летнего льготного срока на переселенцев налагается поземельная подать, соответствующая выгодам данного участка. На старом месте жительства остаются преимущественно малотягольные семьи; их наделы расширяются за счет переселившихся по крайней мере до 10 десятин на тягло; всякие переделы запрещаются; крестьяне, занимающиеся промыслами, получают исключительно усадебные участки. Что касается прибылых членов семейств, то эти излишние руки могут либо переходить в промышленность, либо арендовать соседние помещичьи дачи, либо переселяться на свободные земли. Поземельная подать вводится и среди оставшихся крестьян. Вся эта грандиозная операция принудительного перемещения населения производится особой чрезвычайной комиссией, которая действует по инструкции Комитета Куракина; председатель комиссии облечен широкими правами генерал-губернатора.[1]

Организация земской полиции должна была подвергнуться радикальному преобразованию. Куракин не устанавливает принципов этой реформы, возлагая разработку ее на будущую Комиссию, но он подробно излагает проект временного управления казенными крестьянами, которое вводится в ожидании будущего коренного переустройства. Здесь он последовательно идет по пути, указанному дворянскими крепостническими проектами; выборные крестьянские органы в волости и в селении сохраняются, но над ними воздвигается «попечительная» власть в лице Окружных правлений (заимствованных из проекта Гурьева и Положения 1826 г.) и особого попечителя, избранного губернским дворянством из числа местных помещиков, бывших предводителей дворянства. Попечитель наблюдает за всеми проявлениями крестьянской жизни, присутствует на волостных выборах, следит за поступлением податей, проверяет отбывание рекрутской повинности, печется о благосостоянии крестьян, принимает их жалобы, прекращает их споры, сносится по их делам с центральными и местными органами.

---

[1] „К 28", №№ 2, 3; Сб. РИО, LXXIV, стр. 346—347.

Под его руководством действуют его ближайшие помощники (один выбранный из дворян, остальные крестьянами на волостных съездах), дальше — окружные комиссары, волостные старшины и сельские старосты, снабженные подробнейшими наставлениями, регламентирующими их должностные обязанности. [1]

Принудительное переселение сотен тысяч крестьян и патриархальная опека дворянского попечителя достаточно выразительно иллюстрируют крепостнические тенденции куракинского проекта. Но эти тенденции особенно ярко обнаруживаются в двух второстепенных, но очень характерных предложениях Комитета. Проектируя в районах нового водворения крупные и мощные крестьянские хозяйства (наподобие английских ферм) и стремясь обеспечить их недостающей рабочей силой, Куракин старается избежать размножения бездомовных бобылей; он предлагает разрешить домохозяевам покупать крепостных работников при условии снабжения их небольшим наделом и в течение 24 лет пользоваться их трудом в размере 3-дневной барщины. С другой стороны, он проектирует устройство магазинной пашни (для обеспечения продовольственных запасов), на которой организуется коллективная барщина самих домохозяев. «Государственный феодализм», не только не исчезал, но обрастал новыми крепостническими институтами.

Таким образом проект, разработанный Куракиным, представлял собой попытку удовлетворить и сторонников, и противников проекта Гурьева. Основные принципы последнего — освобождение государственных крестьян и ликвидация поземельной общины, — которым была обеспечена постепенная и безболезненная реализация, сочетались здесь с началом дворянской попечительной опеки в еще более обнаженной сословной форме, чем это предусматривалось положениями Гурьева и Канкрина. Проект Куракина представлял собою эклектическое соединение буржуазных и крепостнических тенденций; он противостоял и крайней помещичьей программе Мордвинова и удельной ориентации Канкрина, но очень близко подходил к дворянским проектам Сумарокова, Муравьева, Лазарева-Станищева и др. Требуя от правительства значительных хлопот и материальных издержек, проект оттягивал разрешение наболевшей проблемы на очень продолжительный и неопределенный срок. Такая постановка вопроса о государственных крестьянах не отвечала задачам Комитета 6 декабря, — она не только не обеспечивала воздействия государственной власти на помещиков, но, наоборот, ставила политику власти в зависимость от органов местного дворянства.

Немудрено, что проект Комитета 20 апреля встретил чрезвычайно холодный прием со стороны Кочубея, Сперанского и их ближайших сотрудников. Предложения Куракина были признаны трудно осуществимыми, а некоторые даже противоречащими задачам правительства и началам здравой политики. Николай I приказал Комитету 6 декабря рассмотреть проект вместе с министром финансов Канкриным и министром двора и уделов Волконским. Это гласное совещание, известное под названием Комитета Кочубея, организовало в начале 1830 г. ряд заседаний, не получивших никаких практических результатов. Усилия Сперанского продиктовать правительству осторожную земельную реформу — постепенно прекратить переделы, переселить малоземельных крестьян в юго-восточные и сибирские губернии, водворить среди них индивидуальное землепользование и обло-

[1] „К 28". № 4.

жить их поземельной податью — натолкнулось на упорное сопротивление со стороны Канкрина.[1]

Скоро изменилась и общая политическая ситуация. После революционных событий 1830—1831 гг. рушился план сословно-административной реформы, проектированной комитетом 6 декабря, а с ним и попытка Сперанского — ввести крестьян в рамки общей административной системы, уничтожив обособленность государственных крестьян и устранив элементы патриархального попечительства. Однако в 1832 г., под давлением финансового кризиса, вопрос о государственных крестьянах снова был выдвинут на очередь. Вчерашние противники — Канкрин и Сперанский — как будто обрели общий язык перед лицом сплотившегося реакционно-крепостнического фронта; Канкрин согласился на компромиссный хозяйственный план Сперанского, Сперанский и Кочубей — на принципы «удельного управления». Но это соглашение, закрепленное в Комитете Кочубея, не было вполне искренним. Под влиянием европейских событий, в частности борьбы ирландских крестьян за землю, Канкрин все больше убеждался в необходимости сохранить поземельную общину, как консервативный оплот против революционных потрясений. Он сознательно затягивал составление нового проекта, а в 1834 г. попытался, отодвинув осуществление хозяйственных реформ, распространить закон 1826 г. еще на десять губерний. Однако Государственный совет дал самую резкую критику «опыту» Канкрина, отказался принять его предложение и убедил в правильности своей оценки Николая I. Вопрос о государственных крестьянах остался снова не разрешенным[2].

1834 и 1835 годы были особенно тревожными в жизни государственных крестьян. Почти повсеместный неурожай разорил целые районы, и от правительства требовалась экстренная помощь продовольственной и семенной ссудой. В условиях голода и бескормицы усилились обычные эпидемии и эпизоотии, которые вырывали из крестьянских семей работников и лишали их скота. Недоимки государственных крестьян выросли еще больше. Закон 1833 г. о взыскании податей необычайно усилил финансовую эксплоатацию крестьянства; однако обыкновенные средства «полицейского понуждения» оказались недостаточными для выжимания текущих и недоимочных платежей. По представлению министра финансов Николай I предписал производить в «упорствующих» селениях военные экзекуции: на основании соглашений губернаторов с командирами внутренней стражи, в избах располагались военные отряды, которые должны были кормиться за счет населения и «побуждать» его к уплате казенных и земских повинностей; военные команды не уходили из деревень до тех пор, пока не выжимали из крестьян всей причитающейся суммы. Однако насилия, которыми сопровождались эти николаевские «драгонады», не могли создать новых источников дохода и еще больше опустошали казенную деревню. Ко всем бедствиям этих тяжелых годов присоединилась массовая передача государственных крестьян в удельное ведомство, взволновавшая все среднее Поволжье и Приуралье.

В 1835 г. массовые волнения казенных крестьян вспыхивали в самых различных концах империи. Самое крупное и упорное дви-

---

[1] Сб. РИО, LXXIV, стр. 279—289, 338—339; 341, 345, 352—355, 364, 368—370, 375; АВП, ф. Гос. сов., Деп. экон., 1829 г., №№ 88, 139; 1831 г., № 45; „К 26“, № 212, лл. 115—126; Журн. ком., II, лл. 345—346; РОЛПБ. бум. Репинского, № 40.

[2] Сб. РИО, XC, стр. 467—536, 540—607; „К 26“, № 92, лл. 69—72, 75—77; 122—125, „К 26“, № 212; АИХ, ф. Особ. канц. мин. фин., 1829 г., № 7/93, лл. 59—82, 101; АВП, ф. Гос. сов., Деп. экон., 1834 г., № 52.

жение, которое вылилось в форму вооруженной борьбы и оживило воспоминания о временах Пугачева, разразилось в Пермской и Оренбургской губерниях. Движение распространилось на несколько уездов, подняло тысячи государственных крестьян, перекинулось на башкирские кантоны, на селения татар, мещеряков и тептерей, сопровождалось сражениями с военными отрядами и грозило восстанием горных заводов. Крестьяне Бирского, Троицкого, Кунгурского, Красноуфимского уездов сопротивлялись передаче их селений в удельное ведомство. Всем этим волнениям 1835 г. сопутствовали вызовы военных команд, а в Приуралье — мобилизация всех местных вооруженных сил во главе с генерал-губернатором Перовским. Командировки на места жандармских чинов и флигель-адъютантов, организация военных судов, применение телесных наказаний и массовые ссылки в Сибирь показывают, какое значение придавало правительство движению 1835 г. Было ясно — в казенной деревне создалась обостренная ситуация, которая таит в себе новые и трудно предвидимые осложнения.[1]

В такой обстановке был создан новый Комитет 1835 г., который должен был обсудить вопросы о помещичьих и государственных крестьянах и который непосредственно предшествовал реформе Киселева.

V

Несмотря на крушение всех правительственных проектов, начиная с плана всеобъемлющей реформы Гурьева и кончая принципиальными установками Комитета Кочубея, двадцатилетняя фракционная и междуведомственная борьба имела определенное практическое значение. Она заставила правительство разобраться в сущности выдвинутой проблемы, внимательно прислушаться к мнениям дворянства и определить основное направление будущего преобразования. Кризис феодально-крепостнической системы, оказывавший непосредственное давление на власть повторяющимися финансовыми затруднениями, разорением и недоимочностью деревни, волнениями помещичьих и государственных крестьян, заставил эту власть занять определенную социальную позицию.

Самодержавие охраняло интересы дворянства в целом, оно стремилось спасти шатающиеся феодальные устои и должно было считаться с новыми буржуазными отношениями. Исходя не только из фискальных и узко полицейских мотивов, но также из сознания нарастающей социальной опасности, самодержавие не могло согласиться с крайними крепостническими требованиями Щербатова и Мордвинова. После попытки осуществить распродажу казенных земель и крестьян правительство поняло финансовую убыточность и политический вред такой меры. С этого момента сохранение и широкое использование системы «государственного феодализма» стало сознательной и настоятельной задачей правительства. Но поднять доходность казенных имений в условиях развивающегося капитализма означало — освободить крестьянина от стесняющих его феодальных пут или, по крайней мере, смягчить нависавший над ним крепостнический гнет. К этой производной задаче присоединялась другая, не менее важная: отступая перед реакционным крылом дворянства, но сознавая неотвратимость уничтожения рабства, правительство выискивало безболезненные и замедленные пути социальной реформы. Преобразование управления

---

[1] АИХ, ф. лит. „А“, 1835 г., № 1512, лл. 8—9, 14—15; АВИ, ф. Деп. полиц. исполн. 1835 г., №№ 358, 361, 378, 384, 387; 1836 г., №№ 290, 291.

государственными крестьянами казалось наилучшей формой такого осторожного и постепенного сдвига. В известной мере эти прогнозы могли быть оправданы, но не в том смысле, какой придавала им дворянская бюрократия: если бы положение государственных крестьян действительно улучшилось, это оказало бы огромное возбуждающее влияние на помещичьих крепостных.

Однако, разрывая с программой Щербатова и Мордвинова, дворянское правительство не могло согласиться и с противоположной декабристской программой — последовательного буржуазного преобразования земельных и правовых отношений крестьянства. Спасая феодально-крепостническую систему и стараясь поддержать ее частичными исправками, правительство должно было постоянно лавировать между дворянскими фракционными течениями, заимствовать отдельные буржуазные идеи, сочетать их с реакционно-крепостническими требованиями, наталкиваться на оппозицию той или другой группировки и в конце концов убеждаться в невозможности осуществить разработанные проекты. Все правительственные планы реформы — Гурьева, Канкрина, Куракина, Сперанского, Кочубея — были попытками выйти из состояния социального кризиса, но все они направлялись в сторону компромисса между крепостническими и буржуазными тенденциями. Проекты Гурьева и Сперанского ближе подходили к условиям товарно-денежного оборота, шире открывали двери капиталистическому строю. Проекты Канкрина и Куракина отдавали большую дань феодальной традиции, сильнее задерживали развертывающиеся буржуазные процессы. Эти различия в оттенках доказывают сложность создавшейся обстановки, неравномерное давление капиталистических элементов на разные прослойки дворянской бюрократии. Но все проекты исходили из одних и тех же предпосылок: дворянские земли должны остаться неприкосновенной собственностью помещиков, казенные — неприкосновенной собственностью дворянского государства; крестьянин — только держатель, пользователь, оброчник; государственная центральная и местная власть должна оставаться в руках «просвещенного» дворянского сословия, крестьянские выборные органы играют подчиненную и служебную роль — они несут исполнительные функции под руководством и контролем бюрократических учреждений; самоуправные захваты земель и крестьян должны быть прекращены, насилия и злоупотребления ликвидированы, но древняя привилегия дворянского сословия — право на пожалование государственной земли — должна быть сохранена и обеспечена.

Эта классовая программа дворянского правительства приводила к определенным социально-экономическим выводам; в противовес идее аграрного передела, которую выдвигали революционные декабристы, правительственные проекты развивали мысль о стабилизации крестьянского надельного фонда, устранявшей опасность аграрной революции. Такая стабилизация достигалась уничтожением поземельной общины, переселением малоземельных крестьян на свободные государственные территории и направлением избыточного населения в сферу развивающейся промышленности. Ликвидация общинного землевладения представлялась и оценивалась различно, но авторы всех проектов понимали экономическую прогрессивность индивидуального пользования и распоряжения землей в обстановке складывающегося буржуазного хозяйства. В той или иной степени все проекты открывали путь капиталистическому накоплению, росту зажиточных элементов и развитию частной торговой и промышленной инициативы.

Такой же двойственный социально-экономический характер носило

требование переложить на землю неуравнительные подушные сборы. Несомненно, это была прогрессивная финансовая мера, которая облегчала тяжесть податного обложения и создавала более благоприятные условия для ведения крестьянского хозяйства. Но с другой стороны, переложение оброка на землю должно было утвердить за казною право земельной собственности и покончить с крестьянским убеждением в неоспоримой принадлежности надельных земель сельскому и волостному миру. Буржуазные преобразования должны были служить, как позднее у Столыпина, классовой задаче — укреплению дворянского землевладения и дворянской власти.

Однако мы не должны модернизировать аграрную политику крепостной эпохи, привнося в нее характерные особенности позднейшего империалистического периода. И Гурьеву и Сперанскому с их проектами прекращения переделов и наследственной аренды было еще далеко до столыпинского идеала самостоятельного собственника-хуторянина. Хотя проекты первой трети XIX в. ориентировались на расширение прав казенного крестьянина, они продолжали опутывать его тысячами феодальных стеснений. Патриархально-попечительная опека, которая являлась «благожелательной» формой внеэкономического принуждения, занимала определенное и очень важное место во всех правительственных планах; у Сперанского она принимала наиболее смягченные формы, у Куракина обнажалась с наибольшим цинизмом и ясностью. Именно в этом пункте правительство ближе всего подошло к дворянским проектам, больше всего заимствовало из реакционной крепостнической идеологии. Сделать крестьянина правоспособным, чтобы стимулировать его хозяйственную предприимчивость и поднять его платежеспособность, но в то же время поставить его под руководство и надзор опекающего дворянского государства, опутать его полицейской регламентацией, сделать его мирным и покорным подданным — такова была задача предстоявшей социальной реформы. В этом глубочайшем противоречии правительственной позиции отражалось основное противоречие, вытекавшее из кризиса крепостнической системы. «Просвещенные» дворяне его не замечали, но крестьянские массы активно на него реагировали, когда с дрекольем и вилами в руках защищались от непрошенной передачи «в уделы».

Так, несмотря на взаимные разногласия и споры, выдвигались повторяющиеся устойчивые предложения — искомые элементы намечающейся реформы. Комитету 1835 г., и в частности Киселеву, предстояло пересмотреть этот накопившийся материал, систематизировать и взвесить содержание, еще раз сопоставить его с требованиями дворянства и произвести окончательный определяющий выбор.

———

А. Л. ПОПОВ

БОРЬБА ЗА СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Начиная с последней четверти XVIII в., борьба за свободный выход в теплое море и за южные проливы являлась стержневой задачей активной внешней политики царской России. Политика царской России на Ближнем Востоке сталкивалась с политикой Англии, заинтересованной в недопущении России к проливам — к выходу на путь, которые вели в Индию и которыми Англия стремилась владеть безраздельно.

Зародившаяся на Ближнем Востоке англо-русская борьба с течением времени осложнялась моментами экономического соперничества. Это соперничество локализовалось главным образом на рынках Персии (ныне Ирана), а затем и Средней Азии.

Средняя Азия являлась вторым путем, соединявшим Россию с Британской Индией, — тем самым, каким собирался итти Павел I, заключив союз с Наполеоном против Англии. Но это был путь дальний и трудный, проходивший по знойным степям Кара-Кума и Кзыл-Кума.

В первые два десятилетия после смерти Павла англо-русские противоречия еще не успели созреть и проявиться с достаточной силой. До 30-х годов XIX в. среднеазиатские дела оставались вне сферы «большой» политики царизма. Они не знали даже пограничных вопросов. Южные границы казахской степи, за которыми лежали независимые среднеазиатские ханства, определялись в ту пору (по выражению исследователя того времени) «не иначе, как умственной линией, которой направление будет описано самым неопределенным образом».[1]

Царское правительство не могло не ценить Среднюю Азию как рынок «бессовместный» для русских мануфактурных товаров. Русская мануфактура вывозилась главным образом в казахские степи, а оттуда проникала в соседние ханства. По данным министерства финансов, в 1830 г. было вывезено бумажных товаров по европейской границе на 200 тыс. руб. асс., по Каспийскому морю — на 800 тыс. руб. асс. и в среднеазиатские степи — на 2.1 млн. руб. асс.,[2] а в 1831 г. тот же вывоз определялся соответственными цифрами: 10 тыс. руб., 100 тыс. рублей и 3.06 млн. руб.[3].

Богатая хлопком Средняя Азия имела значение и как рынок сырья. Крупной роли в этом отношении среднеазиатские рынки в рассматриваемую пору еще не играли: в 1825 г. в Россию ввозилось хлопкового волокна по европейской границе 39 тыс. пудов, а по азиатской — 23 тыс. пуд.; в 1832 г. — 121 тыс. пуд. и 6 тыс. пуд.; в 1833 г. —

---

[1] А. Левшин. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей, ч. I, стр. 2, СПб., 1832.

[2] Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1830 г.

[3] То же за 1831 г.

136 тыс. пуд. и 3 тыс. пуд.[1] Царское правительство не могло не ценить Среднюю Азию как резервный потенциальный рынок для развивающегося отечественного хлопчатобумажного производства и как рынок сырья, тем более, что в ту пору, кроме хлопкового волокна, из Средней Азии вывозилась в значительном количестве и пряжа.

Правда, русские торговцы часто жаловались на недостаточное внимание к их интересам со стороны органов власти — как центральной, так и на местах. В августе 1833 г. оренбургский ген.-губернатор забил тревогу по поводу появления в Бухаре дешевых английских товаров. И министр финансов Канкрин и министр иностранных дел Нессельроде отнеслись к этому факту спокойно; они выражали уверенность в том, что Бухара и Хива не смогут сбывать своих товаров в Индию, и через несколько лет, с развитием русского бумагопрядения, «конкуренция английских товаров станет не страшной»[2].

Аналогичных фактов, характеризующих исключительно спокойное и хладнокровное отношение царского правительства к условиям русской торговли в Средней Азии, в рассматриваемую пору было не мало.

Было бы однако неправильно делать отсюда вывод, что царское правительство пренебрегало интересами торговли в Средней Азии, недооценивало значения этой торговли. В одном из своих отношений к Канкрину, датированных более поздним временем, Нессельроде между прочим писал: «Споспешествование торговле вообще составляет одну из главных целей наших политических действий в отношении ко всем сим странам и народам Средней Азии... ибо торговля сия составляет основу всей нашей азиатской политики»[3].

Это значило, что заботы о развитии среднеазиатской торговли входили составной частью в систему среднеазиатской политики царизма, что торговля служила в то же время удобной формой и прикрытием этой политики, но не покрывала собою всех ее целей. Это значило также, что на известном этапе дипломатическое ведомство занимало в среднеазиатских делах твердую уверенную позицию, но до поры до времени особой активности на этом участке не проявляло.

Активизация царской политики в Средней Азии стала заметной тогда, когда стала возрастать английская экспансия, шедшая из Индии. Активизация царской политики в Средней Азии проявилась с значительной силой тогда, когда успехи царской политики на Ближнем Востоке, выразившиеся сначала в Адрианопольском договоре, а затем в Ункиар-Искелесском, стали встречать активное противодействие со стороны Англии. Углубление англо-русских противоречий на Ближнем Востоке превращало Среднюю Азию в новый плацдарм англо-русской борьбы, обострявшей эти противоречия, но в течение долгого времени игравшей подчиненную вспомогательную роль в борьбе за проливы.

I

Еще 16 ноября 1830 г. оренбургский ген. губернатор Сухтелен переслал в министерство иностранных дел проект снаряжения экспедиции к северо-восточным берегам Каспийского моря. Экспедиция должна была тщательно осмотреть залив Мертвый Култук, всесторонне изучить побережье залива и выбрать пункт, удобный для устройства пристани и укрепления[1].

[1] Хлопководство в Туркестане, стр. 143—144, Л., 1925.
[2] МИД, Гл. арх., II—3, 1833, № 6.
[3] Там же, 1839, № 3 — Отношение Нессельроде от 14/IV 1839 г.
[1] ЦВИА, ВУА, № 1062, лл. 1, 9—13.

Автором проекта был Г. С. Карелин, служивший ранее в собственной канцелярии Аракчеева, с 1822 г. сосланный за смелую эпиграмму в Оренбург[1] и находившийся в распоряжении оренбургского ген.-губернатора. Имя Карелина, принимавшего уже участие в одной из экспедиций по изучению киргизских степей (в 1823 г.) и составившего карту земель «внутренней киргизской орды», в министерстве иностранных дел было известно. По докладам Нессельроде и Чернышева проект был одобрен царем, передан в Главный штаб и затем поступил на рассмотрение в Морской штаб. Сам Карелин был тем временем принят на службу в министерство иностранных дел и назначен состоять при хане «внутренней киргизской орды»

Рассмотрение проекта в петербургских канцеляриях затянулось. Летние месяцы (1831 г.), единственно удобные для реализации проекта, были упущены. Дело было отложено до лета следующего года. Только 1 июня 1832 г. Сухтеллен доносил Чернышеву, что экспедиция для обозрения восточного побережья Каспийского моря вышла из Гурьева в составе 23 чел. под начальством Карелина, и что главным объектом работ экспедиции является обследование уральских рыболовных островов, принадлежащих к эмбенским водам[2]. Экспедиция продолжалась около четырех месяцев, и в августе 1832 г. возвратилась к устьям Урала.

На заседании Азиатского комитета 19 мая 1833 г., происходившем при участии вновь назначенного оренбургского ген.-губернатора Перовского, обсуждалась составленная в министерстве иностранных дел записка о результатах работ экспедиции. Основываясь на данных Карелина[3], автор записки приходил к заключению, что торговые выгоды от поселений на Мангышлакском берегу будут ничтожны, что путь к Хиве оттуда труден и что «в политическом и военном отношении места сии все бесполезны». Вместе с тем указывалось на то, что в заливе Кара-су или Кайдаке желательно занять пристань Кзыл-Таш, как место здоровое в климатическом отношении, богатое пресной водой, и как единственный пункт, откуда возможна перевозка тяжестей и артиллерии на Усть-Урт. Место это «находится в самом центре земель, занимаемых ныне непокорными киргизами хищного Адаевского племени». «Занятие сего места, — отмечалось в записке, — обратит к оному торговлю не только киргизов и туркменов, ездящих за русскими произведениями в Хиву, но и самих хивинцев и, таким образом, доставит нашему купечеству великие выгоды и решительный перевес». Комитет исходил из необходимости, следуя большим планам Петра I, «стать твердой ногою на восточных берегах Каспийского моря». Комитет согласился в основном с доводами Карелина в пользу ориентации на залив Кара-су. Он постановил предоставить оренбургскому ген.-губернатору 50 тыс. рублей на устройство укрепления, «не стесняя его никакими формами». Комитет считал однако необходимым действовать с осторожностью, рассматривая «предприятие сие, коего нельзя предвидеть теперь всех последствий» как «некоторый опыт, совершаемый для торговых видов и для обуздания от своевольства адаевских киргизов и самих хивинцев». Поэтому Перовскому предлагалось не строить при возводимом укреплении поселений и водворяемым там нижним чинам и казакам не предоставлять прав и преимуществ поселенцев. Перовскому вместе с тем

[1] Л. Берг. История исследования Туркмении (сб. „Туркмения“, I, стр. 98—101, изд. АН СССР. 1929).

[2] ЦВИА, ВУА, лл. 35—40. 11 мая 1832 г.

[3] „Записки Русск. географ. общ.“, X, стр. 1—59, СПб., 1883.

предлагалось не предпринимать никаких новых мер, которые могли бы стеснить деятельность торговцев, и обратить особое внимание на организацию управления рыбными промыслами [1].

Вопрос об организации управления рыбными промыслами на северо-восточном побережье Каспийского моря актуализировался в ту пору по двум причинам.

Эмбенские воды на северо-восточном берегу Каспийского моря (от Курочкина бугра до Тюп-Караганского мыса), до 1802 г. принадлежавшие гр. Кутайсову, теперь были обращены в общее пользование. В своей докладной записке о результатах экспедиции к северо-восточному берегу Каспийского моря Карелин указывал, что рыболовство дает здесь громадные доходы, что особенно доходны тюленьи промысла, что из всего этого дела должна извлекать доходы также казна и что следует ввести систему откупов [2]. Те же соображения фискального порядка развивал и Перовский, проектируя централизацию управления рыбного промысла, организацию налогового обложения рыбопромышленников, паспортизацию занятого на промыслах многочисленного бродяжного люда. Должная организация рыбных промыслов могла привести, по мысли Перовского, к сокращению бродяжничества, к утверждению в крае порядка и спокойствия и, наконец, к развитию меновой торговли с киргизами [3]. Вопрос об организации управления рыбными и тюленьими промыслами, как и вопрос о развитии и оживлении меновой торговли на северо-восточном побережье Каспийского моря, не мог не приобрести в ту пору и значения политического.

В инструкции, данной Карелину при назначении его начальником работ по устройству нового укрепления, Перовский говорил о необходимости соблюдения величайшей осмотрительности и осторожности. Карелину предлагалось «изыскивать средства к привлечению азиатских племен, ближних и дальних, выгодами мены и торговли... стараться ввести между ними в общее употребление наши толстые сукна и грубые изделия фабричной промышленности... распространять потребность в железных, медных и чугунных вещах». Разумеется, развитие меновой торговли с кочевыми туркменами не могло служить самоцелью. Но оно, во-первых, должно было содействовать тому, чтобы «сблизить торговлю с Хивою». Оно должно было, во-вторых, повести к упрочению русского влияния в данном районе, который рассматривался как плацдарм для дальнейших действий — «для собирания возможных сведений о западной части Средней Азии и преимущественно об Аральском море со впадающими в оное реками». Поэтому было необходимо, «чтобы учреждение сего заведения не подало даже вида завоевания или политического предприятия». Поэтому Карелину предписывалось «всеми зависящими средствами... стараться снискать доверие туземцев и, сколько можно, уклоняться от случая к нарушению доброго согласия, привлекая старшин и простолюдинов... подарками или другими угождениями». Поэтому от него требовалось «доказать кочующим близ Кызыл-Таша ордынцам и другим азиатцам, сей берег посещающим, что колония основана единственно на предмет торговли для обоюдных выгод» [4].

В конце апреля 1834 г. новая экспедиция под начальством Каре

---

[1] Там же, стр. 47—51.

[2] Там же, стр. 31, 141—153.

[3] МИД, Гл. арх., II—3, 1835—1842, № 1, лл. 1, 3—8.

[4] Инструкция не датирована; составлена она, повидимому, в феврале 1834 г. (ЦВИА, ВУА, № 1062, лл. 116—124 и 125—132).

диция в составе 500 казаков и солдат при тринадцати орудиях, погрузившись на пяти частных судах, купленных для перевозки, в сопровождении трех военных крейсеров отбыла из Гурьева. 2 мая экспедиция высадилась в Кзыл-Тапе. «Киргизы Адаевского рода, — сообщал Карелин в своем донесении от 20 июня 1834 г.[1], — встретили было нас грозно, с шумом и страшною суматохою», но перспективами мены и подарками старшинам «удалось успокоить их».

Одновременно с фортификационными работами началась мена, завязались связи с биями и почетными ордынцами-адаевцами. Потекли жалобы на туркмен и хивинцев, просьбы защитить от притеснений.

22 июня состоялось открытие укрепления, названного Ново-Александровским. По словам Карелина, укрепление было построено так, что «не только кавалерию, но и добрую европейскую пехоту заставит призадуматься»[2]. Первые донесения Карелина были проникнуты бодростью и оптимизмом. В донесении от 20 июня 1834 г., говоря о значении нового укрепления для развития караванной торговли, для обеспечения ее безопасности и интенсификации рейсов, Карелин замечал: «К Аральскому морю путь, к Хиве — другой, но оба ведут к одной цели: непосредственной торговле с Индией». Судоходность Аму-Дарьи открывала, по словам Карелина, возможность, не трогая Хивы, проложить путь в Бухару и далее «до ворот Индии»[3].

В своем донесении от 29 июня 1834 г. Карелин проектировал «погрозить хивинцам... весною же, не вступая в хивинские пределы, занять верстах в 50 от Кунграда местечко на Аральском море, и тогда без выстрела хозяйничать по произволу»[4]. Препровождая донесения Карелина Чернышеву, Родофиникин (директор Азиатского департамента) шутил, говоря, что посылает «хорошие известия о новорожденном Вашем дитяти на северном берегу Каспийского моря.., полученные от дядьки, к сему новорожденному приставленного»[5].

Несколько месяцев спустя из Ново-Александровского укрепления стали получаться известия менее благоприятные. В октябре 1834 г.[6] Перовский сообщал о том, что хивинский хан повел агитацию среди адаевцев и что последние из страха перед ним «чуждаются дружеских с нами сношений... До сих пор с трудом удалось нам купить у них несколько лошадей и выменять для продовольствия гарнизона несколько баранов». Перовский уверял, что хивинский хан замышляет нападение на крепость, что он располагает 20 артиллерийскими орудиями и требует от адаевцев и туркмен участия в походе. Родофиникин не разделял опасений Перовского: он не видел опасности для укрепления не только в военном, но и в политическом отношении. «Если бы, — писал он Перовскому, — на Усть-Урт пришли мы по приглашению друзей наших, чтобы защищать их от хивинцев..., но мы гости незваные». Адаевцы, по мнению Родофиникина, «всегда были нам враждебны», а туркмены всегда «грабили наши рыбные промыслы». Предполагая, что в политическом отношении «хуже не будет», Родофиникин успокаивал Чернышева, взволнованного сообщением Перовского: «Верьте мне, что все, что делается около нашего

---

1 ЦВИА, ВУА, № 1062, лл. 217—218.
2 Там же, лл. 218—219.
3 Там же, лл. 220—221.
4 Там же, лл. 217—221.
5 Там же, л. 212.
6 Там же, лл. 251—25[illegible] — Рапорт Перовского Чернышеву от 9/X 1834 г., № 263.

Ново-Александровска, есть суетливость и беготня муравьев, услышавших вблизи львиные шаги»[1].

Опасения Перовского не оправдались. Для пушек новосозданного укрепления никакой работы не нашлось. Но не оправдались и радужные перспективы Карелина. Вражда адаевцев возрастала, торговля шла вяло. В декабре 1836 г. Карелин писал Родофиникину из Астрахани: «Дела в Ново-Александровске идут плохо от жадности тамошнего коменданта и пристрастия Василия Алексеевича (Перовского. — *А. П.*)... Приезжающих торговцев теснят самым бессовестным образом, гарнизон содержат в крайности, выводя страшные деньги, а киргизцев из друзей и преданных нашим пользам сделали врагами»[2]. «Новорожденное дитя» стало заметно хиреть. Оно скоро погибло от обстоятельств самых прозаических. Развившиеся среди гарнизона цынготные, гастрические и легочные заболевания, необходимость частой смены гарнизона, плохое оборудование жилья — все это уже через два года поставило вопрос о дальнейшем существовании укрепления[3]. Еще несколько времени спустя кап. Ширков, посетивший по поручению военного министерства северо-восточное побережье Каспийского моря, писал об «ужасном положении Ново-Александровска», где в гарнизоне от недостатка воды «умирает шестой человек»[4]. Вопрос о дальнейшем существовании Ново-Александровского укрепления был решен окончательно тогда, когда судьба хилого «дитяти» перестала представлять какой бы то ни было политический интерес, когда «львиные шаги» стали слышаться значительно дальше и в другом направлении, когда «дядьки» из дипломатического ведомства стали выпестовывать для военного министерства новых питомцев.

II

В те дни (май 1834 г.), когда план военного министерства о закреплении позиций на северо-восточном побережье Каспийского моря начал только осуществляться и Карелин устанавливал тяжелую артиллерию на возвышенностях Кзыл-Таша, в Морском и Генеральном штабах разрабатывался новый план — осмотра всего восточного побережья Каспийского моря вплоть до персидских прибрежных вод. Комиссия из офицеров обоих штабов занялась приведением в известность, разбором и систематизацией всех имевшихся по данному вопросу материалов[5]. Материалов этих было много, потому что вопрос имел большую историю. Прежде всего нужно было изучить неудачный, но поучительный опыт Бековича, пытавшегося в 1717 г. во главе казачьего отряда достигнуть Хивы, но попавшего в руки хивинцев и зверски убитого ими. Затем шли относительно небольшие работы экспедиций лейт. Саймонова к восточным берегам Каспия в 1726 г.[6] и майора Ладыженского, посетившего в 1763 г. Киндерлинский залив[7]. Серьезного внимания заслуживали материалы экспедиции кап. Войновича. Отправившись в 1781 г. для обследования

---

[1] Там же, лл. 257—258 — Письмо Родофиникина Чернышеву от 20/X 1834 г.
[2] МИД, Гл. арх., I—9, 1835—1839, № 3, л. 24.
[3] ЦВИА, ВУА, № 1062, л. 385 — Доклад Инспекторского департамента Ген. штаба от 23/X 1836 г., № 201.
[4] Там же, № 19253, лл. 1—8 — Рапорт Ширкова Шуберту от 26/IV 1840 г., № 3.
[5] Там же, Доп. V Отд., № 45010, лл. 11—24.
[6] „Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний яко часть истории Петра Вел. трудами т. с. губ.-ра Сибири и орд. св. Александра кавалера Ф. И. Саймонова" („Ежемесячные сочинения", 1763 г., кн. 2).
[7] См. „Акты Кавк. Археогр. ком.", VI, ч. II, стр. 783—797.

юго-восточного побережья Каспийского моря, он произвел подробный осмотр Балханского и Астрабадского заливов, пытался вступить с местными властями в переговоры об уступке России береговой территории и в результате этих переговоров ознакомился с положением пленника[1]. Вопросы, связанные с восточным побережьем Каспийского моря, получали свое отражение не только в материалах морских экспедиций. В 40-х годах XVIII в. они обсуждались в коллегиях иностранных и внутренних дел. Еще в 1741 г., во время наступления Надир-шаха на хивинские и бухарские земли, кочевавшие там туркменские племена в количестве 300 тыс. кибиток отошли в Мангышлакские степи и оттуда присылали в Астрахань своих людей за хлебом.

Основные массы туркмен после отступления войск Надир-шаха откочевали обратно. Оставшиеся же туркменские роды расселились по восточному побережью, где их с одной стороны теснили казахи, с другой — хивинцы. В течение последующих десятилетий представители феодально-родовой туркменской верхушки неоднократно возбуждали перед царским правительством вопрос об оказании им «покровительства» и принятии их в российское подданство. Вопрос этот обсуждался в Петербурге в 1767 г. и был решен царским правительством в отрицательном смысле. Вопрос этот встал в 1798 г. и снова получил отрицательное решение. Он был снова поднят в 1802 г. Прибывшим в Петербург с Мангышлака туркменским депутатам была дана особая грамота (от 16 апреля 1803 г.) о принятии их под покровительство России и назначено жалованье. Тогда же (1803 г.) царское правительство послало инженер-поручика Лошкарева для осмотра восточных берегов Каспия и выбора места для укрепления. В следующем (1804) году ту же операцию проделывает ген.-майор Фелькерзам.

В 1811 г. в Астрахань снова приезжают туркменские депутаты Чаудорова рода[2]. Если туркменские племена, жившие по северо-восточному побережью Каспийского моря, терпели главным образом от Хивы, то туркмены юго-восточного побережья тяготились своей зависимостью от Персии[3]. В этом плане становится понятным тот факт, что в 1813 г., во время русско-персидской войны, депутаты от приатрекских туркмен ведут с ген. Ртищевым переговоры о совместных действиях против Персии[4]. В этом же плане проходит отправленная Ермоловым в 1818 г. экспедиция майора Пономарева и кап. Муравьева к восточным берегам Каспия и повторная (в 1821 г.) экспедиция Муравьева, завязывающего тесные связи с туркменами и намечающего на Красноводской косе место для укрепления[5]. Есаул Лалаев, посланный туда же Паскевичем в 1830 г. с целью выяснить отношение туркмен к Хиве и к Герату и укрепить связи с влиятельными старшинами, пришел к заключению, что «трух-

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1836—1856, лл. 32—44 — Записка, составленная Бларамбергом в 1837 г.; см. также „Записки Русск. геогр. общ.“, IV, стр. 49—120, СПб., 185[illegible]; см. также „Исторический журнал бывшей в 1781 и 1782 гг. на Касп. море российской эскадры под командою флота кап. 2-го ранга гр. Войновича. Сочинение К. Г. С картою оного моря“, Москва, 1809; см. также „Русская Старина“, октябрь 1881. А. Берже. Гр. Войнович в Персии в 1781 г.

[2] См. указ. Записку Бларамберга.

[3] В. Бартольд. Очерк истории туркменского народа (сб. „Туркмения“, I. стр. 66—68).

[4] См. Записку Бларамберга.

[5] Н. Муравьев. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг., М., 1822.

менцы весьма преданы России и предпочитают ее прочим государствам»[1].

Наконец, в 1835 г. в петербургских канцеляриях стало известно, что астраханский купец Герасимов, отправившийся на юго-восточное побережье Каспийского моря в район Гасан-Кули, заключил контракт с номудами на пользование туркменскими рыбными промыслами; тогда же он вместе с влиятельным челекенским феодалом Киатом приехал в Тифлис к бар. Розену для разрешения тяжебного дела Киата с рыбопромышленником Мир-Багировым. К весне 1835 г., когда изучение архивных материалов, связанных с историей вопроса, должно было быть закончено, царское правительство перешло от истории к политике, поставив вопрос об организации новой экспедиции.

В мае 1835 г. на столе у министра финансов Канкрина уже лежала составленная Карелиным записка: «Цель и план путешествия для обзора восточных берегов Средней Азии»[2]. Записка исходила из соображений, что Каспийское море, которое «находится почти исключительно в нашем владении», где во всяком случае «нет соперников, которые могли бы оное оспаривать», остается далеко не использованным. В записке указывалось, что освоение Каспийского моря окажет влияние на расширение русской торговли, а это в свою очередь будет иметь значение в отношении «военном и политическом». В ней проектировалось снаряжение экспедиции с целью всестороннего и исчерпывающего обследования всего восточного побережья Каспия от Тюп-Караганского мыса до Астрабада и Балфруша.

Проект на этот раз не залежался в министерских портфелях, и вопрос был разрешен с исключительной быстротой. 30 мая Канкрин переслал записку в министерство иностранных дел с положительным заключением. Через четыре дня от Родофиникина было получено формальное согласие принять половину предполагаемых расходов по экспедиции за счет министерства иностранных дел. 6 июня доклад Канкрина об экспедиции был утвержден царем, и 15 июня Карелину была вручена составленная Канкриным инструкция. Задание, дававшееся Карелину, было сформулировано следующим образом: «ознакомление жителей с нашими произведениями, привлечение их к непосредственным с нами торговым сношениям и изыскание средств к прочному основанию сих сношений». По указанию Нессельроде, в инструкцию было включено требование «не вступать в пределы персидские, кроме Астрабада»; вместе с тем рекомендовалось в нужных случаях «делать азиатцам... подарки»[3]. В расчеты министерства иностранных дел не входило демонстрировать свое участие в экспедиции. Между министрами было условлено, что Карелин, продолжая сохранять оклад по министерству иностранных дел, будет получать распоряжения по министерству финансов. Даже в частном письме к Перовскому[4] Родофиникин отмечал, что согласился на устройство экспедиции, во-первых, «потому что по русской пословице противу рожна не прати», а, во-вторых, потому, что «если не правительство, то по крайней мере наука извлечет для себя пользу из этой посылки». «Мы, — заявлял Родофиникин от лица своего ведомства, — только зрители и в нужных случаях помощники».

Открывавшееся «зрелище» представляло однако для царского пра-

[1] См. Записку Бларамберга.
[2] МИД, Гл. арх., I—9, 1835—1839, № 3, лл. 2—7.
[3] Там же, лл. 19—23.
[4] Там же, лл. 49—50 — от 19/VII 1835 г.

вительства настолько значительный интерес, что в число «зрителей» включалось и военное министерство. Последнее прикомандировало к экспедиции капитана И. Ф. Бларамберга, ученого голландца, зарекомендовавшего себя на русской службе участием в ряде экспедиций против горцев. Начальник Главного штаба инструктировал Бларамберга не только о необходимых астрономических наблюдениях, но и о важности изучения «дорог от Каспийского моря к Аральскому и о всех караванных путях, ведущих от значительных мест восточного берега, а также и от Астрабада в Хиву, Бухару, Герат, Самарканд и Балх». Бларамберг должен был обратить особенное внимание на «возможные якорные стоянки» на восточном берегу Каспийского моря, изучить острова Астрабадского залива, выяснить границу между Персией и Туркменией. Особенное значение придавалось «определению прежнего течения Аму-Дарьи»: «польза» от возможного изменения этого течения «для нас была бы неисчислимою, ибо через сие открылось бы прямое сообщение с Хивою»[1]. Выйдя из состояния «зрителя», Родофиникин со своей стороны поручил Карелину выяснить степень судоходности Аму-Дарьи и возможность заселения островов Астрабадского залива[2]. Основной же лейтмотив наставлений Родофиникина заключался в указаниях на необходимость «соблюдения возможной осторожности при сношениях... с кочующими по восточным берегам Каспийского моря киргизами и туркменами и... ласкового с ними обхождения, чтобы тем самым более и более укоренить в них любовь, преданность и доверие к России». В ответ на просьбы туркмен о принятии их в российское подданство следовало, «не отклоняя подобного с их стороны домогательства, а, напротив, поддерживая их в сем намерении, стараться побудить их к посылке депутатов в Россию»[3].

Экспедиция задержалась вследствие болезни Карелина, который приехал в Астрахань только в ноябре 1835 г. Дело пришлось отложить до весны. В конце мая 1836 г. экспедиция в составе 75 чел., при трех орудиях, на двух купеческих судах с погруженными на них товарами и подарками была готова к отплытию из Баку[4]. В двадцатых числах мая экспедиция была уже в Красноводском заливе. Затем она осмотрела острова Челекен и Огурчинский и все юго-восточное побережье вплоть до персидской границы. 29 июня 1836 г. Карелин писал Канкрину донесение, находясь уже в устье реки Багу в Астрабадском заливе. В августе было закончено обследование юго-восточного побережья. Экспедиция продвигалась к северу вдоль побережья в обратный путь; в сентябре были обследованы Балханские горы и Карабугазский залив, в начале октября — Киндерлинский залив, потом — Александр-Бай, Тюп-Караган. 14 октября суда экспедиции бросили якорь против Главного карантина при волжских устьях.

Экспедиция везла с собою богатые коллекции по зоологии и ботанике, материалы астрономических наблюдений, топографических, этнографических и статистических изысканий. Участники везли также большие и увлекательные проекты и планы экономического и политического порядка. Они возвращались обогащенные опытом непосредственного общения с народом, до того так мало изученным, который мог и должен был сыграть значительную роль в реализации этих планов.

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1835—1839, № 3 — от 13/VII 1835 г., лл. 38—43.
[2] Там же, лл. 51—55.
[3] Там же, лл. 63—64.
[4] „Записки Русск. географ. общ.", IV, стр. 1—8, СПб., 1850.

III

И Карелин и Бларамберг отмечали в своих донесениях[1], что восточные берега Каспийского моря от Тюп-Карагана до Гасан-Кули, представляющие безводную и бесплодную пустыню, где «скитается редкое и полуварварское население» и где нет удобных якорных стоянок, «так ничтожны... что не заслуживают никакого внимания». Заслуживало внимания, по мнению участников экспедиции, только юго-восточное побережье Каспийского моря, отличающееся природными богатствами, имеющее защищенные гавани, населенное многочисленным племенем туркмен-иомудов.

Туркменский вопрос, как мы видели, не был новым для царского правительства. Туркмены — и не только мангышлакские, но и туркмены-иомуды — были знакомы царскому правительству не только по наслышке. «Если туркменцы составляют народ, — писал Ермолов Нессельроде еще 31 августа 1819 г.[2], — покорствующий какой-либо власти, если, по образцу многих азиатцев, они не развлечены на разные независимые общества, то в продолжение некоторого времени, с кротостью и терпением и ежегодно их посещая, можно будет сделать прочные с ними связи и можно утвердить оные, удовлетворяя посредством торговых сношений недостатку в первых потребностях жизни... К хорошему для нас началу довольно бедности их в хлебе, а мы избыточествуем оным». Посланный в том же году для осмотра восточного побережья Каспия майор Пономарев характеризовал туркмен как «народ безначальный в полном смысле сего слова»: «никто ими не управляет и нет у них никакой власти, следовательно, и сношений политических у них не существует».

Ездивший туда же повторно в 1821 г. кап. Муравьев, получивший от Ермолова задание «склонить туркменов к приязненным отношениям с Россией», составил, как известно, после поездки подробное описание положения туркмен-иомудов. В основном он повторяет тезис Пономарева, но дополняет его краткой характеристикой господствующих у туркмен социально-экономических отношений. Он говорит об отсутствии у туркмен единой политической власти, о делении каждого племени на роды с фактической властью, осуществляемой родовыми старшинами-аксакалами, о номинальном характере власти ханов, получающих свое звание преимущественно от персидских властей. Определяя туркмен как «народ кочевой, разбойнический, без промышленности, без нравственности», Муравьев приводит, однако, в ряд таких данных, которые несколько противоречат этой наивной и слишком упрощенной характеристике. Оказывается, среди туркмен были распространены выделка ковров, изготовление серебряных изделий, чеканка монеты, рыбные промыслы; некоторые же роды занимались и земледелием, используя при этом труд невольников — военнопленных[3].

Бларамберг считал характеристику, данную туркменам Муравьевым, в основном правильной и со своей стороны дополнил ее новыми данными. Бларамберг уточнил имевшиеся в русских архивах статистические сведения о количестве народонаселения в туркменских степях. Он дал ориентировочную цифру в 308 200 кибиток с 1.5 млн. душ для всех туркменских племен. Из насчитанных им двенадцати

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1835—1839, № 3, лл. 96—99 и 130—135 — Письмо Карелина Канкрину от 14/XI 1836 г., рапорт Бларамберга от 31/XII 1836 г.
[2] ЦВИА, оп. 1773, к. 87, св. 3565, л. 9.
[3] Н. Муравьев. Указ. соч., стр. 1—50.

туркменских племен или «поколений» он собрал сведения преимущественно об иомудах, у которых показал 33 330 кибиток и около 160 тыс. душ. Картина, нарисованная им, говорила о том, что в господствующий еще, но разлагающийся родовой строй туркмен явственно вплетались нарождавшиеся и укреплявшиеся феодальные отношения. Бларамберг подтверждал вместе с тем, что после русско-персидской войны 1813 г., сплотившей туркменские племена в общих военных действиях против персов, это временное единство распалось, туркмены поколений гоклан и теке попали в зависимость от персов, бывший начальник объединенных туркменских войск Султан-хан удалился в Хиву, и туркмены-иомуды обособились таким образом от прочих туркменских племен.

Бларамберг разделял иомудов по роду занятий на три группы — оседлых, занимающихся хлебопашеством (чумур), кочевников-скотоводов (чарва) и прибрежных туркмен, занимавшихся рыбным промыслом и добычею и продажею нефти и соли (огурджали). Туркменские роды, которые жили около Балханского залива, находились, по наблюдению Бларамберга, в экономической зависимости от Хивы, получая от нее хлеб; приатрекские же туркмены экономически и политически были связаны главным образом с Персией (продажа соли и нефти на персидских рынках, кочевка по обоим берегам Атрека). Налоги и повинности, которыми стремился облагать хивинский хан балханских туркмен, пограничные трения и конфликты (особенно из-за торговли персидскими пленными), все учащавшиеся у приатрекских туркмен, приводили к тому, что первые «злобствовали на хана», а вторые «питали врожденную ненависть к персам». Заметим попутно, что ни Бларамберг ни другие российские наблюдатели того времени не останавливали своего внимания на притязаниях, какие в отношении некоторых туркменских племен проявлялись со стороны бухарских эмиров[1]. Ясно, однако, что и отмеченные обстоятельства создавали почву, достаточно благоприятную для того, чтобы многие туркменские старейшины и аксакалы стали сторонниками русской ориентации.

Происходивший в закаспийских степях процесс феодализации туркменского общества в период усилившейся колониальной экспансии царизма на Среднем Востоке открывал перед влиятельными туркменскими феодалами новые перспективы, ставя проблему о «покровительстве» и подданстве. Одновременно он вселял в проводников царской политики на Востоке надежды на возможность использования туркмен в интересах своей активной политики.

Среди наиболее влиятельных туркменских старшин Бларамберг называл несколько имен: на о-ве Челекен и в Гасан-Кули Киат-хана с сыновьями Якпи-Могамедом и Кадыр-Могамедом; в Гюмюш-Тепе — Аман-назари и Мемед-сердара; внутри страны — Казы-Могамед-Тагана и Черкес-хана. Исключительно крупное значение в эту пору приобрела для царского правительства личность Киат-хана, особенно как представителя прибрежных туркмен. Имя его было известно еще с 1813 г., когда он приезжал в Тифлис в качестве депутата от Султан-хана для переговоров о совместных действиях против персов. В 1819 г. он как гасан-кулинский старшина встречает экспедицию Пономарева и Муравьева и находится безотлучно при них во все время работ экспедиции. Вместе с ними в сопровождении своего сына Якпи-

[1] Характерен такой факт, как отпадение мервских туркмен от Бухары в 1822 г. и добровольное подчинение их Хиве. См. В. Бартольд. К истории орошения Туркестана, стр. 29.

Могамеда он едет в Тифлис, знакомится с Ермоловым, ведет с ним переговоры о принятии туркмен в российское подданство. В следующем году мы его застаем в Баку, откуда он отправляется на родину на одном судне с едущим во вторую экспедицию Муравьевым. Как отмечал последний, в ведении Киата тогда было до 80 семейств, но «власть и влияние его начали увеличиваться: он располагал жителями Челекена и островов в Балханском заливе и имел значительное влияние в советах старшин туркменских, живущих на Атреке и Гюргене»[1]. Осенью 1835 г. Киат снова в Тифлисе. Он запросто беседует с главнокомандующим Грузии, прося его содействия в своем тяжебном деле с астраханским рыбопромышленником Мир-Багировым. «Я не полагал излишним, — писал по этому поводу бар. Розен Нессельроде, — при отправлении Киат-бека сделать ему подарки, ибо старшина сей, сыновья которого хорошо говорят и даже читают по-русски, всегда отличался готовностью быть нам полезным, и тем более я нужным почел отправить его довольным, что он может быть полезен для промышленников наших при берегах туркменских»[2]. Повествуя о нищете туркмен, их «алчности к деньгам» и прочих «отрицательных» свойствах, Бларамберг замечает: «Киат-хан с семейством не походят на других туркменцев. Почтенный старик сей в продолжение 25 лет неоднократно доказал преданность свою к нашему правительству; сыновья его Якши и Кадыр-Могамед довольно хорошо воспитаны и понимают всю пользу от преданности их к России»[3].

Высадившись в Гасан-Кули, владении иомудов, экспедиция Карелина была дружественно встречена сыновьями старика Киата. Эта встреча была ознаменована угощением, подарками, пушечною пальбою. Через две недели экспедиция встретилась с самим Киатом. За ужином шли разговоры о рыбных промыслах, о торговле, о контрактах с русским рыбопромышленником Герасимовым. Все вопросы были быстро улажены к общему для всех удовольствию.

А еще через два месяца переводчик экспедиции воспроизвел со слов Якши-Могамеда и скрепил печатями прошение туркмен к царскому правительству. «Ныне на общем совете ханов, казыя и почтеннейших людей рассудили, — значилось, между прочим, в прошении, — что, хотя народ иомудский силен..., но кругом нас соседи-неприятели. Наши собраты других родов признают власть Хивы или Персии и потому часто нас беспокоят». Указав, что эти «собраты» — изменники, просители продолжали: «Мы сильны числом и храбростью, но слабы согласием, умом и порядком. Нам надобно великого покровителя, который бы из всех иомудов сделал одну душу и тело». Иомуды выра-

[1] Н. Муравьев. Указ. соч., стр. 1—50.

[2] МИД, Гл. арх., 1—9, 1835—1840, № 12, лл. 2—3 — Отношение Розена Нессельроде от 7/XI 1835 г., № 689. В своем отношении Родофиникину от 28/X 1836 г. за № 1588 Перовский, между прочим, писал: „Туркменец Киат, сын простолюдина, бывавший в Астрахани и знавший несколько по-русски, как сметливый и расчетливый человек, обратил свое внимание на Челекень. Поездка в Астрахань, изучение русского языка и предприимчивость его дали ему некоторый вес между единоверцами его. Он подговорил несколько туркмен бежать от старшин своих и поселиться в Челекене. Здесь он был избран старшиною нового поселения и вслед за тем удачно воспользовался путешествием г. Муравьева; чтобы упрочить могущество свое или придать себе более силы и веса, Киат перед туркменами хвалился дружественными сношениями своими с русскими, а последних уверял в значительности и важности своей между первыми. Оказанное Киату за услуги эти правительством нашим внимание, а наконец и поездка его, Киата, в Тифлис, окончательно утвердили за ним самопроизвольное владычество над островом, на которое не имеет он никакого права“ (МИД, Гл. арх., I—9, 1836—1864, № 5, лл. 30—31).

[3] „Записки Русск. географ. общ.“, IV, стр. 96—105, СПб., 1850.

жали надежду, что наравне с казахами будут освобождены от податей и оставлены при своем законе. Они просили присылать русских купцов и разрешить привоз оружия. Народ иомудский за это «обязуется под присягою служить государю и быть послушным». В случае войны с Персией или Хивою иомуды выставят за свой счет 10 тысяч конницы. Они будут поставлять каменную соль по 12 коп. за пуд, провожать русские караваны до Мешеда и других мест, отдавать рыбные ловли только русским купцам. Иомуды просили разрешить отправить в Петербург своего представителя[1].

В лице туркменской феодально-родовой верхушки царское правительство, казалось, нашло удобное орудие для осуществления своих целей. Приняв от туркмен прошение, Карелин сказал, что его компетенция чисто торговая, но он передаст просьбу царю. В тот же день он отправил в Петербург донесение с препровождением ходатайства туркмен-иомудов. «Трухмен сих, — писал он, — до 150 тыс. душ обоего пола, они кочуют по восточному побережью Каспийского моря на пространстве 300 верст; земля плодородна и орошена разными реками; они могут выставить 20 тыс. конницы и на судах до 1 500 чел. Выгоды для России могли бы быть следующие: торговля, рыболовство и даровое в войне с Персиею или Хивою войско. Содержать их в повиновении не трудно, через посредство старейших, которых легко привязать небольшими подарками». «Верить трухменам, — заключал Карелин, — и положиться на них невозможно... Если правительство удостоит внимания просьбы трухмен, то необходимо укрепление, для которого выгоднейшее место на самой границе Персии, у Астрабадского залива, где лучшая гавань во всем Каспийском море»[2]. Царь на поставленный перед ним вопрос ответить сразу не мог и на поданной ему выписке из донесения Карелина сделал помету: «Переговорим».

В результате экспедиции Карелина в министерстве иностранных дел, как и в министерстве финансов, собрался большой материал, заслуживавший тщательного изучения. Посланная с целью торговой и военно-политической разведки экспедиция пришла к следующим заключениям. Всякие разговоры о каких-либо предприятиях на восточном побережье Каспийского моря от Тюп-Карагана до Гасан-Кули надо оставить; безводная и бесплодная пустыня, где «скитается редкое и полуварварское население» и где нет надежных якорных стоянок, не заслуживает никакого внимания. Все внимание надо направить на побережье к югу от Гасан-Кули до Астрабада: здесь есть удобные гавани и хорошие якорные стоянки; здесь есть нефтяные богатства — в 1835 г. туркмены вывезли с о-ва Челекен в Персию до 135 тыс. пуд. нефти; здесь есть залежи каменной соли — гасанкулинские туркмены продали в том же году до 186 тыс. пуд. ее[4]; здесь имеются богатейшие рыбные промыслы: астраханский купец Алексей Михайлович Герасимов еще в 1835 г. обосновался в водах приатрекских туркмен, взяв у них на откуп рыбные промыслы и этим «своим прекрасным начинанием опередил виды правительства на торговлю и промышленность с туркменами»[1].

[1] МИД. Гл. арх., I—9, 1836—1856, № 2, л. 227 — Прошение датировано 20 июля 1836 г.

[2] Там же, л. 226 — Выписка из донесения Карелина от 20/VII 1836 г., № 167.

[3] „Записки Русск. географ. общ.", X, стр. 131—161; МИД, Гл. арх., I—9, 1835—1839, № 3, лл. 130—135 — Рапорт Бларамберга военному министру от 31/XII 1836 г.

[4] МИД. Гл. арх., I—9, 1835—1839, № 3, лл. 174—175 — Письмо Карелина Родофиникину от 28/III 1836 г.

Астрабадский залив, лучшая гавань Каспийского моря, находится в ближайшем соседстве с богатыми странами, которые могут быть потребителями русских промышленных товаров. 80-дневный караванный путь от Оренбурга до Бухары и Балха сокращается вдвое; к этому присоединяется возможность доставки товаров морем от Астрахани. «При столь утешительном событии, — писал Карелин, — каких бесчисленных блестящих выгод может ожидать российское купечество от учреждения правильной торговли через Астрабад... По выгодному своему положению он есть коммерческое солнце Каспия, от которого истекают торговые лучи в богатейшие государства Западной Азии... Астрабадский залив с окрестною страною есть то место, которое в высочайшей степени может осуществлять самые блестящие надежды»[1].

К сказанному Карелиным Бларамберг добавлял, что освоение юго-восточного побережья Каспийского моря создаст базу, важную не только в торговом, но и в военном отношении, приведет к утверждению господства российского флота на Каспийском море и к упрочению русского влияния среди туркмен; «в случае же войны с Персиею или Хивою помуды могут быть нам весьма полезны»[2]. И Карелин и Бларамберг указывали также на важность нового торгового пути, в виду «неминуемого упадка нашей торговли в Западной Персии от усиленных ввозов англичан в Черное море через Малую Азию». Развитие русской торговли через Астрабад приведет к «сближению» России с народами, сопредельными с Индией, а так как последние живут под страхом возрастающего могущества англичан, непрестанно расширяющих свои владения, «не прибегая к силе оружия, величественный исполин Россия одним нравственным влиянием может поставить ее (Англию. — *А. П.*) на край политической гибели»[3]. «Если Англия через несколько лет, — писал в свою очередь Бларамберг, — продолжит себе путь через Суэцкий перешеек, чтобы приблизиться к своим владениям в Индии, если Франция предпринимает постройку многочисленных пароходов, чтобы оживить свою торговлю с Левантом, если даже Австрия посредством учреждения пароходства на Дунае пытается стать ближе к Востоку, Россия, которой промышленность и торговля получили такое блестящее развитие в настоящее царствование, ... не должна отставать и должна приложить все усилия, чтобы возродить свою древнюю торговлю со Средней Азией и с пограничными с Индией владениями посредством самого короткого и самого выгодного пути, т. е. через Астрабад»[4].

Какие практические мероприятия намечались для достижения этих целей? По мнению участников экспедиции, план действий в основном должен был сводиться к следующему: образовать «при мощном содействии правительства» торговую компанию[5] и занять один или несколько пунктов неподалеку от Астрабада, «это могло быть совершено через взятие на откупное содержание рыболовных вод персидских прибрежий Астрабадского залива, где под видом учреждений ватаг

[1] „Записки Русск. географ. общ.“, X, стр. 161—173 и 431—461.

[2] ЦВИА, ВУА, № 25202, лл. 91—93 — Рапорт Бларамберга Шуберту от 19/III 1836 г. лл. 117—121 — Рапорт его же Чернышеву от 31/XII 1836 г.

[3] „Зап. Русск. географ. общ.“, X, стр. 168—173.

[4] МИД, Гл. арх., I—9, 1835—1839, № 3, лл. 130—135 — Рапорт Бларамберга от 31/XII 1836 г.

[5] Астрахань, как потенциальное „складочное место всей азиатской торговли“, находилась, по словам Карелина, „в самом жалком забросе“, и „астраханское купечество в настоящем составе своем было вовсе неспособно осуществить здешнюю торговлю“.

и рыболовных заведений можно мало-по-малу усилить ввозы товаров». В числе пунктов, которые предполагалось занять, указывался прежде всего небольшой и необитаемый остров Огурчинский[1] (в 200 верстах от Астрабадского залива), располагавший якорными стоянками, пресной водой и богатый каменной солью и тюленями. Далее намечался соседний с ним остров Челекен, славившийся своими нефтяными богатствами и, по словам Карелина, составлявший угрозу бакинской нефтяной промышленности. Имелась также в виду возможность занятия, по соглашению с персидскими властями, одного из пунктов на побережье самого Астрабадского залива (в устье небольшой реки Багу). Наконец, особенно рекомендовалось занятие небольшого и тоже необитаемого острова Ашра, расположенного недалеко от входа в Астрабадский залив; здесь проектировалось завести ватаги (помещения для жилья рыбопромышленников и для складки рыбы и рыболовных снастей), соорудить вал для защиты от нападений, свезти с судов несколько фальконетов, а со временем и большего размера пушки. Рекомендовалось начать с занятия островов Огурчинского и Челекена; это можно было сделать, «не прибегая к крутым мерам, единовременною платою или пожалованием пожизненного пенсиона немногим туркменам». Утвердившись в туркменских водах, монополизировав торговлю с туркменами, парализовав деятельность туркменской флотилии, совершавшей частые набеги на персидские берега, столь малозначительной и одновременно «столь страшной для персиан», царское правительство «сим обстоятельством могло бы в виде вознаграждения требовать от Персии новых и выгоднейших условий относительно занятия рыболовных вод ее, а, следственно, приведения в исполнение вышеозначенного коммерческого плана».

Намечавшийся участниками экспедиции план действий в основном, повидимому, получил благоприятный отклик в правительственных кругах. Еще на полях одного из ранних рапортов Блaрамберга военному министру[2] по вопросу об использовании туркменских рыбных вод в министерстве была сделана помета: «Можно бы согласиться с Персией очистить море от разбойников за какие-нибудь выгоды». Рапорт же Бларамберга от 31 декабря 1836 г. на имя военного министра, где шла речь о необходимости основать в астрабадских водах военно-торговую факторию и учредить в дальнейшем крейсерство в Астрабадском заливе и где срочность этих мероприятий мотивировалась усиливающимся соперничеством Англии[3], так заинтересовал царя, что Чернышев решил внести поставленные Бларамбергом вопросы в Азиатский комитет.

Равным образом проявлял нетерпение и министр финансов. В феврале 1837 г., когда экспедиция Карелина уже закончилась и в основном можно было отдать себе отчет в ее результатах, Канкрин, ссылаясь на парализованное иностранным соперничеством состояние русской торговли в Персии и Азиатской Турции, указывал на юго-восточный берег Каспийского моря как на направление, в котором нужно искать выхода из создавшегося положения. Он говорил о необходимости «учредить там российскую факторию по примеру как англичане имеют таковую в Бендер-Бушире». Он намечал Астрабад

---

[1] Имевший 36 верст в длину и $2^1/_2$ версты в ширину; только зимой на нем временно проживали отдельные туркменские семьи.

[2] ЦВИА, ВУА, № 25202, лл. 139—143 — от 25/VII 1836 г.

[3] „Если мы опоздаем принять энергичные меры, — писал Бларамберг, — мы рискуем многим, ибо англичане являются нашими очень опасными соперниками, благодаря новой открытой ими для своей торговли дороге через Трепизонд“.

как «наивыгоднейшее для сего место» и ставил перед министром иностранных дел вопрос о вступлении в переговоры с персидским правительством по этому делу[1]. В течение четырех месяцев Канкрин не получал ответа из министерства иностранных дел. В июне 1837 г. Канкрин снова запросил министерство иностранных дел, адресовавшись теперь к Родофиникину[2]. Ему пришлось ждать ответа еще около двух месяцев. Нессельроде и его фактотум по азиатским делам Родофиникин не торопились. Признавая, что Астрабад, «указанный торговле Петром Великим», — «имя приятное русскому уху», Родофиникин считал, что некогда многолюдный и богатый город теперь превратился «в деревню», но что «сие... запустелое место, не представляющее теперь никакой надежды найти местных потребителей для наших произведений, содержит в себе семена не скорой, но богатой и обширной промышленности». Чтобы получить плоды от сих семян, — рассуждал Родофиникин, — «нужны терпение и крайне благоразумная осторожность, ибо малейшая опрометчивость разрушит все надежды не только на долгое время, но может быть и навсегда»[3]. Торговле с туркменами он придавал еще меньше значения, нежели торговле с астрабадскими персами. «Дело идет о торговых сношениях с Азиею через восточный край Каспийского моря, — писал он (по другому поводу) Канкрину, — торговля с самими трухменами, обитающими по восточному берегу Каспийского моря, не может быть значительна, а потому не может соделаться главным предметом внимания правительства нашего»[4].

Призванный к тому, чтобы учитывать и преодолевать все политические и дипломатические препятствия, стоявшие перед царской Россией на пути ее продвижения в Азии, директор Азиатского департамента не упускал, однако, из виду второстепенного вопроса — о туркменах. Прибывшему с Карелиным в Астрахань по коммерческим делам старшему сыну Киат-хана Кадыр-Могамеду он выхлопотал у царя разрешение на приезд в Петербург, «так как сим случаем можно бы воспользоваться, чтобы войти в ближайшие и полезные связи с трухменами». Он только потребовал от Карелина, чтобы Кадыр выехал один, «без огласки», и потом в пути незаметно снова присоединился к начальнику экспедиции[5]. Кадыр должен был передать царю ходатайство туркмен иомудского племени о принятии их в подданство России. Так как окончательное разрешение этого вопроса снова отложили, решено было сына Киата в Петербурге долго не задерживать и, «обласкав его здесь и обдарив, отпустить потом обратно». Кадыру выдали 300 червонцев на путевые издержки, кинжал «ценою 2—3 тыс. рубл.», «2 половины хорошего сукна и 10 кусков лучшего разноцветного ситца... дабы вводить между трухменами охоту к употреблению российских мануфактурных изделий»[6].

---

[1] МИД, Гл. арх., II—3, 1836, № 5, ч. I, лл. 2—3 — Отношение Канкрина Нессельроде от 27/II 1837 г., № 620.

[2] Там же. л. 4 — Отношение Канкрина Родофиникину от 22/VI 1837 г., № 2211.

[3] Там же. I—9. 1836—1856, № 2, лл. 219—225 — Записка, озаглавленная „Мнение Родофиникина“. На полях приписка: „Не было читано в Комитете“. Дата отсутствует; относится, повидимому, к концу 1837 — началу 1838 г.

[4] Там же. 1835—1839, № 3, лл. 162—165 — Отношение Родофиникина Канкрину от 14/XI 1837 г., № 2816.

[5] Там же, I—9, 1835—1839, № 3, лл. 100—101 — Отношение Родофиникина Карелину от 17/XI 1836 г. № 2592; лл. 108—110 — Отношение Нессельроде Темирязеву от 7/X 1836 г. № 2594; там же, I—1, 1836, № 78—Всеподданнейший доклад от 17/XI 1836г.

[6] Там же, I—1, 1837, № 79, лл. 80—81— Всеподданнейшей доклад от 24/VI 1837 г.

Медленные темпы в переписке с министерством финансов, которые снова стало обнаруживать дипломатическое ведомство и которые так нервировали точного и аккуратного Канкрина, не были случайны. Кунктаторская политика руководителя Азиатского департамента в астрабадском вопросе объяснялась общей конъюнктурой на соседнем афганском участке, определявшейся, в свою очередь, положением дел не только в Азии, но и в Европе.

IV

Распадение Европы в середине 30-х годов на два борющихся лагеря — Мюнхенгрецский тройственный союз, с одной стороны, и создавшийся вокруг пиренейских дел Четверной союз, с другой — было непродолжительно. Оно не могло быть продолжительным уже по одному тому, что база Четверного союза — новый англо-французский союз — уже не был союзом друзей, как в 1830 г., когда он держал в напряжении всю Европу. Несмотря на присутствие в составе парижского кабинета старого ненавистника Священного союза герцога де Брольи, Людовик-Филипп начинал тяготеть к клерикальным монархиям и вел секретную переписку с Меттернихом. Сближение Людовика с Австрией означало удаление его от Англии. Африка, которая однажды уже сыграла роль черной кошки, пробежавшей между Парижем и Лондоном, теперь через те же Алжир и Египет взрыхляла восточный вопрос с новою силой и приводила обоих союзников к дипломатическому барьеру.

В этих условиях должны были замолкнуть до того громко раздававшиеся в Лондоне «крики о войне с Россией»[1] и утихала кампания вокруг польского вопроса[2]. Когда же на одном из заседаний Палаты общин, в феврале 1836 г., ряд ораторов под флагом защиты Польши пытался протащить идею необходимости борьбы с опасностью русского царизма и войны с Россией, Пальмерстон заявил, что никакой опасности миру со стороны России не угрожает, и что Ункиар-Искелесский договор превращается в «мертвую букву»[3].

«Восточный вопрос, — писал русский посланник в Лондоне, характеризуя англо-французские отношения, — главный фактор, определяющий позицию двух морских держав. Они обе смотрят на нас с недоверием, но не доверяют также друг другу, ибо, если бы крупное потрясение... постигло Оттоманскую империю, их первою задачей было бы наброситься на нас, а затем при присвоении награбленного они не спускали бы глаз друг с друга»[4]. Отстаивать ункиар-искелесские достижения против соединенных сил Англии и Франции царизм был не в силах.

Посягательства на целость Турции со стороны Мехмета-Али, явственно руководимого из Парижа, определяли политику петербургского кабинета, готового итти на сделку с Лондоном даже за счет своих собственных притязаний на Турцию. В марте 1836 г. в Петербурге было подписано соглашение с Портою, по которому царь освобождал султана от части тяготевшего над ним долга и обязался вывести свои войска из Силистрии. Соглашение это было заключено по инициативе Англии. Ближневосточный вопрос сближал двух

[1] МИД, К., Лондон, 1836, № 127—128, лл. 42—46 — Депеша Поццо ди Борго от 21/I 1836 г., № 4.

[2] Там же, лл. 60—61 — Депеша его же от 26/I 1836 г., № 6.

[3] Там же, лл. 107—117 — Отчет о заседании Палаты общин 19/II 1836 г.

[4] Там же, лл. 110—113 — Депеша Поццо ди Борго от 5/V 1836 г., № 47.

старых противников и заставлял царскую дипломатию думать не только о борьбе с Англией, но и о сотрудничестве с ней.

Два года спустя, в 1838 г., одному из видных царских дипломатов того времени, Бруннову, было поручено ввести наследника в круг основных вопросов внешней политики царизма. Бруннов составил обширную записку, представлявшую обзор политики петербургского кабинета за время после воцарения Николая I[1]. Воспитанный на идеях Священного союза, сторонник «концертной» западноевропейской политики, Бруннов к активной русской политике на Востоке и, в частности, к таким актам, как присоединение Крыма и Грузии к России, относился с значительной долей скептицизма. Однако он добросовестно подытожил основные достижения внешней политики царизма за последнее десятилетие — в деле «обуздания» Франции, несущей «революционную заразу», и в турецком вопросе.

Разрешение обоих этих вопросов на первом этапе привело к выходу из сложившейся после наполеоновских войн четверной Антанты конституционной Англии и к созданию охранительного союза трех монархических государств. Правда, «союзники... походят на трех путешественников, различных по возрасту и силе, которые идут вместе одною дорогою», по которым «трудно итти нога в ногу»; «сильнейшему» приходится «замедлять свой шаг», чтобы не дать своим спутникам отстать от него. «Умеренность» и «миролюбие» необходимы тем более, что разложение англо-французского союза лишь вопрос времени; оно избавит Россию от крупнейшей опасности, грозящей ее политике в Турции. Турецкий вопрос, — подчеркивал автор записки, — «самый важный вопрос европейской политики». Бруннов провел читателя через все вопросы европейской политики и дал анализ международного положения всех европейских государств, больших и малых. Он определил позицию царской России в отношении каждого из них в отдельности и всех, вместе взятых. Уделяя известное место вопросу о Польше, придавая важное значение борьбе с революционным движением, Бруннов строил свою концепцию прежде всего в плане задач, стоящих перед царской Россией на Ближнем Востоке. Наступление на Ближнем Востоке являлось у него той доминантой, которой, очевидно, должны были подчиняться прочие внешне-политические задачи царизма, его экспансия на других фронтах. Положения на этих других фронтах Бруннов не считал нужным касаться. Намечая только скелет дипломатической мысли, популяризация Бруннова оставляла в стороне многие детали. Это не означало, разумеется, что этих деталей в действительности не было. Они были прежде всего в среднеазиатской политике царизма, той политике, которая прежде всего и больше всего затрагивала интересы именно Англии. Касаясь вопроса об англо-русских отношениях, Бруннов вскользь упомянул, что английское «общественное мнение» живет под страхом овладения Россией не только Константинополем, но и Британской Индией. Но как побывавшие недавно в Петербурге лорды Дюргем и Лондондерри уверились в миролюбии царя, так, — заключал царский дипломат, — должна увериться в том и вся Англия.

Усилившаяся в первой половине 30-х годов английская экономическая экспансия в Персии шла параллельно энергичному политическому наступлению, которое повела Англия в Средней Азии, опираясь на свои индийские владения. Объектом этой агрессии явились

[1] А. Зайончковский. Восточная война 1853—1856 гг., I, Приложения, стр. 26—111.

страны, лежавшие к северу от Инда. Останавливая рост владений магараджи Пенджаба Ренджит-Синга в южном направлении и укрепляя дружбу с ним, англичане направляют его энергию на северо-запад. Одновременно они делают попытку укрепить свои политические позиции в Персии. В течение 1835 г. английский посланник в Тегеране Эллис ведет с шахским правительством переговоры, добиваясь взимания 5% пошлины с английских товаров, свободного плавания по персидским водам и права назначения консулов во все города Персии, имея в виду прежде всего Астрабад. Этот последний вопрос особенно волновал царское правительство, и на одном из донесений русского посланника в Тегеране на эту тему царь сделал помету: «Надо предписать гр. Симоничу всеми силами избежать этого»[1]. Русское влияние в Тегеране оказалось достаточно сильным: шах отклонил настояния англичан, уступив им (май 1836 г.) только в вопросе о пошлинах и приравняв условия ввоза английских товаров к условиям, принятым для русских[2].

Но главное внимание английского правительства было обращено в ту пору не на Персию. Еще после своего путешествия по Средней Азии в 1831—1833 гг. лейтенант остиндской службы Александр Бернс, сравнивая значение Персии для англичан со значением, какое может получить в будущем Кабул для английской торговли и «защиты Индии», приходил к заключению: «Если-бы обстоятельства сблизили нас с Кабулом теснее, нежели с Персиею, то мы там приобрели бы себе более близких, верных и полезных союзников, чем мы имеем в последней стране. Наконец, мы не истратили бы и $^1/_{10}$ доли того, что мы так щедро расточали в Персии»[3].

Известно, что со второго десятилетия XIX в. Афганистан вступает в полосу резко выраженного феодального распада. К 1820 г., после падения династии Садози, государственное единство перестает там существовать. Владения, входившие прежде составными частями в афганское государство, начинают жить каждое своей собственной политической жизнью. Примыкавшие к Афганистану провинции завоевываются Ренджит-Сингом, который покорил и богатую Кашмирскую провинцию. В Герате властвует Камран-мирза, сын свергнутого Махмуд-шаха афганского. В Кабуле, Пешаваре и Кандагаре воцаряются представители новой династии Баракзи — Дост-Могамед, брат его султан Могамед-хан и племянник их Когендиль-хан[4]. Правители враждуют между собой, ослабляя друг друга. Пешавер уже платит дань Ренджит-Сингу. Герат — под ударами Персии, которая не раз облагала его данью. Кандагар уже объявил себя вассалом шаха персидского. Наиболее сильным и независимым был умный и энергичный правитель Кабула[5], кандидат в «собиратели» афганской земли. Однако независимость его была поставлена в узкие рамки англо-русского соперничества и выражалась в том, что он мог выбрать себе в друзья либо Россию либо Англию; без одного из этих друзей обойтись он не мог. Ненавистник Пенджаба, Дост рвался к единоборству с Ренджит-Сингом, но скоро убедился в том, что его не дадут в обиду англичане, что в проводимой ими политике

---

[1] На депеше Симонича от 6/III 1835 г.; см. Арх. МИД, К., Тегеран, 1835, № 237, лл. 109—111, 143—146, 176—177 и сл.

[2] Там же, 1836, № 204, лл. 7, 13—19, 38—49, 57, 293.

[3] А. Бернс. Путешествие в Бухару, III, стр. 447.

[4] МИД, Гл. арх., I—9, 1831, № 20, лл. 61—75 — Записка „об Афганистане“, составленная в м-ве иностр. дел.

[5] А. Бернс. Указ. соч., III, стр. 425—434.

барьеров в борьбе с царской экспансией они избрали Пенджаб своим орудием и в данное время нимало не скорбят об ослаблении и распаде Афганистана[1]. Мало того, он убеждался, что англичане восстанавливают против него правителей пешаверского и кандагарского и даже дают приют и откармливают для своих нужд свергнутого шаха Шоджу-уль-Мулька. Впоследствии, когда Дост был вынужден ладить с англичанами, он уверял, что письма к Николаю I он никогда не писал и что опубликованное в английской печати письмо его к царю было подложное. Вопрос о подлинности этого письма остается по сию пору открытым, но самый факт посылки Достом письма Николаю можно считать установленным.

Известно во всяком случае, что Виткевич, ездивший в Кабул еще в 1835 г., писал тогда, что «владелец Кабулистана ищет покровительства России и готов сделать в пользу нашу все, что от него потребуют»[2]. Известно также, что в ноябре 1836 г. прибывший в Россию под видом купца посланец Доста Гуссейн-Али вел с Нессельроде переговоры о совместных кабульско-бухарских действиях против англичан[3]. В своем докладе царю 19 декабря 1836 г. министр иностранных дел так обрисовал положение, создавшееся в Средней Азии в связи с усилением английской агрессии: прибывший в Петербург кабульский посланник просит помощи против Англии и против ее агентуры — Ренджит-Синга; в то же время прибывшие в Тегеран посланцы кабульский и кандагарский просят шаха принять их страны под свое покровительство; оренбургский ген.-губернатор считает желательным оказать помощь афганцам, послав нанку и сукно для обмундирования армии; шах готов исполнить просьбу правителей соседних стран. «Домогательства англичан, — говорится в докладе, — почти явны, и, если они в этом успеют, то, как замечает гр. Симонич, влияние наше в Средней Азии рушится и торговля придет в упадок, для чего и полагает, что непременно нужно убедить персидского шаха в необходимости покорить Герат, ибо тогда весь Афганистан будет в руках персиан»[4]. Так как шах издавна склонен был считать Афганистан своим вассальным владением, царское дипломатическое ведомство не возражало против выступления шаха в роли защитника и покровителя Афганистана и давало Симоничу общую директиву содействовать теснейшему сближению между двумя странами[5]. Известно, наконец, и то, что в мае того же 1837 года Гуссейн-Али покинул Петербург в сопровождении пор. Виткевича, который вез с собою подарки владетелям Кабула и Кандагара, а первому также высочайшую грамоту «в ответ на письмо его» царю.

Секретная инструкция, которою снабжен был Виткевич, в основном сводилась к следующему: «Убедивши афганских владельцев в пользе тесного их между собою соединения, объяснить им и необходимость пользоваться благосклонностью и покровительством Персии..., которая, признавая их своими вассалами, стояла бы в обязанности заступиться за них»; Россия по дальности расстояния не сможет оказать

[1] Correspondance de Victor Jacquemont pendant son voyage dans l'Inde en 1831—1832. II, pp. 197—199.

[2] ЦВИА, ВУА, № 56035, лл. 3—9 — Записка Виткевича, не датированная.

[3] МИД, Гл. арх., I—1, 1836, № 78, лл. 105—106 — Всеподданнейший доклад от 29/XI 1836 г.

[4] Там же, лл. 108—109 — Всеподданнейший доклад, утвержденный 19/XII 1836 г.

[5] Там же, 1837, № 79, лл. 40—46 — Проект письма Симоничу, утвержденный 30/III 1837 г.

им непосредственной помощи, но «всегда будет через посредство Персии оказывать дружеское за них заступление».

Инструкция заканчивалась указанием на необходимость установить связь с торговыми домами в Кабуле и побудить афганцев завязать «непосредственную торговлю с Россией»[1]. Возвращаясь к содержанию приписывавшегося Досту письма, во всяком случае можно сказать, что оно не было неправдоподобным. Вспоминая о своей исконной вражде с Ренджит-Сингом и жалуясь на англичан, которые помогают последнему, автор письма заключал: «Ваше правительство в дружбе с персидским; если бы вашему величеству угодно было сделать то же в стране афганской, я стал бы вашим слугою. Я надеюсь, что ваше величество окажете мне свое покровительство... Я и мои афганцы сможем быть вам полезными»[2]. Приблизительно через три месяца письмо аналогичного содержания было получено лордом Аукλендом, вновь назначенным ген.-губернатором Индии[3]. Жалуясь на сейков, Дост просил Аукленда «научить» его и «помочь» ему: «Я надеюсь, что вы видите во мне и в моем народе преданных вам и поможете мне вашими благосклонными письмами». Аукленд ответил Досту письмом (от 22 августа 1836 г.), в котором обещал позаботиться о будущем «благополучии» Афганистана. В начале 1837 г. он послал к Досту знакомого ему по прошлым годам Бернса. Последний должен был, занявшись укреплением индо-афганских торговых связей, примирить Доста с Сингом и добиться заключения англо-афганского соглашения с обязательством Доста не заключать ни с кем союзов без согласия Англии[4].

В эту же пору Дост завел переговоры о союзе также с Персией. Персидское правительство откликнулось на предложение и отправило в Кабул своего посланца. Но скоро в эту комбинацию включилось третье лицо. Симонич, стоявший за спиною тегеранского кабинета и поддерживавший шаха в его намерении предпринять поход на Герат, захотел теперь сам притти к Досту на помощь. Со своим агентом Хаджи-Ибрагимом он отправляет Досту письмо с извещением, что если Персия не окажет Кабулу просимой помощи, ее окажет Россия. 20 декабря 1837 г. (н. ст.) Бернс извещал Аукленда о «чрезвычайно экстраординарной новости»: «вчера прибыл в этот город агент, посланный непосредственно русским императором»[5]. Деятельность в Кабуле пор. Виткевича, как и деятельность Бернса, до сих пор остается не освещенной. Как передавал Симонич, Бернс в переговорах, которые он вел с Достом, превысил свои полномочия, обещав ему возвращение Пешавера, а Когендиль-хану — денежную помощь. Обещания, данные им Досту, не были санкционированы ген.-губернатором Индии[6]. Что касается Виткевича, официальная русская версия гласила, что он был послан для сопровождения возвращавшегося из Петербурга в Кабул посланца Доста и для установления торговых сношений[7]. Известно, что Гуссейн-Али в пути заболел и до-

---

[1] Акты Кавк. арх. ком., VIII, стр. 944—945 — Инструкция пор. Виткевичу от 14/V 1837 г., № 1218.

[2] „Revue de deux Mondes, 1845, IX, p. 809; см. также МИД, Гл. арх., I—9, 1831—1847, № 7, лл. 186—64 — Записка без даты, составленная в мин-ве иностр. дел.

[3] Письмо Доста к л. Аукленду от 31/V 1836 г.; „Revue de deux Mondes“, IX, p. 8[illegible]; см. также МИД, Гл. арх., то же дело.

[4] АКАК, IX, стр. 552—554 — Письмо Симонича Головину от 22/V 1838 г.

[5] „Revue de deux Mondes“, IX, p. 810.

[6] АКАК, IX, стр. 552—554.

[7] МИД, К., Лондон, 1838 г., № 131, лл. 119—147 — Письмо Нессельроде к Поццо ди Борго от 20/X 1838 г.

жен был задержаться в Москве. Когда он выздоровел, он был доставлен в Тифлис простым унтер-офицером и сдан бар. Розену «под квитанцию... в благополучном доставлении означенного сановника»[1]. Сопровождавший же его Виткевич продолжал свой путь без него и, ознакомив Симонича с содержанием данной ему в Петербурге секретной инструкции, выехал в Афганистан.

Действия английских и царских агентов, работавших в ту пору в Средней Азии, являются предметом не легким для детального изучения. В материалах центральных дипломатических органов не всегда можно найти отражение предпринимаемых ими шагов. Можно даже сказать, что в данном случае мы имеем дело с системой, проводившейся обоими кабинетами: Лондон и Петербург живут по видимости в идиллической дружбе, борьбу же ведут их представители на местах, получающие от своих правительств общие директивы и предоставленные в значительной мере собственной инициативе. Когда Николай I возражал против вига Каннинга как представителя Англии в России, к нему был послан лорд Дюргем, член партии тори, и дружественные отношения между дворами не потерпели ущерба. В это же время представительство русских интересов в Персии было поручено типичному авантюристу, сербскому выходцу Гра Симоничу, именовавшему себя графом. В сентябре 1836 г., когда среднеазиатская конъюнктура обострилась и Эллис был признан недостаточно решительным и инициативным на посту английского посланника в Тегеране, он был заменен Мак-Нейлем. Это был путешественник по призванию, купец, миссионер и солдат по профессии, дипломат по недоразумению, но во всяком случае человек, не уступавший Симоничу в решительности и инициативности[2]. Александр Бернс и бывший польский конфедерат Виткевич, сосланный на жительство в Оренбург и ставший личным адъютантом оренбургского ген.-губернатора — явления того же порядка. Неудивительно поэтому, что, когда в феврале 1837 г. в Лондоне возникла тревога по поводу делаемых Симоничем шаху внушений по гератскому вопросу и лорд Дюргем запросил об этом царское министерство, Родофиникин мог успокоить его, показав наряд с отпусками инструкций, дававшихся министерством Симоничу[3]. В то время как англо-русские отношения на линии Петербург — Лондон оставались в состоянии «дружбы», по линиям Оренбург — Кабул и Тегеран — Калькутта шла ожесточенная англо-русская борьба.

Гератцы напали на персидские земли и, разграбив их, увели в плен 12 тысяч персов. Руководимый Симоничем шах стал готовить экспедицию против Герата.

В июле 1837 г. он двинулся со своими войсками в Афганистан. Первоначальные военные успехи (взятие крепости Гурнана) сменились неудачами. Холодная зима надолго остановила под Гератом шахскую армию, оставшуюся без одежды, без снаряжения и без денег[4]. Начинается осада Герата. В своей депеше Пальмерстону от 18 января 1838 г. (н. ст.) Мак-Нейль говорил о тех «результатах, которые должны... последовать для безопасности Английской Индии от падения Герата»: «Если мы хотим сохранить союз с Персией насколько возможно дольше, нужно помешать ей овладеть Гератом»[5].

---

[1] АКАК, IX, стр. 949 — Отношение московского военного губ-ра бар. Розену от 8/VIII 1837 г., № 486.

[2] „Revue de deux Mondes", IX, p. 791.

[3] МИД, Гл. арх., I—9, 1834—1847, № 7, лл. 186—64.

[4] АКАК, IX, стр. 552—554.

[5] „Revue de deux Mondes", IX, p. 800.

В это самое время, в декабре 1837 — январе 1838 г., Бернс ведет беседы с Достом и добивается от него ценных признаний: Дост не хочет иметь дел ни с какой другой страной кроме Англии; прибывшего в Кабул Виткевича он готов выгнать из своей страны и поступить с ним так, как потребует представитель Великобритании. «Вообще, если можно что-нибудь предпринять насчет Афганистана, то только теперь, пока англичане не продвинулись к этим местам и отвлечены Пенджабом, — читаем в относящейся к этому же времени записке, составленной в российском министерстве иностранных дел, — но как скоро дадут им время овладеть нынешним достоянием Ренджит-Синга, не оставив в Афганистане ничего противодействующего, тогда ничто не спасет афганцев от предстоящего им порабощения. С покорением же Афганистана[1] влияние наше в Персии утратится; торговля с Средней Азией почти рушится или сделается ничтожною»[2]. «Для отвращения всех этих последствий, — гласил следующий, зачеркнутый рукою составителя, абзац цитируемой записки, — можно было бы сделать какие-нибудь пожертвования для спасения Афганистана»[3]. Виткевич приехал в Кабул с большими деньгами, широкими планами и крупными предложениями. Он часто и подолгу засиживается у Доста; он обещает добиться у Синга отказа от Пешавера. Дост начинает ускользать из рук Бернса; он обращается лицом к России. В апреле 1838 г. Бернс покидает Кабул.

Ост-индское правительство заключает с сейками оборонительно-наступательный союз для борьбы с Достом и для восстановления на кабульском престоле Шах-Шоджи. Под Гератом создается своеобразное положение. 30-тысячное персидское войско с 60 орудиями, с шахом во главе, осаждает город. Защитой Герата руководит офицер английской службы Поттинджер. Осаждающих консультирует капитан Генерального штаба России Бларамберг[4]. Он снабжен от Симонича инструкциями давать персам советы по вопросам атаки и штурма: «А как от удачи предпринимаемой ныне шахом экспедиции зависит спокойствие Персии, то в виды нашего правительства должно входить, дабы способствовать сему предприятию моральным влиянием своим». Бларамбергу предписывалось поэтому «присутствовать при сих осадных работах и употреблять старания и познания ваши»[5]. Под стенами осажденного Герата в шахском лагере находились обе дипломатические миссии — русская и английская. Как доносил Бларамберг, «англичане действуют открыто против Персии»[6]. «Находящиеся в лагере шаха английские офицеры поддерживают правильные сношения с осажденными и не оставляют их ни советами, ни сведениями об осадных работах»[7].

Мак-Нейль входит на 24 часа в осажденный город. Он передает правителю Герата Камраму-мирзе 6 тысяч дукатов, он ободряет его, уговаривает держаться до последней возможности. Из перехваченных Симоничем писем выясняется, что ген.-губернатор Индии находится в тайных сношениях с Гератом, что он переписывается с правителем

---

[1] Зачеркнуто: „бог знает, что может произойти".

[2] Зачеркнуто: „На Каспийском море могут явиться опасные для нас соперники: англичане не будут опасаться нас, как теперь опасаются в Индии".

[3] МИД, Гл. арх., I—9, 1834—1847, № 7, лл. 18б—64.

[4] Прибывший в персидский лагерь под Гератом 10/IV 1838 г.

[5] МИД, Гл. арх., I—9, 1838, № 21, л. 43 — Рапорт Бларамберга Шуберту от 18/IV 1838 г., № 17.

[6] Там же, лл. 46—50 — Рапорт Бларамберга Чернышеву от 18/IV 1838 г., № 18.

[7] Там же, К., Лондон, 1838, № 131, лл. 236—238 — Частное письмо Нессельроде Поццо ди Борго от 23/VII 1838 г.

Кандагара и с Достом, убеждая последнего не заключать никаких союзов без санкции Англии. Симонич, со своей стороны, советует шаху заключить союз с Кабулом и Кандагаром, обещая им Герат, если они признают себя вассалами шаха. Старания Симонича увенчались успехом. Правители соседних владений согласились на его предложения. В кандагаро-персидском трактате Симонич дал гарантию России [1]. Как пояснял Бларамберг, соглашением этим открывались перспективы укрепления влияния шаха, а, следовательно, и России до правого берега Инда. «Бог даст, — заключал Бларамберг, — экспедиция приведет к такому результату, и со временем мы получим выгодный рынок для предметов нашего мануфактурного производства в Афганистане» [2]. В политическом отношении «Герат получил бы тогда значение стратегического ключа для русской и персидской армий, открывая доступ в сердце английских владений» [3].

Гарантирование Симоничем персидско-кандагарской конвенции, против чего предостерегал Нессельроде русского посланника в Тегеране [4], явилось личной инициативой дипломатических агентов, действовавших в Средней Азии, типичным представителем которых был энергичный сербский «граф». Хотя Симонич и проявлял в осадных работах такую активность, что Бларамберг в своих донесениях в Главный штаб жаловался на создавшуюся в результате этого стратегическую и политическую опасность [5], дела персов шли плохо. В первой половине августа Бларамберг сообщал о прогрессирующем разложении персидской армии и о катастрофическом положении осаждающих [6]. Еще в двадцатых числах мая, ссылаясь на «обиду», нанесенную персидскими властями курьеру английской миссии, Мак-Нейль в знак протеста покинул шахский двор под Гератом [7]. В августе же он прислал в шахский лагерь Стоддарта, вручившего персидскому министру иностранных дел вербальную ноту: экспедиция против Герата объявлялась враждебною демонстрациею против Британской Индии; занятие его — «посягательством на английские владения в Индии»; шаху предлагалось вывести немедленно свою армию из пределов Герата; шах уведомлялся о том, что английская эскадра из пяти военных судов получила приказ подкрепить предъявляемый ультиматум десантом на островах Персидского залива [8].

28 августа осада была снята. Стоддарта встретили в Герате с «распростертыми объятиями» [9].

Мак-Нейль, демонстрируя разрыв дипломатических сношений, готовится к отъезду из Ирана. Симонич отзывается с дипломатического поста. Батальон русских и польских дезертиров, сражавшийся под стенами Герата в рядах шахской армии, спешно направляется в Тавриз и после агитационной работы, проведенной царскими офицерами,

---

[1] АКАК, IX, стр. 552—554, 558—559.

[2] МИД, Гл. арх., I—9, 1838, № 21, лл. 51—56 — Рапорт Бларамберга Чернышеву от 3/V 1838 г., № 19.

[3] ЦВИА, оп. 287, св. 12, 1850, № 8, лл. 279—285.

[4] МИД, Гл. арх., I—1, 1838, № 80, лл. 48—50 — Проект депеши Симоничу, утвержденный 26/IV 1838 г.

[5] Там же, I—9, 1838, № 21, лл. 67—70 — Письмо Бларамберга Шуберту от 21/VI 1838 г.

[6] Там же, лл. 78—89 — Рапорт Бларамберга Шуберту от 13/VIII 1838 г., № 23.

[7] АКАК, IX, стр. 552. Письмо Мак-Нейля мирзе Агаси от 21/V 1838 г.

[8] Там же, стр. 555—556 — Отношение Симонича Головину 13/VIII 1838 г., № 175.

[9] МИД, Гл. арх., I—9, 1838, № 21, лл. 84—89 — Рапорт Бларамберга Чернышеву от 24/IX 1838 г., № 26.

незаметно отводится оттуда в Закавказье[1]. На смену Симоничу прибывает полк. Дюгамель, который должен исправить «ошибки» своего предшественника[2]. Прежде всего нужно было вернуть из Афганистана Виткевича. Он был отозван Симоничем, но задерживался начатыми делами и продолжал действовать по инерции. Его миссия в Кабуле была довольно успешна: он мог порадовать Симонича известием о том, что «эмир намерен послать своего старшего сына в Россию с просьбой о принятии кабульского владения под совершенное распоряжение государя императора и присылке полномочного резидента, который бы участвовал с эмиром в управлении Кабулом»[3]. Из Кабула Виткевич отправился в Кандагар. Здесь дела пошли значительно хуже. Отступление шахских войск из-под Герата поставило в тяжелое положение кандагарские власти. Некоторые надежды исправить положение у Виткевича еще были. В двадцатых числах октября он писал Симоничу о необходимости просить шаха выслать в Кандагар 10 тысяч туманов и 5 тысяч солдат для занятия Гуриана. Кандагиль-хан принял план убийства или изгнания из Герата Камрана. «Зная, сколь важно овладение Гератом кандагарцев[4] под влиянием России, — писал Виткевич[5], — я употреблю все возможности убеждения для достижения этой цели... Видя искренность убеждения сердаров в пользе тесного их сближения с Россией посредством мнимой зависимости от Персии, я совершенно уверен в успехе предприятия. Ежели до прихода в Кандагар Шуджа-уль-Мулька Герат будет в руках Кандагиль-хана, англичане потеряют надолго надежду восстановить здесь свое влияние; в противном случае мы лишимся возможности сбывать произведения наших фабрик в Среднюю Азию, не говоря о соседнем влиянии англичан на северо-восточные границы империи». В двадцатых числах ноября Виткевич сообщал, что Кандагиль-хан выступил по направлению к Герату, что англичане этою зимою со своим Шоджей ничего предпринять не успеют и что есть надежды на успех. Он сообщал вместе с тем, что «сердары Кандагара, овладев Гератом, предполагают отправить через Тегеран к императорскому двору младшего из братьев, Сардари-Мигрдиль-хана, уполномочив его заключить трактат и признать над собою владычество государя императора и испросить назначения в Герат и Кандагар российских резидентов»[6].

Англичане тоже не сидели сложа руки. Они проводили большую подготовительную работу: пор. Лич был послан в Ширкапур, Бернс, Гууди и Масон — в Хаирпур, полк. Поттинджер — в Гейдерабад, чтобы склонить эмиров Синда к союзу с Ост-Индской компанией и заключить соглашение о плавании по Инду. «Из сказанного ваше сиятель-

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1838, № 21, лл. 99—102 — Рапорт Бларамберга Чернышеву от 23/XII 1838 г., № 29. Условия возвращения русских дезертиров были следующие: возвращающимся гарантировалась неприкосновенность личности и сохранение чинов; начальнику батальона Самсон-хану (беглому унтер-офицеру Макинцеву) уплачивалось денежное вознаграждение и предоставлялось право выбора местожительства в той или другой стране (МИД, Гл. арх. I—1, 1838, № 8, лл. 5—7). Самсон-хан во время осады был ранен и остался в Персии (там же, I—9, 1838, № 21, лл. 67—70).

[2] Дюгамель приехал в Тегеран 8/XI 1838 г.; 15/XI он приступил к исполнению обязанностей; Симонич выехал 29/XI. См. там же, лл. 90—98 — Рапорт Бларамберга Чернышеву от 28/XI 1838 г., № 28.

[3] МИД, Гл. арх., I—9, 1839, № 20, лл. 36—40 — Выписка из рапорта Виткевича Симоничу от 21/XI 1838 г., № 79.

[4] Так в подлиннике.

[5] МИД, Гл. арх., I—9, 1838, № 18, лл. 41—44 — Выписка из рапорта Виткевича Симоничу от 23/X 1838 г.

[6] Там же, 1839, № 20, лл. 36—40 — Рапорт Виткевича Симоничу от 21/XI 1838 г., № 79.

ство изволите усмотреть, — писал тот же Виткевич Симоничу[1], — что только в Синдском владении находится 5 агентов К°... я полагаю, что съезд этих лиц в Синде прямо касается дел Афганистана». Между тем дела у кандагарцев шли плохо, а подготовительная работа английских агентов начинала приносить плоды. Три месяца спустя, 23 февраля 1839 г., Виткевич доносил, что кандагарцы оказались настолько слабы, что должны были отказаться от предпринятого похода на Герат и даже вернуть уже занятую крепость Феррах. Действия же англичан не ограничивались тем, что происходило в Синде: Бернс и д-р Лод вместе с одним из сыновей Шоджи едут в Кабул; из Пешавера рассылаются воззвания; Ренджит-Синг деятельно помогает англичанам и поддерживает дружеские сношения с Остиндской компанией; влияние Доста падает; шансы Шоджи растут; широкое применение подкупов и вся система приготовлений дают основание думать, что англо-индийское правительство не остановится на полдороге; «к тому же все предприятие ведется английскими офицерами, знающими хорошо дела Афганистана и имеющими связи со всеми лицами, приобревшими какое-либо влияние на племена, составляющие народонаселение сей страны»[2]. Первое из цитированных выше донесений Виткевича из Кандагара, где речь шла о помощи Персии кандагарцам, было получено уже не Симоничем, а Дюгамелем.

Последний оказался в «трудном» положении. Требования кандагарцев о помощи основывались на кандагаро-персидском соглашении, гарантированном Симоничем[3]. Дюгамель понимал: «Все виды англичан на Афганистан ясны. Они хотят утвердить там свое исключительное влияние и, если мы дадим им это сделать, они достигнут своей цели». Мало того, Дюгамель полагал, что «Россия не может быть бесстрастным зрителем событий, театром которых становится Афганистан, ибо, если однажды англичане утвердят свое влияние там надолго — нельзя ли предположить, что они распространят его и на берега восточные и южные Каспийского моря, и на Хиву, и на Бухару и область Туркмении, чтобы там создать затруднения и возбудить врагов, как это они сейчас делают с горцами Кавказа»[4]. Эти мысли приходили Дюгамелю на ум во время беседы с персидским министром иностранных дел мирзой Агаси в декабре 1838 г., когда персидская армия отступала от Герата и вместе с нею совершала отступательное движение и царская политика в афганском вопросе. «Без посылки лейт. Виткевича, — анализировал старые ошибки своего предшественника Дюгамель, — без тех отношений, которые установились с того времени между императорской миссией и афганцами, наконец, без конвенции, заключенной под нашей гарантией между шахом персидским и сердаром Кандагара, конвенцией, по которой мой предшественник несколько легкомысленно дал гарантию России, — никогда дела не пришли бы к тому, где они находятся»[5]. Дюгамель давал тогда же мирзе Агаси совет воздержаться от помощи людьми и ограничиться посылкою обещанных денег.

Около трех месяцев спустя (в середине февраля 1839 г.), когда стала уже выясняться безнадежность предприятия кандагарцев, актив-

---

[1] Там же.

[2] Там же, лл. 54—60 — Рапорт Виткевича Дюгамелю от 23/II 1839 г., № 30.

[3] Там же, 1838, № 18, лл. 40 и 45 — Донесение Дюгамеля от 9/XII 1838 г., № 12.

[4] Там же, лл. 72—75 — Донесение Дюгамеля от 23/XII 1838 г., № 15.

[5] Там же.

ность Дюгамеля еще снижается. Он еще не хочет сдавать позиций, но надежды свои возлагает теперь только на дипломатические переговоры: «Наша честь и наши интересы не позволяют нам оставаться равнодушными в афганских делах... — писал он. — После снятия осады с Герата англичане не имеют никаких оснований к изгнанию братьев Баракзи, и, если Англия считает себя вправе вмешиваться в пользу гератского принца против персидского правительства, я не вижу — почему Россия не могла бы равным образом заинтересоваться около Лондонского кабинета в пользу сердаров Кабула и Кандагара»[1]. Был еще момент, заставлявший Дюгамеля проявлять особую осторожность: если ему приходилось констатировать ослабление авторитета государственной власти в Персии, то в Афганистане было, по его словам, «еще хуже». «Там царит настоящий социальный хаос, и эта страна представляет теперь зрелище, которое представляла Европа в середине века, когда феодальная система там была в силе. Власть сердарей сводится почти к нулю. Толпа крупных вассалов, из которых каждый имеет у себя на службе несколько сот вооруженных, живут в состоянии дикой независимости, и никому не повинуются, пользуясь господствующей в стране анархией для своих грабежей»[2]. И тогда же Дюгамеля охватывает тревога за Закавказье: «Мы не должны останавливаться ни перед какими жертвами, чтобы избавить Персию от анархии; гражданская война в Персии может переброситься в Закавказье». Поэтому надо помочь шаху создать армию для подавления беспорядков и для отражения всякой агрессии со стороны Афганистана и Персидского залива; надо помочь ему организовать финансовое управление; надо послать ему военных инструкторов[3].

Между тем наступление англо-индийских войск успешно развивалось. В начале июля был взят Кандагар. Англо-индийские войска шли на Кабул. «Последствием всего этого, — писал Дюгамель Головину в сентябре 1839 г., — явится преобладающее влияние Англии в Персии и Центральной Азии и весьма неблагоприятное положение для русской миссии при тегеранском дворе»[4]. При таких обстоятельствах русскому посланнику в Тегеране приходилось отбросить всякие мысли об Афганистане и думать прежде всего о Персии, чтобы правительство последнего не дало англичанам связать себя по рукам и ногам»[5].

На среднеазиатском участке, где вокруг афганского клина обострились англо-русские противоречия, царское правительство временно занимало оборонительную позицию, предоставив инициативу наступления англичанам. Это было временное отступление царизма, и борьба продолжалась. Но отступление это было для царского правительства необходимостью не только стратегической, но и политической. Средиземноморская конъюнктура требовала от царизма мобилизации сил и внимания. Дипломатические сношения между Петербургом и Лондоном, не прерывавшиеся ни на минуту во время ожесточенной борьбы за Среднюю Азию, требовали поднятия англо-русской «дружбы» на такую высоту, которая могла быть достигнута максимальным освобождением их от всякого рода трений на среднеазиатском участке.

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1839, № 20, лл. 34—35, 42—43 — Донесение Дюгамеля от 16/II 1839 г., № 7.
[2] Там же.
[3] Там же. 1838, № 18, лл. 46, 47, 63 — Донесение Дюгамеля от 25/II 1839 г.
[4] АКАК, IX, стр. 563—564 — Отношение Дюгамеля Головину от 15/IX 1839 г.
[5] Там же.

V

Англо-русские переговоры по персидским и средне-азиатским делам, начавшиеся еще в январе 1834 г. со смертью Абасса-Мирзы, наследника персидского престола, не могли в течение рассматриваемого периода не приобрести значительной страстности и напряженности. Но Мак-Нейль выступал обычно от имени индийского правительства[1], а Симонич хвалился тем, что не слушается предписаний своего правительства[2]. Те взаимные обвинения, которыми обменивались между собою оба кабинета, перекладывались обычно на действовавших на местах их агентов или парировались по методу евангельской полемики о сучке и бревне в глазах спорящих. Озабоченный делами в Мадриде и Канаде, Алжире и Константинополе, подготовляющий занятие Адена для овладения Суэцким перешейком, поглощенный мыслью об изоляции Франции, Пальмерстон до октября 1838 г. проявлял робость и нерешительность в переговорах. Исход гератского похода и временное улучшение англо-французских отношений определили перелом в позиции Англии. 1 октября 1838 г. ген.-губернатор Индии лорд Ауклэнд опубликовал прокламацию, в которой возвещался предстоящий поход англо-индийских войск через Инд для водворения «порядка» в Афганистане и утверждения на афганском троне принца Шоджи-уль-Мулька.[3]

Царское правительство, которое и до того проявляло в переговорах по среднеазиатским делам большую осторожность, теперь готовится обнаружить прямую уступчивость.

В десятых числах октября Пальмерстон заявляет Поццо ди Борго, что взаимоотношения России и Англии не могут оставаться в прежнем положении. Он указывает на угрожающие размеры русской эскадры в Кронштадте, на то, что русское влияние в Персии становится господствующим, что шах предпринял экспедицию против Герата по наущению царских агентов, замышляющих планы против Индии; он упрекает царское правительство даже за его политику в «Черкесии»[4]. В те же дни лорд Мельбурн говорит Поццо, что Англия не может оставаться равнодушной при активности царской политики в Персии и Турции, и в качестве ultima ratio ссылается на возбуждение английского «общественного мнения»[5]. Правда, через два дня Поццо ди Борго находил уже некоторые сдвиги в настроении лондонского кабинета и отмечал, что Пальмерстон готов примириться на поддержании в Персии status quo, установленного в 1834 г.[6] Но царское правительство считало настоятельно необходимым рассеять резкие «предубеждения» Англии. 16 октября 1838 г. на приеме дипломатического корпуса в Царском Селе Николай I заявил Кланрикарду, что политика царизма в Азии ни в малейшей степени не направлена против Индии. В ряде относящихся к этому времени инструктивных писем к Поццо ди Борго Нессельроде старался разъяснить и обосновать принципы царской политики в Азии и, в частности, в афганском

[1] „Revue de deux Mondes", 1845, III, pp. 796—798.

[2] МИД, Гл. арх., I—9, 1834—1847, № 7, лл. 155—64—„Записка о Персии и Афганистане с 1834 по 1847 гг.".

[3] The Afghan war. From the Journal and correspondence of the late Major-general Augustus Abbot by Ch. R. Low, pp. 57—60, London, 1879; см. также History of the Afghans by I. P. Ferrier, London, 1858.

[4] МИД, К., Лондон, 1838, № 130, лл. 15—25 — Депеша Поццо ди Борго от 11/X 1838 г. № 93.

[5] Там же, лл. 27—29 — Депеша Поццо ди Борго, от 11/X 1838 г., № 94.

[6] Там же, лл. 197—203 — Депеша Поццо ди Борго от 13/XII 1838 г., № 114.

вопросе: «Мысль о нарушении спокойствия в индийских владениях Англии никогда не появлялась и не появится в сознании нашего императора». «Авантюристская идея» вмешательства в индийские дела находится в полном противоречии с здравой и разумной политикой императорского кабинета. Война Персии против Герата была самозащитой от постоянных набегов гератцев и «в принципе» войной «справедливой». Как только царь узнал, что поход на Герат вызывает беспокойство Англии, все усилия его были направлены к тому, чтобы добиться соглашения Персии с Гератом; свое миролюбие Россия доказала отзывом батальона дезертиров. Теперь она доказала это посылкою известного своею умеренностью Дюгамеля; Россия является сторонницей «свободной конкуренции» в противоположность Англии, стремящейся к монопольному овладению среднеазиатскими рынками [1].

«Настоящий момент, — писал министр Поццо ди Борго 20 октября 1838 г., — один из серьезнейших по своим последствиям в наших взаимоотношениях с Англией последних годов». Он предписывал посланнику во что бы то ни стало рассеять подозрения относительно позиции России в афгано-персидском конфликте. Он наказывал ему не полагаться на Пальмерстона, «злая воля которого достаточно известна», и который может сознательно извратить в глазах кабинета позицию царского правительства; он советовал поставить о ней в известность ряд других членов кабинета, ориентируясь на более умеренных, в которых легче встретить поддержку [2]. Последовавший в период гератского похода разрыв дипломатических сношений между Англией и Персией, мотивированный Мак-Нейлем ссылкою на оскорбление персами одного из его курьеров, особенно беспокоил царскую дипломатию. По совету Дюгамеля, шах отправил в Лондон своего посланника с письмом, содержавшим выражения сожаления о происшедшем и извинения. Прибывший в Лондон Гусейн-хан в течение нескольких месяцев проживал там как частное лицо: Пальмерстон сначала вовсе не принял его, а, приняв, долгое время не соглашался признать объяснения удовлетворительными [3]. В своей депеше от 30 мая 1839 г., сообщая, что персидскому посланнику придется доказывать законность своих полномочий, Поццо ди Борго писал о «постыдной слабости Персии» и о том «невыгодном положении», в какое попадает в связи с этим Россия. Ссылаясь на свою беседу с лордом Мельбурном, посол обращал внимание на рост агрессивных планов англо-индийского правительства, стремящегося овладеть землями, расположенными между Индом и Каспийским морем [4].

Это было время, когда армия одряхлевшего султана Махмуда шла по ассирийским пустыням, чтобы быть разбитой войсками мятежного Ибрагим-паши (май — июль), когда власть в Константинополе переходила к 16-летнему Абдул-Меджиду, а весь турецкий флот с командующим во главе готовился дезертировать в Египет (июль). Это было время, когда Россия была готова привести в действие соответствующие пункты Ункиар-Искелесского договора, прочие же дер-

[1] МИД, К., Лондон, 1838, № 131, лл. 150—162, 236—238 — Письма Нессельроде от 23/VII, 20/X 1838 г., а также Гл. арх., I—9, 1839, № 19, лл. 68—84 — Письмо Нессельроде от 21/II 1839 г.

[2] МИД, К., Лондон, 1838, № 131, лл. 150—162 — Письмо Нессельроде от 20/X 1838 г.

[3] Там же, №№ 839, 120, лл. 162—165, 200—201, 279—291, 328—332 — Депеши Поццо ди Борго от 30/V и 3/VI 1839 г.; Депеши Киселева от 20 и 27/VI 1839 г.; там же, 1839, №№ 123—124, лл. [illegible] и [illegible]—92 — Депеши Киселева от 10 и 21/XI 1839 г.

[4] Там же.

жавы поставили вопрос о замене русского протектората над Турцией коллективной европейской гарантией (май — июль), время, когда осуществление этой гарантии приводило к образованию англо-русско-австрийского согласия, направленного против Франции (август), когда в Лондон ехал царский дипломат Бруннов с проектом англо-русского соглашения по восточным делам (сентябрь). Значение афгано-персидского спора и всего афганского вопроса бледнело перед каждым из этих фактов в отдельности.

В этой связи становится понятным, что предпринятая царизмом попытка проникновения в глубины Афганистана, попытка, обнаружившая политико-экономическую неподготовленность царизма для самостоятельной реализации задуманного плана, и слабость той страны, которая была привлечена в качестве главного орудия действий, приобретала характер небольшой и не совсем удачной военно-политической диверсии против Англии и должна была быть в кратчайший срок ликвидирована. В своей депеше от 11 апреля 1839 г. Поццо ди Борго, рассказывая о проявившихся во время прений в английском парламенте русофобских настроениях в связи со среднеазиатскими делами, приходил к заключению, что англо-русская война возможна, но что возникнуть она может из-за турецко-египетского вопроса: «Англичане захотят по возможности остаться хозяевами пунктов, которые отделяют нас от Средиземного моря, т. е. от той части света, с которой нам важнее всего свободное и безопасное сообщение. Мы не можем и не должны позволить им достигнуть столь решительного успеха, и только сила может решить этот вопрос в случае надобности»[1].

В депеше, посланной из Петербурга вдогонку ехавшему в Лондон Бруннову[2], подтверждалась директива соглашаться на невозобновление Ункиар-Искелесского договора, но настаивать на том, что помощь Турции в Константинополе должна быть оказана одной Россиею и что другие державы должны действовать вне Дарданелл. Нессельроде напоминал Бруннову, что в переговорах с англичанами первое и главнейшее место должен занимать турецкий вопрос, вопросам же афгано-персидскому, греческому и другим должны отводиться второстепенные места. Переговоры о соглашении затянулись, и Бруннову пришлось ехать в Петербург за новыми инструкциями. Но англо-французские противоречия обострились в такой мере, что положение казалось далеко не безнадежным. Еще в сентябре, перед отъездом своим из Лондона, Бруннов из разговора с Пальмерстоном приходил к заключению, что тот ищет путей для примирения и в персидских делах. Премьер-министр Мельбурн в своей беседе с Брунновым разделял опасения последнего по поводу угрожающей Персии гражданской войны и возможности крушения шахской монархии. Мельбурн осудил даже деятельность Мак-Нейля, оговорившись, что он проводил личную политику[3]. И даже лорд Гобгауз, министр особенно близкий к среднеазиатским делам, не защищал перед царским посланником деятельности Мак-Нейля и не придавал особенного значения продолжению оккупации острова Карака[4].

Беседовавший в конце сентября с Пальмерстоном заместитель

---

[1] МИД, К., Лондон, 1839, № 110, лл. [illegible]—112 — Депеша Поццо ди Борго от 11/IV 1839 г., № 38.

[2] Там же, №№ 123—124, лл. 135—147 — Депеша Нессельроде Бруннову от 16/VIII 1839 г.

[3] Там же, № 122, лл. 75—[illegible] — Депеша Бруннова от 12/IX 1839 г., № 7.

[4] Там же, № 115—12[illegible] — Депеша Бруннова от 1[illegible]/IX 1839 г., № 1[illegible].

Бруннова Киселев отмечал, что великобританский министр иностранных дел крайне раздражен против Франции и ориентируется на англо-австро-русское согласие в турецких делах[1]. Из ноябрьских донесений Киселева явствовало, что дружественные России настроения не покидали Пальмерстона; тогда же Пальмерстон выразил желание признать объяснения шахского правительства удовлетворительными, восстановить с Персией дипломатические отношения и вывести войска с острова Карака[2]. Удалив безболезненно Россию из Афганистана и собираясь водворить там своего ставленника с приличным пожизненным пенсионом, готовясь к решительному отстранению Франции от ближневосточных дел и к разрешению турецкого вопроса в свою пользу путем сделки с припертой к стене Россией, сент-джемский кабинет был, в свою очередь, заинтересован в устранении всех лишних препятствий на путях дружественных сношений между Петербургом и Лондоном.

VI

Сдержанное отношение, проявленное, как мы видели, царским дипломатическим ведомством к усвоенной Канкриным идее учреждения русской фактории в Астрабаде, коренилось в опасении, что этим начинанием английский «дух» может быть вызван и на астрабадском участке. «Устройство сей фактории,—полагал Родофиникин,—неминуемо обратит внимание англичан, которые без сомнения в тот же день так сказать и сами учредят факторию, в чем воспрепятствовать им нет правильного основания, а при существовании английской фактории, управляемой расторопными и расчетливыми директорами, и при недостатке в капиталах с первого разу уничтожат нашу факторию»[3]. Поэтому Родофиникин искал обходных путей, которые вели бы к достижению «предполагаемой цели», «не обнаруживая желания завести факторию в Астрабаде». Как на одну из возможностей в этом смысле он указывал на рыбные промыслы в персидских водах Каспийского моря. Персидское правительство стало проявлять некоторый интерес к использованию рыбных вод Каспия только со времени царствования Могамед-шаха, который впервые научился брать в свою пользу откупные суммы с рыбопромышленников. Представлялось возможным, не возбуждая ни с чьей стороны «соперничества» и «опасений», «снять у персидского правительства все без изъятия рыбные ловли... на несколько лет», устроить на персидских берегах ватаги и постепенно превратить эти ватаги в склады русских товаров и рыбопромышленных предприятий — в торговые фактории.

Чиновник министерства иностранных дел Забелло командируется в Астрахань для собирания предварительных сведений и для обсуждения вопроса с астраханским губернатором Темирязевым[4]. Выяснятся, что хитроумный план Родофиникина, рассчитанный на врастание военно-торговой фактории в экономический быт Персии через образование ватаг, трудно осуществим. В персидских водах работало уже несколько русско-подданных рыбопромышленников-откупщиков, кон-

[1] МИД, К., Лондон, 1839, № 119—120, лл. 77—82— Депеша Киселева от 10/XI 1839 г.
[2] Там же.
[3] Там же, Гл. арх., II—3, 1836, № 5, ч. 1, лл. 1—2— Отношение Родофиникина Канкрину от 12/VIII, № 2054.
[4] Там же, лл. 8—9— Отношение Родофиникина Темирязеву от 2/IX 1837 г., № 2235.

курировавших друг с другом: «астраханский купец из персиан» Мир-Багиров, еще в 1833 г. заключивший с персидским правительством контракт на 7 лет и в 1835 г. перезаключивший его еще на 10 лет, астраханский же купец «из армян» Суджаев, заключивший в 1834 г. с персидским правительством контракт на 14 лет, и, наконец, купец Кафтанников, заключивший в 1836 г. контракт на 7 лет. В том же 1835 г., как известно, приезжал в Тифлис с жалобой на Мир-Багирова астраханский купец Герасимов, заключивший тогда же контракт с туркменами на право рыболовства в принадлежащих им водах. Стремившийся к монополии и поддерживаемый персидским правительством Мир-Багиров, в свою очередь, жаловался на Герасимова, считая, что те воды, которые он откупил у туркмен, являются персидскими и, следовательно, по праву принадлежат ему. Вопрос о правах и притязаниях рыбопромышленников превращался, таким образом, в вопрос о том, где признавать границу между персидскими и туркменскими водами, а так как речь шла о приатрекских туркменах, вставал вопрос и о сухопутной границе между персидскими и туркменскими владениями. Известно, что шах персидский в ту пору склонен был рассматривать всех не только ближайших, но и более отдаленных соседей своих как своих подданных, находящихся в состоянии «неповиновения» и «мятежа». Особенно это относилось к приатрекским туркменам.

Царское правительство, в свою очередь, относилось весьма благосклонно к тому, что приатрекские туркмены «не признают себя в подданстве и зависимости от Персии»[1], хотя, как известно, само неизменно отклоняло просьбы отдельных представителей туркменской феодально-родовой аристократии о принятии туркмен в российское подданство. Совсем еще недавно, в 1835 г., когда Перовский заколебался в этом вопросе и был даже склонен туркмен и адаевских казахов «соединить под одно управление поставленного от нас султана», Азиатский комитет от решения вопроса в положительном смысле снова воздержался[2]. А так как между туркменами и персами в приграничных районах не прекращались вооруженные конфликты, царскому правительству приходилось выступать в щекотливой роли «посредника». Один небольшой эпизод может иллюстрировать те противоречия, какие приходилось царизму преодолевать в районе юго-восточного побережья Каспия. В сентябре 1836 г. персидское правительство, пославшее карательную экспедицию против иомудов, обратилось к России с просьбой «ссудить два судна, дабы посредством покровительства двора вашего наказать бунтовщиков наших подданных»[3] (в районе Атрека и Гюргена). Наличие 8-й статьи Туркменчайского трактата, предоставлявшей России исключительное право держать вооруженные суда в каспийских водах, стремление избежать прецедента появления персидских вооруженных судов на Каспийском море, а также заинтересованность в поддержании традиционной дружбы с Персией, — все это предрасполагало царское правительство к удовлетворению просьбы тегеранского кабинета[4].

В то же время для царского правительства не было никакого смысла совершать «враждебный акт против независимого народа, с которым

[1] Там же, I—1, 1819—1819, № 1, л. 108 — Журнал Азиатск. ком-та от 17/V 1840 г.
[2] Там же, 1838, № 80, лл. 54—55 — Всеподданнейший доклад от 15/IX 1838 г.
[3] Там же, I—9, 1836, № 13, л. 2 — Письмо мирзы Массуда Симоничу (без даты).
[4] Там же, I—1, 1836, № 78, лл. 100—104 — Проект депеши Симоничу, утвержденной 28/XI 1836 г.

Россия поддерживает сношения» и который мог оказаться полезным в деле утверждения владычества царизма на восточных берегах Каспийского моря [1]. Симонич, не отклоняя просьбы тегеранского кабинета, ссылается на зимнее время и обещает прислать помощь весной. Он надеется, что шах обойдется без русской помощи и что к тому времени экспедиция будет закончена. Расчеты Симонича не оправдались. Шахские войска потерпели неудачу. Шах скоро возобновил свою просьбу. Симонич обещал с началом навигации дать два военных судна. Попутно он заговаривает с шахским министром об улучшении условий для русской торговли в Персии. Нессельроде снова напоминает о крайней нежелательности «действовать против народа, с которым мы хотели бы оставаться в мире». Шахское правительство готовит вторую экспедицию против туркмен. В Энзели уже снаряжаются три персидских расшивы. В июле 1837 г. Родофиникин дает распоряжение о командировании двух военных судов Каспийской флотилии, наказывая Симоничу «иметь строгое наблюдение, дабы персиане не имели какого бы рода ни было вооруженных судов на Каспийском море» и запрещая в то же время вывоз строевого леса из Астрахани. Бриг «Мангышлак» и транспорт «Эмба» в конце августа отправляются в туркменские воды [2]. Все обошлось на этот раз благополучно. Был создан прецедент к осуществлению Каспийской военной флотилией полицейских функций в туркменских водах. В то же время никаких вооруженных действий на этот раз не последовало. Волки оказались сытыми, овцы фактически остались целыми.

Рыбные воды туркменского побережья, богатые хорошими гаванями, отличались, таким образом, и обилием опасных политических рифов. Немало хлопот принесло царскому правительству, в частности, упомянутое дело Мир-Багирова. Хотя эксплоатация рыболовных вод, по приблизительным расчетам Карелина, могла дать казне «более миллиона откупной суммы» [3], хотя надлежащая организация этого дела и сосредоточение его в руках правительства, по утверждению и Карелина и Канкрина, открывали перспективы для мирного экономического проникновения в Персию, — от мысли этой, как мы уже видели, правительству пришлось отказаться прежде всего по соображениям политическим. Заметим попутно, что реализации этого плана препятствовали не только тегеранские и астрабадские власти, но и астраханские. Как доносил тот же Карелин, Мир-Багиров «распоряжается всем в Астрахани, располагает полицией и держит в страхе персиан... его титулуют здесь ханом, и астраханский губернатор весьма часто к нему ездит, не удостаивая никого впрочем подобной чести» [4]. «Запутавшись с ним по многим плохим делам», астраханское губернское правление было, по словам Карелина, всецело на стороне Мир-Багирова. Министерство иностранных дел вполне усвоило взгляд на Мир-Багирова, как на агента персидского правительства, «человека самого неблагонадежного» и просто вредного [5]. Министерство считало полезным поддерживать русских рыбопромыш-

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1836, № 13, лл. 21—24 — Депеша Нессельроде Розену от 28/V 1837 г., № 1404.

[2] Там же, лл. 29—30, 33—35 — Депеша Симонича от 11/V 1837 г., № 212; там же, I—1, 1837 г., № 79, лл. 68—73 — Депеша Родофиникина Симоничу от 13/VII 1837 г., № 1765.

[3] Там же, I—9, 1835—1839, № 3, лл. 88—91 — Письмо Карелина Канкрину от 29/VI 1836 г.

[4] Там же, лл. 174—175 — Письмо Канкрина Родофиникину от 28/III 1836 г.

[5] Канкрин допускал даже, что Мир-Багиров английский шпион.

ленников против Мир-Багирова тем более, что тот причинял убытки казне и русским купцам, продавая беспошлинно нефть и соль с туркменского берега в Персию[1]. Оно предлагало Темирязеву подыскать лицо, на имя которого можно было бы перекупить контракт Мир-Багирова[2]. Но, встречая со стороны Темирязева порою саботаж, порою прямую оппозицию, министерство не проявляло особого упорства в своих настояниях и, в конце концов, отказалось от вмешательства в тяжбу Мир-Багирова и Герасимова. Отказываясь от плана Родофиникина о ватагах, министерство возвращалось к плану Карелина о фактории.

На заседании Азиатского комитета 20 февраля 1838 г. обсуждался вопрос «о мерах к открытию азиатского торгового пути через Астрабад» и об учреждении для этой цели особой торговой компании. Вопрос об образовании торговой Российско-Азиатской компании обсуждался в Особом комитете еще в 1837 г., и тогда из опасений возбудить соперничество англичан было решено от реализации проекта воздержаться. Теперь, когда под Гератом шла вооруженная борьба с участием Поттинджера и Бларамберга, такие соображения становились излишними; мало того, организация в Астрабадском районе казенного предприятия под прикрытием частного капитала приобретала актуальное значение. Было принято решение «составить... частное купеческое товарищество или торговый дом под какою-либо фирмою с негласным участием казны и с пожертвованиями от нее достаточной по усмотрению суммы». Учреждаемый Торговый дом, который имел своим назначением «привести в движение Астрабадский торговый путь», должен был «также получать от правительства и некоторые оборонительные средства... известное число пушек и зарядов, а также... казаков в виде рабочих людей»[3].

Кроме вопроса о торговой компании на том же заседании Азиатского комитета обсуждались и другие, выдвинутые экспедицией Карелина, вопросы — о принятии в подданство туркмен и об овладении островами Челекеном и Огурчинским. Вопрос о принятии туркмен в российское подданство получил разрешение по традиционной формуле «тащить и не пущать»: «Просьбу туркмен отклонить, не давая им решительно, впрочем, отзыва и продолжая оказывать расположение к влиятельнейшим из их старейшин»[4].

Вопрос о приобретении островов Челекена и Огурчинского был поднят еще в начале 1836 г. Мир-Багировым. Через Темирязева он подал тогда проект овладения Россией островом Челекеном с последующей отдачей острова ему, Мир-Багирову, на откуп, мотивируя свое предложение ссылкой на подрыв, создающийся для бакинских

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1836—1864, № 5, лл. 12—15 — Отношение Нессельроде Канкрину от 15/VI 1836 г., № 1312.

[2] ГИМ, Арх. бар. Розена, № 8 — Рапорт Карелина Розену от 25/VII 1836 г., лл. 328—329; лл. 335—336, 339—346 — Рапорты Бларамберга Розену от 1 и 25/VII и 12/XII 1836 г.

В частности, министерство выставляло кандидатуру купца Сапожникова как человека известного по рыбным делам, замечая при этом: „Но для нас все равно — это ли имя или другое, которое вы предпочтете — лишь бы был оседлый в России человек, а не такой русский как Багиров. Наша цель — не рыбные промыслы, а спокойствие и отклонение от всяких притеснений в настоящее время русским промышленникам от персиянина Мир-Багирова“ (Гл. арх., I—9, 1836—1856, № 2, лл. 55—57 — Отношение Нессельроде Симоничу от 9/III 1838 г., № 593).

[3] МИД, Гл. арх., I—1, 1838—1849, № 1, лл. 12—56 — Журнал Азиатского ком-та от 20/II 1838 г.

[4] Там же.

промыслов от эксплоатации челекенской нефти туркменами[1]. Несмотря на поддержку Мир-Багирова Темирязевым, Нессельроде категорически воспротивился передаче острова, которым владел небезызвестный Киат, такому «неблагонадежному» человеку, каким являлся Мир-Багиров. «Гораздо полезнее, — говорил Нессельроде, — оставить остров Челекен в руках преданного нам трухменского старшины Кията... Оставив Челекен в теперешнем его положении, правительство ничего не теряет, ибо таким образом мы без занятия сего острова как бы владеем им»[2]. Тогда же Перовский находил, что царскому правительству надо «объявить этот остров своим», причем «Азиатскому департаменту всего ближе и приличнее взять его в ведомство свое» как «немаловажную» в военно-политическом и торговом отношениях «опорную точку»[3]. Царь, со своей стороны, придавая приобретению островов настолько важное значение, что в 1837 г. при обсуждении этого вопроса в Особом комитете однажды наложил резолюцию: «Весьма важно, желательно для сего вновь заняться устройством К⁰, взяв пай и от правительства». Тогда же царь поддержал проект о занятии острова Ашир у входа в Астрабадский залив и об укреплении его[4].

На заседании Азиатского комитета (20 февраля), снова занявшегося вопросом об устройстве Компании, вопрос об Ашире и Челекене не получил окончательного разрешения. Форсировать постановку этого вопроса было признано преждевременным; Киат, как временный владелец острова, мог в течение некоторого времени продолжать свою миссию по охране островов от посягательств со стороны Персии. Освоение же островов включалось в план будущих действий вновь учреждаемой торговой компании. Правительство решило отпустить на это 200 тыс. рублей ассигнациями и поручило председателю московского отделения Мануфактурного совета гр. Строганову подыскать среди московского купечества подходящих людей. Вопрос об освоении островов встретил несколько неожиданные препятствия. Как сообщал Строганов, московское купечество, изъявив готовность участвовать в торговле с Астрабадом, нашло, однако, для себя «стеснительным» участие казны в предприятии и выразило желание «начать дело одним собственным капиталом на обыкновенном основании торговых оборотов, не стесняясь никакими формами»[5]. Гр. Строганову

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1836—1864, № 5, лл. 2—10 — Отношение Темирязева Родофиникину от 21/III 1836 г., № 450; см. также ЦВИА, оп. 1773, к. 87, ст. 3565, п. 2, св. 3, лл. 84—96.

[2] МИД, Гл. арх., I—9, 1836—1864, № 5, лл. 12—15 — Отношение Нессельроде Канкрину от 15/VI 1836 г., № 1312.

Что это было в значительной мере так, показал дальнейший ход дел на персидско-туркменской границе, который вскоре (в 1840 г.) привел к тому, что приатрекские туркмены, ущемленные в своих интересах персидскими пограничными властями, с одной стороны, и теснимые хивинцами — с другой, снова поставили вопрос о принятии их в российское подданство; туркмены просили царское правительство прислать военное судно для защиты их поселений от персидских властей и устроить постоянное укрепление на Серебряном Бугре. Получивший незадолго перед тем (в 1839 г.) от шаха титул „хана туркменского иомудского народа“, Киат писал тогда же Перовскому: „Но я соглашаюсь снять с себя ханское достоинство и именоваться просто по назначению русского начальства беком, но всегда быть с потомством и подвластным мне народом под покровительством императорской державы“ (см. МИД, Гл. арх., I—9, 1835—1840, № 12, лл. 7—32. — Прошение на имя Перовского за подписями Киат-хана, Кази-Могамед-Тагана и Якши-Могамеда от 6/III 1840 г.).

[3] Там же, лл. 30—31 — Отношение Перовского Родофиникину от 28/X 1836 г., № 1588.

[4] Там же, I—1, 1838—1849, № 1, лл. 12—56.

[5] Там же, лл. 57—66 — Журнал Азиатского Ком-та от 8/VIII 1838 г.; там же, I—9, 1836—1856, № 2, лл. 148—178.

удалось собрать путем добровольной подписки 520 тыс. рублей. В правление товарищества вошли московский городской голова Куманин, член московского отделения Мануфактурного совета Веретенников и почетный гражданин Москвин. Учредители предъявили правительству ряд условий. Они требовали установить постоянное пребывание военного судна в Астрабадском заливе, учредить в туркменских водах постоянное крейсерство, добиться от Персии согласия на устройство складов, учредить в Астрабаде консульский пост, отпустить для судов, принадлежащих товариществу, нужное вооружение и казаков. Правительство не было склонно идти навстречу требованиям товарищества и продолжало настаивать на участии в этом деле казны. Оно предложило, «дабы приготовить к сему предприятию наш торговый и фабричный класс»[1], сделать первый опыт посылки в Астрабад товаров и выработать новые условия для действий товарищества.

Канкрин сообщал Нессельроде, что он принимает меры к составлению новой группы купцов для учреждения торгового дома на принятых ранее правительством основаниях[2]. Он приступил к разработке нового проекта устава торгового дома и к составлению секретной инструкции для действий товарищества. Последнее получало «необходимое количество пушек и снарядов» и «достаточное количество казаков в виде рабочих людей», но должно было работать при ближайшем участии и под непосредственным руководством министра финансов.

Пока Канкрин был занят этим, из Москвы направлялась в Астрабад торговая экспедиция под начальством тифлисского купца Эривандова; она должна была произвести опыт сбыта русских товаров в Астрабаде и Мезандеране. Эривандов вез с собою до 30000 пудов железа, 3000 пудов меди и стали, около 5000 пудов чугунных изделий и небольшое количество мануфактуры. 24 января 1839 г. экспедиция прибыла в Астрабадский залив, остановившись в 50 верстах от него в Гасан-Кули. Как сообщал Эривандов, подъехавшие к судну на лодках туркмены потребовали 50 руб. серебром за стоянку в водах, «им принадлежащих», угрожая в случае неуплаты «сделать разбой». Съездив в Астрабад, Эривандов вернулся на судно и здесь же отдал товар в кредит персидским купцам, которые отговорили его ехать в глубь Персии. Получить от купцов причитавшиеся с них деньги за отпущенный товар Эривандову не удалось, пришлось удовольствоваться приобретением хлопчатой бумаги и марены[3]. Ознакомившись с ходом экспедиции Эривандова, царь нашел «такое начало торговли нашей в Астрабадском заливе хорошим» и преподал советы «постоянства для достижения своих целей». Узнав о «неприязненных действиях» туркмен и о том, что во время стоянки судна в Гасан-Кули туркмены похитили одну корабельную лодку, царь «для защиты от туркмен высочайше повелеть соизволил снестись с ген. Головиным об учреждении крейсерства около тех мест»[4]. Коммерческие результаты экспедиции выразились в следующих цифрах: за казенное железо, стоившее 14 197 руб., было выручено 33 519 руб.; товары частных лиц, стоившие 51 064 руб., были проданы за 47 501 руб.

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1836—1856, № 2, лл. 73—88 — Отношение Канкрина Нессельроде от 1/VI 1838 г., № 2402.

[2] Там же, лл. 67—69 — Журналы Азиатского ком-та от 12/XII 1838 г.

[3] ЦВИА, оп. 1773, к. 87, ст. 3565, п. 2, св. 3, лл. 164—222.

[4] МИД, Гл. арх., II—3, 1836, № 5, ч. 1, лл. 42—43 — Отношение Канкрина Нессельроде от 7/VI 1839 г., № 2850.

На докладе министра финансов, посвященном итогам экспедиции, царь сделал помету: «Не весьма удачно, но не надо терять надежды и повторить опыт»[1]. Этот опыт был скоро повторен с участием того же Эривандова. Вопрос же об организации торгового дома для торговли с Азией был временно снят правительством. В конце 1839 г. правительство поставило на очередь вопрос о продвижении в Среднюю Азию не морским, а сухим путем, решив на этот раз послать вместо товаров солдат.

VII

В том же 1833 году, когда в качестве российского дипломатического представителя был послан в Персию известный своими авантюристскими замашками Гра Симонич, на пост самарского и оренбургского ген.-губернатора был назначен молодой, необычайно уверенный в себе, облеченный необычайными полномочиями гр. В. А. Перовский, один из сыновей старого екатерининского вельможи гр. А. К. Разумовского. Участник кампании 1812 г., близкий к кругам высшей дворянской интеллигенции и пользовавшийся интимной близостью к царю, адъютант Николая во время междуцарствия, пострадавший от удара поленом на Сенатской площади, принимавший участие в военных действиях под Анапой и Варной, раненый и зачисленный в свиту царя, Перовский получил ген.-губернаторство отнюдь не как синекуру. Он был призван для сугубо доверительных дел, на сугубо ответственном в данный момент участке.

На первый взгляд казалось, что в Оренбурге текла однообразная будничная жизнь далекой глухой провинции. За Оренбургом попрежнему расстилались безбрежные степи, где, как и в предшествовавшие три столетия, продолжали кочевать казахские племена, а в осенние и весенние месяцы длинной вереницей плелись караваны. Правда, «степь» в эти годы была особенно неспокойна.

Проникновение правительственного аппарата царизма в казахские степи сопровождалось постепенной ликвидацией принципов родового устройства казахов и организацией новых территориально-административных делений. Родовая казахская аристократия легко шла на сделки с царизмом, получая свою долю участия во власти и усиливая эксплоатацию широких казахских масс. В результате совместного действия двух факторов — с одной стороны, российского капитала, оперировавшего при посредстве татарской торговой буржуазии, с другой, представителей туземной феодально-родовой аристократии в лице султанов, биев, ходжей, старшин — интенсифицировалось выкачивание продуктов от непосредственного производителя, усиливалась его эксплоатация. В 1837 г. был установлен известный кибиточный сбор — 1 руб. 50 коп. с кибитки, — на средства от которого правительство проводило всевозможные мероприятия, начиная от постройки крепостей и кончая щедрой раздачей подарков султанам и биям. К общегосударственному налогу, выражавшемуся приблизительно в 115 тыс. рублей в год, прибавлялся «согум» — сбор скота на содержание местного феодала. Это означало необходимость поставки 4 тысяч коней и 24 тысяч баранов в год[2]. Было предпринято возведение укреплений и устройство около них поселений. «От распространения укреплений и внешних округов, — отмечал современник, один

[1] МИД, Гл. арх., II—3, 1836, № 5, ч. 1, лл. 56—58 — Всеподданнейший доклад Канкрина от 22/IX 1839 г.

[2] С. Асфендиаров. История Казахстана, I, стр. 135—137, Алма-Ата, 1935.

из офицеров Западносибирского военного округа, — занявших большую часть плодородных земель киргизских, кочевья их более и более стесняются, а от притеснения их самих со стороны линейной стражи, пограничных жителей и окружных приказных начальств покорность их и добровольное подданство России соделываются более и более неблагонадежными. Злоупотребления по управлению киргизами, — продолжал тот же автор, — ... доводят нередко и самих киргизов до своевольств: иные за отнятое у них несправедливо решаются сами нападать и грабить того, у кого что могут отнять; другие, не видя никакого правосудия, убегают сотнями и даже целыми волостями... и, переходя от границ наших к пределам Хивы или Китая, делаются из русских подданных китайскими или хивинскими и, оттуда перейдя в Ташкент или Кокан, называют себя ташкентскими, коканскими, или вовсе не признают над собой никакой посторонней власти»[1].

Стихийные восстания народных масс, во главе которых временно становились отдельные представители родовой верхушки, учащались. Еще не успели изгладиться следы движения, связанного с именем Каипа Галия, как развернулось новое большое народное движение в Букеевской орде под предводительством Исетая Тайманова[2]. Это было восстание, направленное против ханской власти, это была борьба народных масс против «белой кости». Но на выручку хану шел отряд полк. Геке, и движение переросло в борьбу против царизма. Исетай был разбит. Движение на этом участке было разгромлено. Но оно возобновилось в пределах Средней Орды. Связанное с именем Кенесары, оно охватило затяжной период 1837—1847 гг.

Если казахам Малой Орды, как и прикаспийским туркменам, приходилось иметь дело не только с царскими чиновниками, но и с хивинскими зякетчиками, среднеордынские казахи подвергались притеснениям также со стороны кокандцев. В районе Кокчетава между российским молотом и кокандской наковальней оказался один из младших сыновей знаменитого хана Аблая султан Кенесары со своими многочисленными телеигутами. Пострадавший, как и дядя его Сарыджан, от кокандских властей, временно задержанный в Коканде в качестве пленника, он возвратился затем на старые зимовки. Популярный среди казахов и «поднятый ханом» своими приверженцами, он искал сношений с царским правительством, рассчитывая на помощь последнего в борьбе с кокандцами. Но старые зимовки оказались уже занятыми, ханское звание уничтоженным, царское правительство незаинтересованным в появлении в киргизских степях сильного представителя старой аристократии. Царские власти не признавали Кенесары, преследовали его. Он собрал под своими знаменами недовольных и, так как их было много, у него скопилась крупная сила. Заметим попутно, что писал ген.-губернатор Западной Сибири Горчаков, связывавший рост движения с проводившимися в крае административными реформами: «Первоначальное учреждение внешних округов в крае прилинейном проводилось почти без затруднений... но впоследствии, с распространением устройства в глубину степи, киргизы, не столь угрожаемые военной силой..., оказывали уже более сопротивления ко введению предначертанного порядка или, приняв его, не прекращали своевольства».

Особенно сильный «дух безначалия» царил, по словам Горчакова,

---

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1837, № 17, лл. 1—11 — Записка, составленная полк. Бутовским, от 14/XII 1836 г.

[2] А. Рязанов. Восстание Исетая Тайманова (1836—1838 гг.), Кзыл-Орда, 1927.

в Акмолинском округе. Прибытие же туда семейства Кенесары и его сообщников (конец 1837 г.) «обратило это буйство в совершенный мятеж»[1]. Кенесары совершал нападения на казачьи селения и станицы. Лишенный своих зимних стоянок и теснимый правительственными отрядами, он вынужден был удалиться в район Тургая и Иргиза, к границам западного Казахстана. Теряя на пути стада и старых приверженцев, он, однако, легко получал новые пополнения. Упорно сопротивляясь и ведя партизанскую войну, он парализовал движение торговых караванов уже в пределах Малой Орды и держал в страхе местные власти[2]. Если в конце 1838 г. действиями Кенесары был озабочен преимущественно ген.-губернатор Западной Сибири Горчаков, жаловавшийся на малочисленность линейных войск, на растянутость линии и на то «сомнительное положение», в каком оказывался Акмолинский и ряд других приказов, подвергшихся нападениям отрядов Кенесары[3], то с начала 1839 г. движение Кенесары начало в неменьшей степени тревожить и оренбургского ген.-губернатора.

В начале января Перовский сообщал, что Касым и Кенесары совместно с казахским батырем Джуламаном проводят большую подготовительную работу, что большая часть султанов готова присоединиться к мятежникам и что составилась уже «шайка» в 8 тыс. чел.[4]. А в начале февраля из Оренбурга уже сообщали о том, что «скопища неблагонамеренных киргизов и туркмен... разграбили казенный груз, находившийся на судах, шедших в Ново-Александровское укрепление»[5]. Тогда же поручик Антов, отправившийся по поручению оренбургского губернатора на побережье Каспийского моря для сбора верблюдов, был схвачен в районе Гурьева казахами и отправлен в Хиву. И тогда же Перовский доносил, что хивинцы ведут усиленную антирусскую агитацию среди казахов, что по орде рассылаются «возмутительные письма», где от имени хивинского хана казахов призывают отложиться от России и откочевать из ее пределов[6]. К весне 1839 г. активность хивинцев стала проявляться в степи с еще большей силой. Их призывы и угрозы стали находить еще больший отклик. «Разбои на Каспийском море — доносил Перовский, — продолжают усиливаться с беспримерною доселе дерзостию». Хан хивинский приказывал старшинам приморских адаевцев и туркмен, чтобы они «всячески старались вредить русским»[7]. Лейт. Бодиско, посетивший в августе 1839 г. по поручению начальника Главного морского штаба Мангышлакский полуостров, извещал, что «меновой торг наш с кочевыми жителями здесь, можно сказать, не существует вовсе», что местные туркмены и киргизы настолько терроризованы хивинцами, что «прекратили с нами сношения даже дружественные старшины»,

---

[1] И. Серебренников. Завоевание Туркестанского края, I, стр. 83—84, изд. 1908 г. — Отношение Горчакова Чернышеву от 1/VII 1839 г., № 293.

[2] Ахмет Кенисарин. Султаны Кенесары и Садык. Биогр. очерк, Ташкент, 1889; см. также С. Асфендиаров. Указ. соч., стр. 139—144.

[3] И. Серебренников. Указ. соч., стр. 3—7 — Отношение Горчакова Чернышеву от 22/XI 1838 г., № 650.

[4] Там же, стр. 8 — Отношение Перовского Чернышеву от 9/I 1839 г., № 127.

[5] Там же, стр. 30—31 — Отношение Рокасовского директору Азиатского департамента от 13/II 1839 г., № 17.

[6] Там же, стр. 31—32 — Отношение Перовского Чернышеву от 22/II 1839 г., № 596.

[7] Там же, стр. 65—67 — Отношения Перовского Чернышеву от 29/V 1839 г., № 546 и 2/VI 1839 г., № 589.

что «появлявшиеся туркменцы не подпускали к себе на выстрел и тотчас скрывались при нашем прибытии»[1].

К концу правления Могамед-Рахима Хива сбросила с себя зависимость от Бухары и стала консолидироваться в одно политическое целое, управлявшееся единою властью хана[2]. Тогда же дает о себе знать и военно-политическая экспансия Хивы. В 1832 г. Хива завоевывает Мерв, подчиняет своему влиянию часть прикаспийских туркмен, а также усть-уртских и сыр-дарьинских киргиз, ставя им от себя ханов и устраивая на Сыре крепости Чиркайлы и Киндкабай. Хивинский хан не довольствуется этим, он хочет видеть пределы своего государства простирающимися до Эмбы и ведет работу среди киргиз, кочующих к северу от Мугоджар[3]. Некоторое время спустя Перовский доносил, что «к назаровцам, кочующим между Эмбою и Усть-Уртом, прислан уже от Алла-Кула киргизец, сборщик податей, который склоняет кайсаков откочевать от российских пределов, угрожая в противном случае разорением»[4]. Был даже момент (в 1833 г.), когда в Оренбург прибыл хивинский зякетчик, объявивший бухарским и русским купцам, что караваны их будут разграблены, если захотят миновать Хиву[5]. В своем донесении Чернышеву, цитированном выше[6], Перовский, развивая мысль о необходимости положить конец хивинской агрессии, говорил о том, что нельзя дать Хиве превратиться «во вторую Зюнгарию половины XVIII в». Это звучало, разумеется, гиперболой и было рассчитано на возбуждение в петербургских правительственных кругах активного интереса к среднеазиатским делам.

Сам Перовский, выступивший в начале 1835 г. с планом похода на Хиву, считал это предприятие весьма не сложным[7]. Прапорщик Виткевич, посланный им в конце того же года с караваном в Бухару и Хиву, признавая, что хивинцы «осмелели» и «распространили власть свою далее, чем когда-либо со времени заложения Оренбурга», считал вместе с тем, что «если бы стать твердою ногою на Сыр-Дарье, то нет никакого сомнения, что хивинцы сделались бы совершенно ничтожными» и «власть и влияние их исчезли бы вовсе»[8]. На борьбу с казахским национально-освободительным движением царское правительство не затрачивало в ту пору особенно больших сил. Можно даже сказать, что борьба эта в условиях политики, которую царизм проводил в Средней Азии, была для него иногда не безвыгодной. Уже в октябре 1839 г. Горчаков доносил Чернышеву, что в результате борьбы с отрядом Кенесары во вверенных ему округах не только «сохранено спокойствие», «ясак собран в усиленном даже размере, торговые сношения нисколько не потерпели», многие из султанов стали решительно действовать против Кенесары, но даже достигнуто «приобретение немалой добычи», которая «не токмо покрывает нынешние издерж-

[1] Н. Серебренников. Указ. соч., стр. 107—113 — Донесение Бодиско начальнику Главного морского штаба от 2/VIII 1839 г., № 19.

[2] „Записки Русск. географ. общ.“, V, стр. 250, СПб., 1851, Пояснительная записка к карте Аральского моря Я. В. Ханыкова.

[3] МИД, Гл. арх., 1—9, 1840, № 12, лл. 1—29 — Записка, составленная Я. В. Ханыковым и датированная 1840 г.

[4] Н. Серебренников. Указ. соч., стр. 152—153 — Отношение Перовского Нессельроде от 21/VI 1840 г., № 643.

[5] М. Терентьев. История завоевания Средней Азии, I, стр. 105, 1906.

[6] От 21/VI 1840 г., № 643.

[7] ЦВИА, ВУА, № 18250, лл. 1—8 — Записка Перовского от 14/I 1835 г.

[8] Там же, № 56035, лл. 1—2 — „Извлечение из записки о путешествии прап. Виткевича в Бухару и обратно“ (1835 г.). Виткевич вышел с караваном из Орска 9/XI 1835 г., 2/I 1836 г. прибыл в Бухару, 18/IV вернулся в Орск (см. „Записки Русск. географ. общ.“, V, стр. 333).

ки правительства, но доставляет и на 1840 г. экстренные способы для новых предприятий». Горчаков прилагал при донесении ведомость скота, отбитого в 1839 г. отрядами Сибирского корпуса у «мятежных киргизов», и определял его количество 69 тыс. голов. «Итого в приходе — значилось в ведомости — 131 181 р. 96 к.»[1].

Хива, как известно, являлась одним из главных среднеазиатских рынков по торговле невольниками. До последнего времени царское правительство проявляло относительное хладнокровие и в этом вопросе. Разумеется, такие факты как похищение в 1838 г. смотрителя эмбенских вод, как похищение четырехпушечного бота с командиром и командой не могли не обратить на себя особого внимания правительства. Разумеется, сочетание таких двух форсирующих одно другое явлений, как активизация консолидирующегося хивинского ханства и рост национально-освободительного движения в соседней казахской степи, давало царскому правительству достаточные основания для тревоги. Ликвидация Хивы как задача внутренне-политическая — в интересах охраны вновь приобретенных колоний, и как задача экономическая — в целях борьбы за торговые пути, стояла перед правительством давно, и вопрос о ее разрешении актуализировался с началом губернаторства Перовского.

В своем письме из Астрахани чиновнику Азиатского департамента Любимову (от 25 ноября 1835 г.) Карелин, жалуясь на недоброжелательное и враждебное отношение Темирязева к делам, касавшимся Ново-Александровского укрепления, приписывал эту неприязнь влиянию Перовского. Перовский, по словам Карелина, продолжал держаться «любимой своей мысли итти на Хиву из Оренбурга и заложить крепость на Сыр-Дарье»[2]. Вопроса о том, по какому направлению хотели итти на Хиву, сейчас мы касаться не будем, но Карелин правильно подметил мысль Перовского: это была мысль о военном походе, о походе прежде всего против Хивы. Умонастроение Перовского не было исключением. Вторая половина 30-х годов отличалась исключительной урожайностью в отношении всякого рода воинственных проектов и планов, составлявшихся в недрах царского военного ведомства. Большинство из них принадлежало авторам, не занимавшим ответственных постов и выступавшим в качестве добровольных советчиков, сочувствующих доброжелателей. Однако, если даже подвергнуть опорочению мотивы этих выступлений, самый факт их появления нельзя не признать для рассматриваемого периода характерным. Подпоручик Генерального штаба Рельи изучает вопрос о возможных в случае европейской войны диверсиях английских и французских агентов со стороны Трапезунда в направлении кавказского черноморского побережья.

Как показали последующие события, вопрос этот отнюдь не был праздным. Известно, что с 1836 г. в течение двух лет на черноморском побережье среди шапсугов под видом купца из Трапезунда деятельно работал английский агент Белль; среди горцев Абзахии также под видом купцов подвизались англичанин Лонгворт, капитан английской службы Маррин и лейтенант Иддо. Известно, что они импортировали в Черкесию не только свинец, сталь и порох, но и подложные грамоты, писанные от имени английского короля и египетского паши и заключавшие в себе призыв к борьбе с русскими. Известно, что

---

[1] И. Серебренников. Указ. соч., стр. 201—203 — Отношение Горчакова Чернышеву от [illegible]/XI 1839 г., № 709.

[2] МИД, Гл. арх., I—[illegible], 1835—1839, № [illegible], лл. 65—71.

они наделали царскому правительству столько хлопот, что в 1837 г. за поимку Белля было назначено 3 тыс. руб. сер., а в следующем, 1838 году, по рапорту Головина, предлагавшего объявить этих иностранных агентов «вне права народного» и произвести «гласную оценку их голов», царь вынес решение: «Возвысить, по ближайшему усмотрению г.-л. Раевского, но не более как до 1000 червонцев, назначенную за выдачу английских эмиссаров цену, если их представят живыми» [1]. Производящий изыскания в плане англо-русской борьбы на Востоке поручик Рельи не ограничивается описательною работою, но пытается также, со своей стороны, дать известный рецепт действий, намечаемых в том же плане англо-русской борьбы. Вдохновленный экспедицией, предпринятой к восточным берегам Каспийского моря, он указывает на Астрабад и на Балханский залив как на плацдарм, откуда должны развиваться дальнейшие действия: с одной стороны, торговые, с другой, военно-политические, выражающиеся в посылке военных инструкторов в мелкие среднеазиатские государства и в приближении к границам Индии, чтобы «потрясти» в ней английское владычество [2].

Работающий в штабе Кавказского военного округа кап. Мочульский разражается целым градом записок. В марте 1835 г. он разрабатывает проект высадки десанта на юго-восточном побережье Каспийского моря и похода десантного отряда через Бухару на Кабул [3]. В сентябре того же года он проектирует организацию морской экспедиции на Инд. Набранные из военных поселян солдаты высаживаются под видом колонистов; на Инде строится укрепление, солдаты занимаются земледелием и одновременно несут военную службу; военное поселение на Инде призвано укрепить влияние царизма и русскую торговлю в Средней Азии [4]. В записке того же Мочульского, датированной 1837 г., снова ставится проблема овладения Индией, причем для разрешения этой проблемы намечается проведение ряда предварительных мероприятий, торговых и политических. По линии торговой намечается учреждение фактории в Астрабаде и организация товарных складов в Мешеде и Герате; по линии политической — сближение с афганскими владельцами, с Лагором и с эмиром Синда, привлечение армян при посредстве Эчмиадзина к распространению русской торговли и русского влияния в областях, сопредельных с Британской Индией и, наконец, «склонение Персии к совокупному действию с нами противу Хивы». Отмечая двуединый характер пути, ведущего к основной цели, автор подчеркивал: «Одна торговля без силы никогда не упрочивала себе долговременного владычества» [5].

Служащий в войсках Западносибирского военного округа полк. Бутовский останавливает внимание правительства на том, что англичане, «смело и успешно» распространяя свое влияние в Средней Азии, «приближаются также к киргизам», из которых «извлекать существенные выгоды надлежало бы царскому правительству, чтобы «вознаградить оными ту потерю огромных сумм, которой стоило Ро-

---

[1] АКАК, IX, стр. 453—457. — Рапорт Раевского от 8/IV 1838 г., № 1; Рапорт Головина Чернышеву от 6/V 1838 г., № 596 и Отношение Чернышева Головину от 16/VII 1838 г., № 331.

[2] ЦВИА, ВУА, № 23362, лл. 1—11 — Записка Рельи от 30/VII 1834 г.

[3] ГИМ, Арх. бар. Розена, № 8, лл. 288—310 — Записка Мочульского от 11/III 1835 г.

[4] Там же, № 9, лл. 194—223 — Записка его же от сентября 1835 г.

[5] ЦВИА, ВУА, № 55899, ч. 1 (Записка имеет заголовок „Описание Индейского полуострова“).

сии приобретение киргизов». Критикуя проводимую царизмом систему управления казахскими степями, автор в заключение указывает на неотложность проведения твердой государственной границы, на необходимость «решительно и внезапно устроить нашу укрепленную линию между Каспийским морем и Китаем, по р. Аму-Дарье... и стать там твердою ногою». Автор проектирует высадку десанта в Астрабадском заливе и одновременное движение русских отрядов от побережья Каспийского моря,Оренбурга и Семипалатинска в район, прилегающий к Аму-Дарье, в результате чего Хива должна оказаться включенной в русскую границу[1]. Даже автор анонимной записки, обращавшейся в ту пору в министерстве иностранных дел и посвященной вопросу о развитии русской торговли в Средней Азии и о наиболее выгодных для России торговых путях, в заключительной части своих рассуждений оставлял узко-экономическую трактовку вопроса. Советуя подражать английской политике в Индии и Америке, он выдвигал со своей стороны план не менее «решительных» и «смелых» «ударов», намечая районом действий не только Афганистан и Синд, но и Восточную Сибирь и даже Сандвичевы острова. Бичуя приверженцев кунктаторской политики в Азии, автор решительно отводил доводы тех, кто высказывался за необходимость откладывать овладение новыми рынками до появления избытка товаров: правительство должно завоевывать рынки превентивно, «для доставления народной промышленности выгодного направления»[2].

Еще в 1835 г. царю была подана записка, составленная оренбургским ген.-губернатором. Перовский доказывал, что на протяжении столетий попытки царского правительства завязать мирные экономические и политические сношения с Хивою оставались бесплодными: хивинцы специализировались в роли «разбойников», грабящих караваны и «основывающих быт своего ханства... на безвозмездной черной и тяжелой работе невольников»; «Хива ныне, как и прежде, служит разбойничьим вертепом всей Средней Азии.» Напоминая о том, что присоединение Алжира Франция могла оправдать оскорблением французского консула, Перовский указывал, что у России имеются в отношении Хивы мотивы несравненно более веские. Вместе с тем овладение Хивою не доставит трудностей и будет плодотворным: «Франция употребила на завоевание Алжира миллионы и навсегда сохранила завоеванное сверх пополнения утраченного. России завоевание Хивы не будет стоить $^{1}/_{10}$ доли того, но вся Средняя Азия возродится, восстанет от оцепенения своего..., обогатится торговлею и промышленностью России»[3]. Прочитав записку Перовского, царь нашел «основательной» мысль его «о несомненном праве России силою оружия положить конец дальнейшим хищничествам хивинцев и даже самому политическому бытию народа». Но «приступить ныне же к сему предприятию» было признано «невозможным». Перовскому было предложено заняться составлением «подробного соображения о способах к успешному совершению экспедиции»[4]. Действуя согласованно с западносибирским ген.-губернатором, хотя и нередко конфликтуя с ним, Перовский, укрепившись в Тюп-Карагане, проводит далее работу по укреплению и выпрямлению Оренбургской линии.

[1] МИД, Гл. арх., I—9, 1839, № 17, лл. 2—12 — Записка, составленная полк. Буговским 14/XII 1836 г.
[2] Там же, II—3, 1839, № 7, лл. 2—44 — Записка, составленная в 1839 г. и имеющая заголовок „Мысли о русской торговле“.
[3] ЦВИА, ВУА, № 18250, лл. 1—8 — Записка Перовского от 14/I 1835 г.
[4] Там же, лл. 9—10 — Письмо Чернышева Перовскому от 14/I 1835 г.

В ту пору у Петербургского правительства еще не было принято ставить вопрос о твердых границах в среднеазиатских степях: наоборот, его считали необходимым отодвигать. Однако «включить в пределы империи» часть годных к земледельческой культуре казахских степей представлялось делом безусловно полезным[1]. У оренбургского ген.-губернатора была более четкая точка зрения на «пределы империи»: в 1835 г. он готовился к экспедиции-рекогносцировке в направлении к р. Сыр-Дарье с целью изучения путей будущего похода на Хиву. Военный министр отклонил личное участие Перовского в экспедиции. Тогда Перовский вовсе отказался от организации экспедиции, считая личное свое участие необходимым условием; в защиту своего положения Перовский приводил тот довод, что русская граница лежит не на Урале, а на Сыр-Дарье, и что казахская степь входит в состав Оренбургского края[2].

В то время как Горчаков работает над проектом постройки новых укреплений в Западносибирском округе[3], Перовский основывает новую линию от Орска до станицы Березовской на 478 верст, учреждая форты Наследницкий, Константиновский, Николаевский, Михайловский и переселяя сюда казаков со старой линии. Несколько севернее он начинает строить руками башкир непрерывный вал в 6 фут. вышины со рвом в 6 фут. глубины. В 1836 г., когда вал был построен на протяжении 18 верст, мысль эта была оставлена[4]. В деле «умиротворения» степи Перовский тяготел преимущественно к действиям небольшими отрядами, отправляемыми в глубь степи для наказания «виновных», захвата пленных и угона у них скота. Это была система своего рода официальной баранты. Одним из ярких примеров ее являлся набег казачьего отряда в 1836 г. на поселения строптивых адаевцев на полуострове Бузачи, откуда отряд вернулся с крупными трофеями.

1837 год прошел в Оренбурге относительно спокойно, и именно в этом году Перовскому удалось провести учреждение кибиточного сбора с казахов. Незадолго перед тем, летом 1836 г., была проведена мера, применявшаяся неоднократно еще и ранее (с 1754 г.) — повсеместное задержание хивинских купцов впредь до освобождения из Хивы всех содержавшихся там в неволе российских подданных. Всего было задержано 572 хивинца с товарами на 1 400 000 руб. К январю 1837 г. прибыл в Оренбург хивинский посланец Кабылбай для объяснений. Его не признали послом и предъявили Хиве требование о выдаче русских пленных в четырехмесячный срок. Осенью 1837 г. прибыла из Хивы первая небольшая партия пленных (25 чел.). В середине 1838 г. возвращено еще 5 чел., через год — 80[5]. А так как российские подданные захватывались обычно казахами и туркменами, продававшими их в хивинскую неволю, царские власти тогда же предприняли захват казахских и туркменских рыбаков на Каспийском море с целью ускорить размен пленными. Разрыв торговых сношений с Хивою вызвал некоторое беспокойство среди московских гостинодворцев и фабрикантов села Иваново, отпустивших хивинцам товар в краткосрочный кредит. Таможенные власти приступили к

[1] МИД, Гл. арх. I—1, 1834, № 76, лл. 75—77 — Всеподданнейший доклад 3/VII 1834 г.

[2] ЦВИА, оп. 276, св. 34. 1841, № 31, лл. 1—9.

[3] В течение 1838—1840 гг. были построены Акташское, Улутавское и Джерганыагачское укрепления.

[4] М. Терентьев. Указ. соч., I, стр. 93—96.

[5] Там же I, стр. 110—112.

разборке тюков[1]. Однако от разрыва сношений, как признавал сам Перовский, «наша среднеазиатская торговля не потерпела»; наоборот, цены на русские товары в Хиве возросли, а хлопчатая бумага подешевела на 50 проц.[2].

Как мы видели, положение в степи со стороны Омска признавалось Горчаковым в середине 1839 г. относительно удовлетворительным. Перовский был занят подготовкой ученой экспедиции к берегам Аральского моря. Проект этой экспедиции был представлен Перовским еще в марте 1837 г. Он был принят, но осуществление его было отложено до весны 1838 г.[3]. Подготовка к экспедиции шла медленным ходом. Отложенная до весны 1839 г., она не была окончательно подготовлена и к лету. Академия Наук, которая должна была принять участие в экспедиции, раскачалась только к середине июля 1839 г., наметив, со своей стороны, состав экспедиции с академиком Бером во главе[4]. Правда, оренбургское начальство ставило дело на широкую ногу. Для ученой экспедиции было отпущено рубашечного холста и сапожного товара из расчета на 2870 строевых и 200 нестроевых нижних чинов[5]. Для столь солидного конвоя было заготовлено 1022 тыс. боевых пехотных патронов[6]. Для прикрытия ученой экспедиции было предназначено 4 орудия, 8 десятифунтовых горных единорогов и боевые ракеты[7].

Пока в Оренбурге велись работы по подготовке ученой экспедиции к восточным берегам Аральского моря и непременный секретарь Академии Наук Фус совместно с академиком Бером разрабатывали план предстоящих работ по измерению высоты уровня Аральского моря, Перовский успел побывать в Петербурге, повидаться с царем и министрами, преодолеть сопротивление министров военного и иностранных дел и обсудить в Особом комитете ряд важных вопросов. 7 февраля 1839 г. он представил в Комитет проект военной экспедиции в Хиву. Предполагалось сформировать отряд из 4 тыс. чел. при 12 орудиях и отправить его в зимнее время из Оренбурга в Хиву через Усть-Урт. Расходы на экспедицию определялись в 12 тыс. червонцев. Длительность экспедиции была рассчитана на полгода, подготовка же, предполагалось, может продлиться более года. К проекту Перовский приложил свою старую записку от 1835 г. и то отношение Чернышева, где передавалось выраженное царем принципиальное одобрение первоначального предложения Перовского.

Свои старые доводы в пользу похода Перовский дополнял теперь соображениями о создавшемся в степи положении: вызванный разрывом русско-хивинской торговли недостаток денежных средств в ханстве и оскудение ханской казны привели к усилению поборов, взимаемых хивинскими зякетчиками с казахов и туркмен, и породили среди них такое недовольство, что есть все основания рассчитывать на их активное выступление против Хивы. Перовский считал необходимым предать предстоящее выступление широкой огласке и даже задавался вопросом, следует ли возвращаться с пути, если хивинский

---

1 М. Терентьев. Указ. соч., I, стр. 110—112.

2 И. Серебренников, Указ соч., I, стр. 87—90 — Отчет Перовского по управлению Оренбургским краем с 1833 по 1842 гг.

3 ЦВИА, ВУА, № 25222, лл. 1—48.

4 И. Серебренников. Указ. соч., I, стр. 90—97 — Отношение непременного секретаря Академии Фуса мин-ру народного просвещения от 14/VII 1839 г., № 814.

5 Там же, стр. 48 — Отношение Чернышева Перовскому от 3/V 1839 г., № 2681.

6 Там же, стр. 105.

7 Там же, стр. 46—47 — Отношение Перовского Чернышеву от 25/IV 1839 г., № 277.

хан, прослышав об экспедиции, согласится на все требования России[1]. В эту пору англичане уже шли на Кабул, и проект Перовского, который в 1835 г. был признан преждевременным, имел все шансы встретить сочувствие.

Журнал Особого комитета, рассматривавшего проект на своем заседании 11 марта, «важнейшую» цель экспедиции определял так: «восстановить и утвердить значение России в Средней Азии, ослабленное долговременною ненаказанностью хивинцев и, в особенности, тем постоянством, с которым английское правительство во вред нашей промышленности и торговле, стремится к распространению своего господства в тех краях». Конкретизируя мотивировку принимаемого решения, Особый комитет рассуждал: «Нет сомнения, что экспедиция в Афганистане будет иметь последствием новое усиление власти и влияния англичан над всем населением Средней Азии, но... сколь бы ни было велико это влияние, оно неминуемо и весьма сильно должно быть поколеблено последующим занятием Хивы, освобождением соседних туркмен и кайсаков от дани хивинской и ограждением Бухары от грабежей и насилий».

Второю политическою целью экспедиции Комитет намечал «освобождение нескольких тысяч персиан, находящихся в плену у хивинцев», что «несомненно содействовать будет к утверждению политического первенства нашего в Персии». Если предпринятый англичанами поход в Афганистан требовал, по мнению Комитета, ответного похода русских войск на Хиву, то эта же английская агрессия, связывая руки англичанам, создавала для активных операций царского правительства благоприятные условия. Считая, что одним «наказанием» и одним освобождением русских пленных дело ограничиться не должно, Комитет рекомендовал, следуя примеру англичан, стремившихся к низвержению с кабульского престола Доста и к водворению своего ставленника Шоджи, низвергнуть с ханского престола Алла-Кулу и водворить избранного для этой цели одного из «самых надежных» степных султанов. Комитет предусматривал необходимость, в случае если хан под влиянием испуга выполнит требование раньше, чем экспедиция достигнет Хивы, продолжать поход под любым предлогом, хотя бы под предлогом взыскания издержек на поход. Было постановлено ассигновать Перовскому нужные деньги, освободить его от отчетности по обычным контрольным правилам, предложить ему немедленно начать подготовительные работы, учреждая по намеченному пути следования «становища с гарнизонами» и ведя дело так, чтобы экспедиция могла двинуться не позднее весны 1840 г., хотя бы англичане к этому времени и не успели завершить своей экспедиции[2].

О научной экспедиции в Петербурге не забыли, и ее подготовку было решено продолжать, но в центре внимания оренбургского начальства стали теперь новые заботы. Результаты подготовительных работ к академическим изысканиям было легко переключить в план работ по подготовке военного «поиска на Хиву»[3]. Перовский вернулся в Оренбург 30 марта 1839 г. Начинается заготовка продовольствия и покупка верблюдов. Устраивается становище на урочище Чучка-Куль при р. Ак-Булаке. Ведутся переговоры с правителем западной

[1] И. Серебренников. Указ. соч., I, стр. 11—29 — Всеподданнейший доклад Перовского от 7/II 1839 г.

[2] ЦВИА, ВУА, № 1166, лл. 240—246; И. Серебренников. Указ. соч., I, стр. 33—37. Журнал Особого комитета от 11/III 1839 г.

[3] И. Серебренников. Указ. соч., I, стр. 130 — Отношение Перовского Чернышеву от 6/IX 1839 г., № 159.

части Орды султаном Айчуваковым о его кандидатуре на ханский престол. Из Петербурга с выступлением не торопили, и 12 сентября 1839 г. Чернышев, сообщая Перовскому о согласии царя отложить ученую экспедицию до окончания военной, предупреждал о том, что царь не будет возражать и против некоторой отсрочки военной экспедиции. Опасаясь безводья пустынь, Перовский ориентировался на зимний поход и старался досрочно закончить подготовительные работы. Уже 21 августа 1839 г. он писал Чернышеву, что в основном «приготовления окончены» и «отряд в ожидании первого снега»[1].

В конце сентября 1839 г. Перовскому стало известно, что Айчуваков отказался от ханского трона; при таких обстоятельствах наиболее удобным и желательным кандидатом на престол являлся, по его мнению, Инах хивинский, младший брат Алла-Кулы, руссофил, некогда назначенный в ханы отцом, но отстраненный вельможами. Перовский проектировал захватить Алла-Кулу в плен и привезти в Россию и намечал мероприятия по временной организации власти в Хиве на случай, если бы Инах при приближении отряда бежал от страха. Перовский просил министерство снабдить его директивами, как при таких условиях поступать с русским отрядом[2]. Собравшийся для обсуждения поставленного Перовским вопроса, Азиатский комитет одобрил проектировавшийся оренбургским ген.-губернатором англизированный способ разрешения династического вопроса. Предоставив Перовскому самые широкие полномочия, разрешив ему в случае надобности оставить отряд в Хиве на продолжительное время, Комитет наметил вместе с тем основные пункты того трактата, который должен был подписать будущий хан и редакция которого должна была быть сделана «с крайней осмотрительностью, дабы ничто в оном не могло подать повода к ложным толкованиям о намерении России распространять свои владения к центру Азии». Новый правитель должен был, отказавшись от всяких враждебных действий против России, от принуждения караванов итти через Хиву и от обложения их пошлинами, обязаться вместе с тем «не простирать власти своей на подчиненных нам кайсаков и туркмен», срыть укрепления на Сыре, уравнять русских купцов в правах с хивинскими ($2\frac{1}{2}$ проц. пошлины) и допустить пребывание постоянного русского консула в Хиве[3].

Вместе с проектом торжественного «обязательного акта», который Перовский должен был отвезти с собою в Хиву на подпись новому хану, в Оренбург пересылались подарки, предназначавшиеся для будущего союзника России: серебряный чайный сервиз, два куска парчи, шесть хорьковых мехов и четверо золотых часов[4]. В одном из своих донесений, относящихся к этому времени, Перовский предупреждал, что сохранить подготовку экспедиции втайне не удается, что дело приобрело широкую известность[5]. Следует полагать, что Перовский к этому и не стремился: ведь не так давно он выражал надежду на то, что, услышав о подготовляющемся походе, казахи и туркмены поднимутся и сами «разграбят Хиву, прежде чем отряд

[1] И. Серебренников. Указ. соч., I, стр. 125—127 и 131 — Отношение Перовского Чернышеву от 21/VIII 1839 г., № 144, и отношение Чернышева Перовскому от 12/IX 1839 г., № 201.

[2] Там же, стр. 148—150 — Записка Перовского, посланная Нессельроде при отношении от 30/IX 1839 г., № 187.

[3] Там же, стр. 158—163 — Журнал Азиатского к-та от 10/X 1839 г., утвержденный царем 17/X 1839 г.; см. также МИД, Гл. ар..., I-9, 1839, лл. 159—165 — Всеподданнейший доклад.

[4] И. Серебренников. Указ. соч., I, стр. 164—168.

[5] Там же, стр. 134—136 — Отношение Перовского Чернышеву от 12/IX 1839 г.

наш успеет туда дойти»[1]. Надежды на казахов и туркмен в данном случае не оправдались, но в высших правящих сферах царской России идея похода встречала горячее сочувствие.

VIII

Идея похода против Хивы встретила среди царского генералитета живейший отклик.

Прочитав в № 278 «СПб ведомостей» об отправлении военной экспедиции из Оренбурга, генерал-майор Веригин, старый специалист по восточным делам, 14 лет назад выступавший с проектом завоевания Хивы, решил снова взяться за перо и откликнулся на это известие особой запиской, представленной им военному министру. Опубликованное в печати официальное сообщение говорило о том, что, коль скоро требования царского правительства будут Хивою удовлетворены, войска вернутся обратно в Россию. Веригин не был знаком с постановлениями Азиатского комитета и возражал против такой постановки вопроса: после ухода русских войск из Хивы враждебные действия последней против России возобновятся с еще большею силой, «англичане же с еще большим успехом будут совершать свое продвижение к границам Бухары, затруднения... еще более увеличатся, и с нашей стороны... потребуются новые значительнейшие пожертвования и превосходнейшие силы против ныне отправленного туда военного вооружения». Мнение Веригина было таково: «Не токмо не выводить из Хивы военного нашего отряда... но, напротив того, по возможности стараться еще более усилить там наш отряд войск, обратив издержки, потребные на содержание оного на счет доходов хивинской области». «Утвердив навсегда за собой Хиву», следовало, по мнению Веригина, «обратить сей город в безопасное складочное место собственных наших товаров». Веригин убеждал не останавливаться ни перед какими издержками для достижения этой цели: если отряда, посылаемого из Оренбурга, окажется недостаточно, отправить второй отряд из Гурьева по маршруту Бековича и воспользоваться теми возможностями, которые представляет в этом отношении Астрабад. «Упрочив силою оружия в наше владение Хиву», нужно было «часть находящихся в бессрочном отпуску солдат-христиан обратить на поселение их в окрестностях Хивы и по берегам Аральского моря», создав таким образом самоокупающееся «прочное охранительное военное поселение»; вместе с тем предполагалось «составить в С.-Петербурге временный комитет по делам Средней Азии по примеру других западноевропейских государств, имеющих в Индии свои владения». «Такое восхитительное событие, — заключал ген. Веригин, — возбудит в сердцах верноподданных его величества беспредельную благодарность и возвеличит славу его империи»[2].

В те же дни представил на высочайшее имя свои соображения бывший сподвижник Дибича по турецким походам ген.-ад. Толь. По вопросу о предстоящем временном пребывании русского отряда в Хиве Толь развивал те же мысли, что и Веригин. «По моему мнению, — писал он, — надобно бы совершенно утвердиться в Хиве как во избежание нарушения договоров с их стороны, так и для образования в Хиве главного складочного места нашей торговли с Азией». На

[1] Там же, стр. 11—29 — Записка Перовского от 7/II 1839 г.

[2] ЦВИА, ВУА, № 1166, лл. 479—485 — Записка Веригина от 13/I 1840 г.; см. также Б. Серебренников. Указ. соч., II. стр. 14—19.

худой конец, если слишком настоятельна будет необходимость не возбуждать опасений в Англии, в качестве программы-минимум гр. Толь намечал овладение «твердым пунктом на восточном берегу Каспийского моря, дабы отсюда делать поиски на Хиву». Ген. Толь имел в виду постройку укрепления на берегу Красноводского залива. Он требовал вместе с тем усилить перевозоспособность русской флотилии на Каспийском море, чтобы без затруднений и замедлений можно было перебрасывать артиллерию и войска из Баку в Красноводск. Толь указывал на возможность и необходимость использовать в военных целях против Хивы живущих на побережье туркмен, находящихся в зависимости от нее. Так как эта зависимость коренилась бы главным образом в недостатке у туркмен хлеба, он проектировал организацию систематического снабжения туркмен хлебом из Астрахани и развитие среди них русской торговли: «При посредстве сей торговли можно бы легко сделать совершенно зависимою от России всю прибрежную Трухмению, а в Красноводске образовать главное складочное для сей торговли место». Привлечение к России туркмен привело бы к тому, что «российский отряд, утвердившийся однажды на восточном берегу Каспийского моря, мог бы найти в народе сем готовую и отличную конницу на случай поисков против Хивы». Враждебная Хиве Персия препятствовать всему этому не будет, томящиеся же в хивинской неволе 3 тыс. персов совместно с 3 тыс. находящихся там русских явятся желанными союзниками в стане врага[1].

Если Веригин звал на Хиву и говорил об устройстве там военных поселений, если Толь в дополнение к этому предусматривал также занятие Красноводского залива, начальник Морского штаба кн. Меншиков, помимо занятия Хивы, выдвигал еще одну новую задачу. Исходя из общего положения, что «покорение Кабула англичанами и сближение войск их с Бухариею» является «главнейшей причиною, противодействующею нашему влиянию» в Средней Азии, он предлагал ответить на это «сближением наших войск с народами, в той полосе Азии обитающими, и основанием на Сыр-Дарье значительного с поселением укрепления». Так как казахи или, как он их называл, киргиз-кайсаки, живущие в бассейне Сыр-Дарьи, состоят в подданстве России, «занятие берегов Сыр-Дарьи» никому бы в голову не пришло рассматривать как «захват». Результатом действий в этом направлении должно было, по мысли Меншикова, явиться укрепление влияния царской России не только в Хиве, но и в Кокане и в Бухаре, и открытие путей через Аральское море к Афганистану[2].

Когда царь читал записку, представленную ген. Толем, судьбы предпринятого Перовским военного «поиска на Хиву» уже вырисовывались. В это время всякая возможность выхода из положения, создавшегося военным «поиском», была особенно ценна. Царь прочел записку «с особенным вниманием и удовольствием» и через военного министра благодарил генерала «за труд»[3].

Записка кн. Меншикова поспела к тому времени, когда экспедиция Перовского была уже закончена; записка эта была составлена, несомненно, с учетом результатов экспедиции и имела своим последствием активизацию действий западносибирского ген.-губернатора[4].

Приведенные нами генеральские записки являлись, хотя и симп-

[1] ЦВИА, ВУА, № 1166, лл. 331–342 — Записка ген.-ад. гр. Толя от 21/I 1840 г.; см. также Н. Серебренников. Указ. соч., II, стр. 23–27.

[2] Там же, № 1151, лл. 1—4 — Записка кн. Меншикова от 4/III 1840 г.

[3] Там же, № 1166, л. 343.

[4] Там же, № 1151, лл. 3—4.

томатичным, но запоздалым откликом на предпринимавшуюся экспедицию: генералы раскачивались медленно, поход же закончился быстрее, чем предполагали его инициаторы.

IX

Отряд под начальством Перовского выступил из Оренбурга 14 ноября 1839 г. В отряде насчитывалось до 5 тыс. солдат, 4 генерала и 14 штаб-офицеров при двух орудиях и десяти горных единорогах. Отряд сопровождался громадным транспортом из 10500 верблюдов и 2000 киргизских возчиков. Растянувшись линией на 8 верст, отряд шел четырьмя колоннами в полном боевом порядке. Кавалерия была в парадной форме, пехота — в обмундировании, специально сшитом для похода. Продовольствие было взято большое — на полгода для 5 тыс. человек. Каждому солдату выдавали по фунту мяса в день; офицеры получали сытные обеды с шампанским.

Перед выступлением была проведена большая подготовительная работа. Было предусмотрено многое, но не все.

Путь на Хиву русским был знаком плохо. Направление определялось только с приближенной степенью точности; ориентировались на то направление, которое было рекомендовано полковником Бергом еще в 1825 г. Особенности местного климата были тоже изучены плохо — не предусмотрели возможности сильных морозов. А зима в этом году была ранняя и суровая — во время экспедиции стояли 20—30-градусные морозы; обильный снегопад засыпал все дороги и тропы; образовавшаяся на земле ледяная кора уничтожила возможность добывания подножного корма.

Не было предусмотрено и отсутствие в пути воды и топлива, вследствие чего нельзя было рационально использовать громадные запасы продовольствия. Бивуачные огни удавалось разводить только 2—3 раза в месяц; мясо приходилось есть полусырым.

Специально сшитое для солдат обмундирование в условиях зимнего похода оказалось негодным: головы у солдат были в тепле, а ноги в холоде. Спать приходилось на мерзлой земле, покрытой тонкими кошмами. Солдаты не меняли белья.

Через две-три недели после начала похода в отряде начались желудочные заболевания, цынга и «горячка». Больных клали в обледенелые лазаретные фургоны, где они простужались и откуда редко возвращались живыми. Началась убыль в войсках. У Ак-Булака в отряде болел каждый второй и умирал каждый пятый.

Среди командного состава не было единства и единодушия. Перовский держался «изолированно и недоступно»[1]. Открытую борьбу с ним вел начальник головного отряда ген. Циолковский, бывший полковник польской армии, наживший крупные капиталы на расхищении башкирских земель, жестокий и мстительный, радовавшийся неудачам экспедиции. Множество офицеров-трутней истребляли с трудом добывавшееся топливо и поглощали весь спирт, имевшийся в обозе. Продовольственным делом ведал маркитант Зайчиков (Деев), осужденный в свое время Оренбургской уголовной палатой за продажу людей в Хиву.

Перовскому удалось справиться с Циолковским; справился он и с «бунтовавшими» киргизскими возчиками, расстреляв двух «зачинщиков». Он был уверен в стойкости и выносливости своих солдат, да

[1] И. Захарьин. Зимний поход на Хиву.

и не боялся убыли в людях. «О неприятеле думать не приходится, — писал он в январе 1840 г., — каждый из нас стоит 10 хивинцев»[1].

Но было препятствие, с которым Перовскому справиться не удалось и которое сыграло решающую роль в судьбах экспедиции. Плохо отобранные, не приспособленные к тяжести военного снаряжения, не имеющие подножного корма, гибли верблюды. Уже вскоре после начала похода Перовский убедился в их «неблагонадежности» и тогда же в письмах своих к Булгакову, говоря о том, что «без них нет спасения», просил своего корреспондента «молиться за них»[2]. К концу января в день падало по 130—150 верблюдов. И скоро из десяти тысяч осталось только четыре тысячи; всех верблюдов пришлось делить на две категории — «дохлых» и «издыхающих».

Перовский убедился в том, что следовать дальше нельзя, и что даже при немедленном возвращении придется бросить все продовольствие. Перовский признавал предпринятую им экспедицию «выкидышем». Не имев ни одного столкновения с неприятельскими войсками, не встретив по пути ни одного хивинца, экспедиция в начале февраля 1840 г. двинулась из становища Чучка-Куль на р. Ак-Булак (в 600 верстах от Оренбурга) в обратный путь. В двадцатых числах февраля Перовский был уже в Оренбурге.

На его последнем донесении от 30 января 1840 г., где сообщалось о невозможности продолжать путь, Николай I наложил резолюцию, требовавшую «безотлагательно» принять меры «для возобновления экспедиции при первой возможности»[3]. Тогда же было дано распоряжение об отправлении 24 рот и артиллерийской батареи с 8 орудиями из Москвы в Саратовскую губернию и о заготовке в Оренбурге 4-месячного запаса сухарей на 10 тысяч человек. Тогда же было дано распоряжение сосредоточить все суда Каспийской флотилии в Астрахани для предстоящей перевозки десанта. Как одна из очередных мер, намечается занятие и укрепление Мангышлака, куда был отправлен специальный офицер для рекогносцировки. Проектируется одновременная посылка отряда с Сибирской линии для занятия правого берега Сыр-Дарьи.

Однако назначить новую экспедицию на весну 1840 г. оказалось делом неосуществимым. Перовский не имел никакой возможности набрать новых верблюдов для нее. Было решено отложить экспедицию на весну 1841 г. Отказываться от мысли об экспедиции царь не считал возможным — наоборот, он считал особенно важным поддержать свой престиж в Средней Азии, пошатнувшийся в результате неудач зимнего похода. Необходимость новой экспедиции диктовалась также успехами, которых достигли к этому времени англичане в Средней Азии.

Заняв остров Каракку, заставив царское правительство отозвать Симонича и расстроив русско-персидский союз, свергнув Дост-Могамеда; англичане расположились на зимних квартирах в Афганистане. Некогда выгнанный из Кабула Бернс жил там теперь в качестве резидента, устроив себе гарем из афганок.

Во время экспедиции Перовского приходили известия о присутствии в Хиве английских агентов. А в мае 1840 г. в районе Ново-Александровского укрепления был задержан капитан английской службы Аббот с отрядом афганцев и несколькими орудиями. Аббот

---

[1] „Русский архив“, 1878 г., № 5, ч. II, стр. 34—46.
[2] И. Серебренников. Указ. соч., I, стр. 119—120.
[3] Там же, II, стр. 33—39.

заявил, что едет из Герата через Хиву в Россию, что ему удалось склонить хивинского хана возвратить в Россию невольников — российских подданных и что, считая свою посредническую миссию законченной, он просит доставить его в Петербург.[1] Аббот был взят под домашний арест и отправлен сначала в Оренбург, а затем в Петербург для передачи царю привезенных им подарков от хивинского хана. Царь не признал Аббота официальным представителем, подарки хана отверг и заявил Абботу, что не примет посредничества иностранной державы. Случай с Абботом показывал, насколько возросло английское влияние в Средней Азии за счет русского.

Подготовка новой экспедиции против Хивы продолжалась. Обстановка, в какой приходилось царизму действовать в Средней Азии, изменялась для него в благоприятную сторону. Осенью 1840 г. участились убийства солдат английской оккупационной армии в Афганистане, англичанам поставляли отравленную муку, избивали их фуражиров. Враждебные настроения против англичан среди афганцев росли и скоро вылились в открытое восстание. 2 ноября 1840 г. произошло нападение повстанцев на квартиру Бернса и истребление всей миссии. Остальные англичане бежали из Афганистана и в Хайберском ущелье были поголовно истреблены. Началась расправа с английскими агентами, рассылавшимися по ханствам Средней Азии. Англия теряла свой престиж в Средней Азии.

Успех реванша для царской России, казалось, был обеспечен. Однако новый поход против Хивы предпринят не был. В ноябре 1840 г., когда англичане были выброшены из Афганистана, Бруннов вступил с Пальмерстоном в переговоры о разграничении в Средней Азии сфер влияния России и Англии и о создании буферной территории[2]. Англичане готовы были обещать воздержаться от продвижения к северу от хребта Гиндукуша, но требовали признать Хиву и Бухару нейтральными буферными территориями.

Переговоры о нейтральной зоне продолжались до конца 1841 г. и не получили формального завершения. Зато в том же году в Лондоне закончились переговоры по ближневосточным делам, начатые Брунновым еще в 1839 г.

Бессильная противостоять соединенному натиску западноевропейских держав на Ближнем Востоке, царская Россия отказалась от Ункиар-Искелесского договора и соглашалась на подписание конвенции от 3/15 июля 1840 г. по турецко-египетским делам. Эта конвенция заключалась между Англией, Австрией, Россией и Пруссией, с одной стороны, и Турцией — с другой. Проливы объявлялись закрытыми для военных судов всех наций. Турция бралась под коллективную защиту четырех европейских держав. Но под этой конвенцией не было подписи представителя Франции, которая исключалась из европейского концерта и в качестве зрителя должна была присутствовать при гибели планов своего египетского вассала. Царская дипломатия готова была видеть в этом если не успех, то наименьшее для себя зло: центром тяжести коллективных действий держав становился Египет, а не Турция; англо-французское согласие было разбито. «Англо-французский союз уже мертв..., — доносил Бруннов незадолго до подписания соглашения 1840 г. — ...Англия еще не с нами, но уже не с Францией... Брак, заключенный с Талейраном, уже расторгнут. Англия стала вдовою. Чтобы выйти за нее замуж, нужно много

[1] Там же, стр. 140—147, 180—181.

[2] МИД. Гл. арх., I—9, 1839, № 11, лл. 169—185 — Депеша Бруннова от 24/X 1840 г.

ловкости и... много терпения, так как эта красивая женщина с большими капризами»[1].

Борьба за влияние, которую вела царская Россия с Англией в Средней Азии, не должна была служить помехой дружбе, налаживавшейся в ближневосточных делах. Подписание соглашения 3/15 июля 1840 г. делало невозможным второй хивинский поход. Соглашение с Англией, достигнутое царизмом в ближневосточных делах, носило конъюнктурный характер. Радость царской дипломатии была непродолжительна. Англии нужно было ослабление, но не изоляция Франции. И, когда она не только ослабила Францию, выбив из ее рук Египет, но и подорвала престиж России, заставив последнюю отказаться от Ункиар-Искелесского договора и от права исключительного покровительства Турции, она снова вступила на путь примирения с Францией. Франции возвращалось потерянное ею место в концерте держав: 1/13 июля 1841 г. представителями шести держав, включая и Францию, подписывалась конвенция о закрытии проливов.

Не подпустив Францию к Суэцкому перешейку, Англия не допускала и Россию к путям, которые вели в Индию. Царская дипломатия не теряла надежды на лучшее будущее. Коллективная гарантия Турции являлась коллективным наступлением на Россию, и в закрытии проливов царская Россия готова была видеть орудие самообороны от наступавших на нее врагов. Так как султан рассматривался еще как союзник России, проливы, казалось, находились в руках не врага, а друга. Жизнь этого «друга» — в этом Николай I был твердо уверен — не могла быть продолжительной. В течение всего последующего десятилетия Николай I жил уверенностью в близком распаде Оттоманской империи и наступлении «новой эры». После подписания конвенции 1841 г. царь не оставлял надежды достигнуть положительного соглашения с Англией по турецким делам. Но занять место Талейрана в Лондоне представлялось уже невозможным. Призрак англо-французского блока мог снова появиться в Константинополе.

В среднеазиатских делах, где англо-русское соперничество ни на минуту не затухало, царскому правительству приходилось теперь соблюдать особенную осторожность. Во время восстания в Афганистане русский посланник в Тегеране удерживал шаха от выступления в помощь восставшим[2]. Царское правительство ограничилось посылкой дипломатических миссий Никифорова и Данилевского в Хиву (в 1841 и 1842 гг.) и Бутенева в Бухару (в 1842 г.). И Данилевский и Бутенев приходили к заключению, что лучшим и единственным способом упрочить русскую торговлю в Средней Азии является разгром Хивы и военное воздействие на Бухару, что военный поход против Бухары вполне осуществим и что итти на Бухару следует через Хиву.

Но в период, когда царскому правительству приходилось ценить английскую «дружбу» на Ближнем Востоке, оно не могло приступать к осуществлению этих планов. Оно должно было ограничиться лишь созданием предпосылок для будущей активной политики. В этом плане правительство укрепляло свое влияние среди «непокорных» гасан-кулинских туркмен, руководимых Якши-Магомедом (июнь 1842 г.), осваивало побережье Новомангышлакского залива (1844 г.), возводило там Ново-Петровское укрепление (июль 1846 г.), учреж-

---

[1] МИД, К., Лондон, 1839, № 122 — Письмо Бруннова от 12/24 IX 1839 г.
[2] Там же, Гл. арх., I-1, 1842, № 81, л. 268.

дало постоянные пароходные рейсы Астрахань-Астрабад (1846 г.), воздвигало Оренбургское укрепление на Тургае (1845 г.), Уральское на Иргизе (1845 г.), Раимское — в низовьях Сыр-Дарьи (1847 г.), форты — Кара-Бутакский и Кос-Аральский (1848 г.).

Все это были звенья единой цепи, скрепляемой организацией казачьих поселений и проводимыми среди казахских племен реформами управления. В течение 1847—1850 гг. шли усиленные работы по изысканию угольных месторождений — сначала в районе Орской крепости, затем по побережью Аральского моря и на Мангышлаке. Топливо было нужно для организации пароходства по Аральскому морю и реке Сыр-Дарье. Вопрос о движении вверх по Аму-Дарье в рассматриваемое время не ставился — в эту пору Нессельроде заверял хивинского мехтера в «миролюбивых» намерениях царского правительства и объяснял факт постройки укреплений торговыми соображениями [1].

Хивинский хан проявлял беспокойство не только за Аму-Дарью, но и за Сыр-Дарью, район которой стал теперь в центре среднеазиатской политики царизма. К середине 40-х годов сыр-дарьинский район приобретал особенно важное значение и потому, что в это время начиналось движение русских караванов в Кашгар, и потому, что, переживая процесс политической консолидации, в известном отношении аналогичный тому процессу, какой переживала Хива, Коканд проявлял в своей политике черты агрессивности, приводившей его к ожесточенной борьбе с Бухарой. Кочевавшие по русско-кокандским пределам «киргизы» Большой орды и «дикокаменные» киргизы становятся предметом «защиты» царского правительства от Коканда; правительство отпускает специальные суммы на подарки и угощение султанов и начальников родов; возводятся укрепления (Копал в 1850 г.) [2]. Начиная втягиваться в частичные вооруженные столкновения с Кокандом, царское правительство воздерживалось, однако, до известного времени от развернутой активной политики и в этом районе Средней Азии. В своем отношении к западносибирскому генерал-губернатору от 27 октября 1849 г., говоря о необходимости всемерного укрепления русского влияния в Семиреченской области, Нессельроде давал в то же время директиву соблюдать величайшую осторожность, чтобы не вызвать чьей-либо тревоги [3].

Период «мирной политики» в Средней Азии продолжался до начала 50-х годов. В 1851 г. на посту оренбургского ген.-губернатора вместо Обручева снова появилась фигура Перовского. Это была пора, когда «великий посол» Стратфорд Каннинг стал полновластным хозяином в Константинополе и превратил Турцию в провинцию, управляемую английским проконсулом. Это была пора, когда усмиритель Венгрии почувствовал в себе достаточно силы, чтобы привести султана к былой покорности. Это была пора, когда Англия готовилась нанести России сокрушительный удар на Ближнем Востоке, возродив свой союз с Францией и получив в лице Наполеона III незаменимого союзника, стремившегося стать вершителем судеб Европы, «использовав при этом в качестве лестницы Турцию» [4]. В плане нового ближневосточного кризиса царская политика в Средней Азии готова была вступить в свою активную стадию.

---

[1] МИД, Гл. арх., I-1, 1847, № 9, лл. 40-41 и 1850 г., № 92, лл. 25—29.
[2] Там же, 1849, № 90, лл. 15—19; ЦВИА, ВУА, № 36031, лл. 151—154.
[3] МИД, Гл. арх., I—1, 1849, № 91, лл. 79—82.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, стр. 573.

К. А. ПАЖИТНОВ

К ВОПРОСУ О РОЛИ КРЕПОСТНОГО ТРУДА В ДОРЕФОРМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вопрос о тенденциях развития в первой половине XIX в. крупной промышленности, основанной на применении крепостного труда, и о ее состоянии ко времени реформы 1861 г. до сих пор освещен еще очень недостаточно и нуждается в дальнейших изысканиях.

К началу XIX в. положение представлялось в следующем виде.

По количеству занятых рабочих горнозаводская промышленность продолжала еще занимать первое место, и в ней всецело господствовал принудительный труд. По данным горного департамента, в 1805 г. насчитывалось 52 казенных и 171 частных — всего 223 горных завода, занимавшихся выплавкой чугуна, меди и серебра, выделкой железа и добычей золота. На них было занято 114565 мастеровых и чернорабочих и 253929 приписных крестьян. [1]

Первую группу можно считать постоянными рабочими, занятыми на заводе круглый год. Что же касается приписных крестьян, то они обязывались «исправлять заводские работы по нарядам, кои состоят в рубке куренных дров, разломке куч и возке из куреней на завод угля, в рубке дров для обжигания флюсов, в возке с рудников добытой руды на заводы, песков и всяких флюсов, в устройстве и починке плотин, поврежденных наводнением или пожаром». Эта повинность отбывалась ими в счет подушного налога, и по окончании работ крестьяне возвращались домой для занятия сельским хозяйством.

При обращении приписных крестьян в так называемых непременных работников, которые должны были уже постоянно работать на заводе, согласно закону 15 марта 1807 г., полагалось 58 человек на 1000 душ. Если исходить из этого расчета, общее количество горнозаводских рабочих можно определить в 129300 человек. В группе мастеровых и чернорабочих имелось 14898 вольнонаемных. О них говорится, что они «занимаются повольно перевозкою на заводы руд, бревен на рудники, провианту, уголья и прочего, получая плату по условиям», т. е., как и приписные крестьяне, выполняют лишь вспомогательные работы. В общей массе эти вольнонаемные рабочие составляли, следовательно, 11.5%.

В обрабатывающей промышленности по данным мануфактур-коллегии за 1804 г. насчитывалось 2423 фабрики и завода с 95101 рабочими, из которых 45537 или 48% было вольнонаемных [2].

Таким образом, в начале XIX в. крепостные и посессионные ра-

---

[1] Е. Зябловский. Статистическое описание Российской империи, II, стр. 208, 1808.

[2] Отчет министра внутренних дел за 1804 г., табл. XVIII.

бочие еще преобладали над вольнонаемными в крупной промышленности, составляя 73% общего числа рабочих (к концу XVIII в. этот процент был еще выше).

В свете этого факта едва ли можно считать правильным утверждение Е. В. Тарле, что екатерининскую Россию «нет никаких оснований считать страной в промышленном отношении отсталою от большинства других стран европейского континента в XVIII столетии».[1] Такие основания несомненно есть, если даже и согласиться с Е. В. Тарле, что по числу крупных предприятий и среднему размеру их Россия того времени не уступала и даже опережала прочие европейские страны. Ибо эти успехи зиждились на жестокой эксплоатации крепостных рабочих, которых уже не было на иностранных мануфактурах, и необычайный на европейский масштаб размер отдельных предприятий говорил вовсе не о совершенстве их, а об отсталости техники и малой производительности труда.

В дальнейшем ходе развития можно заметить довольно резкое различие между горнозаводской и обрабатывающей промышленностью. В первой продолжали господствовать крупные предприятия, и число их росло очень медленно, так что рост продукции происходил преимущественно за счет расширения деятельности старых заводов. В 1860 г. в ведомстве горного департамента состояло всего-навсего 224 завода, из которых 39 принадлежало казне и кабинету, а 185 — частным лицам.

По данным 10-й ревизии, произведенной в 1857 г., на уральских казенных горных заводах числилось 78529 душ м. п., на кабинетских заводах в Алтайском и Нерчинском округах — 27834, на частных уральских заводах — 228772 и на частных замосковных — 44611; итого 379746 душ м. п. Относительно казенных заводов Урала сообщается, что «население заводское составляет по 10-й ревизии мужского пола 78529 душ, включая в это число как годных работников, так равно стариков, детей и увечных, так что настоящих работников можно считать лишь на половину»[2]. Если исходить из этой нормы, количество рабочих на перечисленных заводах составит 190873.

Для тех же казенных заводов Урала приводится число действительно занятых в 1860 г. рабочих — оно оказывается равным 33425, т. е. 43% ревизских душ[3]. С этой поправкой число рабочих понизится до 185 тысяч.

В Олонецком и Алтайском округах для выполнения вспомогательных работ пользовались также трудом приписных крестьян. В других районах из их среды набирались так называемые непременные работники, считавшиеся уже постоянными; здесь же они оставались на заводах в этом положении до крестьянской реформы — по 10-й ревизии их числилось 24957 и 134029 душ м. п.

Если исходить из той нормы, которая была установлена при обращении уральских приписных крестьян в непременные работники, то это составит 9222 чел.

На Алагирском, Луганском и Олонецком заводах, принадлежавших казне, в 1860 г. было занято 3518 рабочих; на Нерчинских заводах — 3577 ссыльно-каторжных.

Вольнонаемный труд находил себе применение только на семи

---

[1] Е. Тарле. Запад и Россия, стр. 149, 1918.

[2] Памятная книжка для русских горных людей на 1862 г., стр. 20—21.

[3] То же на 1863 г., стр. 2—23. На частных уральских заводах в 1860 г. показано 114809 человек, вовлеченных в производство, что действительно составляет 5 % ревизских душ.

небольших заводах (Ресетинском, Карачаровском, Липецком, Тапинском, Раменском, Святочудовском и Чернецком), из которых только на двух показано число рабочих — 20 и 76 человек. Судя по продукции, общее количество рабочих на всех семи заводах не превышало двух-трех сотен.

С другой стороны, исключительно свободный труд применялся в частной золотопромышленности Сибири и Урала (во внезаводских округах), которая стала развиваться с 20—30-х годов XIX в., когда о приписке крестьян не могло уже быть и речи — здесь числилось в 1860 г. 45842 рабочих; на казенных золотых приисках также работало по вольному найму 794 и на медных рудниках — 12 человек.

Таким образом, общее количество горнозаводских рабочих накануне падения крепостного права можно принять в 248 тысяч, из которых на долю вольнонаемных приходится не более 47 тысяч, что составляет 19%.

Итак, за 55 лет применение свободного труда сделало здесь в общем очень небольшие успехи, а если иметь в виду только металлургические и передельные заводы, то приходится констатировать даже попятное движение. Если в 1805 г. для выполнения вспомогательных работ привлекалось по вольному найму довольно значительное количество людей, то теперь об этом даже не упоминается. Очевидно заводы были уже вполне обеспечены собственной рабочей силой, и медленные темпы расширения производства покрывались за счет естественного прироста прикрепленного к заводам населения.

Иначе обстояло дело в обрабатывающей промышленности. В то время как в горном деле число предприятий почти не изменилось, здесь оно непрерывно и быстро росло: в 1804 г. было 2402 фабрик и заводов, в 1825 г. — 5261, в 1840 г. — 6863, а в 1860 г. — 15388.

Огромное большинство новых предприятий относилось к разряду мелких и принадлежало разночинцам, которые могли пользоваться лишь вольнонаемным трудом. В 1825 г. из общего числа 210568 рабочих, занесенных в отчет департамента мануфактур, на долю крепостных и посессионных приходилось уже менее половины — 95053 чел. или 45.6%. В последующих же ведомостях разделение рабочих на категории перестало производиться.

М. И. Туган-Барановский, говоря о развитии промышленности за время после 1825 г., замечает, что «несмотря на отсутствие цифровых данных можно положительно утверждать, что работа по вольному найму быстро распространялась на фабриках дореформенной России, хотя приискивать рабочих попрежнему было не легко». Ссылаясь на ряд свидетельств современников, он приходит к заключению, что «крепостной труд на фабрике уже естественно отмирал к эпохе юридической его отмены».[1]

Со времени выхода труда Туган-Барановского разработка вопроса не подвинулась вперед. Только в 1922 г. в 3-й книге «Архива истории труда в России» А. Шабалов привел ведомость фабрик и заводов в помещичьих имениях с указанием числа крепостных, работавших на этих предприятиях за задельную плату или в порядке барщины. Из этой ведомости, составленной в 1861 г. на основании данных министерства финансов, видно, что к моменту ликвидации крепостного права в помещичьих имениях насчитывалось 381 предприятие, на которых было занято 59375 крепостных. Наиболее значительную группу составляла суконная промышленность — 151 пред-

[1] Русская фабрика, стр. 74 и 239, 1927.

приятие с 41030 рабочими, затем шли стекольные и хрустальные заводы — 66 с 4615, писчебумажные — 47 с 4484, фабрики по обработке хлопка и льна — 29 с 4469, солеварни — 5 с 1758, предприятия механические и по обработке металлов — 32 с 1414, кожевенные заводы — 27 с 1005, фарфоровые и фаянсовые фабрики — 6 с 180 рабочими и т. д. [1]

Основываясь на этих данных и присоединяя сюда посессионных рабочих, количество лиц несвободного труда можно было бы определить в 71350 человек, т. е. 13% общего числа. [2]

Однако более внимательное изучение материалов показывает, что в действительности роль крепостного труда на наших фабриках и заводах была значительно выше. Дело не в том, конечно, что может возникнуть сомнение в полноте и достоверности этих цифр. Подобное сомнение может возникнуть и относительно остальных цифр официальной промышленной статистики. Поэтому нет основания брать их под особое подозрение. Гораздо более важным является другой вопрос, именно — в какой мере означенные цифры охватывают всю промышленность, пользующуюся крепостным трудом. Присматриваясь ближе к тем видам предприятий, которые вошли в упомянутую ведомость, не трудно заметить здесь существенные пробелы.

Прежде всего бросается в глаза отсутствие такой крупной отрасли промышленности, как свеклосахарная. Первый свеклосахарный завод был построен, как известно, помещиком Бланкеннагелем в с. Алябьеве Тульской губ. в 1801 г. Но до конца 30-х годов новое дело прививалось весьма медленно: в 1825 г. было 7 заводов, в 1830 г. — 20 и в 1836 г. — 57. С этого же времени, под влиянием падения цен на зерновые продукты и технических усовершенствований в свеклосахарном производстве, помещики стали усиленно заниматься последним: в 1840 г. число заводов составляло уже 143, в 1844 г. — 206, в 1850 г. — 358, в 1860 г. — 428 и в 1861 г. — 448 [3].

«Учреждая свеклосахарный завод, — читаем мы в трудах Вольного экономического общества [4], — помещик имел в виду свое малосильное имение обратить в доходное. В расчетах своих он опирался на силы природы и на обязательный труд крестьян, т. е. свекла у него не покупалась, а возделывалась на своих полях, без всяких научных названий и улучшения ее качества; сеялась и собиралась собственными крестьянами. Завод строился из своего материала и своими рабочими; все необходимое для завода поставлялось из имения. Снаряды по простоте тогдашней системы производства обходились недорого. За большими выходами сахара из свекловицы не гнались, а довольны были, если могли извлечь из нее 3% или 12 фунтов песку» (из берковца).

Поэтому свеклосахарные заводы встречались даже в таких районах, которые по своим климатическим и почвенным условиям казались мало подходящими для этого дела, например, в Московской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Витебской, Виленской, Гродненской, Симбирской, Тверской губерниях.

Свеклосахарные заводы требовали значительного количества рабочих рук. В 1849 г. на них числилось 40478 человек, а в 1860 г. — 64763. Построенные в помещичьих имениях заводы эти, как правило, пользовались трудом крепостных крестьян. Сначала работа производи-

[1] „Архив истории труда в России“, кн. III, стр. 148—150.
[2] К. Пажитнов. Положение рабочего класса в России, I, стр. 52, 1925.
[3] Сборник сведений и материалов по министерству финансов, III, № 12.
[4] № 5—6 за 1863 г.

лась в порядке барщины, но затем многие помещики стали переводить свеклосахарное заводское производство на коммерческое положение, причем крепостные крестьяне получали уже денежное вознаграждение.

Денежная форма оплаты труда не уничтожала, однако, его принудительного характера, и большая часть рабочих принадлежала к числу крепостных. Но на ряду с ними на свеклосахарных заводах работали и вольнонаемные, обыкновенно из крепостных крестьян, принадлежащих помещикам соседних, а иногда и отдаленных районов. В Киевской губ. в 1846 г. на 7730 крепостных рабочих, занятых в свеклосахарном производстве, приходилось 2650 (т. е. 34%) вольнонаемных. В Харьковской губ. вольнонаемные также составляли в 1852 г. лишь $\frac{1}{3}$ общего числа рабочих, занятых в этой отрасли промышленности.[1] На свеклосахарном заводе кн. Мещерского в Тверской губ. мастеровые и чернорабочие (50 чел.) набирались из местных крестьян[2]. Исходя из этих цифр, можно определить число крепостных, занятых на свеклосахарных заводах накануне «освобождения», приблизительно в 43 тыс. человек[3].

Большое распространение и значение имели и винокуренные заводы, которые также не попали в упомянутый список, хотя они создавались почти исключительно в помещичьих имениях и широко пользовались крепостным трудом. Винокурение доставляло помещикам большие выгоды, позволяя превращать не находящие сбыта зерновые хлеба в более ценные продукты, а также пользоваться отбросами для откармливания скота.

В конце XVIII в. в России насчитывалось 23300 винокуренных заводов; особенно много их было на Украине и в западных губерниях, где винокурение пользовалось особыми привилегиями. Но это были маленькие предприятия и средняя производительность их немногим превышала 800 ведер вина в год. В течение первой половины XIX в. под влиянием фискальной политики правительства и изменений в технике производства количество винокуренных заводов стало сокращаться, но все же в 1860 г. их насчитывалось еще 6080 (без царства Польского). В ряде губерний южной и западной окраины винокуренная промышленность занимала первое место по ценности производства. Так, например, в Екатеринославской губ. насчитывалось 117 винокуренных заводов с оборотом до 900 тыс. руб.; на долю же всех остальных производств приходилось 207 фабрик и заводов, выработка которых составляла 1100 тыс. руб. В Черниговской губ. в 1860 г. находилось 311 винокуренных заводов с производством на 1866582 руб., а прочих фабрик и заводов — 245 с производством на 3085900 руб. В Воронежской губ. производительность 54 винокуренных заводов составляла в 1857 г. 1667924 руб., а остальные 322 предприятия вырабатывали изделий на 1986181 руб. и т. д.

В первое время эти винокурни в своем большинстве были столь незначительны (они имели по 2—3 котла вместимостью в один или два пуда муки), что их нельзя было причислить к фабрично-заводской промышленности. Но затем постепенно число винокурен стало сокращаться, средняя же производительность их увеличилась с 800

---

[1] Статистическое описание Киевской губ. 1852 г., ч. III; С. Кованько. Описание Харьковской губ. 1857 г. — Памятная книжка Харьковской губ. на 1866 г.

[2] „Журнал мануфактуры и торговли“, № 9, 1846 г.

[3] По другим источникам, на свеклосахарных заводах насчитывалось в 1859/60 г. 74279 рабочих. В таком случае число крепостных поднимется до 50 тысяч. См. К. Воблый. Опыт истории свеклосахарной промышленности СССР, стр. 161. Киев, 1928.

ведер вина на рубеже XIX в. до 15 тысяч ведер в 1862/63 г.; огневые заводы стали вытесняться паровыми. В Черниговской губ. первый паровой винокуренный завод появился в 1825 г.; в 1860 г. их было уже 302, огневых же осталось только девять.

«Винокуренные заводы составляют необходимую принадлежность здешнего помещичьего хозяйства — читаем мы в Описании Киевской губ. за 1845 г. — и устроены в большей части имений, заключающих в себе в сложности до 350000 душ мужского пола, между тем как в имениях без винокурен — только 150000 душ. Но вместе с тем они принадлежат также к фабричным заведениям, требуя для своего устройства машин и приборов, для действия — оборотного капитала, тем более значительного, что многие винокурни кроме собственного хлеба помещиков употребляют большие количества хлеба покупного. Действуя, таким образом, на коммерческом положении, многие винокуренные заводы производят вина гораздо более против местной потребности, так что в сложности вывозится его из губернии в другие места до 1600000 ведер; следовательно, эти промышленные заведения производят настоящий товар; как сукно, бумагу и т. п.».

Общее количество рабочих, занятых на винокурнях, в точности не известно. Тенгоборский определял его в начале 50-х годов в 100 тыс. человек, но эта цифра представляется мне преувеличенной. Приблизительно определить ее можно следующим образом. По ведомости департамента мануфактур за 1860 г. в 967 винокуренных заводах числилось 23 442 рабочих, всех же заводов было 6080. При этом в Екатеринославской губ. в 1860 г. числилось 258 винокуренных заводов, в Киевской — 388, Смоленской — 28, Херсонской — 213 и Черниговской — 308. Что касается количества рабочих, то оно выражалось в следующих цифрах: 3 тысячи, 3448, 624, 2 тысячи и 5 тысяч. В среднем по этим губерниям на одну винокурню приходится около 12 рабочих. Если исходить из этих цифр, то на всех 6080 винокуренных заводах общее число занятых рабочих составляло около 72 тысяч.

Основанием для широкого распространения помещичьего винокурения служило стремление использовать как продукты собственного земледельческого хозяйства, так и труд крепостных крестьян. Так как винокурня среднего размера была значительно меньше свеклосахарного завода и самое производство не требовало такой спешки как сахароварение[1], можно думать, что применение вольнонаемного труда не достигало здесь значительных размеров.

Так, из статистического описания Киевской губ. видно, что все 6 тысяч винокуренных рабочих, зарегистрированных в 1846 г., были крепостными, тогда как в свеклосахарном производстве насчитывалось более трети вольнонаемных. В Екатеринославской губ. «работники на винокуренных заводах состояли исключительно из бывших крепостных помещичьих крестьян. Из них небольшая часть находилась на заводах постоянно и причислялась к дворовым людям; остальные наряжались по дням, за барщину. Плата этим людям в помещичьих имениях почти не производилась, так как труд их был обязательный»[2]. На винокуренном заводе Бахметьева в селе Дубасовке Саратовской губ. «всю зиму мужики и бабы работали день и ночь». К счастью для крестьян, завод нередко останавливался из-за

[1] Свеклосахарное производство начиналось тотчас же после уборки свекловицы и продолжалось обычно не более 2—3 месяцев, так как содержание сахара в свекле уменьшается по мере увеличения срока лежания.

[2] В. Павлович. Екатеринославская губерния, [illegible].

недостатка муки [1]. В Харьковской губ. «помещичьи крестьяне упражняются в заводах винокуренных, селитренных, свеклосахарных, а также на суконных и бумажных фабриках» [2].

И только о винокуренных заводах Пермской губ. сообщается, что на них работало по вольному найму множество крестьян окрестных и иногда отдаленных местностей. Но подобные известия являются исключением. Так как на частных винокурнях было занято не более 5—10% общего числа рабочих, то из 72 тыс. на долю обязательного труда приходилось не менее 65—68 тыс. человек.

Необходимо упомянуть еще о третьей отрасли помещичьей промышленности, которая не вошла в ведомость, — о селитроварении. Начало его восходит к отдаленному прошлому. Еще в описании Украины, составленном Г. Бопланом в 1650 г., отмечается искусство казаков в приготовлении селитры и пороха. И до самого конца крепостного периода преобладающая часть селитряных заводов была сосредоточена на Украине и в прилегающих к ней губерниях. Черноземная почва, не требующая удобрения, способствовала накоплению огромного количества навоза, который представлял отличный материал для насыпки буртов; теплый климат и продолжительное лето в этом крае являлись необходимейшими условиями к образованию селитры в буртах.

Из описания Черниговского наместничества, составленного Шафонским в 1786 г., видно, что в среднем производительность селитряного завода составляла около 600 пудов в год, и эта цифра в дальнейшем, повидимому, мало изменилась. «Находясь в руках помещиков, не имеющих никакого технического образования, и мастеров, наследовавших свое искусство от дедов, наше селитроварение, — говорится в «Журнале мануфактур и торговли», № 1 за 1865 г., — по всей вероятности находится на той же степени совершенства, как и сто лет тому назад». Селитра производилась по заказу правительства, ежегодная потребность которого в эти годы (до 1854 г.) выражалась в 80000 пуд. Крымская кампания, однако, вызвала усиленный спрос на селитру, и эта цифра повысилась в 1855 г. до 220450 и в 1857 г. — до 195147 пуд. Селитряных заводов в 1853 г. было 122, в последующие же годы вместе с ростом самого производства это количество несомненно увеличилось. В 1860 г., по отчету департамента мануфактур, числился 101 селитряный завод с 3467 рабочими. Эти цифры надо считать безусловно преуменьшенными, ибо в одной только Харьковской губ. в 1861 г. насчитывалось 90 селитряных заводов, причем в 30 из них, по данным 50-х годов, было занято по 35 рабочих.

То же нужно сказать и о поташных заводах, где в 1860 г. числилось 1531 рабочий.

Все вышеуказанные отрасли промышленности не вошли в ведомость министерства финансов вероятно потому, что принадлежали к производствам сезонным: крепостные крестьяне отбывали здесь свою повинность в течение короткого срока, а не постоянно, как это было в остальных отраслях. Для последних в Положении 19 февраля 1861 г. имелись особые правила. Крестьяне же, временно отбывающие работу в счет барщины на винокуренных, пивоваренных, свеклосахарных, селитряных и т. п. заводах, подчинялись правилам, установленным в местных положениях об устройстве помещичьих

---

[1] Материалы по крепостному праву, Саратовская губ., стр. 74, 1911.

[2] „Журнал мин. внутр. дел“, № 7, 1838.

крестьян[1]. Но это не может, конечно, служить основанием для того, чтобы сбросить их со счетов.

Если сложить все эти данные, получится, что на помещичьих фабриках и заводах было занято около 170 тысяч крепостных. Но кроме вотчинных существовали посессионные фабрики. Согласно 10-й ревизии, произведенной в 1857 г., на них значилось 23853 души м. п. Но из этого числа необходимо вычесть малолетних, престарелых и увечных. На горных заводах принято было считать, что действительные работники составляют половину числящегося по ревизии количества душ. Если исходить из этой нормы, то посессионных рабочих окажется около 12 тысяч. Общее число подневольных рабочих в обрабатывающей промышленности накануне реформы можно принять, таким образом, в 182 тыс. человек. Какую же долю составляла эта группа в общей массе промышленных рабочих? По данным департамента Мануфактур и внутренней торговли, в 1860 г. насчитывалось 15338 фабрик и заводов с 565 142 рабочими (без Польши и Финляндии). Но из винокуренных заводов в ведомость включено только 967, тогда как в действительности их насчитывалось, по данным самого же министерства финансов, более 6 тысяч. С учетом пропущенных общее количество фабрично-заводских рабочих накануне крестьянской реформы можно принять в 615 тысяч. Из них крепостных и посессионных было 182 тысячи или около 30%.

При сопоставлении с началом XIX в. придется исключить рабочих винокуренных заводов, так как сведений о них за этот период нет.

Анализируя процент подневольных рабочих в обрабатывающей промышленности, мы видим резкую тенденцию к снижению: в 1804 г.— 55.4, в 1825 г. — 45.6 и в 1860 г. — 18. Но если взять абсолютные цифры, получится другая картина: в 1804 г. подневольных рабочих было 49553, в 1825 г. — 96053 и в 1860 г. — 117 тысяч. Это показывает, что дворянская фабрика стала сильно отставать от купеческой в темпах своего развития, но пока еще не проявляла тенденции к ликвидации.

Проведенные изыскания позволяют сделать следующие два вывода. Во-первых, в результате произведенных подсчетов вместо неопределенного общего представления мы получили конкретную цифру, устанавливающую удельный вес крепостного труда накануне крестьянской реформы. Во-вторых, господствующее представление о ходе развития дореформенной промышленности нужно признать требующим серьезной поправки.

Следуя мнению Туган-Барановского, А. Оглоблин в «Очерках истории украинской фабрики» утверждает, что «положение дворянской промышленности накануне реформы весьма непохоже на положение ее в первой трети XIX века. Мы видели в частных случаях несомненно вымирание вотчинной фабрики. Общая картина составляется именно из таких частностей... Общее вымирание крепостной фабрики бесспорно»[2].

Это заключение нуждается в больших оговорках, ибо концепция Туган-Барановского и Оглоблина, проникнутая либерально-благодушным оптимизмом, игнорирует факт обострения социальных противоречий к концу 50-х годов.

---

[1] Архив Государственного совета, Главный комитет по крестьянскому делу, 1858—1862 гг., № 103; ПСЗ, № 36739.

[2] А. Оглоблин. Предкапиталистическая фабрика, стр. 204—209, 1925.

Ведь если «крепостной труд на фабрике уже естественно отмирал к эпохе юридической его отмены», то отсюда следует, что акт 19 февраля 1861 г. являлся излишним, по крайней мере в отношении крестьян, работающих на фабриках. Между тем в действительности крепостные отношения были еще далеко не изжиты в промышленности, и потому реформа 1861 г., продиктованная опасением революции снизу, ускорила ход социально-экономического развития. Остатки крепостничества сохранялись еще долгое время после реформы. В течение периода «между 1861 и 1905 годами, — замечает В. И. Ленин, — ...следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны»[1].

«На святой матушке-Руси, — говорит Ленин в другом месте, — много еще таких уголков, где точно вчера было крепостное право. Возьмите, например, Урал... Заводы (т. е. те же помещики) запрещают кустарям развивать мелкую промышленность... Между рабочими строгановских заводов на Урале и заводоуправлением богатейшего помещика Строганова велось много лет дело о наделении крестьян землей по закону 1862 (шестьдесят второго!) года»[2].

Говорить об «отмирании» крепостного труда в крупной промышленности дореформенной России можно было бы только в том случае, если бы поле его деятельности сокращалось. Между тем в действительности оно не только не сокращалось, но напротив — расширялось. В самом деле, в 1804—1805 гг. на всех предприятиях крупной промышленности (горнозаводской и обрабатывающей) числилось 160 тысяч помещичьих и посессионных рабочих, а в 1860 г. их было уже 318 тысяч, т. е. 40% общего числа в 790 тысяч человек. С учетом рабочих винокуренных заводов количество крепостных составляло в 1860 г. 383 тысячи, т. е. 44% общего числа в 862 тысячи человек.

Предприятия, действовавшие на основе вольного труда, оказывались более гибкими в отношении условий рынка и отличались значительно более высокими темпами развития, чем предприятия с крепостными и посессионными рабочими. Но было бы ошибочным утверждать, что последние закрывались постепенно одно за другим, даже не пытаясь отстаивать своего существования. Такое представление черезчур упрощенно и должно быть отброшено как ошибочное. Действительный ход промышленного развития России представляется более извилистым и сложным. Дворянство вовсе не было расположено добровольно сдавать свои хозяйственные позиции купеческому капиталу и там, где для этого были благоприятные условия, оно стремилось до конца использовать привилегированное положение, заключавшееся в дешевом сырье и даровом труде.

Поэтому крепостное право должно было ощущаться как весьма серьезный тормоз развития производительных сил в промышленности, и социальные противоречия, вопреки концепции Туган-Барановского и Оглоблина, не стирались на протяжении последних десятилетий перед крестьянской реформой, а наоборот, обострялись, вынуждая правительство Александра II к проведению реформы.

* * *

В заключение остановлюсь еще на терминологии. Можно ли считать крепостными рабочих, приписанных к частным горным заводам, а также занятых на казенных заводах?

---

[1] В. Ленин. Соч., XIV, стр. 101.

[2] Там же, XVI, стр. 555.

Акад. С. Г. Струмилин в своей рецензии на книжку С. Левидовой «История Онежского завода»[1] ставит в вину автору, что он не проводит различия между приписными и крепостными рабочими и называет крепостными мастеровых казенного Александровского завода. «Крепостными в точном смысле слова, — настаивает акад. Струмилин, — мастеровые... казенных заводов никогда не были».

Но каков собственно точный смысл слова «крепостные»?

Прежде всего оно означает прикрепление крестьян к земле, а рабочих — к фабрикам и заводам. Ни те ни другие не могли по своей воле разорвать эту связь и изменить место или род занятий. В этом вполне точном смысле слова приписные и казенные заводские рабочие не отличались от помещичьих крестьян дореформенного времени, хотя каждый из этих разрядов населения имел еще и свои особенности.

Если заглянуть в т. IX Свода законов (изд. 1857 г.), то мы увидим, что за статьей 995, трактующей о помещичьих крестьянах и дворовых, непосредственно следует статья (996), где сказано: «особенный разряд ограниченного крепостного состояния» образуют «люди, приписанные по прежним узаконениям к посессионным фабрикам и заводам». А в ст. 2579 Горного устава они именуются уже просто «крепостными заводскими людьми» без всякого ограничения. Но по существу они составляли разряд ограниченного крепостного состояния, ибо полное крепостничество по русскому праву означало больше, чем прикрепление, заключая в себе право помещика продавать крестьян и переводить их с земли во двор, чего не могли сделать владельцы посессионных заводов.

Что касается мастеровых казенных заводов, то хотя в Своде законов они, в силу особых соображений кодификатора, не назывались крепостными, но по существу их положение ничем не отличалось от приписных рабочих. Они были прикреплены к заводу и не могли по своему желанию менять ни места ни характера работы. Срок обязательной службы определялся в 35 лет, начиная с 18-летнего возраста, но в случае нужды и малолетние могли привлекаться к работе. В отличие от приписных к частным заводам мастеровые казенных заводов состояли на положении военнослужащих и подлежали военному суду, но это была не слишком завидная привилегия.

---

[1] „Историк-марксист“, № 6, 1937.

Е. В. ОСОКИН

ИЗ ИСТОРИИ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ В ДЕРЕВНЕ В РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 гг.

«Вместе со всем крестьянством, против царя и помещиков при нейтрализации буржуазии, за победу буржуазно-демократической революции»[1] — этим основным стратегическим лозунгом определялось отношение партии большевиков к крестьянству на первом буржуазно-демократическом этапе революции. С этим лозунгом партия выступала в революции 1905—1907 гг., этим лозунгом определялось ее отношение к крестьянству вплоть до февраля 1917 г.

«Вместе со всем крестьянством» — это положение вытекало из буржуазного по своей экономической основе характера революции 1905 г., направленной против докапиталистических производственных отношений, и в частности, против помещичьего землевладения как главной опоры всех крепостнических пережитков в деревне. Гнет крепостников-помещиков испытывала на себе не только одна лишь деревенская беднота или среднее крестьянство. Помещичье землевладение и связанная с ним система крепостнических пережитков были враждебны всему крестьянству. «От крепостнической кабалы, — писал В. И. Ленин, — страдает и пролетарий и богатый мужик»[2]. «Против крепостничества, против крепостников-помещиков и служащего им государства крестьянство продолжает еще оставаться классом, именно классом не капиталистического, а крепостного общества, т.-е. классом-сословием»[3].

Однако решение задач буржуазно-демократической революции не являлось для пролетариата конечной целью, оно было лишь ступенью к революции социалистической.

Предостерегая от неправильных попыток воздвигнуть какое-либо подобие китайской стены между буржуазно-демократической и социалистической революциями, В. И. Ленин писал: «У революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое — самодержавие, крепостничество, монархия, привилегии... Ее будущее — борьба против частной собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм... Конечно, в конкретной исторической обстановке переплетаются элементы прошлого и будущего, смешиваются та и другая дорога... Но это нисколько не мешает нам логически и исторически отделять крупные полосы развития... разве можно отрицать, что в истории отдельные, частные элементы того и другого переворота переплетаются?»[4].

---

[1] И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 157, 11 изд.

[2] В. Ленин. Соч., V, стр. [illegible].

[3] Там же, стр. 92.

[4] Там же, VIII, стр. 84—85.

Еще в 1899 г. в своем «Проекте программы нашей партии» В. И. Ленин писал: «В русской деревне переплетаются в настоящее время две основные формы классовой борьбы: 1) борьба крестьянства против привилегированных землевладельцев и против остатков крепостничества; 2) борьба нарождающегося сельского пролетариата с сельской буржуазией»[1].

В 1905 г. в статье «Социализм и крестьянство» В. И. Ленин писал: «Народ, восставший против самодержавия, — не единый народ... В современной России не две борющиеся силы заполняют содержание революции, а две различных и разнородных социальных войны: одна в недрах современного самодержавно-крепостнического строя, другая в недрах будущего, уже рождающегося на наших глазах буржуазно-демократического строя. Одна — общенародная борьба за свободу (за свободу буржуазного общества), за демократию, т.-е. за самодержавие народа, другая — классовая борьба пролетариата с буржуазией за социалистическое устройство общества»[2].

Крестьянство как союзник пролетариата в буржуазно-демократической революции не было во всех отношениях единым. Говоря о кулацкой верхушке деревни, Ленин указывал: «В руках этого слоя не меньше половины всех орудий производства и всей собственности, которой располагает крестьянство. Этот слой не может существовать без найма батраков и поденщиков. Этот слой, несомненно, враждебен крепостничеству, помещикам, чиновничеству, он способен стать демократом, но еще более несомненна его враждебность по отношению к сельскому пролетариату»[3].

Несмотря на свою враждебность к беднейшим слоям крестьянства, кулачество также было заинтересовано в том, чтобы отнять у помещика землю. Иногда, особенно в начале революции, кулачество являлось даже организатором выступлений крестьянства. Известно, что в 1905 г. богатые многолошадные крестьяне принимали даже бо́льшее участие в массовых порубках леса, нежели среднее крестьянство или беднота, располагавшие меньшим количеством лошадей для вывозки нарубленного леса. Однако еще более очевидно желание кулачества получить помещичью землю «мирным путем», не выходя из рамок «закона». Крестьянские приговоры и резолюции, составленные под влиянием кулачества, тщательно подчеркивали мирный, «законный» характер предлагавшейся передачи земли крестьянам, говорили о «справедливости отчуждения», о приобретении земли «законным путем» и т. д.

Так, например, 27 ноября 1905 г., по донесению исправника, в с. Корочарове Можайского уезда Московской губ. состоялось крестьянское собрание под председательством местного крестьянина-владельца чайной. Собрание открылось пением «царю небесный». В принятом собранием решении говорилось о необходимости продажи крестьянам «мирным путем» земель крупных владельцев, находящихся во владении по купчим, и об отчуждении за выкуп других помещичьих земель[4].

В с. Успенском Московского уезда 1 июня 1905 г. состоялся сельский сход для составления наказа в Государственную думу, проходивший также под председательством владельца чайной, крестьянина Чинарева. По сообщению исправника, «влияние его (Чинарева) на

[1] В. Ленин. Соч., II, стр. 536.
[2] Там же, VIII, стр. 355.
[3] Там же, VII, стр. 161.
[4] Моск.-Обл. архив, ф. канц. моск. губернатора, 1906 г., д. 1.

крестьян отнюдь нельзя считать вредным или дурным», так как он «советует крестьянам мирно ждать работ Думы и не прибегать ни к каким насилиям и захватам чужой собственности»[1].

Характерны в этом отношении решения происходившего в Москве в феврале 1906 г. Всероссийского съезда крестьян-старообрядцев, где были представлены преимущественно зажиточные слои крестьянства. Съезд вынес по аграрному вопросу резолюцию о необходимости увеличения крестьянских наделов «путем отчуждения (за выкуп) казенных, удельных и церковных земель и земель крупных владельцев». Съезд послал также приветственную телеграмму Николаю II[2].

С другой стороны, кулачество в ряде случаев охотно разделяло умеренную по своим требованиям программу Всероссийского крестьянского союза. Так в бюро «Крестьянского союза», организовавшегося в ноябре 1905 г. в селе Гулынках Пронского уезда Рязанской губернии на ряду с местным священником вошли крестьяне — церковный староста и арендатор мельницы. По выработанному этим бюро уставу, союз имел целью «возбужденное состояние крестьян направить в русло идейной борьбы», причем «всякое насилие, грабеж, разбой не допускаются»[3].

Подобный же «Крестьянский союз», как мы узнаем из документов, был организован по инициативе одного из кулаков в ноябре 1905 г. в Подорванской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии. Союз, как значилось в его программе, ставил своей задачей увеличение крестьянских наделов путем выкупа казной государственных, церковных, монастырских и помещичьих земель, осуществление широкого сельскохозяйственного кредита для крестьян и т. д.[4].

О «мирной струе», которую во многих случаях кулачество вносило в крестьянское движение, говорят официальные данные. Вот, например, что пишет в своем сообщении губернатору земский начальник 1 участка Ряжского уезда Рязанской губернии об отношении кулачества к сельскохозяйственным забастовкам и составлению приговоров, устанавливавших цены на работы в помещичьих имениях: «Богатые, имеющие купчую землю, не желали забастовок и были вынуждены к ним угрозами мира. Некоторые впрочем имели настолько гражданского мужества, что не подписывались к приговорам»[5]. Кулаки, сами пользовавшиеся наемным трудом, конечно, не могли сочувственно относиться к сельскохозяйственным забастовкам и к требованиям повышения оплаты за сельскохозяйственные работы.

«Пока забастовки не касались богатых крестьян, — сообщает корреспондент Вольно-экономического общества из Чигиринского уезда Подольской губернии, — они посмеивались, видя, что у помещика хлеб стоит на корню и осыпается, а у них убирается»; однако настроение богатых крестьян в корне изменилось, когда в результате забастовок поднялись цены на рабочие руки[6].

Являясь зачастую крупными арендаторами помещичьих имений, кулаки имели «полное основание» беспокоиться в связи с посягательствами крестьянской массы на эти имения. И они активно проявляли враждебное отношение к подобным выступлениям своих односельчан.

---

[1] Моск. Обл. архив, ф. канц. моск. губернатора, 1906 г., д. 4.
[2] „Народная газета", 1906 г., №№ 39—44.
[3] Рязанский Обл. Архив, ф. суд следователя рязанск. окружн. суда, 1906 г., д. 477.
[4] Ярославский Обл. архив, ф. канц. яросл. губернатора, 1905 г., д. 6.
[5] Рязанский Обл. архив, ф. канц. рязанск. губернатора, 1906 г., д. 776, л. 23.
[6] Аграрное движение в России, II, стр. 24.

По сообщению из Саратовской губернии, «богатые крестьяне, имевшие купчую землю, или крупные арендаторы держали себя как помещики и случалось, что бедняки поступали с ними как с помещиками... Их имущество поджигали в то время, как они ездили на разгромы помещичьих усадьб за легкой наживой»[1].

Меры принуждения и угрозы по адресу кулаков со стороны бедняцко-середняцкой массы крестьян с целью заставить их присоединиться к общему движению против помещиков — явление также не редкое. «Богатые относились к движению сурово, — пишет корреспондент из Екатеринославского уезда, — причем бедняки кольями заставляли богатых принять участие в движении»[2].

В деревне во главе движения с самого начала революции вместе с городскими рабочими выступала деревенская беднота. Это были преимущественно деревенские пролетарии и полупролетарии, работавшие большую часть года в крупных городах на фабриках и заводах, в шахтах, возвращавшиеся в родные места лишь на большие праздники или на время летних полевых работ, а также уволенные с фабрик и заводов за участие в забастовках.

«Мозгом движения», по сообщениям корреспондентов Вольно-экономического общества из центральных черноземных губерний, «были крестьяне, побывавшие на стороне, на фабриках, в шахтах в городах»[3]. По сообщению из Ярославского уезда, там крестьянские волнения произошли под влиянием «односельчан, живущих большею частью на заработках в столицах»[4]. По сведениям из Владимирской губернии, здесь в движении также особенно большую роль играла «агитация односельчан, возвратившихся домой с заработков (котельщики из Москвы, Харькова, Ростова на Дону, Баку и др. городов)»[5].

Аналогичные сведения поступали из Московской, Тверской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Костромской, Харьковской, Киевской и других губерний. При этом деревенская беднота выступала не только против помещиков, но также и против кулачества.

«Вместе с крестьянами-хозяевами против помещиков и помещичьего государства, вместе с городским пролетариатом против всей буржуазии и всех крестьян-хозяев»[6] — таков был лозунг деревенской бедноты в революции 1905—1907 гг.

Выступления бедноты против кулачества начались с весны 1905 г. Так, например, еще 12 марта крестьяне села Алмазовка Епифанского уезда Тульской губернии разгромили хутор кулака Басманова, перехватившего по более высокой цене землю, которую они хотели купить у помещика[7]. 9 апреля 1905 г. в том же уезде в дер. Ивановке Начишево-Орловской волости крестьяне разгромили усадьбу кулака Панова[8]. 17—18 мая 1905 г. в дер. Бокше Толстовской волости Веневского уезда Тульской губернии произошло столкновение крестьян с крупным арендатором имения Гласштейна крестьянином Жаровым, сдававшим арендуемую им землю по более высокой цене другим крестьянам. Используя крайнюю нужду крестьян в земле, Жаров брал с них непомерные цены, да еще донимал их штрафами за потравы 17 мая днем толпа крестьян подошла к дому Жарова с криками

[1] Там же, I, стр. 93—94.
[2] Там же, II, стр. 413—414.
[3] Там же, I, стр. 59.
[4] Там же, стр. 38.
[5] Там же, стр. 21.
[6] В. Ленин, Соч., VIII, стр. 261.
[7] Моск. Обл. архив, ф. моск. суд. палаты, 1905 г., д. 24.
[8] Тульский Обл. архив, ф. канц. тульск. губернатора, 1905 г., д. 9, л. 87

«Давай его!», «Пора тебе жить, как и мы живем!». Выломав запертые двери, крестьяне поймали Жарова и жестоко избили, а затем сожгли его усадьбу. Для «усмирения» крестьян из Тулы был командирован и. д. губернатора и товарищ прокурора с полусотней казаков[1].

Однако ни весной, ни летом 1905 г. борьба бедняцкой части крестьянства против кулачества не приняла значительных размеров.

В дальнейшем, по мере подъема крестьянского движения, классовые противоречия внутри самого крестьянства обострялись, но и в 1906 и в 1907 гг. все крестьянство в основном выступало еще единой массой. На основании неполных сведений, собранных из архивных источников и газет, по восьми губерниям центрального промышленного и отчасти Центрально-земледельческого района, динамика выступлений деревенской бедноты против кулачества в отдельные периоды революции 1905—1907 гг. может быть представлена в виде следующей таблицы:

Число выступлений деревенской бедноты против кулачества в революции 1905—1907 гг. (по третям года)[2]

Губернии	1905 г.			1906 г.			1907 г.			
	янв. апр.	май авг.	сент. дек.	янв. апр.	май авг.	сент. дек.	янв. апр.	май авг.	сент. дек.	Всего
Московская	1	1	8	1	3	3	—	—	2	19
Тверская	—	2	4	2	6	3	3	2	—	22
Владимирская	—	—	7	1	9	6	7	16	—	46
Ярославская	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3
Костромская	—	1	1	1	1	2	6	10	—	22
Тульская	3	4	6	3	8	1	4	14	3	46
Калужская	—	1	3	—	2	—	—	7	3	16
Рязанская	—	4	6	1	17	4	4	7	5	48
Всего по периодам	4	13	36	10	47	19	24	56	13	222
Всего по годам		53			76			93		222
% к общему количеству крестьянских выступлений за год		4.2			4.8			8.8		5.7

Несмотря на неполноту сведений по отдельным губерниям, эта таблица, особенно в своих итогах, ясно показывает общую тенденцию нарастания борьбы бедноты против кулачества. В сентябре—декабре 1905 г. количество выступлений, направленных против кулачества, значительно возрастает. Рост выступлений бедняцко-середняцкой массы крестьян против кулачества отмечают также некоторые корреспонденты Вольно-экономического общества. Так, корреспондент из Мценского уезда Орловской губернии сообщал, что «вначале движение было направлено против помещиков, купцов и арендаторов, а потом уже начало обращаться и против более зажиточных крестьян»[3].

[1] Моск. Обл. арх., ф. моск. суд. палаты, д. 5869.

[2] Цифры взяты из работы „Хроника крестьянского движения 1905—1907 гг. в центральных промышленных губерниях", подготовленной к печати автором этой статьи при участии Н. В. Журавлева, М. Д. Федоровской и Н. М. Корсаковой.

[3] Аграрное движение в России, I, стр. 62.

Крестьяне жгли и громили кулацкие усадьбы и «торговые заведения», рубили кулацкий лес. Еще летом 1905 г. крестьяне дер. Ляпуновки Зенкинской волости, Раненбургского уезда Рязанской губернии напали на усадьбу кулаков Селезневых и Трунова и увезли из их амбаров около 30 чт. хлеба[1]. В ноябре 1905 г. крестьяне сельца Усово Костешовской волости Калужской губернии напали на усадьбу арендатора помещичьего имения кулака Пестрикова[2]. В ноябре же крестьяне дер. Гороховка Желтовской волости Перемышльского уезда разгромили дом кулака Шумилина[3]. В Жиздринском уезде в дер. Зимницы Бутчинской волости в декабре 1905 г. крестьяне разгромили лавку местного кулака — торговца Лобанова[4].

В ноябре 1905 г. в селе Суходол Борисовской волости Владимирского уезда, по сообщению исправника, на сельском сходе обсуждался вопрос о захвате земли у местного кулака Афанасова, владевшего имением размером около 160 десятин. Кулаки, защитники Афанасова, оказались сильней, и сход разошелся, не придя ни к какому решению. Полиция, предупрежденная кулаками, поспешила со своей стороны принять меры для защиты кулацкой собственности[5].

Во многих случаях перевес был на стороне бедноты, и она действовала более решительно. В той же губернии в Меленковском уезде 29 декабря 1905 г. крестьяне сельца Давыдово Давыдовской волости на сельском сходе составили приговор, на основании которого поделили между собой лес кулака Воробьева и приступили к рубке его[6]. Порубка леса в кулацких имениях происходила также в Московской, Тверской, Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской и других губерниях.

Особенно часты были столкновения бедняцкой массы крестьян с кулачеством на почве аренды земли. Кулачество обычно арендовало землю у помещиков на несколько лет и уже от себя по частям сдавало ее втридорога на короткие сроки середнякам и беднякам. В ряде случаев крестьяне требовали от владельцев имений не сдавать землю кулакам. Такое требование, например, предъявили в конце 1905 г. управляющему имением графа Мусина-Пушкина крестьяне Илловенской волости Мологского уезда Ярославской губернии[7].

В селе Толмачи Мининской волости Бежецкого уезда, по словам корреспондента Вольно-экономического общества, крестьяне враждебно относились к церковному причту, который «сдавал принадлежащую ему землю только некоторым привилегированным домохозяевам, тогда как нуждалось в ней все село». В числе «привилегированных домохозяев» были волостной старшина и еще 5—6 «черносотенцев»; крестьяне, говорится в корреспонденции, весьма неприязненно к ним относились: у волостного старшины «было сожжено гумно и он был ранен выстрелом из револьвера»[8].

Наряду со стихийными столкновениями бедноты с кулачеством мы встречаем иногда весьма организованные выступления, свидетельствующие о высокой сознательности бедноты. Так, 21 ноября 1905 г. на митинге в Моревском волостном правлении Рузского уезда Мос-

1 Рязанск. Обл. архив, ф. прокурора рязанск. окр. суда, 1906 г., д. 587.
2 Сб. „Калужская губ. в 1905 г.“, стр. 76, Калуга.
3 Калужск. архив, ф. канц. калужск. губернатора, д. 367, л. 2.
4 Архив Революции, ф. департам. полиции, 0.0. д. 2551, ч. 36, л. 73.
5 Владимирский архив, ф. канц. владим. губернатора, 1905 г., д. 229, л. 5.
6 Там же, ф. прокурора владим. окр. суда, 1906 г., д. 140.
7 Аграрное движение в России, I, стр. 39.
8 Там же, I, стр. 21.

ковской губернии крестьяне лишили явившихся на митинг кулаков права голоса и предложили им вместе с урядником, также пришедшим на митинг, оставить помещение. На этом митинге, по показанию одного из кулаков, читалась программа РСДРП и обсуждался вопрос об отобрании земли не только у помещиков, но и у богатых крестьян[1]. В селе Прямухино Новоторжского уезда в декабре 1905 г. бедняки предъявили местному торговцу Дерябину письменное требование об уплате в пользу общества «за право содержать лавку 75 руб. за 1905 год и 150 руб. за 1906 год». Это требование было мотивировано крестьянами тем, что Дерябин «не несет никаких повинностей и дружит с помещиками»[2]. В селе Луховицы Зарайского уезда Рязанской губернии в ноябре 1905 г. крестьяне исключили местного кулака Власова из числа выбранных ими прежде ходоков для ходатайства о передаче в их пользование казенного леса, на том основании, что он «человек старого режима»[3].

Борьба бедноты с кулачеством в революции 1905 г. отнюдь не была изолированной — она тесно переплеталась с борьбой городского пролетариата «против всей буржуазии». Союз городского пролетариата с деревенской беднотой в революции 1905—1907 гг. особенно наглядно проявляется в крестьянском движении в губерниях Центрального промышленного района России, где связь пролетариата с деревней была особенно сильной. Широко организованная Московским, Тверским, Владимирским, Костромским и другими большевистскими комитетами агитационная и пропагандистская работа в деревне находила живой отклик среди широких бедняцких и середняцких масс крестьянства. На своих митингах и сходах крестьяне выдвигали большевистские требования конфискации земли у помещиков, бойкота Государственной думы и т. д.

Так в Юрьевце Костромской губернии в октябре 1905 г. на большом объединенном собрании крестьян ближайших селений было постановлено бойкотировать Государственную думу, так как она «не является действительным народным представительством»; всякого, кто примет участие в работе Думы, решено было считать «изменником и предателем народного дела»[4]. Крестьяне деревни Пчелкино Шишкинской волости Костромского уезда в ноябре 1905 г. на сельском сходе составили приговор, в котором они осуждали путь мирных «требований», адресуемых царскому правительству, и признавали, что единственно верный путь борьбы крестьян — присоединиться к городским рабочим, «чтобы совместно с ними победить чиновников и богатеев». Крестьяне постановили «стать под руководство Российской социал-демократической рабочей партии, под знаменем которой в нещадной борьбе добывает себе волю»[5].

Крестьяне Валовской волости Макарьевского уезда Костромской губернии 9 ноября на волостном сходе составили приговор с требованием отмены выкупных платежей, передачи (без всякого выкупа) помещичьих, удельных и монастырских земель крестьянам, отмены косвенных налогов и т. д. Однако, считая правительство неспособным выполнить эти требования, крестьяне заявили в своем приговоре, что будут «добиваться вместе с рабочим классом, руководимым РСДРП, всенародного Учредительного собрания, а затем полного народовла-

---

[1] Московский Обл. архив, ф. прокурора моск. окр. суда, д. 219.
[2] Калининский Обл. архив, ф. канц. тверск. губернатора, д. 16758, лл. 62 и 172.
[3] Моск. Обл. архив, ф. моск. суд. пал., д. 1900.
[4] „Пролетарий“, 1905 г., № 23.
[5] „Костромской листок“, 1905 г., № 122.

стия», при котором они смогут получить полное удовлетворение своих требований [1].

В Иваново-Вознесенске в дни руководимой большевиками забастовки ивановских ткачей на одном из митингов на реке Талке (17 июня 1905 г.) были прочитаны два письма. Крестьяне нескольких деревень Муромского и Юрьевского уездов прислали их в адрес стачечного комитета, чтобы выразить свое сочувствие бастующим рабочим. «Мы, муромские крестьяне трех деревень, — говорилось в одном из этих писем, — слышим, что ивановские рабочие добиваются улучшения свой жизни. И мы радуемся, что они добиваются этого. И мы научились у ивановских рабочих и тоже начинаем делать забастовку» [2].

В Новинской волости Тверского уезда, поставлявшей ткачей для тверских фабрик, деревенская беднота под руководством Тверского комитета большевиков организовала Совет крестьянских депутатов, фактически ставший органом новой революционной власти в волости. В Исполнительный комитет совета, кроме трех выборных крестьян, были введены двое рабочих для связи с рабочим движением [3].

В дни декабрьского вооруженного восстания в Москве крестьяне этой волости, по директиве Тверского комитета большевиков, обезоружили на станции жандармов, испортили телеграф и разрушили железнодорожный путь около станции Кулицкой, с целью не пропустить в Москву Семеновский полк, направлявшийся из Петербурга для подавления восстания [4].

Крестьяне Московской губернии не только заявляли, как сообщалось в «Известиях Московского Совета рабочих депутатов» от 9 декабря 1905 г., о своей готовности оказать поддержку рабочим, но и оказывали непосредственную помощь рабочим, боровшимся на баррикадах в декабрьские дни. Кульминационный пункт крестьянского движения в центральных промышленных губерниях совпал с декабрьским вооруженным восстанием.

Крестьяне направляли в Москву для восставших рабочих продукты и деньги. Так, по сообщению газеты «Борьба», «5 декабря в питательный пункт для бастующих рабочих и их семейств (Введенский народный дом) крестьянами деревни Аксеново Бронницкого уезда были доставлены: 11 мешков картофеля, 3 мешка капусты, 1 мешок свеклы, 1 мешок сухих грибов, 1 кадушка соленых грибов и 2 печеных хлеба — при письме следующего содержания: «Дорогие товарищи, примите от души крестьянское пожертвование. Сердечно благодарим вас за дорогую для родины борьбу, в которой вы своею кровью победили несправедливое правительство, державшее нас в могильной тьме. Мы почувствовали свет жизни, к которому также стремимся. Мы идем к вам в помощь, чтобы порешить последний удар над правительством. Да здравствует рабочий народ, истинная интеллигенция, армия и крестьянство, борющееся за свободу и неприкосновенную жизнь» [5].

О другом подобном случае говорит в своем донесении от 16 декабря московскому губернатору можайский уездный исправник: «В ночь на 15 декабря сего года, — пишет он, — из дер. Аксеново Можайского уезда отправлялось в Москву на четырех подводах 10—12 человек под

[1] „Костромской голос“ 1906 г., № 2[illegible].
[2] Ивановский Обл. архив, ф. иван.-вознес. полицмейстера, 1905 г., д. 22[illegible].
[3] Калининск. Обл. архив, ф. канц. тверск. губернатора, д. 14377; „Северный голос“, 1906 г., № 1.
[4] Калининск. Обл. архив, ф. канц. тверск. губернатора, д. 6103, л. 137.
[5] „Борьба“, 7/XII 1905 г., № 9.

предводительством крестьянина деревни Аксеново Алексея Дмитриева Дорофеева следующих примет: хромой, черный, молодой, небольшого роста. Крестьяне собраны из деревень: Аксеново, Троицы, Горетово, Перепцаново и др. Собраны также деньги до 150 р., хлеб и мясо для оказания помощи бунтовщикам»[1].

В селе Луховицы Рязанской губернии, где вели работу большевики, крестьяне собирали по подписному листу деньги в пользу детей безработных рабочих[2].

Приведенные факты говорят о том, что в лице деревенской бедноты пролетариат имел верного союзника. Однако, если взять основную массу крестьянства в целом, то «не было еще в революции прочного союза рабочих и крестьян против царизма»[3]. Это и явилось одной из основных причин поражения первой русской революции.

Что касается кулацкой верхушки деревни, то по мере подъема крестьянского движения, она заметно правела. «Чем ближе, — писал В. И. Ленин, — подходит дело к победе крестьянского восстания, тем ближе поворот крестьян-хозяев против пролетариата...»[4]. Всеобщая забастовка и вооруженная борьба московских рабочих с самодержавием повергали кулачество в ужас.

«В прошлую осень, — писал в марте 1906 г. в своем письме председателю совета министров Столыпину кулак Виноградов из села Ивановского Серпуховского уезда Московской губернии, — не только землевладельцы вообще, но и мы, крестьяне, которые поусерднее обрабатывали свою земельку, а поэтому и имеем небольшой запас хлебушка, продали свой хлеб из опасения быть ограбленными, хотя, слава богу, до этого не дошло»[5].

На станции Караси Богородицкого уезда Тульской губернии местные торговцы в конце октября 1905 г. заявили начальнику станции, что «если снова будет железнодорожная забастовка, то они всех железнодорожных служащих выгонят из квартир». В городе Веневе Тульской губернии кулачество было организатором и руководителем черной сотни, произведшей в октябре 1905 г. ряд погромов. За эту «работу» один из местных торговцев (из крестьян пригородной слободы) платил погромщикам деньги и поил их водкой[6].

На состоявшемся в Москве 7 ноября собрании подмосковных крестьян-огородников (кулацкий характер их хозяйства отметил еще В. И. Ленин в «Развитии капитализма в России») после обсуждения текущих политических событий решено было в целях скорейшего прекращения «смуты», просить, чтобы царь приехал в Москву, объявил конституцию и присягнул ей[7].

В одном из сел Балашевского уезда Саратовской губернии кулаки организовали «дружину» для охраны лавок на базаре[8]. В селе Никола-Сверчки Клинского уезда Московской губернии 18 ноября 1905 г. кулаками был зверски убит рабочий В. А. Владыкин, один из организаторов и руководителей забастовки на Высоковской мануфактуре, руководивший совместными митингами рабочих мануфактуры и крестьян окрестных селений. В деревне Голохвастовской Подольского уезда Московской губернии местные кулаки во главе с двумя

[1] Моск. Обл. архив, ф. канц. моск. губернатора, д. 4, л. 153.
[2] Там же, ф. моск. суд. пал., д. 1900, л. 7.
[3] История ВКП(б). Краткий курс, Госполитиздат, 1938, стр. 88.
[4] В. Ленин. Соч., IX, стр. 73.
[5] Архив Революции, департ. полиции, О.О., д. 5, ч. 2 А, л. 16.
[6] Моск. Обл. архив, ф. моск. суд. пал., д. 5868, л. 9.
[7] „Новая жизнь", 1905 г., № 8.
[8] Аграрное движение в России, I, стр. 91.

трактирщиками, недовольные деятельностью учителя, читавшего крестьянам газеты и брошюры на политические темы, повели усиленную агитацию против него. Кулакам удалось составить банду громил, готовую по первому их призыву начать разгром школы. Однако сознательная часть крестьян своевременно дала бандитам отпор, пригрозив вожакам черносотенцев, что за разгром школы или избиение учителя они будут в ответе. Напуганные кулаки отказались от своих погромных намерений, поспешили заявить потиции о будто бы угрожавшем разгроме их трактиров и явились к учителю с предложением «мира и дружбы»[1].

Обострение классовой борьбы внутри крестьянства по мере роста крестьянских волнений в 1905—1907 гг. происходило не только в Центральном промышленном районе России. Еще резче обострилась классовая борьба в деревне в южных губерниях. В конце октября 1905 г. кулаки села Малиновка Сердобского уезда Саратовской губ. при активной поддержке духовенства и местных властей учинили зверскую расправу над беднотой. За шесть дней было убито и замучено кулаками сорок два бедняка-крестьянина. Убивали на улице, в поле, возле церкви, в овинах, погребах и подпольях. Убивали кольями, вилами, топорами, безменами, «дробовиками». Подвергали пыткам, отрезали носы, уши и т. д.[2].

Подобные факты имели место в Городнянском уезде Черниговской губернии в конце октября 1905 г. В селе Тупичево кулаки убили и замучили «по приговору схода» 5 человек из бедноты, в селе Выхвостово — 15 человек; всего по уезду кулаки убили более 60 человек[3].

Об обострении классовой борьбы внутри крестьянства в революцию 1905—1907 гг. сообщают также корреспонденты Вольно-Экономического общества из юго-западных губерний. «Особенно враждебно относились к движению, — указывается в сводке корреспонденций по этим губерниям, — крестьяне, имеющие купчую землю». Так, в селе Ирдынь Черкасского уезда Киевской губернии, «где есть крестьяне побогаче, купившие помещичью землю», в 1905 г. «все разделились на два лагеря: беднота и среднее крестьянство участвовали в забастовках, а богатые действовали заодно с помещиками»[4].

О «побоищах», происходивших в конце 1905 г. между богатыми крестьянами и беднотой, сообщают также корреспонденты Вольно-экономического общества из Пензенского, Бахмутского, Херсонского, Александрийского, Днепровского, Могилевского, Чигиринского, Сумского и других уездов[5].

В 1906—1907 гг. классовая борьба в деревне не только не затихала, но, наоборот, еще более обострилась. Подавление декабрьского восстания и жестокое преследование правительством революционных крестьянских выступлений наряду с уступками богатым крестьянам, непосредственный опыт, полученный крестьянством в процессе революционной борьбы и работа большевистских организаций в деревне,— все это усиливало процесс распадения массы крестьянства на два противоположных, враждующих между собой лагеря.

---

[1] В. Рогаль. Черная сотня в московской деревне. Журнал „Правда“, 1905 г., № 2, стр. 203—214.

[2] Сборн. „Сознательная Россия“, 1906 г. Вып. 1.

[3] А. Ю. Беспоряд и в Черниговской губернии в 1905 году. „Исторический вестник“, 1913 г., № 34, стр. 871.

[4] Аграрное движение в России, II, стр. 22.

[5] Там же, стр. 91, 413—414, 27, 307.

«...Получаемые крестьянами «облегчения», — писал В. И. Ленин в декабре 1906 г., — (понижения аренды, «сокращение» помещиков и полиции и т. п.) усиливают распадение деревни на контрреволюционных богатеев и массу бедноты»[1].

Самодержавие, писал В. И. Ленин позднее, «ищет союза с богатыми крестьянами, отдавая им деревню на разграбление... Такая политика обостряет во сто крат все противоречия капитализма в деревне и ускоряет разделение деревни на ничтожное меньшинство реакционеров и революционную пролетарскую и полупролетарскую массу»[2].

По сообщению корреспондента «Киевской жизни» из Переяславского уезда Киевской губернии (март 1906 г.), «в деревне происходит самая ожесточенная борьба между бедными и богатыми крестьянами. Бедность и богатство определяются не капиталами или другими достатками, а количеством земли. Имеющие много земли опасаются, что ее отберут, а неимеющие вовсе или имеющие ее очень мало надеются на надел, для чего, по их мнению, придется забрать землю у «богачив», так как другой земли, не частновладельческой, в нашем уезде нет»[3].

По словам корреспондента «Новой жизни» из Нижегородской губернии (январь 1906 г.), деревня здесь также резко расслоена на две части — бедноту и зажиточных людей. «Беднота весьма склонна схватывать великие слова социалистической проповеди, а зажиточные люди относятся к этой проповеди с самой глубокой ненавистью, с самой злой нетерпимостью»[4].

Корреспондент Вольно-экономического общества из Тульской губернии сообщает, что после 1905 г. у крестьян «настроение везде заметно повышенное. Кто беднее, те резко пошли влево, зажиточные — консервативны»[5]. Об обострении классовой борьбы внутри крестьянства в 1906 г. сообщалось также из Московской, Саратовской, Самарской, Екатеринославской, Подольской и других губерний[6].

Как видно из приведенной выше таблицы, количество выступлений бедноты против кулачества по восьми перечисленным губерниям увеличилось с 53 в 1905 г. до 76 в 1906 г. и до 93 в 1907 г., т. е. за два года выросло почти вдвое, несмотря на общее снижение волны крестьянских выступлений в 1907 г.

Как видим, ничего общего с действительностью не имеет высказанное в свое время М. Н. Покровским мнение, что «кулак был первым либералом в деревне», что он как наиболее культурный и «политически сознательный» «шел в революции в первых рядах и вел за собой остальную крестьянскую массу»[7].

Это утверждение, резко расходившееся с большевистской оценкой характера и роли отдельных классов в первой русской революции, Покровский в одном из своих последних выступлений пытался объяснить тем, что он будто бы был введен в заблуждение изданными в 1908 г. Вольно-экономическим обществом корреспонденциями с мест об аграрном движении 1905—1907 гг. В этих документах, говорил Покровский, «проводилась та идея, что во главе крестьянского

---

[1] В. Ленин. Соч., X, стр. 180.
[2] Там же, XIV, стр. 5—6.
[3] „Призыв“, 1906 г., № 33, стр. 4.
[4] „Нужды деревни“. 1906 г., № 1.
[5] Аграрное движение в России. I. стр. 72.
[6] „Народно-социалистическое обозрение“, 1906 г., вып. I, стр. 51, 73; „Народный труд“, 1907 г., сб. X, стр. 64.
[7] М. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX—XX вв.. стр. 95, М., 1927.

движения шла сельская буржуазия, шел кулак. Так как я историк и в качестве историка страдаю фетишизмом документов, верю документам — я попался на эту удочку»[1].

Не говоря уже о странном, как мы видим, понимании Покровским фетишизации документов, ссылка на корреспонденции Вольно-экономического общества совершенно неосновательна. В этом нас убеждают сообщения, какие были взяты нами из этих корреспонденций. Ознакомившись с этими документами, никак нельзя сделать вывод, будто кулачество шло во главе крестьянского движения.

Дело, конечно, не в корреспонденциях Вольно-экономического общества. Корень ошибок Покровского лежит значительно глубже, а именно в неверном, небольшевистском понимании Покровским характера революции 1905—1907 гг., ее движущих сил, в отсутствии у Покровского ясной перспективы о неизбежности перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую.

Указывая на значительно изменившуюся в процессе революции классовую расстановку сил в конце 1906 г., Ленин писал:

«В глубокую ошибку впадают те, кто забывает, что с прогрессом революции, с ростом ее задач изменяется также состав классов и элементов народа, способных участвовать в борьбе за осуществление этих задач. Пролетариат идет через буржуазную революцию к социализму. Поэтому в буржуазной революции он должен поднимать и привлекать к революционной борьбе все более и более революционные слои народа... Если революция может победить, то исключительно благодаря союзу пролетариата с действительно-революционным, а не оппортунистическим крестьянством... Крестьянская беднота вместе с пролетариатом есть подавляющее большинство народа, нации. Это большинство может победить и победит вполне в буржуазной революции, то-есть взять всю волю и всю землю, осуществить максимум возможного благосостояния рабочих и крестьян в капиталистическом обществе»[2].

«Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии» («Две тактики»). Это писано в 1905 году летом. Теперь ставка в борьбе крупнее, задача более трудная, битва предстоит более острая. Надо парализовать неустойчивость всякой, в том числе интеллигентской, в том числе и крестьянской буржуазии. Надо присоединить к пролетариату массу способной на решительную революционную борьбу крестьянской бедноты»[3].

История крестьянского движения 1905—1907 гг. дает наглядное доказательство лживости контрреволюционно-троцкистской «теории» о реакционности вообще русского крестьянства, о которую будто бы суждено было разбиться революционной борьбе русского пролетариата за социализм. Она подтверждает правильность учения В. И. Ленина о двух социальных войнах в буржуазно-демократической революции и ее перерастании в революцию социалистическую. В лице всего крестьянства рабочий класс в 1905 г. имел союзника в борьбе против царизма и крепостничества. В лице деревенской бедноты он имел верного союзника в борьбе против буржуазии, за социализм.

---

[1] Его же. Роль рабочего класса в революции 1905 года, стр. 9, Изд. „Московский Рабочий".

[2] В. Ленин. Соч., X, стр. 106—107.

[3] Там же, стр. 107.

А. В. ПРУССАК

К ВОПРОСУ О ВОЛЬНОНАЕМНОМ ТРУДЕ НА ЗАВОДАХ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

(Красноярский селитряной завод)[1]

Красноярский селитряной завод находился в Красном Яре в 35 верстах от Астрахани. Богатые залежи сырья и обилие рабочей силы в крае ставили завод в особо благоприятные условия.

По свидетельству Кильбургера, «город Астрахань, лежащий на устье сего моря (Каспийского — *А. П.*) в Ногайской земле, есть складочное место товаров»[2]. Оживленная торговля вызвала широкое развитие судоходства на Волге, которое в свою очередь требовало весьма большого количества рабочих рук[3]. На одних лишь судах

---

[1] Статья написана по материалам архива Артиллерийского исторического музея. Использованы фонды: Арсенальский (Арс), Штаба генерал-фельдцейхмейстера (ШГФ). Кроме того использован Астраханский фонд (АФ), хранящийся в Ленингр. отд. Института истории АН. Любопытна судьба Астраханского фонда. В Журнале Мин. нар. просв. за 1835 г. появилась анонимная статья, озаглавленная „Материалы для истории Астраханского края в XVII столетии, хранящиеся в архиве Астраханского губернского правления“ (ЖМНПр, 1835, ч. 7, стр. 52—75). В том же году Археографическая комиссия, заслушав отчет о результатах просмотра этих материалов, нашла, что они имеют особую ценность для истории Астраханского края. Комиссия признала желательным перевести Астраханский фонд в С.-Петербург, чтобы „этот архив, находясь в Петербурге, мог бы быть открыт для ученых во всей его полноте и самая сохранность бумаг была бы наиболее здесь обеспечена“. В 1841 г. Астраханский фонд был привезен в С.-Петербург и передан Археографической комиссии (см. Протоколы заседаний Археографической комиссии, 1835—1840 гг., вып. I, СПб., 1885, стр. 19—21, 28—32, 72—73, 555—556; там же, 1841—1849 гг., вып. 2, стр. 26—30). В 40-х годах несколько актов Астраханского фонда, заключающего в себе свыше 30 тыс. столбцов, были напечатаны Археографической комиссией в сборниках издаваемых ею актов: Акты исторические, Дополнения к актам историческим. Затем об этом фонде забыли. Вновь приступили к частичному печатанию заключавшихся в нем материалов лишь в XX в.: в 1927 г. пользовался этим фондом Б. Д. Греков („Летопись занятий постоянной историко-археографической комиссии“, вып. I (34) и в 1933 г. А. Н. Чулошников (Труды ИАИ и Института Востоковедения. Материалы по истории народов СССР. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР, ч. I. Торговля с Московским государством и международное положение в Средней Азии в XVI и XVII вв., Л., 1933). Несмотря на свое почти столетнее пребывание в археографическом учреждении, фонд этот был разобран лишь в 1938 г., после написания данной статьи. Поэтому в описи фонда следует пользоваться старыми шифрами, не совпадающими с новыми. До сих пор фонд этот остался не изученным как источник по истории рабочего вольнонаемного труда в Поволжье.

[2] Краткое известие о русской торговле, каким образом оная производилась чрез всю Россию в 1674 г. Сочинено Иог. Ф. Кильбургером. Пер. с немецкого, СПб., 1820, стр. 122. См. также Акты исторические, IV, № 2, стр. 16.

[3] Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно, стр. 301, СПб., 1906. Н. Костомаров. Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях, стр. 104, 105, 109—111. СПб., 1862. П. Хлебников. Астрахань в старые годы, стр. 92, СПб., 1907. См. также Доп. к актам историч., III, № 40, стр. 144; Акты Археограф. экспедиции, I, № 329, стр. 390.

с солью в 1682 г. работало 1 912 бурлаков, в 1691 г. — 2 415. О том, что Астрахань была сборным пунктом бурлаков, свидетельствует и тот факт, что в 1692 г. среди 16383 умерших от морового поветрия, свирепствовавшего в Астрахани, было 7 290 бурлаков. Такая высокая цифра смертности говорит и о тяжелых условиях жизни бурлаков. Большое число бурлаков в Астраханском районе подтверждается еще другим фактом: во время Булавинского восстания среди наступавших на Царицын насчитывалось 1 500 бурлаков[1].

О количестве рабочих рук, требовавшихся для обслуживания судов, можно судить по следующим примерам. В 1682 г. у Михаила Филиппова, посадского человека, лысковца, на струге, везущем из Астрахани в Казань 70 427 пуд. соли, было 100 бурлаков. У Кузьмы Гурьева, козмодемьянского ямщика, на струге, везущем из Астрахани в Нижний Новгород 22 355 пуд. соли, было 110 бурлаков. В 1688 г. у Алексея Петрова, астраханского соляного промышленника, на струге, везущем из Астрахани в Царицын 35 675 пуд. соли, было 140 бурлаков. У Алексея Петрова, посадского человека, нижегородца, на струге, везущем из Астрахани в Саратов 12 800 пуд. соли, находим 70 бурлаков. В 1691 г. у Алексея Кривопалова, посадского человека, нижегородца, везущего из Астрахани в Симбирск 25 550 пуд. соли, находим 120 бурлаков. У Никиты Калмыкова, крестьянина нижегородского Благовещенского монастыря, везущего из Астрахани в Саратов 17260 пуд. соли, находим 100 бурлаков. На насаде муромца Семена Протасова, плывшего из Астрахани в Казань с 81 300 пуд. соли, находим 300 тяглых ярыжных, передовщиков, кормщиков, завощиков. В 1682 г. у Василия Горелина, рыбного промышленника, везущего из Астрахани в Казань на струге 7255 белуг, находим 167 бурлаков. В 1691 г. у Никиты Калмыкова, крестьянина нижегородского Благовещенского монастыря, везущего из Астрахани в Нижний Новгород на струге 3115 белуг, находим 76 бурлаков. На отправленном в Нижний Новгород государевом дворцовом вешнем насаде с рыбой и солью было «приговорено» 211 передовщиков, кормщиков, водоливов и работных людей; на задатки и на подъем требовалось для них 1 500 руб.[2].

Обширные рыбные и соляные промыслы, существовавшие на основе вольнонаемного рабочего труда, требовали весьма значительного количества рабочих[3]. Требовались также рабочие на деловой двор,

[1] Н. Туркин. Астраханский сборник, изданный Петровским общ. исследователей Астраханского края, вып. I, стр. 48, Астрахань, 1896.

[2] АФ, кор. 12а, столб. 23; кор. 24, столб. 9.

[3] Де-Бруин, посетивший Астрахань в начале XVIII в., пишет: „Рыбные ряды базаров Астрахани дважды в день, утром и вечером, наполняются рыбой..., которую Волга доставляет в таком количестве, что рыбу, оставшуюся к ночи непроданной, раскупают подешевке для корма свиней“. Астрахань поставляла рыбу и икру в Москву; икра составляла заметную статью и в заграничном экспорте. (О рыбных промыслах Астрахани см. Де-Бруин. Извлечение из описания путешествия 1703—1707 гг. Астраханский сборник, издаваемый Петровским обществом исследователей Астраханского края, вып. I, стр. 185—186, Астрахань, 1896. А. Пруссак. Положение рабочих на рыбных промыслах Астрахани в XVII в. „Исторический сборник“, II. „Труды Исторической комиссии АН СССР“, стр. 169—182; Н. Чугунов. Рыбные богатства Астраханского края в прошлое и настоящее время, стр. 4—5, М., 1921). По свидетельству Стрюйса, на западном берегу Волги „простирается степь очень обширная, но невозделанная и необитаемая. Эта степь производит большое количество соли, которая скопляется в некоторых местах в виде слоев хрусталя“. (Путешествие по России голландца Стрюйса. „Русский архив“, 1880 г. № 1, стр. 85). Олеарий отмечает, что „из соляных озер самые замечательные Мочаговское, в 10 верстах, Каниково в 15-ти, Гвоздовское в 30 в. от Астрахани“ (Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно, стр. 400, СПб., 1906). В иссле-

где строился торговый флот Астрахани, изготовлялись насады и другие суда, плававшие по Каспийскому морю и Волге, и на виноградные и тутовые сады[1].

Как видим, по сравнению с другими местностями Астрахань обладала исключительно большим резервуаром рабочей силы.

Перейдем к истории Красноярского селитряного завода.

Из ведомости, присланной 25 июня 1719 г. из Казанской губернии в Берг-коллегию, узнаем, что на берегу Волги в 7 верстах от Астрахани находился селитряной завод. Но «по какому указу тот завод заведен и в котором году и откуда медные и железные припасы даны, того в Казанской губернии не ведомо»; ведомость лишь отмечает, что в 1709 г. завод уже существовал. В 1715 г. по указу казанского губернатора Салтыкова завод был частично переведен на новое место под городок Краснояр. Для «устроения» завода был назначен стольник Алексей Вердеревский. Он «завел» под Краснояром на старом «басурманском городище» селитряной завод, где начали варить селитру в четырех котлах. С 1717 по 1726 г. на заводе было выварено 28589 пуд. 33 фун. селитры.

Завод сначала находился в ведении Берг-коллегии; 10 декабря 1719 г. он был передан в ведение Артиллерийской канцелярии. С самого возникновения завод был казенный и «содержался на казенных деньгах». Комиссаром над заводом в 1717 г. был назначен Петр Пилугин, состоявший в этой должности до 1722 г., когда на его место был назначен Бахтеяров. Письменную отчетность завода вел подьячий. Целовальники (пять человек) выбирались ежегодно из красноярских жителей; они присутствовали «у приему и у раздачи котлов, меди, железа, железных и деревянных всяких припасов, золы, дров и селитры». Комиссар получал в год 60 руб., ржи и овса по 60 четвертей; подьячий — 5 руб., ржи и овса по 5 четвертей; целовальники работали без жалованья. Для «оберегания» завода от нападений «воровских людей» при нем жил капрал, несли посменно караулы 17 солдат.

Рассмотрим состав рабочих завода. В 1715 г. здесь работал 141 пленный швед, 25 арестантов, 4 работника «из перемены». В 1717 г.

довании Коломенского мы находим указание, что в астраханских соляных промыслах „соль добывалась из озер, представлявших неистощимые запасы ее. Это так называемая самосадочная соль... Солепромышленники выгребали ее из воды на берег, сушили на солнце и отправляли вверх по Волге“ (С. Коломенский. Торговля солью на Руси в XVI — XVII вв. и общее состояние соляных промыслов в указанный период времени, стр. 14, Киев, 1912). Соляные промыслы находились в ведении Тайного приказа, а затем были переданы в ведение приказа Большого дворца (Дела Тайного приказа, кн. I, стр. 291; Р. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича, стр. 92, СПб., 1906).

[1] Для работы в государевых виноградных садах требовалось „на всякий день по 300 человек и больши“... „К тому садовому строению“ рабочие нанимались главным образом в Казани и в Нижнем Новгороде; в Астрахани они „были устроены“ годовым хлебным и денежным жалованьем (АИ, IV, № 40, стр. 131—132; РИБ, XXI, стр. 1280, 1626, 1693; ПСЗ, т. XXV, № 18375, стр. 69). О виноградных садах Астрахани см. Олеарий. Описание путешествия..., стр. 401; С. Соловьев. История России с древнейших времен, XIII, стр. 697, СПб., 1894; А. Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве, стр. 59, Л., 1917; см. также Дела Тайного приказа, кн. I, стр. 1177 и кн. III, стр. 1108. О тутовых садах в Астрахани и на Тереке и о попытке завести под Москвой тутовые сады по образцу имеющихся в Астрахани, см. Дела Тайного Приказа, I, стр. 730—731, 1206, 1341; III, стр. 696, 1128, 1352; РИБ, XXI, стр. 1178, 1485, 1625; см. также А. Заозерский. Царь Алексей Михайлович..., стр. 132—135; П. Любомиров. Ткацкая промышленность Астрахани. Наш Край, стр. 2, 1926; Н. Преображенский. Исторический обзор развития шелководства, вып. 2, стр. 59—65, М., 1872; М. Барановский. Дворцовое хозяйство по делам приказа Тайных дел, стр. 13—14, Киев, 1914.

работали 149 пленных шведов, 20 арестантов, 6 работников «из перемены», 5 — по найму. В 1719 г. количество работников остается прежнее, но среди них мы находим 2 плотников, «присланных на вечное житье». За это время пленные шведы получали по 30 коп. и по полуосмине ржи в месяц, арестанты — по 25 к. и по полуосмине ржи, работающие «из перемены» ничего не получали и работали «из подмоги от своей братии», присланные «на вечное житье» и плотники получали по 7 р. 25 к. в год, наемные кузнецы и плотники — по 2 р. и 3 чети ржи и овса на год. Селитряные мастера (их было 5) получали в летние месяцы, когда «селитры варенье бывает», в работные дни от 5 до 12 коп. (1—12, 1—10, 2 — по 9, 1—5); в зимнее и в летнее время, «в которые дни варения не бывает», им платили на «кормовку» «всем равно каждому» — по 3 коп.[1]

Как видим, завод существовал главным образом трудом пленных шведов. Когда пленные были отосланы в С.-Петербург, заводы переживали острую недостачу рабочих рук. В канцелярию Сената присылались многочисленные донесения о том, что «на работу никто не наймуется»; в них запрашивалось, «каким людем у работы быть и на дачу работным людям деньги откуды имать». Завод пришел в полнейший упадок. В 1726 г. Красноярский селитряной завод был передан во владение «симбирянину» Артемию Духову[2].

Как могло случиться, что в местности, где было много рабочей силы, где был развит вольнонаемный труд, завод погибал от недостатка рабочих рук?

28 апреля 1714 г. Брюс издал предписание принимать исключительно «вольных» мастеровых людей на предприятия, обслуживающие «артиллерию», и запретил нанимать «крестьян разных помещиков»[3]. Вполне понятно, что предписание это оказалось невыполненным для Петербурга, но в Астрахани, как мы уже говорили, имелся громадный резервуар свободной рабочей силы.

Посмотрим, сколько получали бурлаки и работающие на рыбных промыслах в конце XVII в.

Насадный работник Тимошка Мокеев за «вселетнюю работу при государеве насаде» получал 15 р.; вятчанин Данилка Петров нанялся «на все лето в работу» на государев насад, шедший из Симбирска в Астрахань, за 10 р.; за годовую работу рыбный солильщик получал 13 р., кашевар — 10 р. с полтиною, ярыжный — 6 р. При этом харчи рабочим, за исключением хлеба, полагались хозяйские: нанимались «на свой казачий хлеб, а на учужную рыбу»[4]. Не лишено интереса замечание, что в Астрахани «перед верховыми городами... работным людям наем дают большой»[5]. Действительно, плата бурлакам, нанимавшимся в Астрахани, была выше, чем в других приволжских городах. Так, из поручных, цитируемых К. Пажитновым, узнаем, что напявшиеся «идти в тягу» от Самары до Лыскова и обратно получали 3 р., от Самары до Астрахани — 4 р. без 10 алт[6]. В книге «Дворцового насадного промыслу промышленника Клима

[1] ШГФ, св. 22, л. 6.

[2] „Выписка по указу из Сената и Военной Коллегии, поскольку на Красноярских и Ахтубенских заводах делается селитра и Молоствову те Ахтубенские заводы в котором году отданы и с каким договором и о протчим". Арс., 1732 г., св. 29, № 2[illegible], лл. 1—110.

[3] ШГФ, св. 21, лл. 26 об.—27 об.

[4] АФ, кор. 18, столб. 22, сст. 122 и 161, кор. 20, столб. 13, сст. 14—15.

[5] АИ, IV, № 40, стр. 132.

[6] К. Пажитнов. Рабочие артели. „Архив истории труда в России", 1923 г № 10, стр. 55.

Прокопьева сына Калмыкова» мы находим указания на обычную оплату обслуживающих струги, идущие от Саратова в Астрахань: для работных людей — 1 р. 10 алт., водолива — 1 ½ р., кормщика — 8 р. с полтиною[1].

Оплата на казенных предприятиях была ниже, чем у частного предпринимателя: из дел по выплате жалованья плотникам и кузнецам, работавшим на Деловом дворе в 1690—1699 гг., видим, что они получали в год по 5 р. и по 9 чт. ржи и овса. Часто правительство не могло найти охотников работать на казенных предприятиях, так как предлагаемая плата была ниже обещанной частным предпринимателем. Приходилось привозить в Астрахань рабочих из городов, где цена на рабочие руки была ниже астраханской; при разведении государева виноградного сада, например, рабочих привезли из Казани и Нижнего Новгорода, так как работные люди Астрахани запросили за работу «по гривне и больши»[2].

Повидимому, стремлением освободить большее количество рабочих рук объясняется указ о запрещении ремесленникам держать работников. На этот указ ссылается в своей челобитной вдова астраханского посадского человека Дунька Афанасьева: «Кормлюся я ремеслишком своим, пеку на базар ситные хлебы в продажу, а для той работи нанят у меня работный человек Федька Андреев; а ныне по вашему великих государей указу на дворех работных людей держать не велено; а я, в великой старости, без работного человека у такой работы пробыть нельзя, и промыслишко свой остановитца, и кормитца будет нечем; а без вашего великих государей указу того работного человека для промыслишку своего держать во дворе не смею»; далее она просит, чтобы ей разрешили «на дворишке своем» «для промыслишку» держать работника[3]. При безработице, когда «прокормиться никакою работою у русских людей нечем», «от скудости» шли работать в юрты к татарам, чаще всего молоть просо (к работе у татар относились с опаской: чтобы «не оскверниться», ели «особь»)[4].

Нежелание рабочих итти на завод из-за низкой оплаты было очевидно и для заводской администрации. Молоствов, возглавлявший ближайшие к Красноярскому селитряные заводы, в своем донесении в Артиллерийскую канцелярию (1720 г.) указывает на необходимость увеличить оплату работным людям селитряного завода[5].

Прибавим к этому, что жалованье на заводах бурлакам, работным людям соляных и рыбных промыслов не только не выплачивалось вперед, но еще хронически задерживалось Приказом Артиллерии; из Письма Павлова к Брюсу узнаем, что в 1708 г. в Москве на Пушечном дворе выдача жалованья задержалась на четыре месяца[6].

Но была и другая, пожалуй даже еще более важная, причина нежелания итти работать на завод. Естественным поставщиком рабочей силы на завод было бурлачество. Каков социальный состав бурлаков? Как правило, все они свободные «гулящие» люди; но среди этих гулящих людей мы в массе встречаем деклассированные элементы.

Типичным представителем их является Назарка Меркулов, из расспросных речей которого в Приказной палате выясняется, что «родина

[1] А. Гераклитов. К истории Волжского транспорта. „Труды Н.-Волжского областного научного общества краеведения“ (б. Саратовского общества истории, археологии и этнографии), 1924 г., вып. 34, ч. 2, стр. 14—22.

[2] АИ, IV, № 40, стр. 131—132.

[3] АФ, 1689 г., кор. 43, столб. 18, сст. 42.

[4] Там же, кор. 12, столб. 11, сст. 47.

[5] Арс., св. 29, № 206, л. 96.

[6] ПГФ, св. 10, № 868.

де его в Великом Новгороде, отец ево, Меркушко Титов, был в детех боярских»; сам же он, «как взрос, работал на Волге у розных промышленников на стругах в наймех»[1]. Много было среди бурлаков и беглых холопов, крестьян, солдат. В «струговой работе» мы встречаем Ивашку Яковлева, москвитина, беглого холопа стольника Петра Лодыженского: «живучи в бегах», он из Астрахани «нанялся до верховых городов в работу на судне гостиной сотни у Павла Бармина до Макарьевские ярмонки, а найму, он, Ивашка, от той работы рядил 5 р.». Встречаем Сеньку Иванова да Ивашку Юрьева, нанявшихся работать на струге у посадского человека Алешки Тархова: из их распросных речей в Приказной палате выяснилось, что Сенька Иванов «государевы дворцовой Заузольской волости крестьянин», а Ивашка Юрьев «Какшайского уезду деревни Водолеевы крестьянин Нефеда Онцифорова». Среди работающих «на стружку» был и Гришка Иванов Рукавишников, по распросным речам которого в Приказной палате установили, что он — беглый солдат полка Германа Фонстадина и т. д.[2].

Бурлак — человек, оторвавшийся от насиженного места, много испытавший на своем веку и дорожащий своей свободой; вот почему, из боязни прикрепления к заводу, он не рисковал итти на завод. О том, какие жестокие меры принимались в целях прикрепления работника к заводу, свидетельствует приказ Брюса от 17 октября 1717 г. Увидев, что вольные люди не нанимаются на С.-Петербургский арсенал, а насильно присланные бегут с завода, отчего «в делех чинится великая помеха», Брюс, вначале ратовавший за свободный наемный труд, приказал каленым железом «пятнать» руки кузнецам, присылаемым из Тульской оружейной слободы «на вечное житье» в С.-Петербург для работы в Арсенале, чтобы в случае побега было легче их изловить[3].

Судьба Красноярского селитряного завода показывает нам, что из-за тяжелых условий работы завод не мог существовать даже в краю, где процветал вольнонаемный труд, где имелись свободные рабочие руки. Судьба этого завода интересна, так как она выдвигает вопрос о значении труда пленных шведов в развитии петровской промышленности. Ко времени окончания Северной войны начинаются судорожные поиски замены уходящей с заводов дешевой и в значительной мере квалифицированной силы — военнопленных шведов.

---

[1] АФ, кор. 42, столб. 11, сст. 1.
[2] АФ, кор. 31, столб. 1, сст. 19—20; кор. 40, столб. 19, сст. 10; кор. 42, столб. 11, сст. 1 и столб. 20, сст. 30.
[3] ЦГФ, св. 44, л. 258 об.

Г. Е. ВЛАСЬЕВ

ВОЛНЕНИЯ КРЕСТЬЯН В КАРГОПОЛЬСКОМ УЕЗДЕ В 1842—1844 ГГ.

Как известно, в царствование Николая I во всех концах огромной Российской империи происходили многочисленные крестьянские восстания и волнения.

В настоящей заметке мы остановимся на крестьянских волнениях в Каргопольском уезде Олонецкой губернии в 1842—1844 гг.

213 крестьян-домохозяев 61 деревни Аксентовской и смежных с ней волостей, собранные по распоряжению Каргопольского управления государственных имуществ для взыскания с них 38-копеечного сбора за 1841 год и недоимок за прежние годы, отказались от платежа. 13 марта 1842 г. Каргопольский земский суд сообщил об этом Олонецкому гражданскому губернатору. Губернатор приказал каргопольскому земскому исправнику и помощнику окружного начальника произвести следствие на месте. Исправник, донося о результатах следствия, сообщил, что он «внушал всеми общественными мерами, дабы непременно платили утвержденный по всему государству 38 копеечный сбор», но крестьяне упорствуют в своем отказе, мотивируя его тем, «во-первых, что на сей сбор общество не сделало никакого приговора, а во-вторых, что головы, писаря и прочие сельские начальники должны служить как и прежде водилось» [1].

Каргопольский земский суд в свою очередь немедленно сообщил губернатору о результатах следствия. На ряду с этим губернатор 28 марта 1842 г. получил донесение палаты Государственных имуществ, что крестьяне попрежнему не хотят платить.

Видя, что уговоры и «внушения» местных (уездных) чиновников безрезультатны, олонецкий губернатор Повалошвыйковский 29 марта 1842 г. направил на место происшествия старшего чиновника особых поручений Кирьякова с полномочиями: «принять на месте меры внушения, а если это не помогает, то зачинщиков взять под стражу» [2].

Начались «внушения». «Внушали» крестьянам и становой пристав, и земский исправник, и управляющий Олонецкой палатой государственных имуществ, и, наконец, Кирьяков со своими помощниками. Но крестьяне были непоколебимы.

Становой пристав 2-го Каргопольского уезда, направленный в деревню Мегрегский десяток для «внушения», докладывал жандармскому полковнику: «Когда собралось их (крестьян — *Г. В.*) более 50 человек, вдруг... они решительно и все единогласно кричали: не платили денег и платить не будем, что было, то все плочено.

---

[1] ЦАУ КАССР, ф. Олонецк. губ. палаты угол. и гражд. суда, д. № 41/498, л. 15.
[2] Там же, л. 33.

Видя, что убеждения на это не имеют места, мы оставили их без надежды, обещая им, что они подвергнули себя суждению следственной комиссии и выдают себя прямо упорствующими бунтовщиками против власти. Они на это подтвердили, что будет, то будет. Когда видно было, что начинают собираться крестьяне из других мест, то... мы обращались опять в собрание и, отделяя первых от вновь прибывающих, запрещали им строго вмешиваться в делаемые убеждения другим и чтоб всяк отвечал сам за себя... Наконец, увидев, что некоторые из крестьян, внимая и веря убеждениям, как бы хотели согласиться, мы решились собрать в одно место все наше войско, подавая вид решительный, приказали всех неплательщиков выгонять из домов и добровольно без всякого упорства приготовляться к отправке на Мошу в комиссию. Этот случай подал уже видимую надежду, потому что крестьяне, видя решительность нашу, многие начали колебаться и как видно верить, что на самом деле не столько деньги дороги, как нужна покорность и чрез то действительно выдают себя бунтовщиками. Между тем один по одному, ведя за собой товарища, соседа, начинали платить, а несколько человек из толпы, находившиеся у крыльца на улице приступили ко мне с просьбою дозволить им собраться в другую, отдельную избу на совет. Я, видя, что этот случай еще более дает надеяться, что они не могут не согласиться, дозволил им сделать это. Пропустив немного времени, послал объявить им, что это их секретное собрание вводит их уже прямо в бунтовщики, когда они решились не повинуясь власти действовать советами вредных и неблагонамеренных людей...»[1].

А вот что сообщает о поведении крестьян сам Кирьяков в своем донесении губернатору (5—6 апреля). После предупреждения, что «упорные будут взяты под стражу, крестьянин Субботин сказал: «Никого под стражу не дадим!», и за ним все собрание закричало: «Никого не дадим, никого у нас не возьмете»... даже не дозволили составить о себе именного реестра, кто именно был на этом собрании. На наш спрос об именах и фамилиях отвечали возражением: «Какое вам до меня дело; мы здесь всем обществом, все мы стоим в одном и за одно». Когда мы, нижеподписавшиеся, хотели отделить от этого собрания десятских для оспроса..., опять все собрание закричало: «И десятских не дадим и сами к вам не пойдем, и даже самого министра государственных имуществ о сборе этих денег не слушаем. Волостную и общественную службу в должностях головы, заседателей, старших и проч. будем исполнять сами без денежных сборов, без жалованья, без особых кафтанов для головы, всяк сам за себя по очереди и выборам, а требуемый сбор будем платить тогда, когда сам государь император даст о том печатный указ. Иначе при всяком на то понуждении пойдем к государю императору с жалобой — ведь после нашего такого согласия на платеж всех нас возьмут под удел»[2]. После этого заявления крестьяне организованно ушли со схода.

Столкнувшись с таким сопротивлением, Кирьяков 6 апреля приказал каргопольскому исправнику немедленно явиться в Аксентовское общество с 20 нижними чинами для экзекуции над ослушными крестьянами.

Тем временем крестьяне собрали сходы в Аксентовском и Шежемском обществах (8 апреля), на которых выбрали своих поверенных

[1] Там же, лл. 174—176.
[2] Там же, лл. 38—39.

Андрея Филипповича Плакидина и Ивана Никифоровича Попова — для ходатайства перед царем о снятии незаконных сборов. В своем прошении они писали:

«Притеснения со стороны Каргопольского управления и Аксентовского волостного правления, делаемые ими угрозы, тиранства и налоги сверх государственных податей и повинностей и другие злоупотребления приводят в расстройство сельское хозяйство, а крестьян в разорение... По учреждении новой системы управления государственными крестьянами мы ожидали улучшения сельского хозяйства, но выходит противное, хозяйство наше ныне приходит в худшее состояние, а мы сами чрез это в разорение. Причиною этому следующее:

1) в 1841 году сверх следуемых с нас податей и повинностей собрано лишних с каждой души по 44 коп...

2) без ведома и согласия нашего общества от имени его составлено в Аксентовском волостном правлении 2 приговора о назначении постоянного сверх податей и повинностей сбора с каждой души 38 коп. сер. и по четыре четверти овса в год на неизвестный обществу предмет.

3) Старостой Аксентовского общества растрачено собранных с крестьян податей и повинностей на сумму 2565 рублей асс. и деньги сии... окружное управление предпишет взыскать с общества, когда же общество... через нарочно отправленных крестьян просило Окружное управление о смене его (старосты. — *Г.В.*)..., то управление... подвергло за то крестьян телесному наказанию розгами.

4) Распоряжение волостного правления и Окружного Управления, очевидно, клонятся к тому, чтобы ввести между государственными крестьянами систему удельного управления, но мы, опасаясь бедственного положения соседственных удельных крестьян, желаем быть навсегда государственными крестьянами на прежних о них положениях»[1].

Этот общественный сверхподатный сбор — 38 коп. с души — в официальных документах окружного управления называется сбором на «кафтан волостной голове».

В ночь на 9 апреля поверенные ушли в Петербург. Узнав об этом, Кирьяков немедленно (11 апреля) сообщил губернатору. Тот 15 апреля отправил за ними по пятам станового пристава из города Вытегры с целью перехватить поверенных в пути и арестовать их. Но поймать их не удалось. Из документов следствия видно, что они добрались до Петербурга и 4 мая через знакомого чиновника подали прошение царю.

Тем временем волнение среди крестьян все усиливалось. К Аксентовскому обществу присоединилось Охтомицкое, и подавить сопротивление крестьян без значительной воинской силы было невозможно.

Губернатор решил сам выехать на место происшествия, чтобы привести крестьян в повиновение. Приехав в Вытегру, он, якобы для подготовки лошадей, отправил в Аксентовское общество вытегорского исправника Ларионова произвести тайное следствие и донести о его результатах. 21 апреля губернатор прибыл в Аксентовское общество и начал лично «увещевать» крестьян. Но крестьяне наотрез отказались платить: «Тебе батюшко велено уговаривать нас и как

---

[1] ЦАУ КАССР, ф. Олонецк. губ. палаты гражд. и угол. суда, д. № 41/498, лл. 263—264.

уговоришь, то получишь царскую милость, а мы пойдем под удел»[1]. На допросе крестьянин Шалгинский заявил: «Платить общественный сбор заставят только кандалы и тюрьма»[2].

Из 27 индивидуально опрошенных крестьян только двое согласились платить сбор. Губернатор прекратил индивидуальный допрос, «боясь буйства». Свой отказ платить крестьяне мотивировали решением ждать приезда своих поверенных с ответом от царя. Губернатор на это заявил, что поверенных привезут в кандалах. Но и эта угроза не подействовала на крестьян, если не считать, что они решили на всякий случай выбрать нового поверенного.

7 мая на общем сходе был выбран поверенным крестьянин дер. Туровской Никифор Матвеевич Ваганов. За подписями всех крестьян ему выдали доверенность, где подробно были изложены все нужды крестьян и причины их отказа от уплаты сбора.

Но новому поверенному не удалось добраться до Петербурга. Его схватили жандармы, отобрали доверенность и другие документы, в том числе письмо чиновнику департамента Попову с просьбой оказать содействие в передаче прошения царю[3].

Губернатор решил силой заставить платить сбор и выявить главных застрельщиков. Он мобилизовал находящихся в Аксентовском обществе 40 рядовых, 11 жандармов, 74 нижних чина от инвалидных и этапных команд. Он вызвал из батальона внутренней стражи Петрозаводска одну роту под командой штаб-офицера. Всего выставлено было около 400 штыков. Вызванные воинские части продвигались с большим трудом, так как крестьяне отказались давать им лошадей и приходилось брать их силой.

Но прежде чем приступить к экзекуции, губернатор решил испытать последнее, на его взгляд радикальнейшее, средство. 28 апреля он обратился ко всем восьми попам Аксентовского общества и приходов, прося «пастырей» сделать должное «внушение» крестьянам. Попы должны были предупредить крестьян, что если к моменту затребования команд (через неделю) они изъявят полную покорность властям, будут приходить по-одиночке на допрос и выдадут застрельщиков, то им дадут спокойно пахать землю. В противном случае они будут «подвергнуты крайнему разорению и наказанию и будут сами виной тому и семейному расстройству и несчастию, которое постигнет их жен и детей»[4].

Но и это не помогло. «Паства» не пошла за «пастырями». Последние писали губернатору: «по небла...щий (неясно. — *Г. В.*) народ против вашего объявления чинил разные грубые и нелепые отговорки и наконец дал совершенный отказ в платеже такого сбора»[5]. При этом попы не забыли сообщить губернатору, что крестьяне Сибиряков и Боровских «всеми мерами внушали честному народу, как можно удержаться от платежа».

Срок предупреждения прошел. Затребованные войска прибыли из Петрозаводска. 13 мая в Аксентовское общество приехал жандармский полковник. Узнав, что крестьяне попрежнему продолжают упорствовать, он приступил «к приведению их в порядок силою». 20 крестьян были взяты под стражу; шести выбрили половину головы и бороды как самым «тяжким преступникам»; тут же в присутствии крестьян

[1] Там же, л. 128.
[2] Там же, л. 283.
[3] Там же, лл. 271—272.
[4] Там же, л. 15.
[5] Там же, лл. 165—166.

они были закованы в железо; из остальных крестьян многие были выпороты розгами.

Волнение было подавлено.

Аксентовское волостное правление сообщило Кирьякову, что на 22 мая собран общественный сбор по волости с 851⅓ душ на сумму 447 руб. 17 коп. По данным же утвержденного реестра следует получить по волости с 4101 души 1031 руб. 04 коп.[1] Таким образом, еще далеко не все подати были собраны. Между тем расходы на подавление волнения составили 3948 руб. 47 коп.[2]

После подавления волнения губернатор написал подхалимский отчет министру государственных имуществ графу Киселеву. В нем он с неописуемым цинизмом рассказывает, как он арестовывал, заковывал в железо и порол ни в чем не повинных крестьян. Приводим отдельные выдержки его рапорта.

«После таковых показаний, сколько для убеждения допрошенных, что наказание их за преступление не ограничится одним содержанием под стражей на месте в селении, столько и для того, чтобы показать в глазах других крестьян, сколько велико преступление их в неповиновении властям, я приказал допрошенным шести крестьянам, как уже арестованным, обрить каждому половину головы... за прежние упорства... я приказал для страха другим в присутствие моем, полковника Сорокина, управляющего палатой государственных имуществ и при некоторых из крестьян Аксентовского общества наказать Зыбкина розгами...

Обритие головы и бород и наказание розгами тотчас разнеслось по ближайшим деревням около озера Мошинского»[3].

Граф Киселев ответил: «Усматривая, что означенный беспорядок деятельными мерами и благоразумными Вашими, милостивый государь, распоряжениями... прошу Вас, милостивый государь, по исследовании обстоятельств сего дела с зачинщиками и руководителями, которые обнаружены будут, поступать по законам»[4].

В кратчайший срок было произведено строгое следствие и опрошено 407 чел.; главари волнения были наказаны.

Плакидин и Иван Попов, первые поверенные от крестьян, открыто и смело заявившие на суде, что они считают платежи незаконными и платить не будут, были наказаны 20 ударами плетьми и отданы в арестантские роты, а при «неспособности» решено сослать их в Сибирь на поселение. Подарин и Шенгиных были отданы в арестантские роты; около 29 крестьян по суду должны были быть наказаны плетьми.

Вместо милости от царя крестьяне получили ссылку, каторгу и розги. Но вера в царя все еще жила. Плакидин написал второе прошение царю от имени крестьян в декабре 1842 г. Но ответа не последовало. Тогда решили использовать последнее средство — написать прошение цесаревичу. 20 марта 1843 г. Плакидин написал ему. В прошении он указал, что приезд чиновника из Петербурга не улучшил положения крестьян, по-прежнему их разоряли всякими незаконными поборами.

Но напрасно крестьяне ждали помощи от цесаревича — он им даже не ответил.

---

[1] ЦАУ КАССР, ф. Олонецк. губ. палаты гражд. и угол. суда, д. № 41/498, л. 108.
[2] Там же, д. № 30/478, л. 159.
[3] Там же, лл. 283—284.
[4] Там же, д. № 41/498, лл. 283, 242—243.

Заключенные под стражу крестьяне два года — с мая 1842 г. по май 1844 г. — ждали окончательного утверждения приговора суда последней инстанцией — Сенатом. Только 18 апреля 1844 г. губернатор отдал распоряжение Олонецкой палате уголовного и гражданского суда привести в исполнение решение суда о застрельщиках волнения. И тут обнаружилось, что из 20 находящихся под стражей двое — Вандрусов и Субботин — умерли, а трое — Барыгин, Дьячков и Зубов — больны.

Уцелевших наказали розгами и плетьми и направили в гражданскую тюрьму «до имеемого быть распоряжения»[1].

---

[1] Там же, лл. 283, 292—293.

Н. А. ТРЕСКИН

ВОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ НА МОСКОВСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКЕ Н. Н. БУТИКОВА В 1851 Г.

В первую половину XIX в. хлопчатобумажная промышленность в России получила широкое развитие и превратилась в важнейшую отрасль промышленности. Построенная на началах вольнонаемного труда[1], хлопчатобумажная промышленность скоро стала ареной конфликтов и первых классовых схваток между молодой промышленной буржуазией и нарождавшимся рабочим классом. Между тем до середины 30-х годов еще не существовало никаких юридических норм, регулирующих взаимоотношения фабрикантов и их вольнонаемных рабочих. Фабричное законодательство до той поры касалось исключительно казенных и посессионных фабрик.

Такое положение долго продолжаться не могло, и 24 мая 1835 г. было издано «Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму»[2]. Это был первый фабричный закон в России, регулировавший взаимоотношения фабрикантов и их вольнонаемных рабочих.

Однако попытки фабричного законодательства в николаевскую эпоху устранить неопределенное положение во взаимоотношениях между фабрикантами и вольнонаемными рабочими привели к весьма ничтожным практическим результатам. Интересы фабрикантов явно выставлялись на первый план, и даже те скромные элементарные права, которые признавались за рабочими по законоположениям и правилам, большей частью оставались лишь на бумаге. За притеснения рабочих и нарушения их прав фабриканты не подвергались никаким взысканиям. Рабочие же за слишком настойчивые попытки защиты своих нарушенных прав всегда рисковали подвергнуться репрессиям как за неповиновение хозяину.

Вольнонаемные рабочие в дореформенную эпоху в большинстве своем были помещичьими или казенными крестьянами, отпущенными на заработки; они поступали на фабрику на определенный срок и на определенных условиях. Условия эти часто нарушались фабрикантами, которые весьма мало считались с появившимися тогда первыми законоположениями и правилами для вольнонаемных фабрик. Рабочие в одиночку или небольшими группами подавали властям прошения, в которых жаловались на различные притеснения со стороны фабрикантов, главным образом, в области оплаты труда: на выдачу

[1] По данным Б. И. Сыромятникова, уже в 1825 г. хлопчатобумажная промышленность на 94.7% обслуживалась вольнонаемным трудом. Б. Сыромятников. Очерки истории русской текстильной промышленности в связи с историей русского народного хозяйства, стр. 45, Иваново-Вознесенск, 1925.

[2] 2-е ПСЗ, X, отд. 1, № 8157.

фабричных изделий вместо денег, на штрафы и произвольные вычеты из заработной платы, на несоблюдение расценок труда и т. д.; поступали жалобы и на плохие «харчи». Возникавшие в результате этих жалоб дела между фабрикантами и рабочими в подавляющем большинстве случаев заканчивались победой хозяев. Власти при разборе жалоб руководствовались не столько статьями ими же самими установленных законоположений и правил, сколько полицейскими и общеполитическими соображениями, стремясь в первую очередь к поддержанию внешнего спокойствия на фабриках. Поэтому жалобы рабочих признавались обыкновенно «неосновательными» или «не заслуживающими уважения», а сами жалобщики, рассматривавшиеся как бунтовщики, зачастую для поддержания «спокойствия» на фабриках и «в назидание» другим фабричным приговаривались к наказанию розгами; иногда за этим следовала и высылка по этапу на родину с запрещением возвращаться в Москву.

По-иному протекала борьба рабочих за свои права на фабрике Н. Н. Бутикова в 1851 г. В виду большого единодушия и необычайной по тем временам организованности, проявленной рабочими, борьба эта имела и иной исход.

Текстильная фабрика купца Бутикова существовала в Москве с 1843 г.[1] Фабрика производила сначала бумажные, а затем шерстобумажные смешанные изделия. В первые годы она помещалась в Лефортовской части, 3 квартале, в доме почетного гражданина Гучкова под № 352. В первый год существования фабрики (или может быть владения Бутиковым фабрикой, если она была им куплена у другого лица) на ней значилось 220 станов и 20 жакардов при 246 рабочих; вырабатывались миткаль, холстинка, сарпинка и платки; сумма годового производства составляла 67 500 руб. сер.[2] Но вскоре Бутиков перевел свое предприятие на новое место в собственное помещение; год перевода неизвестен, но во всяком случае в 1850 г. фабрика находилась уже в Пречистенской части, 1 квартале, в доме под № 116 — собственном владении Бутикова. Состояло тогда на фабрике 400 рабочих[3]. В 1853 г. на фабрике числилось 105 станов, 28 набивных столов, 110 машин, при 500 рабочих; вырабатывались полутерно, люстрин, ластинг, терно, сатин и платки; сумма годового производства составляла 293 500 руб. сер.[4] С тех пор производство постепенно расширялось, фабричное оборудование совершенствовалось согласно требованиям времени, и число рабочих непрерывно возрастало, дойдя в 1885 г. до 1221.[5] Фабрика (в Б. и М. Ушаковских пер. — ныне Коробейниковом и Хилковом) просуществовала до 1917 г., не меняя ни своего места ни хозяев[6]. После некоторого перерыва в годы гражданской войны текстильное производство на бывшей фабрике Бутиковых было вновь восстановлено, и фабрика эта под названием «Ткацко-отделочная фабрика им. Молотова» существует на том же месте и поныне.

Основатель и первый владелец фабрики, при котором в 1851 г.

---

[1] Моск. Обл. архив, ф. моск. ген.-губернатора, 1861 г., д. № 55243, л. 1.

[2] Л. Самойлов. Атлас промышленности Московской губернии, М., 1845—Указатель фабрик и мануфактур Московской губернии за 1843 г. стр. 21.

[3] Моск. Обл. Архив, ф. ген.-губернатора, 1851 г., д. № 22165, л. 1.

[4] С. Тарасов. Статистическое обозрение промышленности Московской губернии, М., 1856 — Ведомость о фабриках и мануфактурах Московской губернии за 1853 г., стр. 12.

[5] И. Янжул. Отчет за 1885 г. фабричного инспектора Московского округа, СПб., 1886 г., Приложения, стр. 10, 16, 24, 67.

[6] Вся Москва. Адресная и справочная книга за 1886—1916 гг.

произошли волнения рабочих, Иван Петров Бутиков, московский купец третьей гильдии в 1843 г., т. е. при организации им своего текстильного предприятия, умер в 1874 г. купцом первой гильдии, оставив сыну-наследнику солидное состояние в 1 700 тыс. руб. сер.[1]

И. П. Бутиков представлял собою ярко выраженный тип купца-кулака. Это был человек, не брезговавший никакими средствами для достижения своих целей, — лживый, нечестный, жестокий и скорый на кулачную расправу. Власти часто получали жалобы на Бутикова от лиц, связанных с ним торгово-хозяйственными делами, а также от рабочих с его фабрики. Так, против Бутикова было поднято дело об избиении рабочего-пильщика с причинением ему увечья, приведшего к слепоте. Пильщик этот работал на фабрике Бутикова сдельно в составе артели пильщиков по распилке партии дров. Причиной расправы послужили возражения пострадавшего против попытки Бутикова обсчитать артель при расчете[2]. Через год возникло следствие по аналогичному делу — на этот раз Бутиков, производя расчет, избил одного временно-обязанного крестьянина, торгующего по свидетельству 3-го рода, так, что пострадавший «плевал кровью». В избиении принимали участие и сыновья Бутикова[3].

Волнения рабочих на текстильной фабрике Бутикова произошли в феврале 1851 г., т. е. уже после введения в действие московским ген.-губернатором гр. А. А. Закревским «Правил», обязывавших фабрикантов соблюдать условия найма и иметь на своих фабриках установленные книги и расчетные тетради для записи производимых расчетов. Волнения эти возникли в связи с нарушением фабрикантом условий найма и с злоупотреблениями в расчетах с рабочими. Все это вызвало единодушный организованный протест со стороны всех 400 рабочих фабрики, сопровождавшийся прекращением работ. 20 февраля рабочие через своих выборных подали коллективное прошение гр. Закревскому с жалобой на хозяина[4].

В своем прошении рабочие жаловались на нарушение отдельных пунктов условий найма со стороны фабриканта — на надбавку цены «за харчи», на снижение расценок оплаты труда за вырабатываемые товары, а также на ряд других злоупотреблений Бутикова, имевших целью всякими способами выжать из рабочих как можно больше денег. По словам рабочих, Бутиков «нас порядил работать сдельно, для чего мы имели расчетные листы, в которых значилось за харчи по 10 коп. серебр. в сутки (т. е. удерживалось фабрикантом. — *П. Т.*); работа сдельная полагалась: фасонная по 27 коп., люстрин с шелком по 25 коп». «Ныне, — продолжают рабочие, — в выданных нам книгах без согласия нашего написал, с генваря месяца самовольную плату положил: за харчи излишних по 2 коп., с работы сбавил: с фасона 2 коп., с люстрина полушелкового 5 коп., с полуковровых платков 10 коп., с термалама 5 коп., с люстрина гладкого 3 коп., с люстрина фасонного 3 коп., с полутерна и терна гарусного по 1 коп. Таковое обстоятельство при случившихся ныне расчетах, о которых мы по сие время ничего не знали, объявил, что он больше платить не будет, что самое доведено до сведения местной полиции». Рабочие жаловались также на неправильные переносы «в новых книгах»,

[1] «Современные известия», № 67, М., 1874.
[2] Моск. Обл. архив, ф. моск. ген.-губернатора, 1861—1862 гг., д. № 88873.
[3] Там же, 1862—1863 гг., д. № 58646.
[4] Там же, 1851 г., д. № 22165, лл. 1—8. Все материалы, относящиеся к волнениям на фабрике в феврале 1851 г., взяты из этого дела. Поэтому в дальнейшем ссылок не делается.

на незаконно записанные штрафы и просрочки паспортов и на неясное обозначение новых условий найма, т. е. условий, введенных с января без уведомления о том рабочих. В заключение, кроме просьбы об устранении злоупотреблений и восстановлении расчетов на прежних «кондициях», рабочие просили об оплате рабочего времени, уходившего у них на уборку станов: «сверх сего уборка машинного стана составляет для каждого человека до четырех недель, от которых мы по незаконным и несправедливым его требованиям убытки претерпеваем». К прошению кроме «кругового списка» рабочих приложены были в виде доказательства расчетные книжки, выданные на фабрике после нового года, и один расчетный лист старого года, уцелевший случайно, так как все остальные листы при переходе на пониженные расценки были Бутиковым предусмотрительно отобраны у рабочих.

Ген.-губернатор возложил следствие на чиновника особых поручений, полковника А. А. Тимашева-Беринга. Следствие было произведено 28 февраля. На нем присутствовали 22 выборных («из двух артелей ткачей 17 человек и одной набивной 5 человек») от 400 рабочих всех трех артелей фабрики, имевших полномочия в случае окончания дела «за всех рукоприкладствовать». Присутствовали также двое старост, т. е. рабочих старшин, артельщик и сам хозяин.

Следствие закончилось победой рабочих и восстановлением нарушенных «кондиций». По соглашению между сторонами Бутиков вынужден был уступить по всем спорным пунктам, за исключением вопроса об уборке станов, а также дать обязательство соблюдать впредь «Правила» Закревского. (Нечего говорить о том, что за явное нарушение этих «Правил» Бутиков не подвергся никакому взысканию). Как доносил Тимашев-Беринг генерал-губернатору в своем рапорте об окончании дела, «Бутиков, переговорив со всеми рабочими, согласился надбавленную им цену на харчи уничтожить и положить прежнюю по 10 коп. серебром в сутки с каждого рабочего, а сбавленную им цену на разный вырабатываемый на фабрике его товар изменить и положить ту самую, какая существовала в начале декабря 1850 года». Кроме того, Бутиков дал обязательство держать всех рабочих у себя на фабрике до срока, установленного при найме. Рабочие же со своей стороны обещали «немедленно приступить к работе», отказавшись от своих претензий в вопросе об уборке станов.

Власти сочли за лучшее не прибегать к обычным в те времена репрессиям: не последовало ни порок розгами, ни высылок по этапу на родину. А казалось бы, налицо были все условия для применения статей 1791 и 1792 «Уложения о наказаниях» 1845 г., предусматривавших суровую кару за коллективное неповиновение, оказанное хозяину, и за стачку. Кратковременному задержанию при полицейской части, по просьбе фабриканта, подверглось лишь четверо рабочих фабрики: безсрочно отпускной рядовой Филипп Федоров и крестьяне Антроп Андреев, Алексей Федоров и Мартын Тимофеев, которых Бутиков считал главными «подстрекателями». Но и они были освобождены вскоре по окончании следствия и допущены снова к работе. Характерна резолюция Закревского об их освобождении: «Простить последний раз и послать к фабриканту со внушением ему, что если впредь сии четыре человека будут замечены в неповиновении или возмущении, то о них тотчас представлять полиции. 1 марта 1851 г.»

Волнения рабочих и борьба их за свои нарушенные права на фабрике Бутикова являются одним из первых, ярко выраженных столкновений классовых интересов молодой промышленной буржуазии

с интересами нарождавшегося рабочего класса. Борьба рабочих за свои права на фабрике Бутикова происходила в глухую эпоху реакции последних лет царствования Николая I. Несмотря на это, рабочие сумели проявить большое единодушие и небывалую для того времени организованность в борьбе против притеснений фабриканта. В этой организованности уже определенно заметны новые веяния нарождавшегося классового самосознания. Рабочие фабрики Бутикова, являвшиеся крестьянами помещичьими и казенными, отпущенными на заработки, уже ясно сознавали противоположность своих интересов интересам фабриканта-эксплоататора. Они добились успеха потому, что выступили сплоченным коллективом, тогда как в большинстве случаев в ту эпоху борьба против произвола фабрикантов велась лишь отдельными рабочими или небольшими их группами и неизменно кончалась поражением. Благодаря своей солидарности, рабочие фабрики Бутикова добились восстановления нарушенных фабрикантом «кондиций» и заставили представителей власти и фабриканта отступить перед лицом дружно выступавшего коллектива.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕТКИ И СООБЩЕНИЯ

SOMMAIRE

NOTES et COMMUNICATIONS

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует*
1	14 сн.	Альфиери	Альфиери
6	18 св.	Барир	Б[illegible]гнар
10	15 сн.	напоминанием	напоминаем
11	6	полным	почти полным
121	22 св.	русской	русские
216	13 .	придавая	придавал

Цена 13 руб.